

Вятский государственный гуманитарный университет

**В Е С Т Н И К**  
**ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО**  
**ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА**

Научный журнал

**№ 2 (2)**

Киров  
2008

Главный редактор

*В. С. Данюшенков*

Редакционная коллегия:

*В. Т. Юнзблюд* (зам. главного редактора),  
*А. А. Харунжев* (отв. секретарь),  
*К. С. Лицарева, В. Н. Оношко,*  
*С. В. Чернова, О. Ю. Поляков,*  
*М. С. Судовиков*

Адрес редакции: 610002, г. Киров, ул. Красноармейская, 26,  
тел.: (8332) 678-860 (научный отдел), (8332) 673-674 (Издательский центр)

Редакторы: Т. Котельникова, О. Коробкова, Ю. Болдырева  
Компьютерная верстка – Ю. Боброва

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
(Министерство по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций)  
ПИ № 77-14376 от 17 января 2003 г.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

---

---

*Сандакова М. В.* Русский язык начала XXI века: эволюция, проблемы, ожидания ..... 8

### ЛИНГВИСТИКА

<i>Абдуллина Л. Р.</i> Модификация фразеологических единиц в газетном тексте как объективная закономерность .....	10
<i>Воронкова О. А.</i> О соотношении внутренней формы фраземы и внутренней формы концепта ..	12
<i>Гранева И. Ю.</i> Местоимение «мы» в аспекте проблемы языкового манипулирования сознанием .....	16
<i>Закамулина М. Н., Набережнова З. Г.</i> Референциальные особенности адвербиальных структур со значением тонкального предшествования (на материале французского и русского языков) .....	19
<i>Захарина Г. Р.</i> Фразеологические единицы с компонентом-топонимом в английском, русском и татарском языках .....	23
<i>Климкова А. А.</i> Системные отношения в микропонимии .....	25
<i>Кожевникова А. В.</i> Феномен парадокса в языке (на материале немецкого языка) .....	29
<i>Кушнерук С. П.</i> Документная лингвистика: научно-практические задачи .....	33
<i>Малоземлина О. В.</i> Насущный хлеб камчадала (названия блюд из рыбы в говорах камчадалов) .....	36
<i>Малоземлина О. В.</i> Лексика пищи в говорах камчадалов: прошлое и настоящее .....	41
<i>Маркелова В. М.</i> Выявление специфики концепта «тревога» в языковом сознании современной молодежи: сопоставительный аспект .....	46
<i>Маринин А. В.</i> Лексика промыслов и ремесел Вадского района Нижегородской области: фрагмент системных отношений .....	49
<i>Мишутинская Е. А.</i> Религиозный символизм в языке .....	52
<i>Набережнова З. Г.</i> Синкретизм значений точечной и линейной темпоральности в некоторых обстоятельственных структурах во французском и русском языках .....	57
<i>Никитина М. Ю.</i> Категория предельности/непредельности в семантике глаголов движения во французском языке .....	59
<i>Обчинникова Е. В.</i> Македонское <i>еден</i> как эквивалент английскому неопределенному артиклю и определителю <i>one</i> .....	63
<i>Полякова С. В.</i> Сравнительное исследование вариативности восприятия английских и русских текстов .....	66
<i>Прашкович С. С.</i> Словообразовательные гнезда <i>делать, работать, трудиться</i> в современном русском языке .....	67

<i>Савёлова Л. А.</i> Семантические классы сленговых наречий .....	71
<i>Семененко Н. Н.</i> Прагматический подход к описанию когнитивно-денотативных ситуаций русских паремий .....	75
<i>Соболева Е. Ю.</i> Индейский пласт во фразеологическом фонде американского варианта английского языка .....	81
<i>Султанова А. П.</i> Метафора в семантической структуре русских глагольных полисемантов со значением разрушения .....	85
<i>Толкачева И. В.</i> Лексическое воплощение нерегулярных фонетических явлений в русских народных говорах .....	89
<i>Худышкина А. Е.</i> Семантические различия общерусских существительных, функционирующих в литературном языке и в говорах камчадалов .....	91
<i>Чуранов А. Е.</i> Переход слов знаменательных частей речи в междометие (на материале английского языка) .....	95
<i>Шамова Н. В.</i> О некоторых аспектах диахронического перевода .....	98
<i>Шшикарёва О. А.</i> Окказиональные слова как проявление языковой игры .....	102
<i>Янушкевич И. Ф.</i> Концептосфера англосаксонского права периода раннего средневековья .....	104
<i>Яхина А. М.</i> Актуализация положительной квалификации ФЕ в составе фразеосемантических групп, обозначающих поведение человека (на материале глагольных ФЕ с семантикой поведения в русском, английском и татарском языках) .....	108

## ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

### Русская литература

<i>Боциева Ф. А.</i> «Евгений Онегин» на осетинском языке (к вопросу воссоздания национальной специфики подлинника) .....	112
<i>Деменева К. А.</i> Система персонажей в комедии А. Вампилова «Старший сын» .....	114
<i>Елканов К. Р.</i> Особенности жанровой структуры осетинского романа .....	118
<i>Зайцева Т. И.</i> Генрих Перевощиков и современная удмуртская проза: суть перемен .....	121
<i>Каспирович Н. А.</i> Семантика руин в романе П. П. Муратова «Эгерия» .....	124
<i>Нурмухамедова Р. А., Темиршина О. Р.</i> Лирический субъект Т. Кибирова и А. Блока и проблема литературной традиции («символистский текст» в «Балладе о деве белого плеса» Т. Кибирова) .....	128
<i>Озерова Е. Г.</i> Принципы лингвистического моделирования когнитивно-коннотативного пространства стихотворений в прозе И. С. Тургенева .....	131
<i>Шукова О. М.</i> Специфика выражения категорий целостности и завершенности в «Изборнике 1076 г.» .....	135

---

## Зарубежная литература

<i>Бартош Н. Ю.</i> К вопросу о мифологизме в литературе и искусстве английского модерна (архетип великой богини в произведениях О. Уайльда и О. Бердслея) .....	138
<i>Душинина Е. В.</i> Об искусствоведческих истоках названия романа Г. Джеймса «Послы» .....	141
<i>Забалуев В. Н.</i> От маски к маске .....	144
<i>Забалуев В. Н.</i> Некоторые аспекты поэтики «Леди мая» Ф. Сидни .....	147
<i>Касинов И. Н.</i> Мифологические архетипы в романе Г. Уэллса «Пища богов» .....	149
<i>Кирдянова Е. Р.</i> Признаки сказочного и мифологического сюжетостроения в новеллах Т. Шторма .....	152
<i>Орешина И. А.</i> «Готические» элементы в романе Т. А. Пикока «Аббатство кошмаров» .....	155
<i>Пастухова Е. Е.</i> «Женская проза» в отечественной и англоязычной литературной критике ....	158
<i>Шохина А. Н.</i> Образ короля Ричарда I как художественное воплощение мечты о «народном короле» (на примере исторического романа В. Скотта «Айвенго»).....	164

## ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

<i>Ерохина Т. И.</i> Художественное творчество и обыденное поведение символиста в эпистолярном жанре .....	167
<i>Дождевых С. М.</i> Купеческий заказчик в истории вятской архитектуры (на примере магазина П. П. Клобукова) .....	169

---

## CONTENTS

---

- Sandakova M. V.* Russian language at the beginning of XXI century: evolution, problems, expectations
- Abdullina L. R.* Updating of phraseological units in the newspaper speech as the objective law
- Voronkova O. A.* The correlation between the inner form of the phraseological unit and the inner form of the phraseological concept
- Graneva I. Yu.* Russian pronoun “my” (“we”) in terms of actual for modern linguistics problem of “language manipulation with mind”
- Zakamulina M. N., Naberezhnova Z. G.* Referential peculiarities of adverbial structures with tunc anteriority meaning in French and Russian
- Zakbarina G. R.* The phraseological units with proper names, toponyms in particular in the English, Russian and Tatar languages
- Klimkova L. A.* System relations in the microtoponymy
- Kozbevnikova A. V.* The phenomenon of paradox in language
- Kushneruk S. P.* The documental linguistics: scientific and practical problems
- Malozemlina O. V.* Daily bread of Kamchadals: the naming units of fish dishes in the Kamchatka’s dialects
- Malozemlina O. V.* The lexis of food in the Kamchatka’s dialects: the past and the present
- Markelova V. M.* The peculiarity of the concept “trevoga” in the language perception of modern youth: comparative aspect
- Marinin A. V.* The vocabulary of crafts and trades in the dialects of the district of Vad in Nizhny Novgorod region: system relations
- Misbutinskaya E. A.* Religious symbolism in a language
- Naberezhnova Z. G.* Syncretism of point and line temporality meanings in some French and Russian circumstantial structures
- Nikitina M. Yu.* The category of limit\unlimit of verbal activity in the French language
- Ovchinnikova E. V.* Macedonian ЕДЕН As The Equivalent To The English A And Determinant ONE
- Polyakova S. V.* Comparative research of Russian and English texts reading comprehension
- Prashkovich S. S.* The word-building family of words to do, to work, to toil in the modern Russian language
- Savyolova L. A.* Semantic classes of slang adverbs
- Semenenko N. N.* The pragmatic method of describing of cognitive-denotative situations of Russian paremis
- Soboleva E. Yu.* The Indian layer in the phraseological fond of American variant of the English language
- Sultanova A. P.* Metaphor in the semantic structure of Russian polysemantic verbs with the primary meaning of destruction
- Tolkachyova I. V.* The lexical embodiment of the irregular phonetic phenomenon in Russian Folk Talk
- Khudishkina A. E.* The semantic differences between common Russian Nouns in literature language and Nouns in Kamchatka’s dialects
- Churanov A. Ye.* The transition of notional words into interjections (on the material of English)
- Shamova N. V.* Any aspects of diachronical translation
- Shishkareva O. A.* The occasional words as a realization of language play
- Yanushkevich I. F.* The domain of early Anglo-Saxon law
- Yakhina A. M.* Actualization of positive qualification of phraseological units in phraseosemantic groups designating man’s behaviour (on the basis of verbal phraseological units with semantics of behaviour in the Russian, English and Tatar languages)

---

*Botciewa F. A.* “Evgeny Onegin” in Ossetic language (to a question of reconstruction of national specificity of the original)

*Demeneva K. A.* System of the characters in A. Vampilov’s comedy “the Elder son”

*Elkanov K. R.* The peculiarity of genre structure of the Ossetian novel

*Zaitseva T. I.* Genrih Perevozshikov and modern Udmurt prose: essence of changes

*Kaspirovich N. A.* Semantics of ruins in the novel «Egeriya» by P. P. Muratov

*Nurmukhamedova R. A., Temirshina O. R.* The lyrical subject of Timur Kibirov and Alexander Blok and the problem of the literature tradition (“the symbolic text” in “Ballada o deve belogo plyosa” of T. Kibirov)

*Ozerova E. G.* Principles of linguistic cognitive-connotative modeling of space in I. S. Turgenev’s prose poems

*Shukova O. M.* On Specificity of Expressing the Categories of Integrity and Completeness in “Izbornik for 1076”

*Bartosb N. Yu.* To a question about myth in literature and art in English modern (archetype of the great goddess in O. Wilde and O. Berdsley)

*Dushinina E. V.* About art sources of the name of the G. James novel “Ambassadors”

*Zabaluev V. N.* From a mask to a mask

*Zabaluev V. N.* Some aspects of F. Sidney’s “Lady of May” poetic

*Kasinov I. N.* Mythological archetypes in the H. Welles novel “The Food of the Gods”

*Kirdyanova E. R.* Indications of folklore and myth plot building in the short stories by T. Storm

*Oreshina I. A.* “Gothic elements” in T. L. Peacock’s novel “Nightmare Abbey”

*Pastuhova E. E.* “Female prose” in domestic and English literary criticism

*Shobina A. N.* An image of the king Richard I as an art realization of dream about “the national king” (on an example of the W. Scott’s historical novel “Ivanhoe”)

*Erochina T. I.* The symbolist’s creative work and everyday behaviour as reflected in epistolary genre

*Dozhdevih S. M.* The merchant customer in vyatka architecture history (on the basis P. P. Klobukov’s shop)

## РУССКИЙ ЯЗЫК НАЧАЛА XXI ВЕКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ОЖИДАНИЯ

Истинная любовь к своей стране немислима без любви к своему языку. Человек, равнодушный к родному языку, – дикарь.

К. Г. Паустовский

Русский национальный язык рубежа веков и начала XXI в. развивается с удивительным динамизмом. Происходящие в нём изменения затрагивают все уровни языковой системы – не только лексику, всегда наиболее чутко реагирующую на любые процессы в обществе, но и гораздо более устойчивую грамматику. Усилия современной русистики в направлении констатации и осмысления этих изменений находят выражение в целом ряде научных трудов, посвящённых языку новейшего этапа. Друг за другом вышло два толковых словаря под редакцией Г. Н. Скляревой: «Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения» (СПб., 1998) и «Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика» (М., 2006). Второй словарь, где зафиксированы наиболее актуальные слова и выражения современности из сферы экономики, политики, науки, информационных технологий, насчитывает около 8,5 тысяч единиц. Появилась серия коллективных монографий и сборников статей, в которых предпринят опыт анализа языковых новаций: «Русский язык: пересекая границы» (Дубна, 2001); «Русский язык сегодня. Вып. 1, 2, 3» (М., 2000, 2003, 2004); «Русский язык конца XX столетия (1985–1995)» (М., 1996); «Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация» (М., 2003); «Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX–XXI веков» (М., 2008) и др.

Темой этих исследований стали изменения в лексике и фразеологии, морфологии и синтаксисе, новые семантические и стилистические явления, активные процессы в языке современных СМИ, изменение стереотипов речевого поведе-

ния, общение человека с компьютером, интернет-коммуникации и многое другое.

Некоторые изменения и тенденции в языке вызывают серьёзную тревогу специалистов. Так, начиная с 80–90-х гг. XX в. и до настоящего момента наблюдается *жаргонизация* языка. Среди причин этого явления – не только отказ от норм тоталитарного государства и демократизация, но также и вхождение в публичную жизнь страны таких групп лиц, которые в своих привычках связаны с жаргонами, арго и другими формами не-литературной речи. Жаргонизация находит отражение в бытовании так называемого общего жаргона – такого пласта жаргона, который не является принадлежностью отдельных социальных групп и нередко используется журналистами, см. словарь О. П. Ермаковой, Е. А. Земской и Р. И. Розиной «Слова, с которыми мы все встречались: Толковый словарь русского общего жаргона» (М., 1999). Лексика и фразеология общего жаргона широко известна всем, в том числе и образованным людям: в определённой речевой ситуации интеллигентный человек может произнести слова *разборка*, *кинуть*, *отморозок*, *лох*, *круто*, *крыша едет* и под.

С жаргонизацией тесно связана *тенденция к огрублению* речи, выражающаяся в употреблении лексики со сниженной окраской, грубых просторечных слов, обценных выражений. К сожалению, современное телевидение и беллетристика охотно транслируют грубости, тем самым пропагандируя их как нечто обычное и, следовательно, нормальное, а писк, раздающийся с экрана вместо скверноматерных слов, и многоточия, заменяющие их в печатных изданиях, не спасают ситуации: зритель и читатель легко восстанавливают то, что скрывается за столь лицемерной ширмой.

Ещё одним явлением, размывающим литературный язык, лингвисты считают *поток заимствований*. Сегодня русский язык переживает экспансию заимствованной лексики (преимущественно из английского языка), вызванную процессами глобализации и развитием контактов России с мировым сообществом. Статистика утверждает, что если с 1960-го по 1985-й г. в русский язык вошло около 9 тысяч заимствованных



слов, то в дальнейшем язык принимал приблизительно по 2 тысячи иноязычных слов ежегодно. Таким образом, за 20 лет (1985–2005 гг.) это составило около 40 тысяч слов, – объём, который значительно превышает активный словарный запас даже высокообразованного человека.

А. П. Крысин, автор одного из самых новых словарей заимствованной лексики – «Толкового словаря иноязычных слов» (М., 2005), поднимает вопросы, порождаемые наплывом заимствований. Например: не вредит ли обилие «чужой» лексики самобытности русского языка? Насколько уместны те или иные заимствования в разных условиях речевой коммуникации? И, с другой стороны, вполне ли научно оправданы требования обязательно находить для их замены русские синонимы, ведь со временем язык сохранит лишь то, что ему действительно необходимо, остальное же будет неизбежно отброшено ходом языковой эволюции (как, например, это произошло со словами *профприентер*, *геликоптер*, *суститция*, вместо которых мы говорим теперь *собственник*, *вертолёт*, *подозрение*)?

Кроме того, происходят *изменения в русской языковой картине мира*. Языковая картина мира как совокупность представлений о мире, закреплённая в данном языке и свойственная всем его носителям, является одним из актуальных объектов исследования для современной русистики. Как отмечает А. Д. Шмелёв, активно пропагандируемая сегодня идеология успеха и наслаждения теснит те традиционные нравственные ценности, которые всегда были приоритетными в русской культуре, и этот процесс неизбежно находит отражение в языке новейшего периода, см. А. Д. Шмелёв. «Лексические изменения как показатель сдвига в языковой картине мира» (сб. Активные процессы в современной лексике и фразеологии. М., 2007). Например, ряд слов, имевших раньше яркие отрицательные коннотации в силу того, что умение человека «делать деньги» в России не считалось высшим достижением личности (*бизнесмен*, *амбициозный*, *карьерист*), на наших глазах утратили отрицательность. О заметных сдвигах в картине мира говорят и создающие сегодняшнюю языковую моду слова, кото-

рые выражают высшую оценку объекта с точки зрения его потребительских достоинств: *гламурный*, *глянцевый*, *экслюзивный*, *элитный*, *стильный*, *культовый* и др.

Известный лингвист М. А. Кронгауз в своей недавно вышедшей книге написал о некоторых негативных тенденциях современной речи, выразив тревогу уже в самом заглавии: «Русский язык на грани нервного срыва» (М., 2008). В целом же позиции, отстаиваемые разными представителями лингвистической и – шире – гуманитарной общности в связи языковыми новациями, весьма различны, а порой противоположны. Одни учёные уверяют в том, что оснований для озабоченности нет, поскольку язык – это устойчивая система, развивающаяся по своим внутренним объективным законам и наделённая мощными механизмами самоочищения. Их оппоненты утверждают, что современные болезненные явления представляют прямую угрозу национальному языку.

Очевидно, можно согласиться с мнением тех, кто говорит не о «порче» языка или угрозе «гибели» его, а о резком падении речевой культуры в обществе. Наш язык находится на высочайшем уровне развития, и все накопленные им богатства не могут быть утрачены, однако неумение части носителей языка использовать эти богатства составляет действительную проблему.

В связи с этим учёные неустанно призывают совершенствовать культуру речи, развивать языковой вкус, воспитывать в гражданах внимательное и бережное отношение к родному языку как к национальному достоянию. Для решения этих задач немало сделано на государственном уровне. При Президенте РФ активно работал Совет по русскому языку (1995–2003 гг.), после чего в 2005 г. Государственной Думой был принят «Закон о государственном языке Российской Федерации». В 2007 г., объявленном Годом русского языка, проводились конференции, дискуссии, праздничные мероприятия, посвящённые русскому языку.

Сегодня, на фоне патриотического подъёма, происходящего в стране в последние годы, русский язык может стать фактором формирования национальной идеи и консолидации российского общества.

# ЛИНГВИСТИКА

А. Р. Абдуллина

## МОДИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ КАК ОБЪЕКТИВНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

В основе данной статьи лежит глубинный анализ источников модификаций фразеологических единиц в газетном тексте, обусловленный как языковой системой, так и коммуникативными намерениями автора. Подчеркивается роль человеческого фактора на изменения языка в определенной коммуникативно-прагматической ситуации. Фразеологические единицы рассматриваются через призму когнитивной лингвистики.

This article is based on the deep analysis of sources of updatings of phraseological units in the newspaper text, caused both language system and communicative intentions of the author. The role of the human factor on changes of language in the certain communicative and pragmatical situation is emphasized. Phraseological units are analysed from the point of view of cognitive linguistics.

В последние десятилетия многие лингвистические исследования посвящены рассмотрению различного рода преобразований фразеологических единиц, получивших особое распространение в газетном тексте. Перед языковедами встает вопрос о том, являются ли подобного рода изменения объективной закономерностью языковой системы или нет. Цель данной статьи – определение источников модификаций фразеологических единиц (ФЕ).

Язык является открытой, динамичной и эволюционирующей системой. При взаимодействии с культурой, познавательной и мыслительной деятельностью человека он претерпевает различные изменения. В газетном тексте язык, выполняя информативную функцию, осуществляет объективизацию и адекватную передачу понятий. Журналист выбирает языковые средства, в нашем случае те или иные фразеологические единицы, с целью более точного выражения в вербальной форме сложившегося у него мысленного или чувственного представления о каком-то событии, факте или ситуации. Различного рода модификации языка происходят на базе уже существующих ресурсов, в результате частого использования в речи они становятся нормативны-

ми и способствуют обогащению языка. Оказиональность как особая форма выражения обновленного понятия представляет собой преобразование существующей функции. Таким образом, возникают противоречия между имеющимися уже в наличии средствами языка и потребностями коммуникации, познавательной и мыслительной деятельностью человека. В лингвистике они получили название языковой асимметрии, под которой понимается отсутствие соответствия между планом содержания и планом выражения. Асимметрия свойственна всем системам и уровням языка. Особенно яркое проявление она находит во фразеологии в виде отсутствия полной регулярности и единообразия в системе. Возникновение противоречий обусловлено такими качествами фразеологизмов, как раздельнооформленность внешней структуры и единство смыслового содержания ФЕ; устойчивость узальной формы и склонность к преобразованиям и др.

«Обозначающее стремится обладать иными функциями, нежели его собственная; обозначающее стремится к тому, чтобы выразить себя иными средствами, нежели его собственный знак. «Адекватная» позиция знака постоянно перемещается вследствие приспособления к требованиям конкретной ситуации» [1]. Это свидетельствует о том, что языковая единица может приобретать то или иное значение в зависимости от актуализирующего ее контекста. В этом и проявляется тенденция элементов языковой системы к изменчивости. При этом структурированная система отношений внутри языка определяет его границы, не допускающие аномалий. Подобное единство противоположностей, представленных тенденцией к устойчивости и тенденцией к вариативности, определяет равновесие внутри языковой системы и гармонию ее структуры: при разноплановости противоположностей каждая из сторон также содействует более полному раскрытию возможностей другой стороны и системы в целом, благодаря чему единство системы непрерывно укрепляется, нарастаются темпы позитивных изменений, увеличивается динамизм, пластичность и устойчивость системы. При этом следует указать на тот факт, что наряду с возникающим внутри языковой целостности противоречие рождается также и внешнее, обусловленное взаимодействием языка с внешним миром, противоречие между внутренними ресурсами язы-

ка и содержанием, которое необходимо передать и которое является, таким образом, стимулом языкового развития. «Язык – это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [2]. Выявление внутренних и внешних противоречий приводит к тому, что в центре лингвистического исследования в конце XX века оказывается человек, его языкотворческая и познавательная деятельность и сфера его коммуникации.

Как справедливо заметил Ю. Н. Караулов, «нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, пользователю – к человеку, к конкретной языковой личности» [3]. Взаимодействие человека и языка носит двоякий характер и соответственно ставит перед лингвистами два круга вопросов: влияние языка на сознание, мышление, культуру человека (функциональная природа языка) и влияние человека на язык (антропологически обусловленные свойства языка, собственно языкотворческая деятельность человека). Последнее имеет непосредственное отношение к предмету данного исследования.

На современном этапе лингвистических исследований подчеркивается ведущая роль человеческого фактора в развитии и изменении языка. Человек сам выбирает те или иные языковые средства, учитывая при этом специфику коммуникативно-прагматической ситуации. Опираясь в нашем анализе на учение Е. В. Рыжковой о фразеологической окказиональности, мы считаем необходимым выделить три аспекта, лежащих в основе языковой модификации: когнитивный (концептуальное содержание данной инновации), прагматический (мотивы, интенции этого языкового преобразования), системно-функциональный (механизм создания заданного коммуникативного эффекта) [4].

Каков механизм трансформации ФЕ и его включения в газетный текст? При реализации задачи информировать читателя и оказать на него определенное экспрессивно-эмоциональное воздействие журналист зачастую опирается на совокупность знаний субъекта, являющихся базисной формой когнитивной организации результатов отражения объективных свойств и признаков действительности, получивших в лингвистике название тезауруса личности. Создается коммуникативная цепочка: «автор – текст – реципиент». Чтобы добиться своей цели, автор должен воздействовать на определенные рецепторы индивидуума, связанные с прошлым опытом (знанием о мире, природе, явлениях, вещах), то есть тезаурусом личности. Но психические процессы внешне недоступны, извлечь их из глубин человеческого сознания можно лишь через структуры, их представляющие, каковыми являются язы-

ковые образования. Выявляются, таким образом, связи когнитивной психологии с лингвистикой. «Чтобы извлечь отдельные знания из памяти (то есть задействовать конкретные рецепторы читателя), нужна определенная схема знаний, каркас, который бы в дальнейшем наполнялся определенным содержанием. Таким каркасом является фрейм» [5]. Вслед за Т. С. Гусейновой под фреймом мы будем понимать определенного типа концепт, который обладает минимально необходимым количеством признаков предмета, явления или факта, то есть выражать идею предмета, явления или факта.

Своеобразным эквивалентом фрейма в языке может служить ФЕ. Фразеологической единицей вообще обозначаются сходные по ситуации явления и тем самым подчеркиваются абстрактный характер и схематическая природа фразеологизма. Если имеющаяся в языке фрейм/ФЕ не в полной мере отражает сущность обозначаемого ею явления в соответствующей ситуации, она трансформируется, приспосабливается к новому содержанию. Для современной когнитивной лингвистики свойственно понимание фрейма как мыслительного образа стереотипной ситуации. Он представляет собой структуру, объединяющую в единый когнитивный образ языковые и неязыковые знания. Фрейм содержит мотивирующие смысловые признаки, с помощью которых разграничиваются в мыслительном образе ранее сформированные стереотипы и непосредственно познаваемые реалии, ситуации, вербализующиеся в процессе коммуникации. Касательно ФЕ важную роль играют факультативные смыслы, которые определяют ее ассоциативно-образное содержание. Общность факультативных признаков ФЕ способствует межфреймовому взаимодействию.

Фреймы, таким образом, служат теми когнитивными структурами, которые формируют стереотипы языкового сознания. В когнитивной деятельности человека фреймовые структуры обладают ассоциативно-смысловыми связями компонентов. Подобные ассоциации обнаруживают стереотипические конфигурации языкового сознания, вербализуемые ФЕ. Например, во франц. яз. «frustrer qqn d'un avantage en le devançant, en le supplantant» и в тат. яз. «эшне юлга-көйгә салып жиберү, тәртипкә китерү» как стереотипическая ситуация, зафиксированная в сознании, на основе предсказуемых валентных связей объектируется путем устойчивой ассоциации с воображаемой ситуацией – во франц. яз. «couper l'herbe sous le pied» и в тат. яз. «жайга салу».

Разновидностями фреймовой структуры, вербализуемой ФЕ, являются сценарии, или скрипты, – стереотипные эпизоды, происходящие во времени и пространстве. «Лежащая в основе

фразеологического значения эпизодность дискурсивной ситуации зачастую разрастается в своего рода сценарий или фрейм как пространственно-временную совокупность отдельных этапов или элементов» [6]. Данное положение применимо и по отношению к коммуникативно-прагматической ситуации, свойственной языку газеты. Преобразование фрейма в сценарий (скрипт) представляет собой когнитивную основу перевода семантической структуры знака из статичности в динамику. Возможность трансформирования одной когнитивной структуры в другую творчески используется человеком в его коммуникативной деятельности. Фреймовые структуры проецируют лишь общую схему события, а сценарий «оживляет» соответствующие схемы факультативными смысловыми элементами, деталями, порождаемой коммуникативно-прагматической семантикой. Таким образом, актуализация ФЕ в контексте осуществляется посредством скриптов.

Фреймы являются единицами, организованными «вокруг» некоторого концепта, содержат основную, типическую и потенциально возможную информацию, которая ассоциирована с тем или иным концептом, имеют более или менее конвенциональную природу и поэтому могут определять и описывать то, что в данном обществе является «характерным и типичным». Именно в силу своей конвенциональности и социальной значимости фрейм как гибкая форма организации знания обладает высокой степенью вариативности, необходимой для формирования импликациональной структуры фразеологического значения. Фразеологическое значение фиксирует в нашем сознании результаты интеллектуально-эмоционального отражения не столько мира предметов, сколько мира образного, эмоционального, психического, данного через призму «переживания» соответствующих ситуаций. Фразеологическое значение, таким образом, является особым элементом языкового сознания, который порождается особым лингвокреативным типом мышления. ФЕ приобретает то или иное фразеологическое значение в зависимости от окружающих ее лексических единиц, вступая в определенные отношения взаимозависимости с ними, претерпевая различного рода преобразования.

Итак, можно заключить, что преобразование фрейма представляет собой любое отклонение от общелитературной нормы, происходящее на высоком психолингвистическом уровне, обусловленное коммуникативными причинами (объективной коммуникативной потребностью в информативно-речевой деятельности индивида), эмоциональными причинами (потребностью выражать свои чувства) и речевыми причинами (условиями контекста). Коммуникативная установка автора трансформированной фразеологической едини-

цы сопровождается конкретной целью и интенцией автора, прогнозирующего коммуникативный портрет будущего реципиента, включающий представление автора о личности реципиента, его концептуальной системе и тезаурусе личности.

#### Примечания

1. Карцевский, С. Об асимметричном дуализме лингвистического знака [Текст] / С. Карцевский // Звегинцев В. А. История языкознания XIX–XX вв. в очерках и извлечениях: в 2 т. М.: Просвещение, 1965. Ч. 2. С. 85–90.
2. Гумбольдт, В. О. О различии строения человеческих языков и его влияния на духовное развитие человечества [Текст] / В. О. Гумбольдт // Избранные труды по языкознанию: пер. с нем. М.: Прогресс, 1984. 397 с.
3. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность [Текст] / Ю. Н. Караулов. М.: Наука, 1987. 263 с.
4. Рыжкина, Е. В. Фразеологическая окказиональность в английском языке: когнитивно-коммуникативные аспекты [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Е. В. Рыжкина. М., 2003. 24 с.
5. Гусейнова, Т. С. Трансформация фразеологических единиц как способ реализации газетной экспрессии: (на материале центр. газет 1990–1996 гг.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Т. С. Гусейнова. Махачкала, 1997. 24 с.
6. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке [Текст] / Н. Ф. Алефиренко. М.: Флинта, Наука, 2005. 412 с.

О. А. Воронкова

### О СООТНОШЕНИИ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ ФРАЗЕМЫ И ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ КОНЦЕПТА

Целью работы является раскрытие сущности внутренней формы фраземы и внутренней формы «фразеологического» концепта с когнитивно-семасиологической точки зрения. Теоретические и практические положения в работе имеют обоснование с позиций культурологии и когнитивной семантики.

The aim of the work is to reveal the essence of the inner form of the phraseological unit and the inner form of the phraseological concept from the cognitive-semasiological point of view. Theoretical and practical points of the work are based on the grounds of cultural science and cognitive semantics.

#### Введение

Поскольку внутренняя форма (ВФ) фраземы, в нашем понимании, является речемыслительной категорией, она по определению становится предметом исследования когнитивной фразеологии, которая занимается особым аспектом взаимодействия языка и мышления – использованием в познании знаков косвенно-производной номинации.

Научная новизна исследований в области когнитивной фразеологии определяется тем, что в ней в фокусе общей структуры системных исследований описывается континуум дискурсивного пространства фразем как синергетической совокупности гетерогенных смысловых полей. Каждому полю такого дискурсивного пространства соответствуют свои дифференциальные смыслы. Именно их синергетическим взаимодействием создается обобщённый, хотя и имплицитно представленный, смысл фраземосодержащего дискурса.

Одной из важнейших лингвокреативных категорий, находящихся в поле зрения когнитивной фразеологии, является концепт. В рамках этого направления можно выделить три основных фактора, определяющих понимание сущности «фразеологического» концепта. Первый фактор восходит к когнитивно-культурологической теории Ю. С. Степанова. Ученый рассматривает концепт как основную единицу культуры в ментальном мире человека. Ю. С. Степанов исходит из того, что русская культура – это ответвление, стадия культуры европейской, и поэтому концепты, или константные понятия, «схвачены», прежде всего, в момент их отделения от общеевропейского культурного фонда, или фона [1]. По мнению последователей Ю. С. Степанова, концепты в эпицентре коллективного языкового сознания, именно поэтому их исследование очень важно.

Если первый подход к пониманию «фразеологического» концепта прежде всего опирается на его культурологические основания, то доминантой второго служит когнитивная семантика. Потому сторонники этого подхода (Н. Ф. Алефиренко, А. Г. Золотых и др.) рассматривают «фразеологический» концепт как единицу когнитивной семантики.

Сторонники третьего подхода (Д. С. Лихачев, Е. С. Кубрякова и др.) считают, что концепт является результатом взаимодействия значения языкового знака с личным опытом человека, находящегося, однако, в рамках общей национальной ментальности. В некотором роде этот фактор объединяет в себе смысловое содержание двух предыдущих.

Как известно, существует множество дефиниций термина «концепт» (Ср.: Н. Ф. Алефиренко, А. П. Бабушкин, О. И. Быкова, В. И. Карасик, В. А. Маслова, И. А. Стернин, В. Н. Телия и др.). К выяснению специфики «фразеологического» концепта только приступают. Однако и здесь ученые сходятся в одном: фразеологические концепты служат знаковыми опосредователями во взаимоотношении человека и культуры [2]. Концепт направлен на репрезентацию того, что уже существует в культуре, хотя как единица

когнитивной лингвокультурологии существует в свёрнутом виде, несколько преобразующим лингвокультурологические реалии.

В работах, посвященных изучению концепта, выделено несколько основных признаков «фразеологического» концепта. В нашем понимании таковым его важнейшим признаком является ВФ, которая, надо полагать, сопряжена с ВФ объективирующей его фраземы.

#### Внутренняя форма фраземы и внутренняя форма концепта

А. М. Мелерович отмечает, что языковые знаки каждого уровня обладают особыми ВФ, которые соответствуют языковой сущности и способам представления соотносимых с ними денотатов [3]. Иными словами, благодаря ВФ языкового знака нашему языковому сознанию открывается суть познаваемого. «Фразеологический» концепт служит «соединительным мостиком» между мыслительным образом, обладающим культурологической ценностью, и значением фраземы. Ср.: рус. *всыпать по первое число* кому – 1. 'сильно наказать, отругать кого-л.'; 2. 'нанести жестокое поражение в бою, разгромить' (ВФ – 'всыпать, наказать') и укр. *на горіхи (на кислички, на бублики) дістанеться, на кислички дістанеться (буде, перепаде)* – 'кого-л. сильно накажут' (ВФ – 'кислиці').

По нашему убеждению, ни одна единица языка не имеет таких прочных этимологических связей с концептом, как фразема. Не случайно А. П. Бабушкин делит концепты на лексические и фразеологические [4]. И фразема, и концепт являются выражением культуры, традиций, народного и личного опыта. Для обеспечения такого функционального родства необходима особая, внутренне обусловленная связь между ВФ концепта и фраземой. Такого рода генетической «пуповиной» как раз и выступает ВФ фраземы. Она, как двуликий Янус, одним своим ликом обращена к когниции, а другим – к косвенно-производным средствам языковой системы. Эта идея заключена, в частности, в определении ВФ языкового знака, данном Н. Ф. Алефиренко: «Внутренняя форма не сводится ни к концепту, ни к эмосеме, ни к этимологическому значению. Это своего рода речемыслительный кентавр, фокусирующий в себе один из признаков (рядка наша. – О. В.) этимологического образа, модально-оценочный элемент эмосемы и отдельные смысловые гены концепта» [5]. Это общее определение ВФ, но уже в нем обнаруживается, на наш взгляд, одна из главных особенностей ВФ как лингвокогнитивной категории – ее **п р и з н а к о в о с т ь**.

Заметим, что и психологи, и логики, и лингвисты-когнитологи отмечают: роль признаков в

категоризации и концептуализации действительности переоценить невозможно. Если предположить, что ВФ фразем – это *значимый для сознания носителей языка признак (признаки) фрагмента определенной денотативной ситуации*, то можно говорить о семном статусе ВФ, если под семой понимать минимальный репрезентированный в языковой семантике признак наименованного предмета. Подтверждением этого может служить суждение Н. Ф. Алефиренко о том, что современная концепция национальной специфики фразеологических систем разных языков основывается на признании следующего: познание человеком действительности не зависит от его национальной и этнической принадлежности. При фиксации результатов познания в языке происходит определенное «упрощение» процесса познания. Результатом этого «упрощения» выступают «универсальные (разрядка наша. – О. В.) по своей природе минимальные единицы когнитивной системы – семы, а индивидуальность их комбинаций в каждом языке создает специфику их фразеологических систем и этнокультурный характер значений» [6]. Подтверждают столь важную роль признаков ВФ для познания «невидимых сторон» жизни и психологи. Так, Б. Ф. Ломов считает, что, как правило, представление о том или ином объекте формируется в процессе его многократного восприятия. Благодаря этому происходит селекция признаков объекта, их интеграция и трансформация; случайные признаки, проявляющиеся только в некоторых единичных ситуациях, отсеиваются, а фиксируются лишь наиболее характерные [7]. Аналогичные суждения высказывают и другие ученые [ср.: В. Ф. Петренко, Р. А. Солсо, А. Р. Лурия].

Итак, можно утверждать, что способность извлекать значимые признаки из фрагментов познаваемого мира есть универсальная способность человеческого мозга. Если под ВФ фраземы понимать признак (признаки), то какова его природа, как происходит выделение сознанием этого признака (признаков) из всего многообразия признаков образа мира?

А. А. Потебня считает, что ВФ знака является формой упрощения мысли, без которой наше сознание не может «схватить» мысль. Здесь нужно вспомнить о том, что фразема – это знак косвенно-производной номинации, который обозначает известное множество реалий в рамках определенной денотативной ситуации. При этом признак, выраженный фраземой, становится доминантным, так как воспроизводится нашим сознанием при всяком удобном употреблении фраземы. Например, именно благодаря обобщенному признаку ВФ (предельная, наивысшая степень проявления чего-либо) фраземы *до (самых) не-*

*чень* можно обозначать самые разные аспекты определенной денотативной ситуации.

Попытаемся понять, какую роль выполняет ВФ фраземы в процессах вербализации концепта и как ВФ фраземы соотносится с его ВФ. При этом нельзя забывать, что порождение фраземы, по мнению Ф. Джонсона-Лэрда, связано с процедурой вербализации ее ментальной модели. Исходной точкой процедуры понимания фраземы является ментальный процесс, направленный на конструирование, проверку или сохранение соответствующей ментальной модели [8]. Если так, то для начала необходимо рассмотреть саму цепочку механизма формирования образной семантики знаков вторичного наименования. Н. Ф. Алефиренко предлагает следующий алгоритм, которым мы воспользуемся: *универсально-предметный код > предметный остов > внутренняя форма > словесный образ*. Это общая схема механизма образования семантики знаков непрямой номинации. А что предшествует универсально-предметному коду (УПК)?

Очевидно, что мысль зарождается не от другой мысли, а возникает в сфере наших побуждений, чувствований, т. е. там, где есть стимул для самой мысли. По мнению ученых, таким стимулом может быть мотив. Предположим, в качестве мотива к речепроизводству может быть потребность передать определенное представление о некотором явлении действительности. Это представление о реалии плюс субъективные знания, отношение, оценки определенным образом систематизируются в виде когнитивной структуры. Далее происходит развертывание замысла в определенную смысловую структуру типа «кто-то сделал что-то». Это информационное образование, еще не закрепленное в определенных словах и рассчитанное на задуманное воздействие: например оценка действий кого-либо. Вот здесь, как нам кажется, ВФ, вобрав в себя УПК и предметный остов, становится базой для формирования словесного образа. При этом на формулирующем этапе ассоциативно-смысловая структура получает лексическое и грамматическое оформление. Например, способность человека очень быстро передвигаться, бежать, мчаться приобретает предметный остов-образ, в пределах которого кодируется следующее схематичное содержание: «субъект может или будет передвигаться с большой скоростью». Это программа будущего предметного действия, но зрительный образ еще не сформировался, так как он развивается в дискурсивной деятельности вместе с выбором определенной речевой структуры. Ср.: *во всю прыть, сломя голову, во весь дух, во все лопатки, что есть духу, что есть силы*. Пока еще мысль словесно не оформлена, поэтому предметный остов на данном этапе остается её основным компо-

нением, так как носитель языка знает, какое действие он совершит или способен совершить, но не может то, что знает, сформировать в зрительный образ. Желаемая реальность становится актуальной, когда возникает наглядно-чувственный образ, который проецирует словесный образ. На данном этапе предметный остов трансформируется во ВФ. А затем уже ВФ становится стимулом для формирования словесного образа. Здесь, как нам представляется, и следует искать точки соприкосновения ВФ фраземы и ВФ концепта.

Обратимся к примеру. *Я кормлю собаку и иду, и вижу, прямо передо мною стоит телега; я к телеге и все в ней нашел – все мои кости! – Ну тут, конечно, скорей за работу? – Уж, разумеется! Я духом снял с головы Дарьи Николаевны капор, завязал в него кости и во всю прыть назад* (Лесков Н. С.). Фразема *во всю прыть* означает ‘очень быстро (бежать, ехать, мчаться)’. Стереотип ситуативно-деятельностной коммуникации этой фраземы – *кто-то очень быстро передвигается* – санкционирован в русском лингвокультурном сознании. ВФ данной фраземы можно определить как ‘идея стремительного передвижения’.

Фраземы *во всю прыть, сломя голову, во весь дух, во все лопатки, что есть духу, что есть силы* вербализуют концепт «Стремительность (движения)». У каждой из этих синонимичных фразем есть своя, «неповторимая» ВФ, которая обеспечивает фраземознаку тот или иной набор сем. Поскольку данные фраземы репрезентируют один концепт, можно предположить, что ВФ концепта значительнее и «масштабнее» ВФ фраземы.

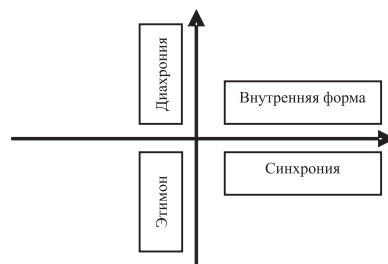
Какова же ВФ этого концепта? Мы уже упоминали о том, что Ю. С. Степанов в составе любого концепта выделяет три компонента, или три слоя: 1) основной, актуальный признак; 2) дополнительный или несколько дополнительных признаков, которые являются уже неактуальными; 3) ВФ, которая обычно уже не осознается носителями языка, но она запечатлена во внешней форме [9]. Причем ВФ концепта автор отождествляет с этимологией. Это явление наблюдается и в отношении к фраземе, и в отношении к концепту. Ю. С. Степанов помещает в один ряд «внутреннюю форму», «буквальный смысл», этимологию концепта.

Было бы более логичным не смешивать ВФ с этимологией, так как между этими категориями нет непосредственной взаимосвязи: «...главное отличие между внутренней формой и этимологией состоит в том, что последняя рассматривается преимущественно гипостазировано, безотносительно к синхронному состоянию лексического значения, в то время как внутренняя форма, будучи имманентно присущей каждому слову, для

носителя языка не всегда имеет скрытый характер, несмотря на возможное субъективирование её оттенков» [10]. В продолжение этого суждения добавим, что последняя категория – явление статичное, застывшее, а ВФ способна «жить», т. е. развиваться вслед за функциональным развитием фразеологического значения. Это справедливо и по отношению к концепту. Следует отметить, что чем больше развивается ВФ фраземы, тем более отдаленной становится её этимология.

Этимон можно расшифровать, раскрыв этимологию фраземы, т. е. обратившись к начальному этапу ее функционирования в языке, в то время как ВФ обязательно и постоянно присуща единице языка на любом этапе своего развития, изменяясь вслед за изменениями, которые происходят в языковом знаке.

Проецируя эту мысль на систему координат, ВФ расположим на горизонтальной оси, а этимологию – на оси вертикальной. ВФ проявляется в синхронии, а этимон – в диахронии:



Синхронно-диахронная характеристика ВФ и этимона

Определить этимологию концепта «Стремительность (движения)» достаточно трудно, так как для этого нужны специальные исследования дописьменной истории концепта, который, очевидно, очень давно функционирует, так как характеризует интенсивность действия чего-либо. Но даже без точных сведений можно сделать предположение, что концепт на протяжении всего периода существования с изменением реалий обрастал новыми смыслами, оценками, поэтому ВФ концепта значительно изменилась с течением времени, а этимология всегда фиксирована, не может изменяться.

В данном случае можно говорить о том, что в сознании и психике человека на протяжении многих исторических эпох происходит скачок. Еще раз подчеркнем, что этимология концепта неизменна, а вот ВФ меняется на каждом этапе его эволюции, вслед за изменениями, происходящими в ядерной и периферийных зонах. Это как нельзя лучше показывает, что отождествление ВФ и этимона и ВФ концепта, по крайней мере, не корректно.

### Заключение

Как показывает наше исследование, категория ВФ фраземы отличается от ВФ концепта масштабом, емкостью, несмотря на то что оба феномена очень близки. И концепт, и фразема аккумулируют этнокультурный и личный опыт, но все же первая категория шире понятия «фразема»: 1) один концепт может быть вербализован разными фраземами (в том числе и лексемами), у каждой из которых своя ВФ; 2) за каждым первичным фразеологическим значением стоит образ единичного явления, по отношению к которому данный словесный комплекс был первоначально употреблен в качестве окказиональной номинации, а концепт всегда характеризует целую этнокультуру, отражает содержание всей культурно-когнитивной деятельности народа. Также важно отметить, что одной из главных особенностей категории ВФ является её признак характер. Именно эта особенность даёт основание признать семный статус ВФ, который свидетельствует об универсальности категории ВФ в процессе когниции.

### Примечания

1. Степанов, Ю. С. Константы: Словарь русской культуры [Текст] / Ю. С. Степанов. Изд-е 3-е испр. и доп. М.: Академический проект, 2004. С. 11.
2. Алефиренко, Н. Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм [Текст]: монография / Н. Ф. Алефиренко. М.: «Элпис», 2008. 271. С. 73.
3. Мелерович, А. М. Семантическая структура фразеологических единиц современного русского языка [Текст] / А. М. Мелерович, В. М. Мокиенко. Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2008. С. 62.
4. Бабушкин, А. П. Сходство концептуальных «фактур» фразеологических единиц разных языков [Текст] / А. П. Бабушкин // Слово – сознание – культура: сб. науч. трудов / сост. А. Г. Золотых. М.: Флинта: Наука, 2006. С. 228–233.
5. Алефиренко, Н. Ф. Спорные проблемы семантики [Текст]: монография / Н. Ф. Алефиренко. М.: Гнозис, 2005. С. 136.
6. Алефиренко, Н. Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм. С. 74.
7. Ломов, Б. Ф. Когнитивные процессы как процессы психического отражения [Текст] / Б. Ф. Ломов // Когнитивная психология: материалы финско-советского симпозиума; отв. ред. Б. Ф. Ломов, Т. Н. Ушакова, В. А. Барабанщиков. М.: Наука, 1986. С. 16.
8. Johnson-Laird, P. N. Mental Models: Towards a Cognitive Science of Language, Inference and Consciousness [Text] / P. N. Johnson-Laird. Cambridge (Mass.), 1983. S. 331–332.
9. Степанов, Ю. С. Указ. соч. С. 46.
10. Кияк, Т. Р. Мотивированность лексических единиц (количественные и качественные характеристики) [Текст] / Т. Р. Кияк. Львов: Изд-во при Львовском ун-те издательского объединения «Вища школа», 1988. С. 12–13.

И. Ю. Гранева

### МЕСТОИМЕНИЕ «МЫ» В АСПЕКТЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ СОЗНАНИЕМ

Работа посвящена исследованию возможностей употребления русского личного местоимения *мы* с точки зрения актуальной для современной лингвистики проблемы «языкового манипулирования сознанием». Рассматриваются разные виды референтных и нереферентных употреблений местоимения *мы* в качестве средства организации «манипулятивного дискурса» и в качестве приема «языковой демагогии».

The work investigates the opportunities of usage of Russian pronoun “my” (“we”) in terms of actual for modern linguistics problem of “language manipulation with mind”. The author considers various kinds of referential and non-referential usages of pronoun “my” (“we”) as means of organization of “manipulative discourse” and as means of “language demagogu”.

В лингвистике последних лет в рамках антропологического подхода на стыке когнитивной лингвистики, лингвокультурологии и психолингвистики формируется новое направление исследований, связанное с проблемой «языкового манипулирования сознанием» [1]. В лингвистической прагматике языковое манипулирование можно рассматривать как разновидность «некооперативного поведения» (нарушения принципа кооперации речевого общения), которое возникает в результате намеренно некорректного обращения говорящего с языком с целью повлиять на мировосприятие, систему ценностей и поведение адресата.

Местоимение МЫ, с его богатыми возможностями в сфере концептуализации и оценочной интерпретации действительности, имеет давние традиции использования в разных видах так называемой «манипулятивной коммуникации» [2], что в свою очередь связано с его вхождением в разнообразные приемы «языковой демагогии» [3].

В ряде наших работ были обоснованы три основных типа употребления местоимения МЫ с точки зрения его участия в референции: это первичные референтные (обозначающие лицо, участвующее в коммуникации, и какое-либо другое лицо), вторичные референтные (когда употребляется в значении какого-либо другого личного местоимения) и нереферентные (когда оно вообще не обозначает непосредственного участника коммуникации) [4].

С теоретической точки зрения использование местоимения МЫ в манипулятивной коммуникации не представляет собой какой-либо особый тип референтного или нереферентного употреб-



ления МЫ. Это использование обычных референтных или нереферентных типов употребления МЫ – только с особой коммуникативной установкой говорящего и в особых коммуникативных условиях.

Например, первичное референтное употребление инклюзивного МЫ может быть использовано в приеме «**навязывания пресуппозиции**», когда суждение, которое в норме нуждается в доказательстве, в высказывании говорящего подается как само собой разумеющееся в «пресуппозиции». С языковой точки зрения это осуществляется путем постановки данного суждения в сегмент придаточного предложения (в этой позиции высказывание полагается истинным «по умолчанию»).

Ср., например, в «Национальном корпусе русского языка»: – *Мы с вами на своем опыте знаем, что часто нам приходится платить за медицинскую помощь дополнительно* [Анастасия Нарышкина. 1 апреля российских пенсионеров начнут лечить по-новому // «Известия», 2003.02.21 – НКРЯ]. С коммуникативной точки зрения здесь осуществляется насильственное включение адресата в круг людей, разделяющих некое мнение, которое сам адресат, может быть, и не разделяет.

Аналогично может быть рассмотрена манипулятивная функция некоторых вторичных референтных употреблений МЫ (вместо Я), например МЫ «научного», которое вполне можно трактовать как разновидность «**игры на референциальной неоднозначности**» Не всегда правомерно трактуемое в качестве «формулы скромности», реально такое МЫ может быть рассмотрено в ряду демагогических языковых приемов: ведь в этом случае происходит как бы «растворение» личной ответственности за сказанное в некоей неопределенной референтной группе лиц (это не Я проводил эксперимент и делал выводы, это неизвестные, деперсонализованные, но авторитетные «МЫ» – с них и спрашивайте!). Кстати, не случайно в иностранных, во всяком случае – в англоязычных научных публикациях уже довольно долгое время отчетливо проявляется тенденция употребления *I* вместо *we*, когда говорящий принимает на себя в высказывании личную ответственность за изложенные идеи или за проведенные эксперименты.

Именно такое, деперсонализованное МЫ вместо Я часто присутствует и в политическом, идеологическом, публицистическом типах коммуникации, где коммуникативная установка несколько иная – отождествить свою точку зрения с точкой зрения адресата, тем самым включив адресата в сферу своих идей и ценностей (МЫ в этом случае инклюзивно предполагает не только Я говорящего, но и ТЫ адресата). С точки зре-

ния классификации приемов «языковой демагогии» это можно квалифицировать как **интерпретация чужих воззрений или высказываний в соответствии со своими исходными посылаками**.

Например, в редакционной статье: *Хотя «Основы» уже интенсивно обсуждаются в церковной и светской печати, мы не хотели бы спешить с их обсуждением* [От редакции [к «Основам социальной концепции Русской Православной Церкви»] // «Альфа и Омега», 2000 – НКРЯ], – где к тому же фраза «не хотели бы спешить с обсуждением» явно демагогическая, так как входит в противоречие со всем текстом статьи, посвященной как раз обсуждению этого вопроса.

Однако наиболее значительный потенциал для манипулятивного использования предоставляют разные типы нереферентного употребления МЫ, в основном «экзистенциальные» МЫ, когда МЫ употребляется как знак принадлежности к некоему кругу «своих», «наших»: *Вот мы, русские, к обвинениям в варварстве относимся аморфно* [Рауф Ахмедов. Алексей Дундуков: «Мы перевоспитывали чеченских студентов» // «Известия», 2002.11.12 – НКРЯ].

В данном примере можно видеть одновременно и «навязывание пресуппозиции», когда проблематичное мнение подается как общеизвестный факт, и **противопоставление «видимой» и «подлинной» реальности**, которое заключается в том, что говорящий, помимо желания адресата (в нашем случае – читателей), включает их в сферу приложимости обобщенного суждения о мире. Кроме этого автор как бы присваивает себе право выражать суждение от имени всех русских, которые могли бы с ним не согласиться, если бы это суждение имело вид гипотезы, а не «вечной истины».

С коммуникативно-прагматической точки зрения во всех этих случаях говорящий тоже как бы скрывает свою личную позицию за принадлежностью к некоему авторитетному коллективному субъекту МЫ, а также вовлекает адресата, помимо его воли, в свои модальные рамки, навязывая ему свою трактовку события, свои оценки. Причем не конкретного адресата, как в первых рассмотренных случаях с референтными употреблениями МЫ, а любого: *Мы, мужчины, проводим свою жизнь глупо и бесцельно; мы убиваем ее за картами, водкой, в бессмысленных ссорах и расчетах; мы грязны и плоски, но мы и не требуем к себе никакого особенного почтения!* [Михаил Арцыбашев. Рассказ об одной пощечине (1905) – НКРЯ].

Такое МЫ создает упрощенный и однобокий образ действительности, изображая его как адекватное ее отображение (прием «**навязывания пресуппозиций**»), – оно как бы апеллирует ко «всем

живущим» и, будучи весьма экспрессивным, агрессивно навязывает свою правоту без возможности для адресата ее оспорить или отрефлексировать. Поэтому оно тоже очень напоминает прием из области языковой демагогии.

Данное манипулятивное употребление МЫ вполне коррелирует с крайне активным МЫ из прошлого, «советского дискурса» – МЫ коллективных собраний, проработок, социалистических обязательств и пр. Отметим, что включение адресата в сферу ценностей говорящего при таком употреблении МЫ происходит как бы в качестве само собой разумеющегося факта, в пресуппозиции, облигаторно («не спросив адресата»), что также делает такое МЫ явно «демагогическим» МЫ.

Существуют особые типы речи, которые целиком и полностью подчинены задачам языкового манипулирования и последовательно используют целую систему средств манипулятивной коммуникации. Такие разновидности речи мы называем **манипулятивным дискурсом**, понимая здесь под дискурсом «исторически и идеологически обусловленную языковую практику» [5]. Примером такого манипулятивного дискурса в истории является так называемый «новояз», «тоталитарный язык» [6], или «язык тоталитарного общества» [7].

В число манипулятивных стратегий этого типа дискурса входит стратегия, которая получила название «**МЫ-изложения**»: «Например, синтаксис советской эпохи характеризуется высокой активностью предложений без прямого обозначения действующего лица-субъекта: *Кому-то это выгодно; Есть мнение; Выдвигаются в качестве основных принципы диалектики* и др. В нем развивается принцип Мы-изложения (*Мы идем дорогой партии..., Нас не запугать...*), которое призвано скрывать личную ответственность за высказывание, принимая вид общего правила, непоколебимой истины, в отличие от МЫ-научного, выполняющего функцию общего правила, факта» [8].

МЫ-изложение является одним из средств намеренного устранения субъекта в пользу неопределенно-безличного изложения точки зрения на события. Это определенный комплекс приемов синтаксической организации речи, который, наряду с языковыми средствами безличности, использует замену Я говорящего на МЫ.

Так, например, в докладе М. С. Горбачева читаем: *Сегодня мы обращаемся к Октябрьским дням, которые потрясли мир, ищем и находим в них и прочную духовную опору, и поучительные уроки* [М. С. Горбачев. Октябрь и перестройка: революция продолжается – НКРЯ]. – Здесь МЫ – это все, кто разделяет наши убеждения, это прежде всего *партия*, да и весь *советский*

*народ*, которые в то время часто, по мнению П. Сериио [9], выступают контекстуальными синонимами к МЫ.

МЫ-изложение структурирует весь дискурс, композиционно оформляя его за счет параллелизма синтаксических конструкций, единоначалия разных абзацев. Текст доклада начинается и заканчивается такими конструкциями, т. е. МЫ-изложение является в нем ведущим композиционным приемом.

Однако рассмотренная стратегия МЫ-изложения не ушла в прошлое вместе с «тоталитарным языком» советской эпохи. Она регулярно воспроизводится и в современных разновидностях политического и рекламного дискурса: *В инициализированном Мальцевым послании есть такие слова: «Мы считаем, что Вы как Президент Российской Федерации должны назначать на должность глав администраций во всех субъектах Российской Федерации и освободить их от должности»* [Александр Крутов. Ванька Жуков против Конституции России // «Богатей» (Саратов), 2003.11.20 – НКРЯ]. – Вся конструкция фразы в духе МЫ-изложения носит явно манипулятивный характер, скрывая за употреблением МЫ личную ответственность говорящего за свое высказывание и придавая его речи авторитетность за счет приобщения к некоей сверхличностной ценности («не я, а мы все так считаем»).

В целом манипулятивное использование МЫ эксплуатирует важную общечеловеческую идею кооперативности, представление о фундаментальной общности людей в целом и о важных для человека объединениях людей по национальному, родовому, семейному и другому признаку, что делает это использование крайне эффективным и вместе с тем довольно неэтичным средством языковой демагогии.

#### Примечания

1. Булыгина, Т. В. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) [Текст] / Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев. М.: Языки русской культуры, 1997. 574 с.
2. Медведева, Е. В. Рекламная коммуникация [Текст] / Е. В. Медведева. М.: Едиториал УРСС, 2003. 278 с.
3. Николаева, Т. М. Лингвистическая демагогия [Текст] / Т. М. Николаева // Прагматика и проблемы интенциональности: коллективная монография. М.: Наука, 1988. С. 154–165.
4. Гранева, И. Ю. Местоимение *мы* в системе языка и в речевой деятельности [Текст] / И. Ю. Гранева // Русская речь в современном вузе: материалы III Междунар. науч.-практ. Интернет-конференции. Орел: ОГТУ, 2006. С. 43–47.
5. Чернявская, В. Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия [Текст] : учебное пособие / В. Е. Чернявская. М.: Флинта; Наука, 2006. 136 с.

6. Вежицкая, А. Язык. Культура. Познание [Текст] : пер. с англ. / А. Вежицкая; отв. ред. и сост. М. А. Кронгауз. М.: Русские словари, 1997. 416 с.

7. Купина, Н. А. Тоталитарный язык: Словарь и речевые реакции [Текст] / Н. А. Купина. Екатеринбург; Пермь: Изд-во УрГУ, 1995. 143 с.

8. Купина, Н. А. Лингвистические проблемы толерантности [Текст] / Н. А. Купина, О. А. Михайлова // Толерантность в современной цивилизации: сб. науч. трудов. Екатеринбург: УрГУ, 2001. С. 50–69.

9. Серю, П. Анализ дискурса во французской школе. Дискурс и интердискурс [Текст] / П. Серю // Семиотика: Антология / сост. Ю. С. Степанов. М.: Академический проект, 2001. С. 549–562.

М. Н. Закамулина, З. Г. Набережнова

### РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДВЕРБИАЛЬНЫХ СТРУКТУР СО ЗНАЧЕНИЕМ ТОНКАЛЬНОГО ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

В статье проводится анализ глубинного уровня адвербиальных структур, выражающих предшествование относительно иной точки отсчета, нежели момент речи, во французском и русском языках. Предметом исследования являются семантика, функционирование и референциальные особенности данных структур.

The article reveals analysis of depth level of adverbial structures, which expresses precedence relative to point of count different from the moment of speech in the French and Russian languages. The subject of research is semantic, functioning and reference characteristics of these structures.

Категория предшествования репрезентирует фрагмент макрокатегории темпоральности, основным семантическим признаком которой является соотнесение действия с моментом речи (нонкаяльная темпоральность) или с другим временным ориентиром (тонкая темпоральность). Функционально-семантическое поле темпоральности конституируется ядерными грамматическими и периферийными неглагольными (лексическими и лексико-синтаксическими) средствами выражения. Неглагольное предшествование рассматривается нами как микрополе, центром которого являются адвербиальные структуры.

Тонкая наречия указывают на временную локализацию действия относительно иной временной вехи, нежели момент речи (МР). Временной ориентир может быть представлен в виде точки отсчета, расположенной в прошлом или будущем по отношению к МР, или в виде дополнительного события. В плане выражения наречия со значением тонкого предшествования участвуют в моно- и поликомпозиционных структу-

рах. Монокомпозиционные обстоятельства представляют собой структуру Adv<sup>1</sup>D с адвербиальным компонентом в первичной синтаксической функции: *auparavant*, (*à*) *la veille*, (*à*) *l'avant-veille*, *d'abord*, *prématurément*, *précocement*, *préalablement*, *au préalable* / *накануне*, *еще раньше*, *заранее*, *загодя*, *преждевременно*, *сперва*, *сначала*, *предварительно*. Анализ именных синтагм (*à*) *la veille*, (*à*) *l'avant-veille* вместе с адвербиальными средствами объясняется тем, что данные синтагмы функционируют как наречия и чаще всего выступают в качестве обстоятельств – первичной синтаксической функции наречий.

Монокомпозиционные тонкаяльные обстоятельства имеют слабые комбинаторные способности и не употребляются в сочетании с другими частями речи, усиливающими или конкретизирующими их значение, за исключением (*à*) *la veille* и (*à*) *l'avant-veille*. Данные формы могут сочетаться с существительными, указывающими на время суток, с темпоральными существительными с детерминантом-квантитативом с предлогом (*la veille au soir*, *la veille à quatre heures*) и формируют факультативные бикомпозиционные структуры [Adv + Nt(qu)]<sup>1</sup>D.

Бикомпозиционные тонкаяльные структуры представлены двумя обстоятельственными моделями:

[Adv+Nv]<sup>1</sup>D – адвербиально-именная обстоятельная структура, выраженная наречием накануне + событийное имя (*накануне праздника*).

[Ntqu+Adv]<sup>1</sup>D – адвербиально-именная обстоятельная структура, выраженная наречием *auparavant* + темпоральное имя с квантитативом (*deux années auparavant*).

Трикомпозиционная структура [Adv+P+Nv]<sup>1</sup>D формируется с помощью наречий *la veille*, *l'avant-veille* + предлог *de* + событийное существительное (*la veille de la fête*, *l'avant-veille de la fête*) или наречий *préalablement*, *antérieurement* с предлогом *à* + нетемпоральное имя (*préalablement à*).

На поверхностно-семантическом уровне мы будем рассматривать одно из трех временных значений макрокатегории времени, имеющей тернарную расчлененность: предшествование / simultанность / следование. При анализе глубинно-семантического уровня мы исходим из посылки о том, что неглагольные показатели времени имеют сложную смысловую структуру, представленную референциальным и опорным моментом. Референциальным моментом мы будем называть частное временное значение, уточняющее временную локализацию относительно некоего опорного момента. Опорный момент – компонент, который является временным моментом или событийным фоном, рассматриваемый в качестве исходного момента, относительно которого локализуется во времени основное действие. Опорный компонент может быть двух типов:

– **исходно-опорный момент** – момент исходного опосредованного события,

– **ситуативно-опорный момент** – непосредственно-автономный отрезок или линейный интервал между исходным событием и референциальный моментом [1].

На глубинном уровне тонкальные наречия указывают на референциальный момент временной локализации по отношению к исходно-опорному моменту, который

– либо присутствует в темпоральном микроконтексте:

(1) *La veille du jour fixé pour mon départ, Alexis entra avec la main droite contusionné par un gros bloc de charbon sous lequel il avait eu la maladresse de la laisser rendre...* (H. Malot, *Sans famille*);

– либо присутствует в темпоральном макроконтексте, ближнем или дальнем:

(2) *Il était près de huit heures quand on se disposa à partir pour Ille. Mais d'abord eut lieu une scène pathétique* (P. Mérimée, *La Venus de l'Ille*),

(3) *Kaliayev, égaré. Je ne pouvais pas prévoir... Des enfants, des enfants surtout. As-tu regardé des enfants? Ce regard grave qu'ils ont parfois... Je n'ai jamais pu soutenir ce regard... Une seconde auparavant, pourtant dans l'ombre, au coin d'une petite place j'étais heureux...* (A. Camus, *Les Justes*);

– либо имплицитно указывается ситуацией макроконтеста:

(4) *Des cheveux trop longs prématurément presque tout blancs* (P. Bourget, *Disciple*).

В примере (1) исходно-опорный момент содержится в темпоральном микроконтексте в составе темпорального спецификатора в дезинтегрированном виде в качестве именной группы *le jour fixé pour mon départ*. В примере (2) исходно-опорный момент временного локализатора *d'abord* эксплицитно присутствует в ближнем макроконтексте в виде целого предложения: *Il était près de huit heures quand on se disposa à partir pour Ille*, которое может быть сведено к семантическому минимуму именным субституту *le départ*, представляющим это предложение в свернутом виде. Применяв принцип семантико-синтаксической реконструкции временных обстоятельств на основе единого семантического примитива [2], мы можем представить все имплицитное обстоятельство в следующем виде: *avant le départ pour Ille*, где *avant*, будучи самой немаркированной формой предшествования, заменяет темпоральный спецификатор *d'abord*. В соответствии с данным принципом любой показатель темпоральности можно разложить на два или три элемента (в зависимости от его глубинной структуры): (ситуативно-опорный компонент) + референциальный компонент + исходно-

но-опорный компонент. Два последних элемента обязательно присутствуют в структуре темпорального локализатора, тогда как ситуативно-опорный компонент является факультативным; так, в примере (1) присутствуют все три компонента, поскольку *la veille = un jour* (ситуативно-опорный элемент) + *avant* (референциальный элемент), а в примере (4) ситуативно-опорный момент отсутствует. Для реконструкции русских показателей предшествования мы будем использовать предлоги *до, перед* в качестве семантического примитива референциального компонента темпорального адвербиала.

Исходно-опорный момент наречия *auparavant* в примере (3) представлен в более широком контексте: имплицитно предшествующим ситуационным контекстом, а затем эксплицитно контекстом, который следует за анализируемой фразой. Все реконструируемое обстоятельство можно представить таким образом: *Une seconde avant le moment où il a vu les enfants dans la calèche du grand-duc*. Темпоральный локализатор *prématurément* в (4) имеет имплицитный макроконтэкстом исходно-опорный компонент, не выраженный эксплицитно и подразумеваемый самой ситуацией, поскольку волосы седеют в пожилом возрасте, а в примере описывается молодой человек. Исходно-опорным моментом, таким образом, является *l'age habituel, quand les gens deviennent blancs*.

Таким образом, мы видим, что исходно-опорный момент тонкальных наречий может быть выражен в микро- или макроконтексте концентрированно в виде одной синтагмы, дезинтегрированно в виде именной синтагмы, предикативного либо полупредикативного комплекса, а также presupпозирован экстралингвистической ситуацией, т. е. не выражен эксплицитно, но вытекает из ситуации макроконтеста. Если исходно-опорный момент не представлен в темпоральном микроконтексте предложения и тонкальное наречие отсылает к точке отсчета, которая находится в зафразовом контексте, то такое наречие выполняет анафорическую функцию [примеры (2), (3)].

Рассмотрим семантические особенности отдельных тонкальных наречий.

Наречия *la veille, l'avant-veille / накануне* участвуют в двух структурах, выражающих отношения тонкального предшествования, и репрезентируют совпадение референциального и ситуативно-опорного моментов, поскольку указывают на предшествование исходному моменту и одновременно на временной интервал между точкой отсчета и произошедшим событием. Данные формы в монокомпозиционной структуре являются анафорой и отсылают к исходно-опорному моменту, находящемуся в другом предложении либо имплицитному контексту:

(5) *Cependant, Martine ruminait un autre projet, qui était de décider le docteur à reprendre sa clientèle. Elle finit par en parler à Clotilde, qui, tout de suite, lui montra les difficultés, l'impossibilité presque matérielle d'une pareille tentative. Justement, elle en avait causé avec Pascal, la veille encore* (E. Zola, *le Docteur Pascal*).

(6) *Батюшка не любил переменять намерения свои, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги* (А. Пушкин, *Капитанская дочка*).

Исходно-опорный момент этой структуры выражен в ближнем предшествующем контексте и может быть репрезентирован фразами: *le jour où Martine parla à Clotilde de son projet* и *день, когда отец назначил отъезд сына*. Мы можем представить рассматриваемые обстоятельства в следующем виде: *un jour avant le moment où Martine parla à Clotilde de son projet* и *за один день до того, как отец назначил отъезд сына*.

Бикомпозитная структура [Adv+N] с наречиями (*à la veille, l'avant-veille / накануне*) включает в себе исходно-опорный момент, выраженный нетемпоральным именем: (7) *Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии...* (А. Чехов, *Тайный советник*). Подобные адвербиалы являются определенно-фиксированными детерминантами времени. Их лексическое значение в обоих языках – точное указание на конкретный день совершения действия – день, предшествующий точке отсчета, отличной от момента речи (*la veille / накануне*), и за два дня до исходного момента (*l'avant-veille*). Категориальное значение – образное указание на время действия, имевшего место непосредственно перед какими-либо событиями: (8) *Nous sommes à la veille d'une période aussi riche et aussi neuve que le fut l'ère romantique* (L. Aragon, *Crève-cœur*). В этом значении *la veille* и *l'avant-veille* выступают как синонимы, степень удаленности событий от точки отсчета не определена и может пониматься субъективно или исходя из микро- или макроконтраста. Обобщенное значение ближайшего тонкального предшествования реализуется в основном формой *à la veille de*, тогда как *la veille* имеет тенденцию к определенно-фиксированной локализации действия на временной оси.

Наречия *d'abord / сначала, вначале, сперва, поначалу* на глубинно-семантическом уровне представляют собой референциальный момент относительно исходно-опорного компонента временного локализатора, выраженного наречием со значением следования *puis, ensuite, après / затем, потом*: (9) *Et elle la détesta, d'instinct. D'abord, elle se soulagea par des allusions. Charles*

*ne les comprit pas; ensuite, par des réflexions incidentes qu'il laissait passer de peur de l'orage; enfin, par des apostrophes à brûle-pourpoint auxquelles il ne savait que répondre* (G. Flaubert, *Madame Bovary*). (10) *Сперва у нас были мимолетные встречи, а потом началась дружба* (В. Гиляровский, *Москва и москвичи*). Исходно-опорный момент может быть выражен не концентрированно одной синтагмой, а грамматически с помощью глагольной формы определенной семантики: (11) *Il se défendit d'abord de répondre, et finit par affirmer que la vie n'avait ni bon ni mauvais* (J. Verne, *Les tribulations d'un Chinois en Chine*). В последнем примере исходно-опорный момент выражен предикативным комплексом со значением следования: *finit par affirmer*. Данный темпоральный спецификатор локализует действие во времени, проявляя безразличие к признаку близости/отдаленности времени действия или состояния от исходной точки, выражая лишь общее предшествование, а также порядок, последовательность действий. Здесь мы наблюдаем синкретизм значений темпоральности и таксиса.

Наречия *d'avance, par avance, à l'avance, en avance / заранее, загодя* репрезентируют референциальный момент временного локализатора, исходно-опорный момент имплицитно представлен в зафразовом контексте. Данные наречия указывают на действие, совершенное до определенного или предустановленного момента времени. Этот исходно-опорный компонент часто не представлен эксплицитно в тексте. Во французском языке эти наречия участвуют в двух структурных моделях: [Adv]<sup>1</sup>D и [Ntqu+Adv]<sup>1</sup>D.

[Adv]<sup>1</sup>D

(12) *Rassures-toi: il ne s'agit pas plus ici de mon éloge funèbre écrit d'avance par moi-même, que d'un réquisitoire contre vous* (F. Mauriac, *Thérèse Desqueyrou*).

[Ntqu+Adv]<sup>1</sup>D

(13) *«Au même titre que pour les orages ou les tempêtes, il sera bientôt possible de prévoir un ou deux jours à l'avance l'arrivée d'un pic d'ozone sur Paris», souligne Cathy Clerbaux, chercheur au service d'aéronomie du CNRS (<http://www.lefigaro>).*

Пример (12) иллюстрирует пресуппозицию исходного момента в высказывании: *l'éloge funèbre écrit avant la mort*. Ситуативный компонент не выражен, поэтому структура указывает на общее предшествование. В примере (13) ситуативный компонент *un ou deux jours*, представленный темпоральным именем с квантитативом, указывает на определенно-фиксированную отдаленность действий от исходного момента. В русском языке наречия *заранее, загодя* реализуются только в монокомпозитной структуре

и являются неопределенно-фиксированными детерминантами предшествования, имея субъективную оценку локализации на оси времени: (14) *С Василисой Егоровной и ее мужем я еще не объяснился; но предложение мое не должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее уже были уверены в их согласии* (А. Пушкин, *Капитанская дочка*). Исходно-опорный момент в этом примере пресуппонируется контекстом и представляется в виде еще не произошедшего, но ожидаемого события: герои повести были уверены в согласии родителей до официального объяснения с ними.

Парадигматическое значение наречий *préalablement, au préalable / предварительно, заблаговременно* – за некоторое время до чего-либо. Данные формы так же, как и синонимичные им наречия *d'avance / заранее*, обозначают совершение действия ранее иного события или действия намеренно, с оттенком значения «в нужное, в надлежащее время, en temps voulu». Во французском языке *préalablement* участвует в двух структурных типах: [Adv]<sup>1</sup>D и [Adv+Nv]<sup>1</sup>D. [Adv]<sup>1</sup>D

(15) *Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel, seront tenus de faire préalablement inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles* (Code civil).

[Adv+Nv]<sup>1</sup>D

(16) *Charles-Quint persista à poser comme condition absolue de la paix sa mise en possession de la Bourgogne préalablement à la délivrance du roi.* (La vie de François I.)

Наречное выражение *au préalable* и русские эквиваленты *заблаговременно, предварительно* участвуют в односоставной структуре [Adv]<sup>1</sup>D: (17) *Il est étrange qu'après cela vous m'ayez revu à Calèse. Pourquoi ai-je toujours passé mes vacances avec vous au lieu de voyager? Je pourrais imaginer de belles raisons. Au vrai il s'agissait pour moi de ne pas faire double dépense. Je n'ai jamais cru qu'il fût possible de partir en voyage et de prodiguer tant d'argent sans avoir, au préalable, renverser la marmite et fermer la maison* (F. Mauriac, *Le noeud de vipères*). (18) [Просковья Игнатьевна] *принесла из погребца два жбана... и поставила их на стол, который предварительно накрыла синей скатертью* (Ф. Решетников, Глумовы).

На глубинном уровне в обоих языках монокомпозиционная структура с данным темпоральным спецификатором представляет собой референциальный момент, исходно-опорный момент – событие, которое находится в предшествующем контексте (часто в составе фразы) в концентрированном либо дезинтегрированном виде. В примере (15) исходно-опорный момент представлен в причастном обороте и может быть реконстру-

ирован в *la procédure du divorce*, а рассматриваемое темпоральное обстоятельство сводится к синтагме *avant le divorce*. Аналогично в примере (17) обстоятельство предшествования может быть реконструировано следующим образом: *avant de partir en voyage*. В структуре [Adv+P+Nv]<sup>1</sup>D исходно-опорный момент находится в составе группы и выражен событийным именем [пример (16)]. Ситуативно-опорный компонент отсутствует у данного временного локализатора, поэтому в обоих языках эти наречия не выражают дистантность предшествования и имеют субъективную оценку локализации действия во времени.

*Prématurément, précocement / преждевременно* характеризуют действие, происходящее, наступающее раньше надлежащего, назначенного срока, привычного времени: *avant terme, avant temps habituel*. Репрезентируя референциальный компонент, данные наречия локализуют действие во времени относительно исходно-опорного момента, представленного имплицитно в контексте самой фразы (часто семы глагола) или в зафразовом контексте: (19) *Le chant du cygne de Balzac, jeune encore, mais prématurément usé par l'angoisse, les déceptions et les veillées, sera le diptyque des Parents pauvres. Il savait qu'il jouait une grande partie* (A. Maurois, *Prométhée ou la vie de Balzac*). (20) *Спутников еще не стаф – ему сорок лет с небольшим, но он преждевременно обрюзг и отяжелел* (М. Салтыков-Щедрин, *Пошехонская старина*). Ситуативно-опорный момент не выражен в данной структуре, поэтому она является неопределенно фиксированным детерминантом предшествования.

Наречие *jusque-là* отличается сложной глубинной структурой. Данное наречие можно разложить на две составляющие: *jusqu'à ce moment-là*, где *jusque* – референциальный компонент, а *à ce moment-là* – исходно-опорный момент. Следовательно, *jusque-là* объединяет референциальный и исходно-опорный компоненты. Так, в высказывании *Hier j'ai lu un article sur les raies Manta. Je ne savais pas jusque-là que ces animaux appartenaient à la famille des élastobranches et étaient les parents les plus proches des requins* мы можем заменить темпоральный спецификатор на *jusqu'à ce moment-là* без ущерба для смысла: *Hier j'ai lu un article sur les raies Manta. Je ne savais pas jusque-là que ces animaux appartenaient à la famille des élastobranches et étaient les parents les plus proches des requins*. Тогда можно заметить, что элемент *ce moment-là* является анафорой и отсылает нас к другому исходному моменту – *bier*, который репрезентирует точку отсчета и по отношению к которому *ce moment-là* выражает simultaneity. Таким образом, *jusque-là* имеет два исходных момента – один, выраженный амальгамно с референциаль-

ным внутри синтагмы, другой находится за пределами предложения и представляет собой «архиточку», конкретную временную веху, с которой соотносится данный спецификатор предшествования. Исходно-опорный компонент отсутствует в данной структуре, поэтому она не фиксирует отдаленность/близость события от точки отсчета. Необходимо отметить, что *jusque-là* является маргинальной формой выражения тонкального предшествования, поскольку синкретично с временным значением точечного предшествования она выражает ретроспективную линейность и аспектуальное значение предела действия.

Таким образом, адвербиальные средства со значением тонкального предшествования, представленные во французском и русском языках моно- и поликомпонентными обстоятельственными моделями, имеют сложноорганизованную глубинную структуру и в своем большинстве являются анафорическими элементами с исходно-опорным компонентом, выраженным эксплицитно или имплицитно в микро- или макроконтексте. При этом в адвербиально-именной обстоятельственной структуре [Adv+Nv]<sup>D</sup> исходно-опорный момент присутствует в составе самого темпорального локализатора и выражен именем с событийной или темпоральной семантикой.

#### Примечания

1. Закамулина, М. Н. Темпоральность во французском и татарском языках: слово, высказывание, текст [Текст] / М. Н. Закамулина. Казань: Тат. кн. изд-во, 2000. С. 147–148.
2. Там же. С. 154.

Г. Р. Захарина

### ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ-ТОПОНИМОМ В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ

Статья посвящена фразеологическим единицам с элементом топонимом в английском, русском и татарском языках. Раскрывается классификация топонимов по характеру географического объекта. Большое внимание уделено лакунарным фразеологическим единицам. Автором подчеркивается, что подобные фразеологические единицы раскрывают историю, культуру и национальный характер представителей рассматриваемых языков.

The article is devoted to phraseological units with proper names, toponyms in particular in the English, Russian and Tatar languages. The classification of proper names is given and the types of toponyms are revealed. Much attention is paid to lacuna phraseological units. Their peculiarities and origin are dwelt on. The fact that lacuna units reveal history, culture and national character of native speakers is stressed.

В настоящее время представляется эффективным изучение специфики фразеологии на фоне языковых единиц, отличающихся повышенной социальностью, связью с жизнью общества. К таким единицам можно отнести имена собственные (ИС), поскольку они являются особенностью языков всех времен и народов и способны многое рассказать о прошлом и настоящем народа – носителя языка.

Ономастическое пространство охватывает широкий и разнообразный круг предметов и явлений действительности и фантазии людей. Однако далеко не каждое имя собственное становится ведущим компонентом фразеологической единицы (ФЕ). Анализ ФЕ с ИС показал, что способностью к фразеологизации обладают следующие онимы: 1) антропонимы, собственные имена людей; 2) фиктонимы, имена героев произведений; 3) теонимы, имена богов, 4) топонимы, названия географических объектов [1].

Предметом нашего исследования являются ФЕ с элементом-топонимом. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что ФЕ с компонентом-топонимом уделялось не большое внимание, они как бы находились на периферии изысканий этой области.

Было бы справедливым отметить, что реалии, обозначаемые фразеологизмами данной группы, самым тесным образом связаны с географией и историей страны, традициями, бытующими или зародившимися в данной местности, либо характерными чертами жителей отдельных областей и т. д.

Среди топонимов выделяются различные классы, такие, как гидронимы – географические названия водных объектов, оронимы – названия поднятых форм рельефа, ойконимы – названия населенных мест; микротопонимы – названия небольших объектов, обычно известные лишь ограниченному кругу людей, проживающих в определенном месте.

Отметим, что большинство ФЕ с компонентом-топонимом (за исключением ФЕ, заимствованных из священных писаний и мифологии) являются лакунарными. Единицы, характерные для одной языковой системы, но отсутствующие в другой, называются лакунарными. А. К. Байрамова определяет лакунарную единицу как такую, «которая в другом языке имеет пробел, пустоту, то есть лакуну – нулевой коррелят лакунарной единицы. Таким образом, лакунарная единица является принадлежностью одного языка, а лакуна – принадлежностью другого» [2].

В данной работе предпринята попытка выделить лакунарные ФЕ с компонентом-топонимом в английском, русском, татарском языках и проследить этимологию отдельных ФЕ. Лакунарные фразеологизмы – это фразеологи-

ческие единицы, коррелирующие с фразеологическими лакунами сопоставляемого языка. Фразеологическая лакуна – нулевой фразеологический коррелят лакунарного фразеологизма [3].

Рассматривая ФЕ исследуемых языков с компонентом-ойконимом, укажем, что значительное количество встречающихся в них географических имен являются малоизвестными или вовсе не известными. В качестве примера приведем ФЕ: два лукошка земли в Ломове – о человеке, женихе, у которого ничего нет; о невесте без приданного; хоть за нищего, да в Конищево – отдать девушку замуж по соседству недалеко от дома [Конищево – село в двух верстах от Рязани]. В английском языке с ойконимом Smithfield – название центрального мясного рынка в Лондоне, существуют следующие ФЕ: Smithfield bargain – нечестная сделка, Smithfield match – брак по расчёту. В татарском языке ФЕ Каф тавы употребляется для выражения очень далекого места, неизвестно где. Каф – ороним, название мифологической горы, которая находится очень далеко, там, где обитают нечистые силы. Как видно, все перечисленные ФЕ дают негативную характеристику указанным географическим объектам.

Названия известных крупных городов, промышленных, торговых и образовательных центров также нашли отражение во фразеологии рассматриваемых языков. Например, в татарском языке ойконим Бухара является компонентом следующих ФЕ: Бохара мәчәсе или Бохара жимеше – мулла, получивший образование в Бухаре; Бухарага барса аягын жиргә тиермәсләр иде – об очень образованном человеке, которого не ценят на родине, досл. если бы поехал в Бухару, его бы там на руках носили. В татарском языке топоним Бухара придает ФЕ высоко положительное значение [2].

Не вызывает сомнения тот факт, что в русском языке имеется ряд ФЕ с компонентом-топонимом Москва. Некоторые из них имеют негативное, пренебрежительное значение. Например, Москва слезам не верит – 1) нет веры чьим-либо сетованиям; 2) нельзя расслабляться, одними чувствами ничего не добьешься [выражение относится ко временам объединения русских земель под властью Москвы. Пополнение государственной казны в то время происходило за счет непомерных сборов с вошедших в Московское княжество народов. Тогда правители города слали челобитников в Москву с просьбой уменьшить размер податей. Посланцы часто со слезами на глазах вручали грамоты великому князю, а позже царю. Но мольбы их чаще всего оставались без внимания. Возвратившиеся домой посланцы говорили: «Москва не поверила нашим слезам»]; в Москве толсто (густо, часто) звонят, да тонко

едят – все дорого, убыточно; в Москве калачи как огонь горячи – о недоступности, несбыточности чего-либо; показать Москву в решето – обмануть, одурачить; хотел мужик с Москвы сапоги снести, да рад с Москвы голову снести – о человеке, который в результате какого-либо мероприятия не только ничего не приобрел, но и потерял то, что имел.

Однако некоторые ФЕ с топонимом Москва отражают величие города: Москва – столица, для всего мира светлица; Москва не город, а целый мир; красоту Москвы воспевают следующие ФЕ: Москва всех чудес чуднее, всех богатств милее; кто в Москве не бывал, красоты не видал.

Лакунарными для рассматриваемых языков являются ФЕ с элементом-топонимом, выделяющие определенную черту промышленности или сельского хозяйства, свойственную данному географическому объекту. Например, в английском языке: Donnybrook Fair – шумное сборище, базар; Shipshape atd Bristol fashion – в полном порядке; to grin like a Cheshire cat – человек с вечно ухмыляющейся физиономией, бессмысленно улыбающийся во весь рот [графство Чешир всегда славилось своими сырами. Клеймом фирмы, изготавливавшей один из сортов чеширского сыра, была улыбающаяся кошачья мордочка, в виде которой изображались головки сыра. Хотя данный фразеологизм появился очень давно, он стал особенно популярным после публикации книги Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»]. Или, например, русские пословицы: копна от копны, как от Ростова до Москвы и колос от колоса, как от Москвы до Ростова, употребляют при недороде; озими стелются, ровно Дунай – в этой пословице сравнением с Дунаем отмечается хороший урожай.

Лакунарность также проявляется в тех ФЕ, где в роли стержневого компонента выступает гидроним. Гидронимы могли войти в ФЕ не только благодаря экономическому значению, но и благодаря тому значению, какое та или иная река имела в истории страны и какое значение она имела лично для носителя того или иного языка. «Волга-матушка», – так говорят русские об этой реке, поэтому в русском языке практически все ФЕ с этим гидронимом имеют положительное значение. Например, божья коровка, полетай на Волгу: там тепленько, здесь холодненько – совет кому-либо удалиться. Гидронимом Дон реализуется в следующих ФЕ: Дон, Дон, а лучше дом – где бы человек ни находился, дома ему все равно лучше; жил на дому, а очутился на Дону – о человеке, внезапно потерявшем уважение, очутившемся в бегах. В этих ФЕ рассматриваемый гидроним имеет отрицательное значение. В татарском языке существует ФЕ с гидронимом Идель (в переводе на русский язык Волга), на-



пример, Идель суы илле батман – о безвкусной пище, например, о не наваристом бульоне или о не крепком чае.

Среди рассматриваемых языков с топонимом выделяются лакунарные единицы, отражающие национальные черты характера, историю, традиции и обычаи данных народов. Так, следующая русская ФЕ не имеет эквивалентов в английском и татарском языках, так как восходит к реальному историческому событию, и указывает на смежку русского народа: Белгородский кисель – ловкий обман [одним из самых распространенных блюд на Руси был кисель. Упоминание о легендарном белгородском киселе встречается в летописи XII века «Повести временных лет». Однажды Белгород осадили печенег и долго стояли под стенами крепости. У осажденных заканчивались припасы, тогда один из старцев предложил собрать все остатки муки и отрубей и сварить из них кисель, а затем вылить его в деревянный колодец и вкопать рядом бочку с остатками меда. После этого пригласили послов от печенегов для переговоров. Те увидели два бездонных колодца, дающих пропитание жителям, и сочли это за чудо; они поняли, что измором город не взять, сняли осаду и отошли от города]. Английская ФЕ to fight like a Kilkenny cat – бороться до взаимного истребления, не на жизнь, а на смерть, также не имеет эквивалента в рассматриваемых языках, следовательно, является лакунарной; [одна из версий повествует о том, что несколько солдат из стоявшего в городе Килкенни гарнизона связали для забавы двух кошек хвостами и перекинули их через бельевую веревку, чтобы понаблюдать за их дракой. Когда кто-то послал за офицером, чтобы прекратить эту жестокую забаву, один из солдат отрубил кошкам хвосты, и они разбежались. На вопрос офицера, откуда взялись окровавленные хвосты, кто-то ответил, что две кошки дрались до тех пор, пока не съели друг друга].

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что топонимы обладают множеством ассоциаций (историко-культурных, литературных), которые знакомы любому носителю языка, но неизвестны изучающему этот язык. Без семантизации культурного компонента значения топонима в составе фразеологизма страноведческая ценность топонима будет ограничиваться лишь информацией о том или ином географическом объекте, но при этом остается невоспринятым обширный пласт историко-культурных и социально-экономических ассоциаций.

Таким образом, лакунарность может проявляться на уровне топонимической лексики. История рассматриваемых фразеологических оборотов и паремий с компонентом-топонимом раскрывает многие характерные стороны англий-

ского, русского и татарского национального быта, давая более полное представление о многовековой жизни этих народов.

#### Примечания

1. Суперанская, А. В. Общая теория имени собственного [Текст] / А. В. Суперанская. Изд. 2-е, испр. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. С. 173–174.

2. Байрамова, А. К. Введение в контрастивную лингвистику [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / А. К. Байрамова. 2-е изд., доп. и перераб. Казань, 2004. С. 43–44.

3. Там же. С. 47–48.

А. А. Климкова

### СИСТЕМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МИКРОТОПОНИМИИ

В статье рассматривается нижегородская (Окско-Волжско-Сурского междуречья) микротопонимия в аспекте взаимодействия единиц в рамках микро- и макросистемы. В результате формируются различные отношения названий: тезоименность, полиименность, вариативность, сравнительность – в целом параллелизм. Параллели объединяются в дву-члены и многочлены – ряды, парадигмы, гнезда.

The author of the article investigates microtoponymy of Nizhny Novgorod region, that is the territory between the Oka, the Volga and the Sura rivers in the aspect of units' cooperation in micro- and macro- systems. As a result, different relations of names are formed: eponymy, polynymy, variativity, comparativity, that is parallelism. The parallels are united in two-member constructions, multi-member constructions, paradigms, families of words.

Микротопонимия составляет своеобразную зону имбрикации [1] – пересечения разных секторов лексического пространства в региональной языковой картине мира: апеллятивного и проприального (антропонимического, мезотопонимического, макро- и микротопонимического). В результате взаимодействия единиц разных лексических секторов создаются системные отношения.

Внутри самой микротопонимии взаимодействие единиц основывается на смежности объектов. Например, в Нижегородском Окско-Волжско-Сурском междуречье: *Бакалды*. Овраг. *Бакалды*. Лес. *Бакалды*. Поля. *Бакалды – эт овраг, ямы глыбоки. – Бакалды там глыбоки, вот и назвали так лес, Бакалды. – Вон там поля Бакалды, ямы там очень глыбоки.* (Протопоповка Арз.) [2]; *Зафелó*. Овраг. *Зафелó*. Родник. *Овраг Зафелó, а в ним ключ, тоже Зафелó назвали.* (Борисово Поле Вад.) и др. Номинация по смежности ведёт к тезоименности, или кратности, – наличию внешне одного и того же названия у

нескольких объектов как аналогу апеллятивной омонимии. Впрочем, и в проприальном пространстве различают *тезоименность* – сосуществование внешне одинаковых, однофонемных имен в одном поле, употребляющихся в связи с разными объектами, и *омонимию* – однофонемные имена как факты разных полей [3]. При этом внутрисистемная микротопонимическая тезоименность – явление более редкое, нежели внесистемная, разносистемная (внутри макросистемы).

Внутрисистемная тезоименность может быть только разнообъектной (в смысле именованности объектов разного рода), но и при ней одноименность единиц ведет к ослаблению их дифференцирующей роли: в каждом случае требуется денотативное уточнение. Ситуацию (в плане незатрудненности понимания, общения) спасает то обстоятельство, что одноименные единицы внутри микросистемы номинативно представляют пространственно близкие объекты, образующие территориальный комплекс. См. вышеприведенные примеры: *Бакалды* и др.

Внемикросистемная (внутримакросистемная) тезоименность основана не на пространственной смежности, а на общности или совпадении мотивационно-номинативной и деривационной базы при различии пропозиций, представленных в дискурсных компонентах микротопонимических комплексов. При этом тезоименность такого типа может быть и однообъектной, и разнообъектной, иначе говоря, может представлять объекты одного рода (типа) и разных. Ср. факты: *Мелёй*. Овраг. *Мелей – вершина: мелки овраги и полянки. Поляны-ти были ширóки, а по ним рүцци тёклй, а оне мелки – вот и назвали Мелёй.* (Журелейка Ард.). *Иван Грозный шёл, кони низину выбили, и река омелёла, вот и назвали Мелёй.* (Сосновка Ард.). *Телёй, Мелёй, Грүзина вершина есь. Может, Телей глубже, а Мелей мелкай.* (Сиязьма Ард.); *Межнийк*. Граница между селами. *За Межником-то поля Апраксински. Он раздилят Кистинёво ды Апраксино. Дорога эта такá. Межа.* (Кистенево Б.-Болд.); *Мёжник*. Долина. *В Мёжнике-ти лес был, за дровами туды ходили. Промеж он.* (Елховка Вад.); *Мёжнийк*. Овраг. *Там межа двух полей проходит по дну оврага, поэтому и Межнийк.* (Вад.)

Помимо тезоименности проявляется внутримикросистемная полиименность, полионимия – наличие у одного объекта нескольких названий как своеобразный аналог апеллятивной синонимии. Это особая ономастическая, топонимическая синонимия, опирающаяся на тождество объекта, это сближение имен на основе отношения к одному и тому же денотату [4]. Они отражают этнические, социальные, возрастные, временные ориентации. Например: *Маслэй*. *Лáсточкин*

*кин овраг. Это мордва придумала. Мы овраг-от этот кода так Маслэй зовём, а кода Лáсточкин. Маслэй-то – красивой значит. Лáсточкин овраг зовут, потому что лáсточки там норки сибе роют в овраге-ти.* (Симанский Перв.); *Вёрхний конёц. Верё пе.* Часть улицы. *Конёц Большой улицы так зовём, потому что он в гору идёт, значит, Вёрхний конёц, иль Вёре пе. Эт уж по мордве.* (Юморга Пильн.); *Ходырёва улица. Ходырёвщина.* Нов. *Ходырёва улица-то, а тут Ходырёвщина придумали, эт молодэи выдумали так звать.* (Ковакса Арз.); *Левóнова Барщина.* Стар. *Левóнов конёц.* Часть улицы. *Тот конёц назывался Левонóв: была такá барыня Левонóва. Раньше-то звалась Левонóва Барщина, а теперь Левонóв конёц. Молодэжь-ат уж не знают, что за барщина.* (Кузьмин Усад Арз.) и др. Последние две единицы, впрочем, ближе к вариативности, которая очень активна в микротопонимии. Это наличие у одного объекта нескольких однокоренных или однокомпонентных названий, отличающихся фонетически, грамматически, структурно, лексически, в том числе этимологически, или несколькими признаками одновременно. Такие единицы называют и номинативными дублетами [5]. В их числе: *Маслóвка. Мáсловка.* Улица (Беговатово Арз.); *Мелёй. Нелёй.* Овраг (Сиязьма Ард.); *Ласúха. Власúха.* Лес (Чернуха Арз.); *Гáри. Гарь.* Лес (Сарлей Д.-Конст.); *Латышóвка. Латышóнка.* Улица (Старое Иванцево Шатк.); *Маслйха. Мáслова вершина.* Овраг (Чуварлей-Майдан Ард.); *Бáнный овраг. Бáнный* (Умай Вад.); *Миляёва. Миляёвка. Миляёвка.* Речка (Измайловка Ард.); *Верхóв порядок. Верхóвский порядок. Верхóвая улица.* Улица (Саблуково Арз.) и др.

Многочисленны в регионе структурно-словообразовательные варианты – микротопонимы, отличающиеся друг от друга структурой как результатом действия разных способов, типов деривации [6]. В этом случае обычным является соотношение единиц [7]:

1. Однокомпонентный микротопоним – составной как результат атрибуции или составной – однокомпонентный как результат эллипса: *Винёкурня. Большáя Винёкурня.* Овраг. *Винёкурня есь ище дол, два ще – Мánенька Винёкурня и Большая. В Большой-ти Винёкурни кúссики есь. А Маненька поменьше. И все вместе зовём Винёкурня.* (Волчиха Арз.); *Блйжний Захвát. Захвát.* Овраг. *Один Захват ближе – Ближний Захват. А то просто Захват зовём. А что Захват – не знай.* (Крюковка Лук.)

2. Составной – однокомпонентный как результат образования морфологическим способом или заимствования: *Борйсовская дорога. Борйсовка.* В *Борисово по ей сё ходили. Вот и зовут Борйсска дорога.* (Елховка Вад.). *Зовут так потому,*

что ей ходят в Борисово село, вот те и Борисовка. (Крутой Майдан Вад.); **Чуварлэйский овраг**. **Чуварлэй**. Чуварлейской авраг, вон окол Чуварлейки. – Да, девки, Чуварлэй есь авраг. Па-старинному, па-мардовски, чай, так забут Чуварлейской авраг. (Кожино Арз.); **Яндрейна улица**. **Яндрейна**. Яндрейна улица: дароги в разны стороны идут. – Да кто знат. Тагда улицы назывались на знаменитым людям и сейчас. И Яндрейна улица так же. А па-мардовски Яндрейна. (Елизарьево Див.)

3. Составной – однокомпонентный как результат морфолого-синтаксического способа, конверсии, субстантивации: **Савино болото**. **Савино**. Болото. Называют Савино болото: Савин близ жил. – Рядом колі-то Савины жили. Так теперь и зовём Савиним. (Новодедево Гаг.); **Бакунькина гора**. **Бакунькина**. Холм. Она у нас за сёлём Бакунькина гора-то. – Всю жизнь говорят: «Вон на Бакунькину пошли за травой». (Ковакса Арз.). Горка вон – Бакунькина гора. (Никольское Арз.)

4. Составной – составной, в котором один из компонентов, чаще зависимый, образован разными словообразовательными способами или по разным словообразовательным типам: **Бебяева гора**. **Бебяевская гора**. Холм. У нас она гора-то за Бебявым. Ай, высюка гора-то! Так и прозвали Бебява гора. – Иё и Бебявска гора зовём. (Бебяево Арз.); **Салманов мост**. **Салманов мостик**. Мост. В магазин ходим через Салманов мост. Салманов строил. – Салманов делал, вот и Салманов мостик. (Китово Кр.-Окт.)

5. Однокомпонентный – однокомпонентный, образованные разными способами или по разным типам одного и того же способа: **Боровина**. **Боровинка**. Лес. Ягоды церники там раньше много было, все туды ходили, а поцему так называется – не знай: Боровина и Боровинка. – Ды раньше-ти бор был ды болото, вот Боровинкой и зовут. (Урвань Ард.)

6. Составной – составной или составной – однокомпонентный, различающиеся языковой принадлежностью, но имеющие общий корень (компонент): **Базарная дорога**. **Базарки**. Дорога. По этой дороге на базар ходили раньше, часто ходили, так и прозвали Базарная да Базарная дорога, иль Базарки. (Юморга Пильн.). [Ср.: базар и морд. ки «дорога, путь»]. **Школьная улица**. **Школянь порядка**. Улица. Эта улица окол школы. Раньше по-другому называлась: Келейка. Теперь тоже так называют, но есть и новое название: Школьная улица, или Школянь порядка. И так и так зовут. Да все зовут. (Юморга Пильн.). [школянь «школьный», порядка «порядок, ряд (линия) ровно расположенных домов» [8]]. **Сторожун кудб юр**. **Сторожка**. Место на р. Пьяне. На берегу дом стоял, а в нем сторож

жил, с тех пор и место зовут Сторожка, а то Сторожун кудб юр. Там всегда купаются. (Юморга Пильн.). [Букв. «место дома сторожа»: кудо юр «фундамент дома» [9]; рус. «сторож».]

Отношения полиименности и вариативности часто совмещаются в пределах ряда названий одного объекта. Иногда при квалификации даже трудно сделать выбор в пользу одного из явлений. И в этом случае, кажется, целесообразнее говорить о микропонимических параллелях. См.: **Большая вершина**. **Глубокая вершина**. **Долгая вершина**. **Крутая вершина**. Овраг. Большая вершина есь. Зовут и Крутой её: глубока она. Она проходит до Сакон, долга. По ней вода весной идёт. – Ну, куда подём. Ну давайте в Крутой вершину. – Глубокай её зовут тоже. В Глубоку вершину за голышками нарядненькими ходили. – А то и Долга вершина скажут. (Размазлей Ард.) Здесь при наличии в названиях общего компонента дифференцирующие адъективы представляют собой разные слова, на представляющей, апеллятивной, ступени являющиеся попарно синонимами: *большая = долгая, глубокая = крутая*. На онимическом уровне единицы целиком – разные наименования при общности опорного компонента, географического термина, которые делают возможным признание их лексическими вариантами. Введение обозначения *параллели* сглаживает категоричность квалификации.

Микропонимы одной системы могут находиться и в отношениях сравнительности, своеобразного контрастивного сопоставления, одного из проявлений закона ряда [10]. Например: **Большая Питерейка**. – **Малая Питерейка**. Ручьи. Большая Питерейка в Вадском лесу течёт, а рядом Мала Питерейка. Пересыхают летом обе. Из болота начало берёт, в Вадок впадат. (Вад); **Верхний конец**. – **Нижний конец**. Улицы. Верхний-то конец на горе, а Нижний – в низине. (Высокий Оселок Спас.); **Старый пруд**. – **Новый пруд**. Пруды. Когда вырыли Новый пруд, прежний стал Старым называться. (Завод Вад.). Вырыли Новый пруд, а этот назвали Старай. (Рогановка Серг.); и др.

Единицы, находящиеся в названных отношениях тезоименности, полионимии, вариативности (номинативной дублетности), сравнительности, составляют микропонимические параллели как внутри микросистемы, так и по отношению к единицам других микросистем [11]. Сами же перечисленные явления могут быть включены в более общие – параллелизм. Параллелизм – это наличие, сосуществование, функционирование в топонимической системе региона единиц, так или иначе соотнесенных друг с другом: по внешнему облику, целиком или в компонентах – фонетически, грамматически, структурно, деривацион-

но, мотивационно, денотативно, дефинитивно, называя один и тот же объект или разные смежные и несмежные (однотипные или разнотипные) объекты. Объединение (совокупность) параллелей создает двучлены (пары) и многочлены – ряды, парадигмы, гнезда – микротопонимические и шире – топонимические, возглавляемые тем или иным ойконимом, еще шире – онимические, с включением антропонима (антропонимов), на следующей ступени обобщения – комбинированные, комплексные (с включением апеллятивной производящей базы). Ср.: *Мозылёй*. Овраг. *Мозылёй*. Пруд. *Вершина Мозылей, и пруд в ней Мозылей*. (Круглово Ард.); *Мокорья*. Луга. *Мокорьяный дол*. Овраг. *Мокорья*. *Мокорьяный ключ*. Ручей (Вторусское Арз.); *Зобовка*. *Зобовский порядок*. Улица. *Старики говорят, Зобовы какй-то первы жили. Может, по ним называют. Зобовская вершина*. Овраг. *На Зобовке она, улица така, вот и прозывают Зобовской вершиной. Зобовский колодец*. Колодец. *Порядок-то у нас Зобовский, а его колодец-ат называют по порядку. Зобовский пруд*. А назвали пруд-то Зобовской по улице Зобовка. (Волчихинский Майдан Арз.)

Материал показывает, что в окско-волжско-сурской микротопонимии мало чисто микротопонимических гнезд, они чаще смешанные онимические или комплексные. Последнее из приведенных выше гнезд также является смешанным онимическим, так как возглавляет его антропоним – фамилия *Зобов* [12].

Редки в микросистеме одиночные наименования (эндемики), они, хотя и находятся вне гнезд, но так или иначе взаимодействуют с другими единицами, тем самым проявляя действие «закона ряда» (В. А. Никонов). Например: *Мозгалы*. Часть деревни (Малое Туманово Арз.) – одиночное название, демотивированное, с непроизводной основой, однако оно находится в отношениях полиименности с названием *Мотня*: *Что Мозгалы, что Мотня – сё одно*, а также соотносится с названиями других частей деревни, улиц. Или: *Модан*. Ручей (Мотовилово Арз.) – непроизводное, немотивированное слово, но соотносится с другими названиями ручьев и другими мордовскими по происхождению единицами: *Это мордовско названье. А пошто так назвали, не знаю. Мокеевка*. Овраг. *Мокеевка – вершина, да хто знает, что она Мокеевка*. (Чуварлей-Майдан Ард.), – имея непроизводную, немотивированную основу, микротопоним тем не менее соотносится с именами на -к(а) и ассоциативно – с фамилией *Мокеев*.

В пределах макросистемы региона образуются более или менее объемные парадигмы микротопонимических параллелей, от двучленных: *Даданы*. Часть улицы (Новое Шатк.). *Даданы*. Улица (Шутилово Перв.); *Забелинская бакалда*.

*Болото* (Кичанзино Арз.). *Забелинская дорога* (Абрамово Арз.); и др.; трехчленных: *Мотызлейка*. Речка (Бахтызино Воз.). *Мотызлейка*. Село (Мотызлей Воз.). *Мотызлейка*. Поле (Дашино Воз.); *Залёски*. Поле (Костино Вад.). *Залёский*. Поселок (Большие Бакалды Бут.). *Залёские*. Луга (Бебяево Арз.); до многочленных: *Мокрая*. Дол (Трудовое Див.). *Мокрая*. *Мокрый овраг* (Михеевка Ард.). *Мокрая*. Лес (Смирново Шатк.). *Мокрая*. Поле (Новоселки Арз.). *Мокрая*. Улица (Починки). *Мокрая*. Место у реки Тёши (Замятино Арз.). *Мокрая вершинка*. Овраг (Балахониха Арз.). *Мокрая Мастрышка*. *Сырая Мастрышка*. Овраг (Волчиха Арз.). *Мокрая поляна* (Болтино, Елховка Вад.). *Мокрая поляна* (Новоделеево Гаг.). *Мокрая поляна* (Ключищи Шатк.). *Мокрая Поляна*. Лес (Вад.). *Мокренькая вершина*. Овраг (Кошелиха Перв.). *Мокренький пруд* (Дивеев Усад Поч.). *Мокровка*. Урочище (Селема Арз.). *Мокрое*. Место в лесу (Помелиха Ард., Бебяево Арз., Крутой Майдан вад.). *Мокрое*. Овраг (Круглые Паны Див.). *Мокрое болото* (Вад.). *Мокрое Минерино*. Лес (Водоватово Арз.). *Мокрое поле* (Большая Мажарка Кр.-Окт., Смирново Шатк.). *Мокролёй*. Овраг (Стрелка Вад.). *Мокротя*. Овраг (Елховка Спас.). *Мокроськая*. Канава (Поздняково Нав.) и др.

Есть парадигмы, насчитывающие десятки и сотни параллелей, например, с компонентами и корнями слов *большой, озеро, курмыш, барский, поп, монах, монастырь, берёза, дуб* и др.

Как видно уже из перечня слов, параллели или целиком совпадают по фонемному составу, или имеют однофонемные компоненты и частично совпадающие по внешнему облику в связи со структурными различиями.

В дискурсивной части микротопонимии зачастую сосуществуют мотивационные параллели. В результате можно говорить о параллелизме микротопонимических комплексов.

Только исходя из дискурсивной части микротопонимических комплексов можно решать вопрос о вхождении единиц в ту или иную парадигму. Так, микротопонимы, включающие в себя компонент *Волков-*, входят в две парадигмы параллелей, два гнезда, одно из них отантропонимного характера, другое – отапеллятивного: 1) *Волков* (*Волк*); 2) *волк(и)* [13].

Микротопонимические объединения параллелей особенно наглядно проявляют системную организацию микротопонимии и пересечение в ней языковых систем. Именно пересекаясь в микротопонимии, различные лексические пласты – апеллятивный терминологический, апеллятивный нетерминологический, проприальный – и единицы словообразования, взаимодействуя, вступают друг с другом в различные связи и отношения,

проявляющиеся как раз в создании совокупностей, микросистем (пар, рядов, парадигм, гнезд).

#### Примечания

1. Ср.: Степанов, Ю. С. Константы: Словарь русской культуры [Текст] / Ю. С. Степанов. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Академический Проект, 2001. С. 398.
2. Названия районов Нижегородской области сокращены: Ард. – Ардатовский, Арз. – Арзамасский, Б.-Болд. – Большеболдинский, Вад. – Вадский, Воз. – Вознесенский, Гаг. – Гагинский, Див. – Дивеевский, Кр.-Окт. – Краснооктябрьский, Лук. – Лукояновский, Нав. – Навашинский, Перв. – Первомайский, Пильн. – Пильнинский, Поч. – Починковский, Серг. – Сергачский, Спас. – Спасский, Шатк. – Шатковский.
3. *Суперанская, А. В.* Общая теория имени собственного [Текст] / А. В. Суперанская. М.: Наука, 1973. С. 289–291.
4. Там же. С. 300–304. Ср. о топонимической синонимии: Никонов, В. А. Введение в топонимику [Текст] / В. А. Никонов. М.: Наука, 1965. С. 149–152.
5. *Суперанская, А. В.* Указ. соч. С. 303.
6. Ср. в области собственно топонимии: *Просвирнина, И. С.* О структурном многообразии топонимов в русском языке [Текст] / И. С. Просвирнина // Язык и этнический менталитет: сб. науч. трудов. Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. ун-та, 1995. С. 130.
7. См. о них: *Климкова, Л. А.* Микротопонимический словарь Нижегородской области (Окско-Волжско-Сурское междуречье) [Текст]: в 3 ч. / Л. А. Климкова. Арзамас: АГПИ, 2006. Ч. 1. С. 12–13.
8. Эрзянско-русский словарь [Текст] / под ред. Б. А. Серебренникова, Р. Н. Бузаковой, М. В. Мосина. М.: Русский язык, Дигора, 1993.
9. Там же.
10. Ср.: *Никонов, В. А.* Указ. соч. С. 34–36.
11. Ср. о параллелизме в отличие от синонимии в области апеллятивной диалектной лексики с отсылкой к мнению Ф. П. Филина: *Коготкова, Т. С.* Русская диалектная лексикология (состояние и перспективы) [Текст] / Т. С. Коготкова. М.: Наука, 1979. С. 98.
12. Другие иллюстрации см.: *Климкова, Л. А.* Диалектолого-ономастическая работа в вузе и школе [Текст] / Л. А. Климкова. Арзамас: АГПИ, 1987. С. 25–40.
13. См.: *Климкова, Л. А.* Нижегородская микротопонимия: разноаспектный анализ: монография [Текст] / Л. А. Климкова. Арзамас: АГПИ, 2008. С. 203.

А. В. Кожевникова

### ФЕНОМЕН ПАРАДОКСА В ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)

Статья посвящена сложному, но интересному и малоисследованному феномену «парадокс». Наличие парадоксов на разных языковых уровнях указывает на необходимость их исследования. Особое внимание в статье уделяется структурно-функциональным особенностям фразеологизмов-парадоксов и афоризмов-парадоксов.

The article is devoted to the complicated but interesting and little researched phenomenon “paradox”. The presence of the paradoxes on the different language levels points to the necessity of researching them. The special attention in the article is paid to the structural-functional features of the fixed phrases-paradoxes and aphorisms-paradoxes.

Насколько я могу судить, это один из тех несложных случаев, которые чрезвычайно трудны.

*Шерлок Холмс (А. К. Дойль)*

Тайна парадокса издавна привлекала к себе крупнейших мыслителей – от Цицерона, Аристотеля, Квинтилиана до Б. Рассела, Ж. Ж. Руссо, Ф. Ларошфуко, Г. Гейне, А. Шопенгауэра и многих других.

Парадокс – явление многогранное. Поэтому вполне закономерно, что он становился объектом изучения разных наук. В *общефилософском аспекте* его исследовали И. С. Нарский, Б. Д. Базаров, Г. Л. Брутян и др. *С точки зрения логики* парадокс анализировали Б. Рассел, Ф. Ф. Ивин, У. Куайн, А. Ешкенази, Б. П. Гинзбург, Е. Гродзинский, Г. Фреге, Г. Х. фон Вригт, Л. Витгенштейн и др. В *риторическом и эстетическом плане* внимание в своих работах парадоксу уделяли Аристотель, Цицерон, Э. Ириг, К. Брукс, С. Барнет, В. Я. Пропп, А. Н. Лук, Ж. Дюбуа, Н. Т. Федоренко, Л. И. Сокольская.

*Общелингвистические аспекты* парадокса затрагивали в своих работах В. А. Звегинцев, Н. Д. Арутюнова, В. В. Одинцов, В. Д. Девкин, Л. А. Нефедова. С точки зрения *стилистики* парадокс изучали Х. Пальяро, Х. Вильяр, К. Коморовски, В. А. Успенский, Н. Е. Шпекторова, Н. Г. Елина, Г. А. Семен, В. В. Овсянников, В. З. Санников. Некоторые лингвистические исследования были посвящены разработке отдельных свойств парадоксальных высказываний. Так, прагматикой таких высказываний занимался Б. Т. Ганеев, лексико-семантические аспекты парадокса затрагивались В. И. Карасиком, Э. Б. Темяниковой, Д. А. Крузе, спецификой функционирования парадоксов в коммуникации

интересовался П. Вацлавик, лингвокогнитивный и прагматический аспекты данного феномена анализировались Е. Ю. Жигадло.

Оперируя понятием «парадокс», каждая наука обозначает им разные явления. Для логиков парадокс есть «противоречие, полученное в результате логически формально правильного рассуждения, приводящее к взаимно противоречащим заключениям» [1]. Лингвисты же видят в парадоксе прежде всего определенную словесную композицию, которая идет вразрез с регулярными положениями языка.

Явление парадокса буквально пронизывает язык. Оно встречается практически на всех языковых уровнях, хотя часто мы этого не замечаем. Мы настолько привыкли к тому, что в письмах пишем местоимения Sie и Du с прописной буквы, что уже не воспринимаем это как нечто «противоречивое». Местоимения же, согласно общепринятым правилам, должны писаться со строчной буквы.

Парадоксальным видится ставшее распространенным в последнее время по экстралингвистическим соображениям наличие заглавной буквы в середине слов: LeserInnen, LehrerInnen. По правилам немецкой орфографии с заглавной буквы пишутся существительные, и заглавная буква стоит при этом в начале слова. В данных словах мы имеем дело с так называемой «языковой экономией», когда вместо двух слов, пишется всего одно: Leser + Leserinnen = LeserInnen; Lehrer + Lehrerinnen = LehrerInnen.

Качественное перерождение слова с переходом из одной части речи в другую бывает связано с заменой прописной буквы на строчную и, наоборот, с раздельностью и слитностью написания. Однако допускаются и некоторые колебания: auf Grund/aufgrund, an Stelle/anstelle, im Stande sein/imstande sein [2].

Если раньше столкновение на стыке морфем трех одинаковых согласных вело к сокращению одной из них: Brenn-nessel = Brennessel, Schwimm-meister = Schwimmeister, и сокращения не происходило, только если за тремя одинаковыми согласными следовал еще один согласный: Sauerstoffflasche, Pappplakat, Balletttruppe, то после проведенной реформы орфографии три одинаковых согласных на стыке морфем пишутся теперь в любом случае: Brennessel, Schwimmeister, Schnelllesen.

Примеры разнообразных парадоксов имеются также и в грамматике. Нелогичности наблюдаются в категории рода. Часто биологический род существительного вступает в противоречие с его грамматическим родом: *die Wache, das Mannequin, das Fräulein, das Mädchen, das Weib, der Weisel* (Бienenkönigin), *die Drobne* (männliche Biene).

Парадоксально употребление временных форм в несвойственной им ситуативной отнесенности. Нередки случаи использования настоящего времени для обозначения действий в прошлом с целью придания им образности и живости, приближения события к моменту речи: „*Ich bog um die Ecke und rannte über den Hof, da öffnet sich das Scheunentor und Xaver tritt heraus*“. Иногда со значением будущего или настоящего могут выступать формы прошедших времен: „*Wer war hier ohne Fabricschein?*“ – *fragt der Schaffner; Bis morgen Abend habe ich das Buch gelesen*.

С точки зрения парадоксальности интерес для исследователя представляет явление супплетивизма, когда для некоторых лексем используются части форм с другим корнем: *Stock – Stockwerke, ihr – euch, sein – war – gewesen* и т. д.

Различные отклонения на лексическом уровне обусловлены самой семантикой слова. К семантическим парадоксам относятся номинации, в которых противоречия обнаруживаются в соотношении этимологического и денотативного значений [3], т. е. слова, лексическое значение которых не совпадает со значениями мотивирующих слов. Это номинации с противоречивой внутренней формой слова: *die Lausallee* (шутл. четкий пробор, а не аллея вшей), *der Adamsapfel* (шутл. каддык, а не яблоко Адама). Примечательно, что среди таких номинаций (с асимметричным соотношением этимологического и денотативного значений) много наименований фауны и флоры: *die Meerkatze* (мартышка, а вовсе не морская кошка), *das Flusspferd* (бегемот, а не речная лошадь), *der Seebund* (тюлень), *die Seerose* (кувшинка), *die Pfingstrose* (пион).

Семантическими/концептуальными парадоксами являются номинации, для которых характерно явление энантиосемии. Одна и та же форма слова может выражать совершенно противоположные значения. Например, глагол *aufrollen* – сворачивать, разворачивать (например, ковер или знамя); *ausmustern* – признать годным/негодным для военной службы. За одним и тем же словом закрепляется противоположное концептуальное содержание.

Под семантическими/концептуальными парадоксами понимаются также номинации, обозначающие необычные новые реалии. Непривычными для носителей языка являются сами концепты, концептуальное содержание слов.

Нетипичными, а следовательно, и необычными для современного немецкого языка являются обозначения некоторых профессий женского рода. На это указывает П. Браун: «An manche Berufsbezeichnungen für Frauen werden einige Männer sich noch gewöhnen müssen: Soldatin, Pilotin, Dirigentin, Forscherin, Bischöfin, Managerin, vielleicht auch an Kettenraucherin, Catcherin,

Terroristin» [4]. Широкое распространение получили такие номинации-обозначения женщин, как *Bürgermeisterin, Botschafterin, Gewerkschafterin, Stadträtin, Ministerin, Bundestagspräsidentin, Ministerpräsidentin, Bundeskanzlerin*. Однако номинация *Bundespräsidentin* пока не употребляется в языке: как известно, женщины-президенты в Германии еще не было.

Определенный интерес для лингвистов представляют этимологические парадоксы, парадоксальность которых выявляется только при обращении к происхождению того или иного слова. Так, например, слово *идиом* первоначально в греческом обозначало человека, живущего частной жизнью (нем.: *Privatmann*), отстранившегося от общественных и государственных дел, позже у него появилось значение «невежественный», и, наконец, – «высшая степень кретинизма».

Парадоксальность свойственна оксюморонным словосочетаниям, в которых соединяются слова с семантически противоречивыми по отношению друг к другу значениями: *laute Stille, viel sagendes Schweigen, stummer Aufschrei, bäuchig-magerer Priester*. Результат слияния – новое смысловое качество.

Человеческий разум как таковой вообще склонен к нелогичному, противоречивому. Это отражается и в идиоматической речи: *auf den Ohren sitzen, zwei linke Hände haben*. Являясь знаками вторичной номинации, фразеологизмы характеризуются образно-ситуативной мотивированностью, которая связана с мировидением народа. Невероятное, фантастическое, а подчас и абсурдное допущение приводит к появлению фразеологического парадокса: *das Herz auf der Zunge tragen, jmdm. über den Mund fahren*.

Под «фразеологическим парадоксом» (ФП) понимается «нарушение определенных стереотипов категоризации действительности, происходящее таким образом, что новое направление категоризации прямо противоположно изначальному» [5].

Результаты анализа ФП, отобранных методом сплошной выборки из словарей DUDEN и *Idiomatische Redewendungen von A – Z*, показали, что основная часть фразеологических единиц (ФЕ) разговорно окрашена, т. е. в словаре имеет помету *ugs. (umgangssprachlich)* или *ugs.-salopp (umgangssprachlich-salopp)*: *in der Luft liegen (ugs.), ganz aus dem Häuschen sein (ugs.), jmdm. die Würmer aus der Nase ziehen (ugs.-salopp)*. Имеются также и стилистически нейтральные ФП: *jmdm. unter die Haut geben, seinem Herzen Luft machen, jmdm. aus dem Herzen sprechen*.

Фразеологизм представляет собой устойчивое сочетание лексем с полностью или частично переосмысленным значением [6]. Включение слов в состав фразеологизма ведет к ослаблению и пе-

реосмыслению их лексических значений, благодаря чему создается целостное значение всей ФЕ.

Важнейшими типами переосмысления в данном случае являются метафора и метонимия. В ходе анализа выяснилось, что среди ФП преобладают метафорические переосмысления: *die Beine unter die Arme nehmen* (sich sehr beeilen; schnell laufen), *zwei linke Hände haben* (ungeschickt in der praktischen Arbeit sein), *alle(s) über einen Kamm scheren* (alle(s) in gleicher Weise beurteilen bzw. behandeln).

Метонимические переосмысления также играют важную роль в группе ФП. По численности они уступают метафорическим переносам, но являются ведущими для значительного числа ФП: *das Gesicht verlieren* (das Ansehen verlieren), *ein offenes Ohr bei jmdm. finden* (bei jmdm. Verständnis für seine Lage finden).

С семантической точки зрения ФП можно разделить на несколько групп: ФП, описывающие состояние неадекватности или сумасшествия человека (*einen Furz/Fürze im Kopf haben, einen kleinen Mann im Ohr haben*); ФП, отражающие разнообразные «неспособности» человека (*mit halbem Ohr hinhören/zuhören, Tomaten auf den Augen haben*); ФП, характеризующие какое-либо действие в наивысшем (подчас преувеличенном) его проявлении (*sich ein Loch in den Bauch lachen, jmdm. raucht der Kopf*) и т. д. Все эти группы объединяет один признак – значение некоего отклонения от общепринятого, регулярного, в результате чего ФП приобретают иногда отрицательную коннотацию.

Парадоксальная образность фразеологизмов повышает активность человека при восприятии информации. Экспрессивность высказывания «*Du bist ungeschickt*» уступает экспрессивности высказывания «*Du hast zwei linke Hände*», содержащего фразеологизм. Парадокс, имеющийся во втором высказывании, провоцирует разум, побуждает к активному мышлению, познанию сути вещей и выяснению обстоятельств, при которых у человека возможно наличие двух левых рук.

Любой парадокс, будь он на орфографическом, лексическом или синтаксическом уровне, представляет собой своеобразный эксперимент над языком. В рамках слова, словосочетания или предложения соединяются понятия с совершенно противоположными значениями. В результате появляются яркие, запоминающиеся утверждения, обладающие огромным содержательным потенциалом.

Парадоксы весьма разнообразны. Порой парадоксальные утверждения закрепляются в языке и становятся сродни афоризмам – кратким, глубоким по содержанию и законченным в смысловом отношении суждениям... заключенным в образную, легко запоминающуюся форму [7].

В целом все афоризмы можно разделить на две группы: афоризмы-изречения и афоризмы-парадоксы (АП). Если афоризмы-изречения представляют собой образные, зачастую поучительные утверждения, выражающие общие истины, устои, принципы: *Zuerst spüren die Schneeglöckchen den Frühling, dann die jungen Mädchen und dann die Junggesellen Mitte vierzig* (Werner Mitsch), то афоризмы-парадоксы – это прежде всего оригинальные суждения с парадоксальным содержанием или формой, нечто совершенно новое, ошеломляющее: *Das Mitleid des Schwächlings ist eine Flamme, die nicht wärmt* (Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach); *Die menschliche Faulheit arbeitet unermüdlich* (Ernst Ferstl).

АП охватывают довольно широкий круг тем: жизнь/смерть, добро/зло, чувства, мораль, взаимоотношения людей, здоровье, свобода, война/мир и т. д. Данные темы представляют собой неоднозначные явления человеческого бытия. Это темы, которые занимают умы человечества на протяжении долгого времени, поэтому требуют нового взгляда, рассмотрения данной проблемы с неожиданной стороны: *Der Schwächling hat keine Schwächen. Schwächen sind Züge des Starken* (Peter Tille); *Gar nicht von sich reden, ist eine sehr vornehme Heuchelei* (Friedrich Wilhelm Nietzsche).

В основе АП лежат разнообразные стилистические приемы. Ведущим же является лексическая антитеза, основывающаяся на антонимах-реверсивах (термин Б. Т. Ганеева), которые, имея совершенно противоположные значения, семантически приравниваются друг к другу: *Die Faulheit ist der Fleiß der Träumer* (Werner Schneyder); *Ordnung ist ein Durcheinander, an das man sich gewöhnt hat* (Robert Lembke); *Die Tiefe der Dinge ist ihre Oberfläche* (Günter Eich). Реверсивы позволяют найти точки соприкосновения у абсолютно разных, противопоставляемых друг другу понятий: леность оказывается усердием, а глубина – поверхностностью и т. д.

Среди антонимов, лежащих в основе АП, особо следует выделить антонимы-синонимы (термин Б. Т. Ганеева); слова, на парадигматическом уровне кажущиеся синонимами и имеющие некую общность в значениях, на синтагматическом уровне начинают выступать как антонимы благодаря преувеличению небольшого несовпадения в их значениях. *Viele Menschen hinterlassen Spuren, nur wenige hinterlassen Eindrücke* (Werner Mitsch); *Man lügt wohl mit dem Munde, aber mit dem Maule, das man dabei macht, sagt man doch die Wahrheit* (Friedrich Wilhelm Nietzsche); *Unsere Kräfte können wir abmessen, aber nicht unsere Kraft* (Friedrich Wilhelm Nietzsche).

Довольно часто в парадоксах наблюдается обратный параллелизм, или хиазм, предполагающий обратное расположение элементов двух словосо-

четаний, объединенных общим членом [8]: *Merke: «Einfach so» ist gar nicht so einfach* (Werner Mitsch); *Liebe kann man nur haben, wenn man sie gibt. Liebe kann man nur geben, wenn man sie hat* (Ernst Ferstl); *Nichts ist einfacher als sich schwierig auszudrücken, und nichts ist schwieriger als sich einfach auszudrücken* (Karl Heinrich Waggerl).

В ходе анализа структур АП было установлено, что АП встречаются как на уровне простого, так и на уровне сложного предложения: *Faule Leute sind im Nichtstun viel fleißiger als andere* (Ernst Ferstl), *Die Wirklichkeit ist immer noch phantastischer als alle Phantasie* (Wolf Biermann); *Man muss schon sehr viel können, um nur zu merken, wie wenig man kann* (Karl Heinrich Waggerl), *Wer eine Schwäche für jemanden hat, macht sich für ihn stark* (Ernst Ferstl). Интересно, что среди сложноподчиненных предложений особое значение для АП имеют сложноподчиненные с придаточным условия. Это вполне закономерно, так как они наиболее ярко отражают сущность парадокса «условие противоречит выводу»: *Eigentlich weiß man nur, wenn man wenig weiß; mit dem Wissen wächst der Zweifel* (Goethe); *Wenn man ein Jahr lang schweigt, so verlernt man das Schwätzen und lernt das Reden* (Friedrich Wilhelm Nietzsche).

Язык есть непосредственное отражение нашей жизни, во всей ее противоречивости и парадоксальности. Жизнь невозможно заключить в рамки каких-то правил, норм, точно так же как невозможно это сделать и с языком, в котором каждое правило имеет свои исключения, подтверждающие само правило. Именно поэтому возникают, живут, находят отклик и понимание парадоксы. Их изучение помогает проникнуть в суть языка и в суть самой жизни.

#### Примечания

1. Большой Энциклопедический Словарь [Электронный ресурс]: <http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=paradoks>
2. Девкин, В. Д. Парадоксы в немецком языке [Текст] / В. Д. Девкин // Иностранные языки в школе. 1988. № 2. С. 15.
3. Нефедова, Л. А. Явление девиации в лексике современного немецкого языка [Текст]: монография / Л. А. Нефедова. М.: Прометей, 2002. С. 80.
4. Braun, P. Personenbezeichnungen. Der Mensch in der deutschen Sprache [Text] / P. Braun. Tübingen: Niemeyer, 1997. S. 74.
5. Гармаева, В. Д. Когнитивная природа фразеологического парадокса (англ. яз.) [Текст]: автореф. дис. ... канд. филол. наук / В. Д. Гармаева. Иркутск: ИГПИИЯ, 1997. С. 2.
6. Кунин, А. В. Фразеология современного английского языка [Текст] / А. В. Кунин. М.: Изд-во «Междунар. отношения», 1972. С. 160.
7. Федоренко, Н. Т. Афористика [Текст] / Н. Т. Федоренко, Л. И. Сокольская. М.: Наука, 1990. С. 3.
8. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов [Текст] / О. С. Ахманова. Изд. 4-е, стереотип. М.: КомКнига, 2007. С. 508.



С. П. Кушнерук

## ДОКУМЕНТНАЯ ЛИНГВИСТИКА: НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

В статье рассматривается становление документной лингвистики как быстро развивающегося теоретико-прикладного направления современного языкознания. Рассмотрено влияние параллельной реализации собственно лингвистических механизмов и унифицирующих инструментов на основные параметры основного объекта документной лингвистики – документный текст.

The focus of article is so-called documental linguistics' creation; this field is considered as a rapidly developing theoretic-and-applied branch of modern philology. Influence of parallel activity both linguistic rules and unifying instruments on the main characteristics of documental text as a principal object of documental linguistics is under examination

Необычно быстрое развитие такого направления современного языкознания, как *документная лингвистика*, обусловлено рядом различных по природе и содержанию обстоятельств. Во-первых, в систему документных отношений по мере реформирования российской системы финансово-экономических, хозяйственно-правовых, административных и других институтов вовлекалось все большее количество граждан, реализующих посредством документных инструментов свои права и обязанности в тех или иных официальных коммуникативных формах. Во-вторых, с изменением всех уровней реформируемой государственной структуры изменялась информационно-документная составляющая: рост документированных видов деятельности способствовал не только увеличению количества документов вообще, но и умножению видовых документных групп [1]. Все более широкие слои и социальные группы, ранее практически не участвовавшие в документных процессах, оказались вынужденными осваивать некоторые приемы документной коммуникации или обращаться к соответствующим специалистам. Вот только два национальных по своему масштабу явления, которые могут служить противоречивыми во многих отношениях примерами документного сопровождения процессов, имеющих экономико-правовое и социально-административное содержание: приватизационные процессы и расширение сферы налоговых операций. В-третьих, сказывается реализация интеграционных процессов: наряду с практикой профессиональных действий в российскую документную сферу пришли документные формы и единицы, принятые в европейском и североамериканском коммуникативном обиходе.

Это лишь часть обстоятельств, способствовавших формированию учебно-исследовательского

направления «Документоведение и документационное обеспечение управления», включающего такой значимый компонент, как «Документная лингвистика».

Каковы внешние, внеязыковые факторы, определяющие содержание и структуру этого современного нового и перспективного учебно-исследовательского направления? Каковы его учебные задачи и каковы прагматические основания исследовательской деятельности?

### Научные аспекты документной лингвистики

1. Развитие документной лингвистики как достаточно автономного направления современного языкознания, демонстрирующего глубину и множественность отношений, характерных для интегральных по своей сути научных направлений, несет в себе понятийно-терминологические противоречия, представляющие собой результат терминологических несоответствий. Ярким примером отражения такого несоответствия являются противоречия в определении некоторых понятий, формирующих аксиоматический уровень направления: *документ*, *документный текст*, *структура документа*. Следовательно, актуальной исследовательской задачей является формирование тезауруса базовых понятий современной документной лингвистики [2].

2. Изменения состава современных официальных деловых документов, появление новых жанровых форм, развитие видовых групп (например, рост контрактно-договорной документной парадигмы), результаты межъязыковой документной интерференции привели к изменению номенклатуры документных единиц. Расширяющийся спектр словесных документных составляющих постоянно пополняется новыми группами символьных единиц в текстах отчетных, экономических документов, например единицы этого класса становятся основными текстовыми составляющими. Исследование типологического состава невербальных документных единиц и видов взаимодействия между вербальными и невербальными документными компонентами имеет как теоретический, так и прикладной смысл. Развитие электронного документооборота усугубляет эту исследовательскую проблему, возникает необходимость в создании алгоритмов формирования гетерогенных документных текстов, входящих в документы различных функциональных классов.

3. Процесс формирования документного текста как основного лингвистического компонента документа необходимо рассматривать как сложную лингвотехнологическую процедуру, все более усложняющуюся по мере расширения круга коммуникативных задач, требующих документного оформления и сопровождения. Усложняется не только знаковая структура документных

текстов, но и система требований, предъявляемых к процессам их разработки, составления и обработки. Введение регулирующих механизмов, имеющих, чаще всего, унифицирующий или стандартизирующий характер, затрагивает не только сферы документооборота, документационного обеспечения управления, но и лингвистический уровень документной коммуникации. Разработку лингвистических унифицирующих инструментов – словарей документных единиц, документных терминологических стандартов, альбомов текстовых образцов с допустимыми дистрибутивными вариантами, лингвистических инструкций составителям и редакторам документных текстов – можно рассматривать как актуальные научно-практические задачи, имеющие комплексный характер.

4. Развитие документной коммуникации, проникновение ее элементов в недокументные речевые формы выдвигает на передний план исследование уровня лингвистической специфичности документных текстов. Какие тексты могут быть отнесены к документным? Определяют ли документный статус условия реализации текстов или некие формальные признаки, имеющие лингвистические проявления? Где начинается и где заканчивается «документность» текста? С точки зрения исследования текстовой типологии и анализа механизмов текстопостроения актуальным является изучение эффективности и характера взаимодействия собственно лингвистических и унифицирующих правил при создании документных текстов: многовариантность речевых реализаций, обеспечиваемая потенциальными языковыми возможностями, вступает в жесткий конфликт с безвариантностью унифицированных решений.

5. Системы документных средств, реализуемых в текстах, проявляют свои классифицирующие возможности не только на уровне состава и количественных параметров реализации. Обнаружение особенностей логико-семантических отношений между документными единицами различной природы является крайне актуальной исследовательской задачей, поскольку позволяет строить систему языковой классификации текстов и документов, в которые они входят. Интралингвистическая классификация документов, в отличие от регулярно применяемой функциональной [3], позволяет увидеть действительные различия документов в координатах их создания, в координатах значений тех единиц, которые создают значение документного текста в целом. При этом в очередной раз актуализируется идея создания документного тезауруса или системы тезаурусов. Теоретические и практические направления этой исследовательской задачи уже обсуждались в связи с построением оснований интралингвистической классификации

документных объектов и исследованием терминологических и других устойчивых единиц (документные клише, документные формулы), участвующих в создании текстов современных документов [4].

6. Интернационализация документной коммуникации сопровождается изменением спектра единиц, реализуемых в документных текстах. Можно говорить о двух процессах: либо документ заимствуется, переводится, адаптируется к реалиям российской коммуникативной среды, либо уже существовавший документ изменяет свои параметры (лингвистические в том числе); происходит процесс адаптации к расширению коммуникативной среды, что проявляется в некотором изменении лексико-фразеологического состава или композиционных параметров документного текста. Сопоставительное изучение документных сред, вариантности текстов, входящих в документы с одинаковыми функциональными характеристиками, является актуальной задачей, результаты решения которой интерпретируемы не только в рамках документной лингвистики, но и в сферах, исследующих управление производственными и управленческими процессами, культуру бизнес-коммуникации, организационную коммуникацию. Наиболее очевидным лексикографическим направлением деятельности в этой области является создание двуязычных словарей, включающих современные документные единицы русского и иностранных языков.

Более частные, но не менее важные исследовательские задачи документной лингвистики связаны с такими экстралингвистическими задачами документной коммуникации, как разработка методологии документных экспертиз, исследование алгоритмов управления качеством документов, изучение устных форм официально-деловой коммуникации. Широкий перечень исследовательских тем (более 90 формулировок, отражающих актуальные проекции управленческих, финансово-экономических, правовых реалий на лингво-коммуникативную сферу) представляет разнообразие связи документной лингвистики с предметными областями [5].

#### Контекст преподавания документной лингвистики

Степень потребности в специалистах коммуникативно-документного профиля хорошо демонстрируется ростом вузов, открывающих соответствующее направление: в середине 90-х гг. прошлого века число вузов, имевших специальность «Документоведение и ДОУ», не превышало 15, к концу 2007 г. вузов и филиалов, готовящих специалистов по этой комплексной специальности, более 150 [6]. Одним из значимых условий подготовки эффективного специалиста

в области современной документной коммуникации является освоение содержания дисциплины «Документная лингвистика». Создание первого в России учебного пособия потребовало не только анализа всех составляющих Государственного образовательного стандарта, но и формулирования концепции учебника с учетом содержания всех основных классов производственных и исследовательских задач, с которыми сталкивается выпускник. На начальном этапе работы над учебным пособием было принято исходное положение: курс документной лингвистики не может и не должен являться упрощенной или выборочной версией дисциплины «Функциональная стилистика». Эти дисциплины логически и методически связаны, но не имеют взаимозаменяемых качеств.

Автором настоящей статьи опубликовано учебное пособие, отражающее в своем содержании потребности реальных коммуникативных ситуаций, предлагающее системные лингвистические решения, основанные на современных технологических возможностях [7].

На начальных этапах работы над пособием учтена необходимость в нейтрализации недостаточного уровня лингвистической подготовки учащихся. Эта проблема проявляется не только в орфографических и пунктуационных навыках и умениях, но и в понимании системных языковых характеристик, в освоении основополагающих понятий, формирующих социально-коммуникативный фундамент документной деятельности: коммуникация как условие существования общества, язык и речь, виды речи, национальный и государственный языки, норма в языке и речи и другие. Содержание раздела «Лингвистические основы документной коммуникации» ориентирует на базовые понятия, отражающие дифференциацию языковых средств при их реализации в современном обществе. В этом разделе представлены основы нормирования языка и социально-коммуникативные условия в современном обществе. На первом этапе создания учебного пособия предпринимались усилия по устранению некоторой опасности, которая заключается в излишней «филологизации» материала, адресуемого учащимся, не имеющим системной лингвистической подготовки. Продуктивное взаимодействие со специалистами экономических и правовых специальностей помогло избежать этого методического недостатка.

Оправданной можно считать разработку раздела учебного пособия, учитывающего реальное разнообразие коммуникативных условий и документных реализаций, которые непосредственно влияют на лингвистические параметры документного текста как особого речевого объекта, на который оказывают воздействие и собственно

лингвистические правила, и правила экстралингвистические: условия функционирования и создания документов, реализации унифицирующих требований, сложившихся этических правил, условий и обычаев деловой культуры.

Содержание следующего раздела «Документной лингвистики» определяется необходимостью представить широкий и динамичный состав вербальных и невербальных документных средств, участвующих в построении текстов рассматриваемого типа. Парадигма документных средств зависит от сферы коммуникации. Например, активность документных текстов, включающих различные компоненты, в совокупной группе финансово-экономической документации существенно выше, чем в документах правового регулирования. Номенклатура документных средств и принципы их сочетаемости в пределах соответствующих текстов заметно определяют содержание лингвотехнологических операций, реализуемых при создании документов.

Описанием практических составляющих документной лингвотехнологии является раздел, в котором рассматриваются этапы и приемы документного редактирования, типологический анализ документных ошибок, использование традиционных и электронных инструментов в корректурке и обработке документных текстов.

Развитие документной коммуникации, высокая динамика изменения современной документальной структуры, перераспределение форм представления документной информации дают повод для представления сведений, пополняющих документную лингвистику как результат взаимодействия документной коммуникации с инновационными технологиями, прежде всего – в IT-сфере. Невозможно пройти мимо лингвистического своеобразия электронных документов, формирования субъязыка, включающего значительную долю символично-иконических элементов [8].

Развитие устных деловых форм коммуникации требует освещения проблем, связанных с лингвистическими средствами и формами представления официально-деловой информации в устных коммуникативных каналах. Лингвистика деловых совещаний, телефонных переговоров, видеоконференций и презентаций связана с новыми системами знаковых средств, с созданием метаязыка, своеобразии которого определяется уровнем специфики медийной сферы.

Перспективы развития документной лингвистики как учебной дисциплины во многом определяются инновационными направлениями документной коммуникации. Очевидна неразрывность учебных и исследовательских процессов, однако возникает определенная опасность: практика внедрения новых решений в документной коммуникации опережает темпы их теоретического обоб-

щения и учебного представления. Но первые шаги по формированию учебно-исследовательского комплекса, имя которому «Документная лингвистика», сделаны.

#### Примечания

1. Ларин, М. В. Управление документацией в организациях [Текст] / М. В. Ларин. М.: Научная книга, 2002. 288 с.

2. Кушнерук, С. П. Лингвистика документной коммуникации: теоретические аспекты [Текст] / С. П. Кушнерук. Волгоград: Волгоград. науч. изд-во, 2007. С. 214–232.

3. Кузнецова, Т. В. Делопроизводство (документационное обеспечение управления) [Текст] / Т. В. Кузнецова. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002. 384 с.

4. Кушнерук, С. П. Современный документный текст (проблемы формирования, развития и состава) [Текст] / С. П. Кушнерук. Волгоград: Волгоград. науч. изд-во, 2005. С. 176–202.

5. Кушнерук, С. П. Документная лингвистика [Текст] / С. П. Кушнерук. М.: Флинта, 2008. С. 251–254.

6. Документация в информационном обществе: современные технологии документооборота [Текст]: Доклады и сообщения XIII Междунар. науч.-практ. конф. / Росархив-ВНИИДАД. М., 2007. 359 с.

7. Кушнерук, С. П. Документная лингвистика.

8. Кушнерук, С. П. Официально-деловой документ как знаковая матрица [Текст] / С. П. Кушнерук // Знак: иконы, индексы, символы: м-лы Междунар. конф. СПб.: СПбГУ, 2005. С. 35.

О. В. Малоземлина

### НАСУЩНЫЙ ХЛЕБ КАМЧАДАЛА (НАЗВАНИЯ БЛЮД ИЗ РЫБЫ В ГОВОРАХ КАМЧАДАЛОВ)

В настоящей статье сделана попытка анализа наименований разнообразных рыбных блюд, составляющих основу питания коренного населения Камчатки, для которого рыба – это второй хлеб. Автор приходит к выводу, что для лексики, составляющей родовидовую группу «Названия блюд из рыбы» в говорах камчадалов, свойственны отношения синонимии и вариантности, что является доказательством её системного характера.

In the present research was made an attempt to analyze the naming units of fish dishes variety which form the basis of food of Kamchatka's aboriginal population for whom fish is the second bread. The author concludes that the lexical aspect of the generic-aspectual group "The naming units of fish dishes" in the Kamchatka's dialects has two main peculiarities: the first one is synonymy and the second one is variability. These peculiarities proof the systematic character of this group.

Рыба «за хлеб их почестья может».

С. П. Крашенинников

«Рыба всему голова» – так можно перефразировать известную народную мудрость применительно к коренному населению Камчатки – камчадалам, которые представляют особую этническую группу коренных жителей Камчатского края, образовавшуюся в результате ассимиляции аборигенного населения полуострова Камчатка и русских старожилов из числа казаков и крестьян-переселенцев, появившихся на Камчатке в конце XVII в. Со временем в результате постоянного межэтнического взаимодействия образовавшегося метисированного этноса появился особый язык – так называемое камчатское/камчадалское наречие.

Рыба с незапамятных времён составляет основу рациона питания жителей Камчатки. Большая часть блюд камчадалской кухни готовится из неё или с её добавлением. Квашеная (кислая), солёная, вяленая, сушёная, жареная, запечённая в русской печи или в духовом шкафу рыба употребляется в различном виде. Камчадалы едят её в любое время суток: будь то завтрак, обед или ужин. Если вас приглашают «почаевать», или «поушкать», то на столе помимо обычных «атрибутов», ассоциирующихся в нашем сознании с процессом чаепития: конфет, пряников, печенья и т. п., – вы обязательно обнаружите рыбу (*ю́колу*, *юха́лу*, *балы́к*, *строгани́ну* и др.), а также излюбленное лакомство камчадалов – пережаренную на сковороде муку, называемую *толокно́*, употребляют его, добавляя в чай, молоко или воду. Данное блюдо, по словам информантов, является очень питательным, поэтому камчадалы часто берут его с собой в дорогу, на промысел и т. д. *Толокно́, муку́ накола́жут докрасна́, добавля́ют ф кипято́к. Толокно́, за́рили муку́ и ф чай. Ја толокно́ в де́цтве воровáл, это мука́, с молоко́м, с саха́ром фкусно. Млк. Крупы́ не́ было, муку́ не́ было, толокно́ жа́рили, пи́ли чай. Толокня́ный чай – чай с толокно́м. Сбл. Толокно́ – это с ча́ем пи́ли, вот как се́йчас сухо́е молоко́.* Тгл. [1] Значение лексемы *толокно́* в говоре идентично значению в литературном языке (далее ЛЯ): «Овсяная мука, употребляемая в пищу с водой, молоком, маслом» [2].

В статье описываются и анализируются названия блюд, составляющих родовидовую группу (далее РВГ) «Блюда из рыбы» в говорах камчадалов, в которых рыба является единственным или основным компонентом.

В РВГ «Блюда из рыбы» можно выделить две большие подгруппы:

1. Блюда, готовящиеся непосредственно из рыбы (из частей рыбы или из рыбы с икрой), с использованием специй и приправ или без них.

2. Блюда из икры, с использованием приправ и без них.

Далее описание проводится в рамках указанных групп.

1. Блюда, готовящиеся непосредственно из рыбы (из частей рыбы или из рыбы с икрой), с использованием специй и приправ или без них.

Лексема *балык* имеет в ЛЯ следующее значение: «Соленая и проявленная хребтовая часть красной рыбы» [МАС, 1:59]. В говорах слово является полисемантическим: «1. Спинная часть рыбы, спинка. *Рэжут балыкí – спíнки рýбьџи, остајоца тишá – брýшóк, чясть рýбы.* Длн. *Балык – это спíнка, вёрхняја чясть рýбы знáчит.* Клч. 2. Солёная, проявленная и обязательно копчёная хребтовая часть красной рыбы». *Балык – это спервá пластáть свёрху рýбу свѣжују, посóлят, читы́ри-пять чясóф ф соли полежýт, ополоснýт, потóm на улíцэ повя́лят и ф коттýлку, и копчѐна рýба.* Квр. *Рáньшэ балык не дѣлали. Балык дѣлали – капцóна рýба.* Млк. *Дѣлали балык.* Шрм. Как показывают приведённые выше контексты, лексема *балык* употребляется в речи информантов многих частных диалектных систем, что свидетельствует о её распространённости на всей территории Камчатского края. В говорах также представлен диалектный вариант *балычок* с уменьшительно-ласкательным значением, которое реализуется посредством прибавления словообразующего аффикса *-ок* к производящей основе лексемы *балык*<sub>2</sub> [3]. *В асновóm сушýли икрý, потóm зимóй картóшку вáрят, потóm ыкрý, или јуколу, или балычѐк. Он ынóй раз дóчери помагáет, балычѐк поткíнет.* Млк. В качестве синонимичных к лексеме *балык*<sub>2</sub> в говорах функционируют собственно диалектные варианты наименования *копчѐнка : копцѐнка : копцóнка*. *Ну и брáвеньки копчѐнки. Ја úтром почајевáл.* Квр. *Из рýбы копцóнку дѣлали.* Млк. *Копцѐнка.* Ран'цэ не коптили. Сейчас коптят (Т.) [СРКН: 81]. В говорах отмечен номинативный вариант *копчѐная рýба*. *Копчѐнаја рýба. Оцýстис, засóлис, перембјес, отмáцивајес и вывѣсывајес. Коптýли опýлками, гнилýшками.* Клч.

*Брýшки : брýшóк = тешá = кѐпля : кѐпля* [4] – собственно диалектные наименования, значения которых совпадают со значением 3-й лексемы ЛЯ *брýшóк*: «1. Уменьш.-ласк. к брюхо. || Разг. шутол. Толстый живот (у человека). 2. Задний отдел тела членистоногих животных. 3. обычно мн.ч. (брюшким, -óв). Вырезка меха с брюшной части животных, а также мясо из брюшной части рыб» [МАС, 1:119–120], а также со значением слова *тѣша* в ЛЯ: «Брюшная часть белорыбицы, осетра и некоторых других рыб, идущая в пищу» [МАС, 4:364]. В говорах камчадалов отмечен и собственно диалектный оттенок значения: «Вяленая и/или копчёная брюшная часть

рыбы»: *Рэжут балыкí – спíнки рýбьџи, остајоца тишá – брýшóк, чясть рýбы.* Длн. *Кѐпля – это рýба китá, от спíнки дѣлајут, брусóк на сирѐтке. Кѐпля такá зэ, как јухáлка, пластáли по-разному. Тóлько кóску вы́резыс, кóсти. Кѐпля з брýсóком, а без брýскá – јухáлка.* Кмн. || *Капчѐнаја рýба – это брýшки.* Клч. *Кѐплю и јухáлку помóис ы посóлис, посýсыс и коптýс, так кýсаис.* Кмн. Из приведённого контекста следует, что для обозначения спинной части рыбы в говорах используется наименование *юхáлка*, синонимичное лексеме *балык*.

*Вялена : вяленка* – диалектные варианты наименования, используемые для номинации вяленой рыбы. *Рáньсе рýбу сушýли и звáли вялена. Мы рýбу вялили, вяленку дѣлали.* Млк. *Голец, вяленка была. Мы ф прошлом году навалом наготовили.* Сем' вязок было (Коз.) [СРКН: 43].

Для номинации жареной рыбы диалектоносителями используются собственно диалектные варианты наименования *жáренка : жáрена*. А рыбу жарем, называем жаренка (Кл.) [СРКН: 58]. *Ми ф прóслом годý навáлом наготóвили рýбы фсáкой. Рýбу жáрили – жáренка такáја. Мáма назáрит это мýсо, и рýбу жáрили кускáми, назывáли жáрена.* Млк. Зафиксирован номинативный вариант (составное наименование, в котором в качестве главного выступает субстантивный компонент, обозначающий родовое понятие, плюс атрибутивный, указывающий на то, из чего приготовлено блюдо, или на его качественные особенности) *рýба жáренная*. *Рýба жáренаја – жáренка.* Длн.

*Голóвки квáшенные = голóвки кýслые* – составные синонимичные диалектные наименования, обозначающие: «Квашенные в икре рыбы головы». *Ви голофки ели? Квашыны голофки – вот этим питалиша (Е.). Пол'зовалса этима квасэнами головами. С малых лет я стал употреблят. Много лет я их ел. И не замэцяю ницэо такое, не замэцяю, сто они врэдние. Приготовлял я йих: нарэзыз головы и с рыбы зэ с этой икру возмос, молоку эту и ф посуде заквасиваес их. Ну й этим я питаюс. Они оцин' фкусние ист (Т.) [СРКН: 46–47]. Рáньшэ отѐц выкáпывáл јáмки, тудá травý накладывáли, свѣжыје голóфки от рýбы, онý скýснут, посóляца. Кýслыје голóфки говорýли.* Длн. В говорах отмечена синонимичная лексема *кисло-голóв*. *Јáма вýкопат, голóфки полóжат, рят ыкрý, опáт голóфки, назывáли кислоголóф.* Сбл.

*Керхѐриц : кетхѐзуч : кинкѐруч : кипхѐруц : кирхѐрус : китхѐруч : кэтхѐруч : кытхѐруч : пихтѐрис : кетхѐруч : кинхѐруч* – наименования, заимствованные из ительменского языка, обозначающие: «1. Блюдо из квашеной несолёной рыбы. *Керхѐриц – это знáете што? Гольцóф нашолýл бес соли, внутрѐнности вýнут, занóсит бес соли. Нешалóна рýба, не тóлько голѐц. Кетхѐзучь. Гольцóф морскýх, когдá онý при-*

хóдют, их лóжут ф снeк и, когдá поткíснут, достáнут и заморáжывајут. Рéжут как колбасу. Кинкéручь – jeјó ни кáждый сјест, онá кíслаја рýба тóзе. Пýпки и спýнку снймут и заквáсывајут бес соли. Млк. Квасили рыбу ф шайбу, она малeн'ко попритухнёт. Дедушка любил кипхеруц' (М.) [СРКН: 76]. Кирхéрус – рýба несолёнаја. Млк. Приходи к нам китхэруч' ист'. Кэтхэруч'. Это заквашивали рибу (Е.) [СРКН: 76]. Старикí любíли кытхэручь, телнó (рыбная котлета с начинкой). Клч. Матъ готóвила пихтэ́рис, пихтэ́риз дeлајем из гольцá. Снацýла в зeмлю до зимы́, потóm на морóс. Нкл. || Блюдо из квашенной в икре несолёной рыбы». Кетхэруч – выдáлбливајецá коры́то, икру́ заквáшут, гольцá лóзут, фсо подзакíснет и jeдýт. Скч. Голéфки кляли в икру несолёную, квасят, а потом в эту икру целю рибу. Называют кипхеруч. Я уш ево ес' не мок (Д.) [СРКН: 76]. В говорах отмечен синоним – составное наименование *квáшeная рýба*. Старикí дáже дeлали квáшeнују рýбу для jeды́. Млк.

Для номинации же подобного рода пищи, годной для собак, используются собственно диалектные варианты *кíсла* : *кíслая*. Рýбу рáньсе заквáшивали в я́ми, кíслу дeлали, травóй застeллют и завáливат землeй. Клч. Кíсла – рýбу заквáсит в я́мке для собак. Рýпку икрáнују бросáли в я́му, дeлали кíслу. Млк. Кíслу дeлали собакам. У.-Б. Ју́колу приготóвили, кíслују приготóвили, потóm собáчкам. Млк. Данные языковые единицы имеют в говорах номинативные варианты *рýба кíсла* : *рýба кíслая*; территориальные, заимствованные из ительменского языка, синонимичные варианты наименования *хуйвýл* : *хыйвýл*; синоним *зимли́на*. Кислая рыба. – Роба па-ихиму кисла. Малeн'ка затухла. З духом була (Е.) [СРКН: 78]. Кíслују рýбу собáкам. Сáми не jeли. Кто jeјó бумдет jeсть? Я́мы дeлали, и там онá квáсилась. Длн. Собáк держáли, рýбу им заготовляли. В я́му травы́ настeлес и тудá кидáјес, свeрху закрóјес травóй. Кíслаја рýба их кормíли, хуйвýл називáјецá. Хыйвýл – кíслаја рýба, в я́му загружáјеш травы́ и рýбу тудá кидáјеш, закрóјеш и нá жиму. Спецáлно для шобáк дeлали. Квр. Зимлина (рыба). Другой сорт. Яму викопают и полозат рибу. Тозе собакам (Е.) [СРКН: 66].

*Нахолóдно* – диалектное наименование, в говорах функционирует в значении: «Отварные куски рыбы». Отвáривали рýбу и говорíли нахолóдно. Длн. Нáдо сварíть нахолóдно: вáрит картóшку в мундйáх, вы́пластајут рýбу, кускáми свáрит, стáбит на стол, назывáјут нахолóдно. Млк. Отмечен номинативный вариант *рýба нахолóдная*. В основнóм бывáјет рýба нахолóднаја. Млк. Камчадалы при приготовлении данного блюда говорят так: «сварíть рýбу

на холóдну» или «сварíть рýбу рубeжьем». «Свáрим себóдня рýбу на холóдну» – это знáчит, вáрим рýбу кускáми, íли рубeжьем, солют крутовáто. Млк. Наречие *рубeжьем* в выражении «сварíть рýбу рубeжьем», на наш взгляд, образовано от собственно диалектного существительного *рубeжóчек* в значении кусочек: Я вот эдакой рубeжочик и взяла, она увидела: «Дай! Очен', бабушка, рипки солёной хоцю» (Д.). Рубежочком ем – это когда рыбу моют, распластают, а затем рубeжочком стал резат' (Щ.) [СРКН: 151].

Для обозначения отваренной кусками рыбы (обязательно свежей) в говорах используются варианты *пáхлан* : *пахлáн*. Свежу рýбу пeрвују отвáривајут – пáхлан. Недáвно зинá (жена) вáри́ла гольцá, пáхлан називáлся. Пахлáн – фкúснаја рýба пeрваја. Млк.

В говорах функционируют вариантные наименования *плетeнка* : *плету́шки* с собственно диалектным значением: «Несолёная, плетённая травой рыба (преимущественно корюшка)». *Плетeнка* – несолóна рýба. Млк. *Плету́шки* – кóрушку плетут травóй и вeшајут на ју́кольник. Квр. Ср.: в ЛЯ лексема *плетeнка* имеет следующие значения: «Разг. 1. Плетеная корзина, сумка и т. п. 2. Продолговатый витой белый хлеб» [МАС, 3:140]. *Плету́шка* – «Прост. 1. Плетеная корзина. 2. Пвозка с плетеным кузовом» [МАС, 3:140].

*Препарáция* – собственно диалектная лексема, имеющая следующее значение: «Блюдо, приготавливаемое из отмоченной солёной головы лосося с добавлением лука, уксуса и приправ». Таку́ју препарáцију дeлајет: отмóчит гóлаву сýтки, у́трeчьком порeзатъ, лучькú, у́ксусом, постóбит минúт двáцат, хрýщик сáмый фкус. Клч.

*Прутeнка* – собственно диалектная лексема, в говорах функционирует в значении: «Нарезанная узкими полосками (прутьями) и высушенная рыба (без костей)». *Прутeнка* – нарeзýс цавы́цý ломтýями, онá сóхнет, это тóко у цавы́ци, онá так не просыхáјет: болсáја. Прутeнка, онá такá вýла, жй́рна была́, крáсна. Нарeзем jeјó как пáльцы, повeсим, вeтер jeјó продувáјет, и онá вýлица. Клч. Рýбу для сибя́ гатóвили прeснују, рeзали на пластй́нки, назывáли прутeнкой. Кзр. В говорах отмечен номинативный вариант *прутeнная ю́кола*. Дeлали из рýбы прутeнују ју́колу: пластй́ны бес костeй сушы́ли для себá, ат слóва прут. Разрeзáјут на нeсколько пруты́еф, онá не успеváјет порти́ца, по два прутá на кáждой пластй́нки. Млк.

*Пужáны* : *пузáнки* – собственно диалектные варианты со следующим значением: «Вяленая лососёвая рыба с икрой». Пужаны. Две сухие рыбы с патрохами (К.) [СРКН: 145]. Осенью онá

вялица. С кизуце два хвоста связес, подвѣсис, икра внис вздуваѣеца, з головѣ, называѣеца пузаники. Зимой икра в ней как свѣзаја. Мл.

**Солѣнка** : солѣна : шолѣна : солонка : шалѣнка : шолонка – собственно диалектные варианты наименования, используемые для номинации солёной рыбы (чаще всего заготавливаемой в бочках на зиму). Сходи за солѣнкой. Солѣнка в бочке лежит (Коз.). Покушайте солѣнки-то, а потом поцяюем. Солѣнка ешшѣ прошлѣгодняя, а свежу ешшѣ ис' нел'зя, надо сорок дней выдержат' (Д.). Солѣнка – одна пластина. Много – солѣна. Бол'сѣ некак еѣ называт'. «Даай, – гот', – накормите ео ладом шолѣной, а воду, – гот, – жапрят'те» (Т.) [СРКН: 161-162]. Солѣнка – солѣнаја рѣба в бочках, бес косятѣй. Солѣнка – јѣта солѣнаја рѣба. Солонка – в бочках рѣбу солили, онѣ в рассоли. Млк. Рѣбу абычѣно камчадалы называли шалѣнка. Длн. На рибалку обичѣно јуколу брали, хлѣп, шолонку, чай там кититѣли. Млк. Номинативный вариант **солѣная рѣба** (как показывают контексты) также активно используется диалектоносителями. В качестве слов, обозначающих сырьѣ для приготовления данного блюда, камчадалами чаще всего употребляется составное собственно диалектное наименование **пластовая рѣба**, обозначающее рыбу, разделанную вдоль хребта, с обязательным его удалением. Рыбу, разделанную таким образом, обмазывают солью и укладывают слоями в бочку: Пластовују рѣбу солили и сецас сусат. Мы пластујем и так ы вѣшајем – пластовая. Квр.

Лексема **строганѣна** в ЛЯ имеет следующее значение: «Настроганная тонкими ломтиками мороженая рыба (или мясо), употребляемая в пищу в сыром виде на Крайнем Севере» [МАС, 4:288]. В говорах она представлена вариантами **строганѣна** : **страганѣна**, значение которых идентично значению в ЛЯ. Стrogанѣна – колѣм рѣбу зимой и оставляјем самца, замаражываца донѣт. Одиѣн страгајет, а астальныје закусывајут, тагжѣ з дѣйких животных: лось, олѣнь. Голѣц нежелательнo – ѣта хѣцник. Зимник – нѣрка ноябрьскаја. Харѣус – самаја чѣстаја. Страганѣна с небo не полѣщица, с харѣуса: јѣсли немношкo перемѣрс, шкурѣ не снимајѣеца. Длн. Стrogанѣна – мѣрзлая рыба, тонко нарезанная (Е.) [СРКН: 164].

**Супѣрка** – лексема с собственно диалектным значением: «Блюдо из сваренной рыбы с икрой»: Раньсе рѣбу с ыкрой варили, супѣрка називалась. Скч.

**Сусѣнка** : сусонка : сушѣнка : шушѣнка : суцѣнка : суцѣна : сушняк – варианты лексем с собственно диалектным значением: «Высушенная в процессе жаренья в печи рыба». Сусѣли из рѣбы сусѣнку ф пѣцки. Млк. Сусонка, рѣбу ставлят ф печь, анѣ там висыхајет, и јѣјо мoжно

хранѣть лѣтом и зимой. Клч. Сусонку дѣлали так: рѣбу пластали, козей внис клали на прѣтевни, засусивали, доставали, переверасивали и снова сусѣли. Млк. Јесѣ прабанка расказывала: сусонки сусѣли – така рѣпка сусона дома. Ссн. Сушонки дѣлали – рѣбу намoжут и ф пѣцку ставят. Мoжно цѣлу пластѣну. Наломывали јѣјо, кода вѣсохнет, слoжывајут. Рѣбу вѣможут, на прѣтевнѣ, насушыш на зиму – шушонка. Млк. Суцѣнка, жарят без масла рѣбу, потом высушывајут, заготавливајут на зиму. Кзр. Суцѣна. Дѣлајут јукалу, суцѣну. Пацанѣ малыје набѣрут сушнякѣ – рѣба сушонaja – и ходют грызут. Млк. В говорах отмечены номинативные варианты **сушѣная рѣба** = **рѣба сухая**. А из лососѣ на зиму дѣлали сушонују рѣбу, не јуколу. Рѣба сушонaja – сушонка. Рѣбу сухују дѣлали с медвѣжым жѣром. Млк.

**Тѣлиска** : тѣлуски – собственно диалектные синонимичные варианты, имеющие следующие значения: «1. Кусок рыбы, очищенный от костей; филе. 2. Блюдо из высушенного рыбного филе». 1. Јуколу распластѣјес, мясо толсто сѣльно, снѣмес ѣтот кусоцек, называмјѣеца тѣлиска, от тѣла снимас, вот ы называјут тѣлиски. Слт. 2. Тѣлуски – тѣло от рѣби срезѣјут, шушат јѣво, вѣсохнет, как коруска, называјут тѣлуски. Слт.

**Тѣляжушки** – собственно диалектная лексема, в говорах функционирует в значении: «Блюдо, приготовленное из сваренных рыбьих голов и костей». Тѣляжушки – ѣто от рѣбы косточьки и голофки варят. Млк.

**Тулицѣ** : тулицѣ : тулицѣ : тулицьки – собственно диалектные варианты лексем, обозначающие: «1. Очищенная от костей рыба. Рѣбу оцѣстим, называјем тулицој. Млк. Рыбу оцѣстим. Называем тулицој. Ис тулицѣ толкли телно (Коз.) [СРКН: 174]. || Вяленая лососѣвая рыба без костей. Тулицѣ, с рѣбы кастѣй вѣнес и на крук вѣсаис сусѣть, онѣ вялица так. Кзр. Тулицьки. Вяленая рыба бес кoстѣи (Кл.) [СРКН: 174]. 2. Сушѣная мятая рыба». Тулицѣ. ѣто сушоная рыба. Еѣ сушат, мнут, а потом едят (Кл.) [СРКН: 174].

**Чюперк** : чюперка : цюперка : цюперга : чюпѣрик : цюпѣрик : цюпѣрка : цюпѣрка : цюпѣрка : цюпѣрка – собственно диалектные варианты наименования, в говоре функционируют в значении: «Очищенная от внутренностей и запечѣнная рыба». Чюперк – цѣлују рѣбу с ыкрой вмѣсте, голову, хвост отрезајут, обмазывают жѣром и полбжат на прѣтевнѣ, икру оставляјут, ксѣкѣ выкѣдывајут. Млк. Чюперка, чюпѣрик – свѣжаја рѣба, чѣрез голову вѣтаскивали внутрѣнности, окладывалось капусными листѣми и закладывалось на углѣх. Длн. Цюперка – рѣбу разрѣжут, кладут, а другѣје цѣликoм, сѣ ней ѣтром пѣли цѣй, тепѣрь фсѣ большѣ мясно. Цюперга – рѣба

сифа в духофке испекёца, потóm соли́т. Как она́, до́чка, фкúсна, цю́прик, зинка (жинка) гото́вила, је́то рѝбу брала́ и за́рила ф пѝчки. Цю́прик – жа́ренаја це́лаја (рыба), как она́ же́сть, гото́вили, как хлеп ф пѝчке. Млк. Цю́пка – заре́ная риба (Е.) [СРКН: 189]. Чю́порка – де́лајут рѝбу, отрѝжут го́лову, в бума́гу заверну́т, золо́й закро́еиш, ја́мку зде́лајут, што́б горя́чеје бы́ла. Полу́чица рѝба хоро́ша. Тгл. Рѝбу це́лико́м с ыкро́й запека́ли, цю́порка называ́ли. На цю́парку рѝбу зимо́й за́гатавля́ли, пато́м ф пѝчку на лисѝте ста́вили, па́рили, рѝбу це́лико́м запека́ли вѝме́сьте с ыкро́й. Ссн. Приведе́нные контексты явля́ются свиде́тельством того, что данное блю́до имеет большо́й ареал распро́странения: отме́чается в речи информантов, прожива́ющих в различных населѝнных пунктах полуострова.

Лексема *ю́кола* функционирует в ЛЯ в значении: «Вяленная на солнце рыба, заготавливаемая на зиму жителями Крайнего Севера и Дальнего Востока» [МАС, 4:774]. В русских говорах Камчатки значение лексемы идентично значению в ЛЯ. В говорах отмечены варианты *ю́кала* : *ю́кола* : *ю́коло*. *Ју́кала* – сушо́наја рѝба, же́о сушы́ли и же́ли, же́о разреза́ли, што́бы бы́стрѝе, же́о не соли́ли, это́ для соба́к. Пласта́ли кагда́ рѝбу, абиза́тельна убира́ли чя́сьть на ју́калу саба́кам, чю́ть акуна́ли ф тузлучѝк, што́бы му́ха не плева́ла (не оставля́ла личинки). Длн. *Ју́кала осе́нью же́ли, бра́ли рѝбу и же́о вя́лили на черда́ке, кусо́чками ре́жут и пода́јут с медвѝжим жи́ром*. Млк. *Ковды́ ми ш ней дво́ю в де́нь ју́колу жа́готовля́ли*. Гнл. *Ју́кола – сушо́наја несоле́наја рѝба*. Квр. *На зиму в основно́м ју́коло для соба́к, карта́шку, рѝбу соли́ли*. Млк. В говорах отмечен синоним – составное наименование *подвя́лая рѝба*. *Ју́кала – подвя́лаја рѝба*. Млк.

Для камчадалов существует два вида ю́колы: *едова́я* : *едо́бная* = *пруте́ная* : *прутова́я*, т. е. употребляемая в пищу людьми; и *соба́чья* = *кѝслая*, идущая на корм собакам: *Ју́кола соле́на, соба́чьја ју́кола и же́доваја*. *Ју́кола билá для соба́к, а же́о же́доваја билá*. Для себѝ то́лько ис холостой рѝбы (рыба без икры) – *же́до́бная ју́кола*. *Пруте́ная ју́кола – от сло́ва прут, разреза́јут на не́сколько пру́теф, и она́ не успева́ет по́ртица, по два пру́та на ка́ждой пласти́нки*. Млк. *Жедо́вју ју́колу пру́товой называ́ли*. Млк. *Соба́чьја ју́кола – соба́кам отдава́ли*. *Кѝслаја ју́кола – засо́хлаја, соба́к корми́ли*. *Рѝбу в ја́мах заква́шывали, кѝсло́ называ́ли ју́колой, же́ју соба́к корми́ли*. Млк.

*Јуха́л* – собственно диалектная лексема со значением: «Отварная подвяленная рыба»: *Јуха́л – рѝбу сусат и пото́м ва́рят*. Млк. *Јуха́ла* : *ю́кала* : *ю́халка*<sub>2</sub> – собственно диалектные варианты наименования, имеющие следующее значение: «Вяленая рыба, свежее ю́колы». *Јуха́-*

*ла* – это то́лько для челове́ка, она́ очень фкúснаја. Клч. *Ју́кала* – по́цсүшэ́ннаяја, *јуха́ла* – сма́зывали медвѝжим жи́ром, и она́ подвя́леннаяја. Длн. *Јуха́ла – это́ осе́нью, ка́г за́мороски пойдү́т, вя́ленаја, несѝтко засо́хнет, завя́нет свѝрху и фсе́*. *Јуха́лка* – по́зняяја рѝба, по холо́дам вя́ленаја. Клч.

2. Блю́да из икры, с использованием приправ и без них.

*Плетѝная икра́* – составное диалектное наименование, имеющее следующее значение: «Переплетѝнная травой и засушенная икра». *Икру́ плѝно́чками на тра́ву повѝсис, переплетѝм, су́си́ли* – *плѝте́ная икра́ называ́лась*. Млк.

*Икра́-пяти́мину́тка* – сложное существительное, в говорах имеет следующее значение: «Икра, приготовленная в течение пяти минут для непосредственного употребления в пищу и непригодная для длительного хранения». *Икра́-пяти́мину́тка – же́о то́лько ку́шать срáзу, за де́сять мину́т и гото́ва это́ икра́*. Млк. Диалектоносители также используют однословное наименование с идентичным значением *пяти́мину́тка*. *Пяти́мину́ток в запáс никогда́ не де́лали*. *Пяти́мину́тка – икра́, ка́ждому на фкус, кто как хо́чет*. Длн. *Икру́ соли́ли, пяти́мину́тку де́лали*. *Пяти́мину́тка – это́ икра́ с укро́пом и ча́ем, а же́ще́ когда́ рѝбу разде́лајут, и икру́ ф кипя́то́к на пять мину́т*. Млк.

В говорах функционирует лексема *икря́ник* с собственно диалектным значением: «Блю́до из икры с мукой»: *Икря́ник*. *Мука ш ыкро́й*. *Жары́ли на жы́ру (Т.)* [СРКН: 68]. Ср.: в ЛЯ лексема *икря́ник* имеет следующее значение: «Рабочий рыбных промыслов, занимающийся обработкой икры; икорный мастер» [МАС, 1:659].

*Исты́к* : *ясты́к* – варианты наименования, идентичные по значению литературному слову *ясты́к*: «Рыб. Икра осетровых и частиковых рыб в пленке, вынутая из рыбы, а также сама такая пленка» [МАС, 4:786]. В говорах отмечен и собственно диалектный оттенок: «Суше́нная в ясты́ках икра». *Јасты́ки – месо́цьки такѝ, кото́ры в рѝбе с ыкро́й*. Ссн. || *Исты́к – кишкү́ с ыкро́й сушы́ли*. Клч. *Же́сть исты́к, а там привя́зывали к осо́ке*. Млк. *Јасты́ки в осо́ки плили́*. Ссн. Наряду с обозначенными лексемами в говорах функционируют собственно диалектные варианты наименования *пелопѝлка* : *перепѝлочка*, связанные с указанным оттенком значения, а также лексемы *суше́нка*<sub>2</sub>, *со́кой*. *Жѝли пелопѝлку – икру́ сусо́ну в ясты́ках*. Ссн. *Перепѝлочкы – ясты́к сушы́ли*. *Канѝшина, му́хи там, фсе́*. *Ф ста́ром до́ме де́лали ф ко́птылке, обы́кновенная сушо́наја икра́ – сушо́нка*. Длн. *Со́кой – сушо́наја икра́ на со́нцэ*. *Со́кой – сусо́наја икра́*. Млк. На наш взгляд, варианты наименования *исты́к* : *ясты́к*; *пелопѝлка* : *перепѝлочка* = *суше́нка*<sub>2</sub> = *со́кой* си-



нонимичны описанному выше составному наименованию *плетёная икра́*.

Для обозначения жаренной с медвежьим жиром икры в говорах используются собственно диалектные вариантные лексемы *мака́рка* : *мака́рса*. *Мака́рка*, *мака́рса же́ли* – *икра́*, *медве́зый зыр*, и *ф пёчыку*. Сбл.

Большое количество приведённых в статье наименований блюд из рыбы (а это далеко не полный перечень) свидетельствует о том, что рыба составляет основу питания коренного населения Камчатки, являясь его насущным хлебом. И если мы привыкли считать вторым хлебом картофель, то у камчадалов вторым хлебом, безусловно, является рыба.

Проанализированный материал показал, что наименования блюд из рыбы представлены как общерусскими, так и собственно диалектными лексемами – словами, характерными только для камчатских говоров. Также отмечены заимствования из ительменского языка, которые на современном этапе развития языковой ситуации уже не воспринимаются диалектоносителями как «чужие», привнесённые из другого языка. Для лексик, обозначающей наименования блюд из рыбы, характерны отношения синонимии и вариантности, что является доказательством её системного характера.

#### Примечания

1. Иллюстративный материал, представленный в статье, выбран из картотеки лаборатории региональной этнолингвистики Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга (КамГУ им. Витуса Беринга), из полевых записей диалектологических экспедиций вуза, в которых традиционно участвуют студенты, аспиранты лаборатории и преподаватели, а также из Словаря русского камчатского наречия [Текст] / под ред. К. М. Браславца. Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. пед. ин-та, 1977. 195 с. (СРКН). Контексты, взятые из СРКН, приведены в том виде, в каком они представлены в Словаре.

2. Здесь и далее семантическая структура слов представлена через словарные дефиниции Словаря русского языка [Текст] : в 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Рус. яз., 1981–1984. 2980 с. (МАС). Т. 4. С. 375. Далее в скобках том и страницы указаны по этому изданию.

3. Здесь и далее полисемантические лексемы приводятся с индексами.

4. Здесь и далее через «:» приведены вариантные наименования, через «=» – синонимичные.

#### Список населённых пунктов Камчатского края и их сокращений

Ганалы – Гнл.  
Долиновка – Длн. / Д. (СРКН)  
Елизово – Е. (СРКН)  
Ключи – Клч. / Кл. (СРКН)  
Ковран – Квр.  
Козыревск – Кзр. / Коз. (СРКН)  
Коряки – К. (СРКН)

Каменское – Кмн.  
Малки – Мл.  
Мильково – Млк. / М. (СРКН) Николаевка – Нкл.  
Соболево – Сбл.  
Сокоч – Скч.  
Слаутное – Слт.  
Сосновка – Ссн.  
Тигиль – Тгл. / Т. (СРКН)  
Усть-Большерецк – У.-Б.  
Шаромы – Шрм.  
Щапино – Щ. (СРКН)

О. В. Малоземлина

### ЛЕКСИКА ПИЩИ В ГОВОРАХ КАМЧАДАЛОВ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

В настоящей статье сделана попытка сопоставительного описания диалектного материала, представленного в «Словаре русского камчатского наречия» под редакцией К. М. Браславца и картотеке лаборатории региональной этнолингвистики Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Автор приходит к выводу, что русским говорам Камчатки на современном этапе развития свойственна особая продуктивность процесса варьирования слова.

In the present research was made an attempt of the comparative description of the dialect material submitted in «Dictionary of the Russian Kamchatka's dialect» under K. M. Braslavets's edition and a card file of a laboratory of regional ethnolinguistics of the Kamchatka's state university named after Vitus Bering. The author concludes that at the present stage of development the Russian Kamchatka's dialects have a special productivity of word's variation process.

Объектом настоящего исследования является лексика пищи, составляющая лексико-семантическую группу (далее ЛСГ) «Названия пищи» в камчатских говорах, представляющих собой русские говоры метисированного населения Камчатки, сформировавшиеся вследствие межэтнической ассимиляции русских людей (носителей севернорусского наречия) и коренного населения Камчатского полуострова (ительменов, коряков, эвенов). «Специфика русских говоров камчадалов обусловлена иноязычным окружением на протяжении всей их истории: говоры формировались в тесном контакте с ительменским, эвенским и корякским языками» [1].

Предмет исследования ограничен однословными и составными наименованиями, обозначающими различную пищу в говорах камчадалов.

Целью настоящей работы является сопоставительный анализ диалектного материала, входящего в ЛСГ «Названия пищи», представленного в «Словаре русского камчатского наречия» под редакцией К. М. Браславца (далее СРКН) и картотеке лаборатории региональной этнолинг-

вистики Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга (далее Картотека) [2]. Так как объём статьи не позволяет рассмотреть весь материал, представленный в Словаре и Картотеке, мы ограничились словами, начинающимися на буквы А – Д, а также выбрали варианты и синонимичные наименования.

ЛСГ «Названия пищи» в «Словаре русского камчатского наречия» включает следующие лексические единицы: *апана* : *опана* [3]; *апушил*; *барабан* = *баркушка*; *берёзовица*; *бугачи*; *бурдук*; *вэтчинэ*; *вяленка*; *галга*; *калга*; *голец целый*; *голови квашеные* = *голови кислые*; *дихтируха* = *тихтар* : *тихтер* : *кихтер*; *затуран*; *чуна*; *затируха*.

Круг существительных, представленных в Картотеке, включает указанные наименования, а также дополнительно варианты и синонимы этих слов, не отмеченные в словаре: *апана* : *апана* : *опана*, [4] = *гуцина* = *пойло*, *опана*<sub>2</sub>; *барабан*<sub>1</sub> = *баркушка* : *баркушка*, *барабан*<sub>2</sub>; *берёзовый сок*; *бугачи* (ед. *бугач*); *бурдук*; *вяленка* : *вялена*; *галга* : *голга* : *галка* : *калга* : *галга* : *галга* : *гулага* : *булага* : *буалага*; *голови квашеные* = *голови кислые* = *кислоголов*; *тихтир* : *тихтирь* : *тихтер* : *кихтер* = *чуна* = *тих-них* = *тир-тир-тир* : *тиру-тиру-тиру* : *тру-тру* : *труту-ту* : *пр-пр-пр*; *заборуха*.

**Апана.** «Собачий корм, состоящий из вареной вяленой рыбы. В случае недостатка корма для собак варят юколу в воде и дают им сию похлебку, которая здесь называется апаной» (17, с. 365, 280) [5]. **Опана.** «Корм для собак из развареной рыбы, иногда с примесью жира; варить опану, кормить опаной» (42, с. 249). «Опана – лучшая и собакам самая приятная пища» (41, с. 254). «Кормили щенков “опаной” – похлебкой, которую варили из свежей или сухой рыбы, обязательно толченой» (53, с. 142). – И на опани собак держали (Г.). Опану собакам. Там примэш: картошка и жир нерпичий, лохтажный. Ковда корму маловато, то я варил собакам опану (Т.) [СРКН: 119]. В Картотеке имеются оба вариантные наименования с идентичным значением. *Апана* – *собакам гуцина-то*. У.-К. *Апана, собакам варили кушанье, рыбу варили, очистки картошки туда же. Пойло, или апана варили собакам. Опана для собак, рыбу варили в кастрюлине большой*. Млк. Из приведённых контекстов видно, что наряду с наименованиями *апана* : *опана*, зафиксированными в СРКН, в говорах есть синонимичные названия *гуцина* и *пойло*, а также фонематический (отличающийся качеством фонемы) вариант *апана*. В Картотеке у лексемы *опана* зафиксировано оттеночное значение: «Корм для домашнего скота». *Иди выброси опану чюшкам – это одбросы, очистки, у нас так говорят, опану. Опаны были, это на фсю жизнь,*

*эти опаны для свиней, но это белорусы привезли*. Длн.; также отмечен омоним *опана*<sub>2</sub>, используемый для обозначения корякского блюда, которое готовится следующим образом: потроха, внутренности оленя кладут в кастрюлю. Два часа мочат в этом траву, постоянно перемешивая, по мере намокания траву заменяют новой. Затем варят, добавляя жир, корни. *Опана. Внутринасьти алёня, памьтыје в вадё с травой и сваринныје*. У.-Б.

**Апушил.** Блюдо из пареных луковичных корней (см. сарана [6]). – Это сарана выкопают, а потом шпарым, йиво жакроим. А вот это апушил’ наживали (Е.) [СРКН: 24]. В Картотеке данное наименование не зафиксировано.

**Барабан.** Поджаренное на сковороде кушанье из толченой икры с мукой (42, с. 237–238). – Барабан – мука, пропичёная с ыкрой. Барабан називаица это икра, картошка. Вмести иё столкут. Ну, как липёшку жарит, толщиной два сантиметра. И вот йидят. Эд барабан (Е.). Барабан – толчёная икра, жжареная с картошкой (Коз.). Барабан – икра, потолчёная с картошкой (М.). Из риби икру витаскивают и тол’чат. И кладут туды картоски. Вместе расталцивают. И кладут укроп. И потом кладут яйца пят’ штук. Соли па фкушу. Ф пецку ставят, и оно пикоца. И подымаица, как ковришка. Эта стук називаица барабан (Кхч.) [СРКН: 28]. В Картотеке зафиксированы омонимы *барабан*<sub>1</sub> и *барабан*<sub>2</sub>. Значение лексемы *барабан*<sub>1</sub> совпадает со значением в СРКН. На современном этапе развития языковой ситуации значение конкретизируется: «Блюдо из толчёной икры с мукой или картофелем, поджаренное на сковороде, в печи или в духовом шкафу». *Барабан. Отваривают картошку пюре и туда икру рыбью, какя жесеть. Фсе толчеш и в духофку. Мы јели раньшэ с медвёжым жыром. Барабан тожэ ф пёчках, очень фкусно. Сто запеканка, но с ыкры, добавлялось сало, картошка, чем большэ сала, тем лучшэ*. Длн. *Барабан ползут ф пецку, туда лук кладут в ыкру, икру на мясорубки мелит*. Кзр. *Барабан. Икру разбитая и ф пёчке запечённая. Икру толчили и немношко муки белой, ф протвень с маслом и туды ползиши, и ф пецку*. Клч. *Икру толкли, потом в ыкру наливали молоко, солили и ставили ф пёчку*. *Барабан. Икру талкли талкушкой* (в литературном языке *пест*). *Варёнују картошку пачисъят, паложат сало, можна выжарки* (в литературном языке *шкварки*), *пацсалить и на скаваротку глубокују*. Млк. *Барабан делали, икру с картошкой тальчили, на лист* (в литературном языке *противень*) *и в духофку*. Ссн. В СРКН зафиксировано синонимичное название *барабан* слово *баркушка*. Баркушка. Блюдо из картофеля и икры. – Баркушка – картошка с икрой. Фсе равно, што барабан (см.). Икра, зна-

цит, толчёная с сараной или с картоской (П.) [СРКН: 29]. В Картотеке также отмечен данный синоним и его вариант *бархушка*, который диалектоносители считают более старым наименованием. *Бархушка* – *икра́ и карто́шка, фкусна́я, нам нра́вилась. Бараба́н, барху́шка по-на́шэму, де́лали из ыкря́. Јели бараба́н, барху́шка – жы́р, икра́ натолчи́шь. Барху́шка ра́ньсе называ́льши бараба́н, с ыкря́, немно́ско карто́ски. Барху́шка – ста́роје, а но́воје – бараба́н. Млк. Бараба́н<sub>2</sub>* имеет в говорах следующее значение: «Бочка для хранения икры». *Бараба́н – это бо́чка для обрабо́танной икря́*. Клч. На наш взгляд, указанное значение появилось у слова в результате метонимического переноса на основании сходства по форме. Статус различных сем в словах *бараба́н<sub>1</sub>* и *бараба́н<sub>2</sub>*, отмеченных в Картотеке, позволяет считать их омонимами, а не значениями полисемантического слова.

**Берёзовица.** Березовый сок (?). – Берёзовицу пили. Долбят цящеч'ки в берёзе. Придѣшь – берёзовицу пйош. А сок уш потом выйдѣт – из берёзовицы, когда застынѣт. Из берёзовицы брашку ставили. Мен'шэ сахару надо (М.) [СРКН: 30]. В Картотеке отмечено вариантное составное наименование *берёзовый сок*. *Люди́ мно́го бирѣзавава со́ку бирѣт. Двина́цать-титна́цать буты́лок в день*. Длн.

**Бугачи́.** Хрящики от затылочной части головы рыбы. – Бугачи. Это хряс'цики от голофки (Кл.) [СРКН: 32]. В СРКН данное наименование приведено в следующем графическом изображении: «<sup>+</sup>Бугачи́». Под значком <sup>+</sup> в СРКН даны слова и к ним словарные статьи «из картотеки Камчатского пединститута [7], составленной О. Т. Бархатовой по материалам проведенной под ее руководством диалектологической экспедиции...» [СРКН: 8]. В Картотеке дано следующее определение: «Бугачи́ – хрящики от затылочной части головы лососёвой рыбы, которые камчадалы любят больше самой рыбы». Контекст тот же, что в СРКН. В говорах камчадалов отмечена не только форма множественного числа существительного, но и форма единственного числа *бугач*. *Бугач – то́ жэ, что бугачи́*. Млк.

**Бурду́к.** Заквашенная мука, разведенная водою. Якуты делают позатейливее: в муку, размешанную в кипятке, прибавляют кислое неснятое молоко (сора) или масло и уваривают до густоты киселя (42, с. 238) [СРКН: 33]. В Картотеке слово зафиксировано в единственном контексте со значением «мука». *Бурду́к – мука́*. У.-Б. В данном случае находит подтверждение тот интереснейший факт, что севернорусская лексема стала основной в камчатском наречии. Ср.: в «Архангельском областном словаре» лексема *бурду́к* имеет следующее значение: «Жидкая мучная каша, сваренная из пены дрожжевого теста (Прим. 33); мучной суп (В.-Т. УВ)» [8].

**Вѣтчинэ.** Кровяная колбаса, начиненная клубнями сараны или кемчиги (80, с. 279) [СРКН: 42]. В Картотеке слово не зафиксировано. Данное наименование упоминается Н. К. Старковой в работе «Ительмены: Материальная культура. XVIII – 60-е годы XX века. Этнографические очерки»: «Получили распространение в пище ительменов и продукты скотоводства. Говядину обычно отваривают или готовят из нее супы. Из ног и головы варят студень. Иногда делают кровяную колбасу, для чего хорошо промытые кишки заполняют кровью с клубнями сараны или кемчиги, затем отваривают и обжаривают. Такая колбаса называется *вѣтчинэ*» [9]. В процессе неоднократных бесед с информантами подобное слово нами не зафиксировано. Скорее всего, наименование было заимствовано камчадалами из ительменского языка вместе с рецептурой приготовления обозначаемого им блюда, которое со временем вышло из рациона питания наряду со многими другими продуктами питания. Таким образом, исчезло блюдо – исчезло из активного лексикона и его название.

**Вяленка.** Вяленая рыба. – Голец, вяленка была. Мы ф прошлом году навалом наготовили. Сем' вязок [10] (см.) было (Коз.) [СРКН: 43]. В Картотеке отмечены варианты наименования *вяленка*: *вялена* с идентичным наименованием. *Мы ри́бу вя́лили, вя́ленку де́лали. Ра́ньсе ры́бу сусы́ли и зва́ли вя́лена*. Млк.

**Галга́.** Блюдо из рыбы и картофеля. – Солёная рыба с истолчёной картоской. А пекут с зиром. Оцен' фкусно. Картоску с рыбой толкут и делали галгу́ (М.) [СРКН: 44]. В Картотеке у наименования *галга́* зафиксировано множество вариантов: *голга́*: *галка́*: *калга́*: *га́лга*: *га́льга*: *гула́га*: *була́га*: *буала́га*. Считаем необходимым обратить внимание на способы изготовления данного блюда, отмечаемые диалектоносителями. Если у К. М. Браславца дано несколько обобщённое толкование лексического значения слова, то в говорах акценты расставлены иначе: *галга́* – блюдо камчадальской кухни, картофель с рыбой, запечённый в печи. *Ри́ба и карто́шка ф пе́чке поса́дят, пожа́рят, и ку́шајем*. Млк.; *картофельное пюре, толчённое с рыбой. Галга́ – отвари́ной карто́фель ф тюрэ́ и ры́бу*. Длн.; *картошка с рыбой помятая, политая маслом. Галга́ – карто́шка с ры́бой, помя́таја, поли́таја ма́слом*. У.-Б.; *блюдо из рыбы, картофеля и медвежьего жира. Сва́ри́ть карто́шку, ры́бу и што́бы вме́сьте изомня́т, истоло́ць, нали́ть медве́жьево са́ла топлѣново, проза́рить на костре́, мо́жно дба́ готво́вить. Була́га, буала́га – ры́ба жа́ренаја с карто́шкой, мно́го-мно́го медве́жьево жи́ра*. Длн.; *блюдо из рыбы, картофеля, с добавлением яиц. Галга́ – атвари́наја карто́фель, ры́бу атвари́ли, фсе́ эта наталкли́, ийчы́ками зали́ли и ф пе́чку*.

*БЫла очень да́жэ фкúсна.* Млк.; блюдо из солёной рыбы, картофельного пюре и свиных шкварок. *Галга́. Ры́ба салёна́ја атмо́ченна́ја, карто́шка и свины́је шкварки абжа́ренны́је.* Длн. Данное блюдо, по словам информантов, является очень жирным: *Гула́га жы́рна́ја, на сла́басць жылу́тка по́сли э́тай гула́ги сыру́́у во́ду нежыла́тельна пить.* Длн. *Галга́* – одно из любимейших блюд камчадалов, нашедшее отражение в пословице: *По́жэсьць голгу́, што́б не бы́ць в долгу́.* Млк. В речи информанта с. Мильково зафиксировано синонимичное наименование *тиру-тиру*. *Гула́га – э́то ры́ба с карто́шкой истолчённа́ја, же́́ по-ра́зному называ́ют и т́́ру-т́́ру, же́́ ичэ́ называ́ют и галга́.* Млк. Единственный контекст, в котором наименования *галга́* и *тиру-тиру* используются в качестве синонимичных, не является, на наш взгляд, основанием считать данные слова синонимами. Дело в том, что в говорах камчадалов наименования типа *тиру-тиру* являются синонимами собственно диалектного слова *т́́хтер* (см. ниже), служащего названием блюда, приготавливаемого из муки, воды и жира. По поводу наименования *калга́* можно отметить следующее: в Картоотеке данное слово даётся как фонематический вариант лексемы *галга́*. *Калга́. Ры́бу свара́ят, исталчя́т с карто́шкой.* *Калга́, ко́гда ва́рица солёна́ја вы́мачинна́ја ры́ба, одьде́льно ва́рица карто́филь.* *Фсе́ вме́сьти толкё́ца, лук, жы́р, бо́льшэ́ лу́ку.* Млк. В СРКН наименование *калга́* приводится с иным семантическим наполнением: «Блюдо из картофеля с гусиным или утиным жиром». *Кал’га* так: убьют уток, гуся, целую утку вымоют, да две да три ф кострюлю. Жир снимают, картошку толкают и жир этот туда. *Кал’га* вот (Кам.) [СРКН: 70]. Подобного значения у слова в современных камчадаловских говорах нами не зафиксировано.

**Голéц цéлый.** Запечённый голец. – Шохшем как еш голец’ ходыт в рэц’ки, так прошто клали ё на шквороду, тол’ко што жабри винимали. А оштал’ноё в эти на протвины и в духофку ставили. И она там пикёца на швоём жыру. И оцен’ полуцияця фкушной. Так и наживалас она цели гол’цы (Кхч.) [СРКН: 46]. В Картоотеке данное составное наименование не зафиксировано.

**Голо́вки квáшенные.** То же, что головки кислые (см.) [СРКН: 46]. **Голо́вки ќ́слые.** Блюдо из голов рыбы. «Камчадалы чрезвычайно любят кислую рыбу, а особенно протухлые и полуснившие головы, которые в Камчатке называются уменьшительным именем «кисленькие головки» (17, с. 353). «Кислые рыбы головки почитаются у камчадалов лакомым куском» (42, с. 243). От свежего кижуча отрезается голова, распарывается брюхо и вынимается икра. Головки помещаются в какую-нибудь посуду «в икру» и там держатся, пока не «укинут». «Слишком сильно (шиб-

ко) «укинуть» не дают, а только лишь в такой мере, чтобы головки не оставались совершенно свежими, а были бы с душком. Когда хотят «кислые головки» употреблять в пищу, то сперва по вынутии из посуды хорошенько вымывают и тогда подают на стол» (89, с. 227–228). – Ви голофки ели? Квашынные голофки – вот этим питалиша (Е.). Пол’зовалса этима квасэнами головами. С малых лет я стал употреблят. Много лет я их ел. И не замэцяю ницэо такое, не замэцяю, сто они вредние. Приготовлял я йих: нарэзыз головы и с рыбы зэ с этой икру возмос, молоку эту и ф посуде заквасиваес их. Ну й этим я питаюс. Они оцин’фкусние ист (Т.) [СРКН: 46–47]. Оба составные наименования имеются в Картоотеке. *Я́му вы́копал, па́поротником остила́ют, тудá икру́, ры́бы и начина́ют тудá голо́фки ры́бы, называ́ли квáшны́е голо́фки.* Млк. *Ра́ньшэ́ отёц вы́капы́вал я́мки, тудá тра́ву накла́дывали, све́жы́е голо́фки от ры́бы, он́и сќ́иснут, посóляца.* *Ќ́слы́е голо́фки говор́или.* Длн. В Картоотеке также отмечена синонимичная лексема *кислоголо́в*, отсутствующая в СРКН. *Я́ма вы́копал, голо́фки по́ложат, рят вы́кры́, опáт голо́фки, называ́ли кислоголо́в.* Сбл.

**Дихтиру́ха.** То же, что тихтар (см.) [СРКН: 52]. **Т́́хтар (т́́хтер, +ќ́хтер).** Мучное блюдо. – Тихтар из муки со салом мидвэжйэ. Барили (варили) тихтер из муки на мыдвэжым жыру (Е.). Тихтар – прожаринная мука, а затем кипела водой заварिश (Ш.). Тихтэр – кипэток, мука, масло. Муку насыпляют, лоской вертят-вертят. В дороге – красотисцэ! (Т.). +Кихтер. Муку жарит’ с медвежйим салом. Сахару, соли. Обжарит’, кипятком завариват’. Ес’т’ горячий (Кл.). Растопиш сало, муку засыпаем, кипячёной водой зал’йош. Вот загустеет кихтер (Коз.) [СРКН: 168]. В СРКН зафиксирована лексема *затура́н* с идентичным, на наш взгляд, значением: *Затура́н. «Мука ржаная жареная с маслом или жиром» (42, с. 242). – Муку жарят, а потом варят. И пит с ней чай. Приходи затуран будим кушат’ (Е.). Ср.: затуран, затуранчик «чай с молоком, маслом и поджаренной мукой» (в Забайкалье) (20, с. 202) [СРКН: 65]. У К. М. Браславца наименование *затура́н* не отмечено как синонимичное словам *дихтиру́ха, т́́хтар, т́́хтер, ќ́хтер*. На наш взгляд, наличие одинаковых сем в данных словах позволяет их считать синонимами. В Картоотеке название данного блюда представлено следующими вариантами наименованиями: *т́́хтир : т́́хтир’ : т́́хтер : ќ́хтер. Т́́хтир, медвэжый жы́р с мукóй, и очень фкúсно, ис свинóво жы́ра, сы́тно очень, и у нас как ла́комство бы́ло с ча́jem.* Длн. *На Па́ску гото́вили т́́хтир’ из муќ́и и ма́сла.* Нкл. *Т́́хтер гото́вили, медвэ́жий зы́р, мукú́ переза́рива́ют докрасна́, налива́еца вода́ кипясе́на́ја, фсе́ э́то переме́шывае́еца.* Мл.*

*Кйхтер варйла, мукú перезáривала, полуцýлся фкúсной.* Млк. В Картотеке у слова отмечены синонимичные наименования *цúна = тих-них = тпр-тпр-тпр : тпру-тпру-тпру : тпру-тпру : тпруту-ту : пр-пр-пр*, отсутствующие в СРКН (все наименования, кроме первого, являются звуко-подражательными: во время приготовления этого блюда периодически издаются подобные звуки). *Цúну варйли, берúт мáсло, лóжут мукú, кипятят, сóли, сáхафу, водóй замéшивáют, остыла, как холодец, рэзут, жéдят.* У.-Б. (Тихтер) *лóбят дéлать, кагда ахóтьники в лисú. Бирúт жыр или слйвачьнае мáсло. Растáпливажу жыр, лажу мукú, мукá поджáрица, подрумáница, заливажу горячим кипиткóм, мишáжу, аш пыхтйт, это тйхтер. В дéцтве ми назывáли жéбó тих-них, очинь сýтный. Тпр-тпр-тпр. В посудине мукú заливажут водóй, пузырькй – тпр-тпр-тпр – она густáя. Тпру-тпру-тпру. Зажáриваеца мукá, кипйт, патóм в вадé, кагда сидержыможе завáривалось, бил такóй звук тпру-тпру, патóм жéбó жéли. Тпру-тпру. Варйли молоко или водóу кипятйли. Тпруту-ту. Малакó, жáренужу мукú завáривали на малокé и жéли. Пр-пр-пр називáют так, потому што при зазáривании, издаёт такóй звук.* Млк. В СРКН зафиксирован фонематический вариант лексемы *цúна чúна* с иным семантическим наполнением: Мука, разболтанная в кипятке (42, с. 258) [СРКН: 189]. В Картотеке имеется синонимичное лексеме *цúна* наименование *заворúха*, отсутствующее в СРКН. *Мукú замéсят в вадé, вот ы заворúха.* Скч. Наименование *затиру́ха* зафиксировано в СРКН со значением «Мучная каша». Затируха на молоке из бэлой муки (Е.). Затируха иж офша (М.) [СРКН: 65]. В Картотеке данное слово отсутствует.

Сопоставив материал «Словаря русского камчатского наречия» под редакцией К. М. Браславца и картотеки лаборатории региональной этнолингвистики КамГУ им. Витуса Беринга, приходим к выводу, что русским говорам Камчатки на современном этапе развития свойственна особая продуктивность процесса варьирования слова, чему способствуют такие благоприятные факторы, как устная форма существования диалекта, отсутствие характерной для литературного языка кодифицированной нормы, влияние литературного языка, «взаимодействие говоров с инодиалектным и иноязычным окружением», «способность говоров к многочисленным новообразованиям наряду с сохранением архаических слов и форм» [11] и другие лингвистические и экстралингвистические факторы. Говоры камчадалов характеризуются и синонимическим разнообразием. «Синонимия в говорах, как и в литературном языке, является важным стилистическим средством. Оно служит не только для передачи тончайших нюансов мысли,

но и позволяет разнообразить речь, делая ее яркой и выразительной» [12].

#### Примечания

1. Григоренко, Н. А. Лексика флоры и фауны в говорах камчадалов [Текст] : автореф. дис. ... канд. филол. наук : по спец. 10.02.01 – русский язык / Н. А. Григоренко; [Камч. гос. ун-т им. Витуса Беринга]. Ярославль, 2007. С. 3.

2. В Картотеке представлен материал, собранный во время диалектологических экспедиций вуза в различные населённые пункты Камчатского края в период с 1971 по 2007 г.

3. Здесь и далее через «:» приведены варианты наименования, через «=» – синонимичные.

4. Омонимичные лексемы даны с индексами.

5. Словарь русского камчатского наречия [Текст] / под ред. К. М. Браславца. Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. пед. ин-та, 1977. С. 24. Словарные статьи и иллюстративный материал, взятые из СРКН, приведены в том виде, в каком они представлены в Словаре. Далее в скобках страницы указаны по этому изданию.

6. Сарана́. «Не одна *lilium Kamtschaticum*, называемая в Камчатке собственно круглою сараной, а всякий луковичный корень есть сарана. Напр., различают сараны: овсянку, остроноску, однолистку, гусиную, мохнашку, кемчигу» (42, с. 253). Сараной на Камчатке называется корневище нескольких видов лилейного растения (*Lilium Martagom Fritillaria kamtschatica*) (по Дитмару и др.), различаемых инородцами как кругляшка, овсянка и однолистка (89, с. 163) [СРКН: 153].

7. В настоящее время это Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга (КамГУ им. Витуса Беринга).

8. Архангельский областной словарь. Вып. 2. (Берега – Бяце) [Текст] / под ред. О. Г. Гецово́й. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. С. 179.

9. Старкова, Н. К. Ительмены: Материальная культура. XVIII – 60-е годы XX века. Этнографические очерки [Текст] / Н. К. Старкова. М.: Наука, 1976. С. 136.

10. Одна вязка – пятьдесят рыбин.

11. Блинова, О. И. Русская диалектология. Лексика [Текст] : учеб. пособие / О. И. Блинова. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1984. С. 54.

12. Там же. С. 75.

#### Список населённых пунктов Камчатского края и их сокращений

- Долиновка – Длн. / Д. (СРКН)
- Елизово – Е. (СРКН)
- Камаки – Кам. (СРКН)
- Кихчик – Кхч. (СРКН)
- Ключи – Клч. / Кл. (СРКН)
- Козыревск – Кзр. / Коз. (СРКН)
- Малки – Мл.
- Мильково – Млк. / М. (СРКН)
- Николаевка – Нкл.
- Палана – П. (СРКН)
- Соболево – Сбл.
- Соко́ч – Скч.
- Сосновка – Ссн.
- Тигиль – Т. (СРКН)
- Усть-Большерецк – У.-Б.
- Усть-Камчатск – У.-К.
- Шеромы – Ш. (СРКН)

### ВЫЯВЛЕНИЕ СПЕЦИФИКИ КОНЦЕПТА «ТРЕВОГА» В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В статье анализируются, описываются и сопоставляются особенности языкового сознания современной молодежи и поэта-символиста А. А. Блока, связанные с восприятием чувства тревоги. Для их выявления используется метод свободного ассоциативного эксперимента, данные которого отражают специфику вербализации концепта «тревога».

The author of the article describes and compares the peculiarities of the language perception of modern youth and poet-symbolist A. A. Blok. These peculiarities are connected with the identification of the feeling of anxiety. To depict them the author uses the method of free associated experiment. The results of this depict the specific characters of verbalization of the concept "trevoga" – anxiety/alarm.

Успешное исследование и описание любого объекта научного познания, в том числе и языка, невозможны без применения эффективных методов и методик анализа. Они направлены на изучение особенностей сознания, в том числе языкового, выявление специфического в образах сознания носителей культуры (в нашем случае – отдельных представителей русского народа в разные временные периоды) и исследование влияния различных факторов на формирование специфики сознания.

Под экспериментальными понимаются методы и приемы, связанные с обращением к информантам, а также приемы, связанные со статистической обработкой количественных данных о статусе и функционировании языковых единиц [1]. Экспериментальные методы в семасиологии начали интенсивно применяться лишь в XX в.; началом экспериментальной семасиологии считают распространение в лингвистике методики ассоциативного эксперимента, начавшееся с конца XIX в.

С анализом вербальных ассоциаций, полученных при помощи метода ассоциативного эксперимента, в психолингвистике связано большинство работ по исследованию языкового сознания. Данный метод направлен на выявление не компонентов в структуре значения того или иного слова-стимула, а синтагматических и парадигматических связей слов в лексиконе, различных лексико-семантических вариантов слова, установление механизмов ассоциирования [2]. Он выступает в дополнение к методам компонентного и контекстологического анализов.

Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой ассоциативный эксперимент является

инструментом социологического и социально-психологического исследования, позволяющим судить о ментальном климате, характерном для испытуемых, сопряженным с широким социально-психологическим контекстом, окружающим их, о возможных изменениях (положительных и отрицательных), продиктованных существующими оценками себя и окружающих, а также о возможном отношении к вещному миру, предопределяемом сегодняшними установками [3].

Некоторые исследователи, например А. А. Леонтьев, различают два вида ассоциативных экспериментов:

1) свободный ассоциативный эксперимент (САЭ), в котором испытуемым предлагают отвечать словом-реакцией, первым пришедшим в голову при предъявлении слова-стимула, ничем не ограничивая ни формальные, ни семантические особенности слова-реакции;

2) контролируемый ассоциативный эксперимент, в котором экспериментатор как-либо ограничивает выбор реакции, накладывая определенные ограничения, например отвечать только прилагательными [4].

Другие исследователи, например Е. И. Горошко, выделяют 3 вида ассоциативных экспериментов:

1) свободный, 2) направленный (то же что и контролируемый) и 3) цепной, в котором испытуемому предлагают ответить любым количеством слов, пришедшими в голову при предъявлении слова-стимула, ничем не ограничивая ни формальные, ни семантические особенности слов [5].

Свободный ассоциативный эксперимент является относительно более простым из всех ассоциативных экспериментов и в то же время весьма эффективным.

В проведенном нами свободном ассоциативном эксперименте участвовало 240 испытуемых: 117 студентов I, IV и V курсов филологического факультета, 50 студентов III и V курсов естественно-географического факультета, 29 студентов III курса исторического факультета, 21 студент I и III курсов психолого-педагогического факультета ГОУ ВПО «Арзамасский государственный педагогический институт им. А. П. Гайдара» и 23 ученика 11-го класса МОУ Гимназия г. Арзамаса. Возраст испытуемых – 17–22 года, родной язык – русский. В результате эксперимента было получено 1230 ассоциатов, из которых 262 – первые реакции. Обработка результатов САЭ состояла из объединения слов-реакций в группы по какому-либо общему признаку. Сходные ассоциаты обобщались, а частотность их суммировалась.

Испытуемым предлагалось записать 5 первых пришедших в голову реакций (слов, словосочетаний, предложений) на исходное слово *тревога*.

Инструкция по выполнению САЭ предъявлялась устно и включала в себя следующие основные требования: 1) прочитав исходное слово, написать на карточке первое пришедшее на ум слово, словосочетание или предложение, связанное с предъявляемым по смыслу; 2) зафиксировав первый ассоциат, записать другие слова-ассоциаты; 3) представить в распоряжение экспериментатора неискаженные данные, не заменяя и не выбирая слова-ассоциаты. Особенность эксперимента состояла в том, что время на его выполнение было ограничено – 30 секунд, что предотвращало обдумывание ответов и помогало получить достоверные реакции.

Испытуемые знали заранее, что из всех сведений о себе они должны сообщить только факультет, курс и возраст. Анонимность эксперимента также способствовала получению правдивых данных.

Цель применения нами свободного ассоциативного эксперимента – выявить содержание концепта «тревога» в сознании молодого человека, студента и школьника (в возрасте от 17 до 22 лет), и соотнести его с содержанием концепта «тревога» в поэтическом творчестве А. А. Блока 1897–1916 гг. (в возрасте 17–36 лет).

Выбор данного концепта обусловлен его значимостью для людей, живущих на рубеже веков; он носит универсальный характер и является существенным для человека. Данные САЭ незаменимы для выявления образного и фактуального компонентов концепта, в отличие от словарных толкований, не позволяющих судить о национально-культурном своеобразии семантической наполненности концепта [6]. В ассоциативном словаре как современных школьников и студентов, так и Александра Блока отражается процесс концептуализации мира.

Возрастной критерий является одним из важных факторов, влияющих на информативность и валидность данных САЭ. Детские или студенческие годы испытуемых исследуются лингвистами как проблема возраста и его влияния на ассоциации. К возрасту 17–21 года формирование языкового сознания и языковой способности человека уже завершено. В свою очередь их содержательное наполнение (словарный запас, структура ценностей, прагматические установки) и формально-комбинаторные возможности остаются относительно стабильными на протяжении всей жизни [7]. Это дает возможность представить ядро языкового сознания общества начала XXI в., сопоставив его со временем начала XX в., в котором жил и творил А. А. Блок.

«Неязыковой» причиной, по которой мы проводили САЭ, являлась так называемая «паралель эпох». Поэт жил в переходное (и поэтому переломное, противоречивое) время конца XIX – на-

чала XX в., а испытуемые живут на рубеже конца XX – начала XXI в. Переходные рубежи подразумевают собой отход от чего-то старого и обращение к чему-то новому, смену приоритетов, взглядов, позиций, смещение границ в сознании людей, живущих на рубеже веков. Для их менталитета значимым является чувство тревоги.

Современная молодежь объясняет появление или уже появившееся чувство тревоги событиями в стране или в мире, а также обстоятельствами жизни и личностным, субъективным ее восприятием. Отсюда полученные данные были распределены по семантическим группам:

#### *I. Ассоциаты, обозначающие чувства, состояния человека*

1) *Ассоциаты, обозначающие чувства и состояния человека, возникающие параллельно с чувством тревоги или предопределенные им, а также их внешние проявления* (страх (страх перед чем-нибудь неизвестным) 129; опасение (опасность, опасно) 74; переживание (переживать) 50; ужас (ужасное чувство, что-то ужасное) 39; паника 39; нервозность (нервы, нервное состояние, нервничать) 25; дрожь (дрожание, дрожат руки, дрожит голос) 20; предчувствие (нехорошее предчувствие, нехорошо) 15; стресс 15; грусть 5; испуг 11; учащенное сердцебиение (сердце забило, частое биение сердца) 9; бег (беготня, бегать) 8; суета 7; внимательность (внимание) 6; бессонница 5; руки трясутся (руки потеют, трясутся) 5; душевное беспокойство (неспокойствие, беспокойно на душе, на душе тревожно) 5; растерянность 4; горе 4; и др.).

2) *Цветовые ассоциаты* (красный цвет 1; красная лампочка 1).

#### *II. Когнитивные ассоциаты*

3) *«Звуковые» ассоциаты* (сигнал (сигнализация) 10; сильные и громкие удары в колокол 1; сирена 4; рог 1; взрыв 1; звон 1; все бегают, кричат 1; крик (крики, крик птиц, иволга) 7, звонок (звонок близких, которые давно не звонили) 9; реакция на звуки и шорохи 1).

4) *Символические ассоциаты* (ночь (ночная прогулка по лесу, ночная улица) 3; беспорядочные картинки в голове 1; борьба за выживание 1; в голове все смешалось 1).

5) *Ассоциаты, характеризующие социальную обстановку* (наркотики 2; общество (люди, толпа) 8; вор 1; экология 1; катастрофа 2; бомба 1; военное действие (война) 2; борьба за выживание 1; наводнение 1; террористы (терроризм) 2; взрыв 1; чрезвычайное происшествие (чрезвычайная ситуация) 3; эвакуация 1; экстремальная ситуация 1; телевизор 1; телеграф 1; телефон 1; МЧС 1; женщины и дети вперед 1).

6) *Ассоциаты, связанные с местом учебы испытуемых – школой или институтом* (экзамен (государственный экзамен, сдача экзамена, пер-

вый и последний экзамен) 21; диплом (выпускная квалификационная работа, защита диплома) 4; занятие по современному русскому языку 1; лабораторная работа 1; ОБЖ 1; окончание института 1; не готова к занятию 1; проспять занятия 1; сессия (приближение сессии) 6; чему же нас учили? 1; незнание предмета 1; учебная тревога 1; как написать курсовую работу? 1; надо сдавать, а у меня ничего нет 1; трудоустройство 1).

7) *Ассоциаты, характеризующие личное пространство испытуемых* (смерть 8; болезнь 6; головная боль 3; здоровье 2; критика в свой адрес 1; любовь 1; муж 1; не выполнила то, что должна была 1; подруга 1; собрать необходимое и выбежать на улицу (собрание вещей) 2; стирка 1; Ты дома? 1; я стою над пропастью 1; адреналин 5; боль 6; драка 1; вызвать скорую 1; организованный сбор 1; отсутствие сна 1; папа 1; позвонить 1; слезы (частые слезы) 3; родные 2; выиграю или нет? 1; жизненные трудности 1; незнакомая обстановка 1; нет времени 1; потеря 2; тревожно остаться одному 1; Где близкие люди? 1; Где выход? 1; посещение врача 1).

8) *Ассоциаты, указывающие на непосредственную причину появления чувства тревоги* (что-то случилось (сейчас что-то будет, что-то должно произойти, случилось что-то плохое) 13; беда 11; несчастный случай (несчастье) 10; общество (люди, толпа) 8; смерть 8; проблемы 5; чрезвычайное происшествие (чрезвычайная ситуация) 3; произошло что-то плохое (произошло что-то ужасное, произошло какое-то происшествие) 3; и др.).

### III. Языковое воплощение ассоциатов

9) *Ассоциаты-синонимы и их различные языковые воплощения* (беспокойство 52 (беспокойные мысли, быть обеспокоенным чем-либо, обеспокоенность, состояние беспокойства, беспокоиться), волнение 78 (внутреннее волнение, волноваться, взволнованность, волнение за что-то и перед чем-то, что-то волнительное), смятение 4).

10) *Ассоциаты-идиомы* (чувствовать себя не в своей тарелке 1; кошки скребут на душе 1; не находить себе места 1).

11) *Синтагматика ассоциатов* (беспричинная тревога 1; ненужная тревога 1; необъяснимая тревога 1; полная тревога 1; сильная тревога (страшная тревога) 6; внутренняя тревога 1; военная тревога 2; воздушная тревога 1; учебная тревога 1; милицейская тревога 1; пожарная тревога 2; ложная тревога 2; тревога в душе (на душе, на экзамене, перед чем-то, за будущее нашей родины, вымирание животных, занесенных в Красную книгу, за здоровье, общество), Тревога! Все на выход! 11).

Свободный ассоциативный эксперимент, проведенный среди студентов I, II, IV и V курсов педагогического вуза и старшеклассников, пока-

зал, что слово *тревога* вызывает, в основном, негативные реакции – *безысходность, беспокойство, беспокоиться, бессонница, болезнь, горе* и мн. др.

Александр Блок в юношеской лирике на крайне невнятном языке, полным таинственных намёков и иносказаний, объяснял присущее ему чувство тревоги, в первую очередь, глубоко интимными переживаниями «уединённой души», безучастной к тому, что окружает её в действительности. Здесь тревога человека – раба, инока, рыцаря, молодого влюблённого юноши – перед появлением Прекрасной Дамы, Девы, Зари, Купины.

Тревога ранней романтической лирики поэта предшествовала тревоге второго периода творчества, отражающего события, которые происходили в России рубежа XIX–XX вв. Это было время смены политического режима, войн, бедствий, потерь. Народ (к которому относил себя поэт), утратив старое, шел к неизвестному новому, поэтому и тревоги, трепет, волнение были закономерны.

Третий пласт обоснований появления чувства тревоги в творчестве Блока – увлечение философской и литературной деятельностью В. С. Соловьёва, появление веры в высшие силы.

Поэт использует в своем лексиконе следующие лексемно-ассоциаты к слову *тревога*:

1) цветовой ассоциаты (черный 22; темный 2; красный (покраснеть) 26; белый (бледный) 33; синий 13; багряный 3; алый 9; пурпурный (пурпур) 3; красно-серый 1; червонно-красный 2; желто-красный 1; огнекрасный 2; огневой 2).

2) Ассоциаты, называющие явления, состояния и действия живой природы (ночь 22; мрак (мрачно) 7; сумрак 4; тучи 3; буря 1; тьма 1; гроза 5; хаос 1; болото (болотный) 10; гарь 1; мгла 8; закат 4; заря (зареве) 13; огонь (язык огня, горизонт в огне) 12; светило огневое (солнце) 1; кровь (окровавленная) 13; костер 2; снег 18; снежный буран 1; метель 7; вьюга 10; стужа 2; туман 4; облако 2; луна 2; месяц 5).

3) Ассоциаты, входящие в лексико-тематическую группу «названия животных и птиц» (лебедь 10; коршун 1; журавль 8; орел 3; ворон (воронье) 4; змея 19).

4) Индивидуальные ассоциаты с символикой тревоги (ветер 8; осень (осенний) 5; тишина 6; круг 1).

5) Ассоциаты-синонимы, языковые и контекстуальные, и производные от них (беспокойство 4; волнение 15; треволение 1; смятение 10; тоска 20; беспокойный 4; беспокойно 7; волновать 7; волноваться 4; волнуемый 1; взволновать 1; взволнованный 4; волнуемый 2; волнуюсь 1; смятенный 2; смятенно 1; смутить 3; смутный 9; смутно 8; тоскливый 2; тоскливо 2; тоскующий 3; тосковать 4; тоскуя 1).



6) Ассоциаты-антонимы (покой 3).

Рассмотрение ассоциаций выявило общие и отличительные моменты в восприятии чувства тревоги представителями приблизительного одного возраста, но разных эпох. Общим моментом в передаче чувства тревоги испытуемыми и Блоком является представление его с помощью ассоциатов-синонимов, выражение тематики предчувствия и ожидания, выражение в словообразовательной паре *тревога – тревожный*, а также в различных сочетаниях с лексемой *тревога*. Сопоставление ассоциаций в исторической перспективе свидетельствует о том, что и поэт, и испытуемые принадлежат к одному народу, к одной культуре и, оказавшись практически в одинаковых условиях (смена веков), выражают стабильное ядро ассоциативного поля «тревога» (а значит, и одноименного концепта), с регулярно повторяемыми языковыми связями.

А. А. Блок в силу своей причастности к поэтам-символистам выражает глобальное чувство тревоги, охватившее все человечество, вовлеченное в войны и революции (художественное воплощение концепта «тревога»). Любовь как чувство окрыляющее, положительное, позитивное тоже несет на себе отпечаток тревожности (в САЭ с чувством тревоги любовь связывается только у одного испытуемого). Поэт передает тревогу с помощью метко подобранных образов-символов, часто использует прием олицетворения, – природа у него не идилична, а, наоборот, сигнализирует о том, что нет спокойствия и порядка в окружающем мире. У А. Блока общественное довлеет над личным.

Современная молодежь мыслит менее образно; у нее личное преломляет общественное. Поэтому возникающие ассоциации сводятся либо к синонимическим параллелям – *волнение, беспокойство*, либо связаны с лексемами *страх, опасность, паника, ужас*. Данные отвлеченные существительные, как и многие другие, полученные в ходе САЭ, относятся больше к личностной сфере, нежели отражают события общественной жизни.

В целом тревога – доминантное состояние русского человека, один из наиболее осмысленных концептов, наряду, например, с такими, как *родина, сакральность, любовь*. Это подтверждается многообразием его языкового воплощения как чувства и состояния (физического и душевного) не только человека, но и всего живого (природы).

**Примечания**

1. *Левцкий, В. В.* Экспериментальные методы в семасиологии [Текст] / В. В. Левцкий, И. А. Стернин. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. С. 4.

2. Там же. С. 146.

3. Русский ассоциативный словарь [Текст]: в 2 кн. Кн. 1, ч. 1 / Ю. Н. Караулов, Ю. А. Сорокин,

Е. Ф. Тарасов [и др.]. М.: Помовский и партнеры, 1994. С. 7.

4. Словарь ассоциативных норм русского языка [Текст] / под ред. А. А. Леонтьева. М.: МГУ, 1977. С. 5–6.

5. *Горошко, Е. И.* Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента [Текст] / Е. И. Горошко. М.; Харьков: Изд. группа «Ра-Каравелла», 2001. С. 15.

6. *Имя время и имя čas* в аспекте теории концепта (на материале русского и чешского языков) [Текст]: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Ю. А. Мамонова; Пермский государственный университет. Пермь, 2006. С. 5.

7. Русский ассоциативный словарь... С. 192–193.

А. В. Маринин

**ЛЕКСИКА ПРОМЫСЛОВ  
И РЕМЕСЕЛ ВАДСКОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:  
ФРАГМЕНТ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

В статье дается описание лексики промыслов и ремесел Вадского района Нижегородской области, которая является фрагментом языковой картины мира сельского жителя и отражает исторический опыт нашего народа. В ней рассмотрена системная организация лексики, парадигматические отношения: гиперо-гипонимические, партитивные, антонимические, а также представлен анализ единиц, входящих в состав парадигм слов.

The article discusses the vocabulary of crafts and trades in the dialects of the district of Vad in Nizhny Novgorod region, which forms a fragment of a villagers linguistic image of the world and reflects the historical experience of the people. The article presents a view of the systemic organization of vocabulary, its paradigmatic relations of hyperonyms and hyponyms, antonyms, partitive relations. It also analyses units comprising word paradigms.

«Язык покрывает собой все бытие человека и этноса в целом, все его области, представляя собой огромный континуум, в котором живут отдельные языковые сущности, связанные с другими сущностями <...> – все вместе они составляют единый огромный организм, функционирующий по общим законам, подчас своеобразно преломляющимся в каждом его органе, в каждой клеточке (слове, семеме, морфеме и т. д.), в каждой сущности, частности» [1]. Лексика промыслов и ремесел представляет собой частицу этого организма и является фрагментом языковой картины мира с присущими ей особенностями. Она зафиксирована в памятниках письменности, в различных справочниках и словарях. Большое внимание этому пласту лексики уделяется в лингвистической литературе. К ней проявляли и проявляют интерес многие исследовате-

© Маринин А. В., 2008

ли: М. А. Баранчикова, О. И. Блинова, В. Бурнашев, Н. А. Григоренко, С. А. Мызников, Н. Г. Олесова, О. Н. Трубачев, Л. А. Цыцылкина, Ю. И. Чайкина, И. Л. Чинова и др. При этом изучалась не только лексика промыслов и ремесел, зафиксированная в словарях и памятниках письменности, но и лексика, бытующая в отдельных говорах.

Лексика промыслов и ремесел Вадского района Нижегородской области до настоящего времени не была объектом специального изучения. Имеется лишь небольшой краеведческий материал местных авторов, которые дают общий обзор промыслов и ремесел названного региона [2].

Термины «промысел» и «ремесло» часто используются как взаимозаменяемые. Однако они имеют хотя и близкие, но не тождественные значения. **Промысел** – 1. Ремесло или какое-либо другое занятие как источник средств к существованию // Подсобное занятие при основном занятии сельским хозяйством. 2. Добывание (зверя, птицы, рыбы) [3]. **Ремесло** – 1. Требуемая специальных навыков работа по изготовлению каких-либо изделий, ручным, кустарным способом. 2. Профессия, занятие // Совокупность профессиональных навыков, техническая сторона профессии, занятие. 3. перен. То же, что ремесленничество (во втором значении) [4]. В значении первого слова доминирует сема «добывание» (добывание того, что предоставляет природа), второго – «профессия» (то, что создано своим трудом). Значение слова **ремесло** входит в смысловую структуру слова **промысел**, семантика которого шире.

На территории Вадского района известны **промыслы** (рыболовецкий и охотничий) и **ремесла** (валяльное; кузнечное – гвоздарное и зубрильное; бондарное; плотницкое; лапотное; мочальное), а также лозоплетение и пчеловодство, находящееся на грани двух названных сфер. В соответствии с этим выделяются тематические группы лексики. Каждая из групп включает подгруппы, внутри которых существуют подгруппы более узкого объема. Таким образом, реализуется иерархический принцип построения лексики, который отражает «реальное положение вещей в реальном мире» [5].

В составе лексических групп вадских говоров реализуются, прежде всего, гиперо-гипонимические (родовидовые) связи единиц. При этом в качестве гиперонимов выступают однословные наименования, гипонимы же могут быть как однословными, так и составными. В целом образуются многочисленные, объемные ряды номинантов, состоящие как из однокорневых, так и из разнокорневых единиц.

Так, слово **сеть** возглавляет парадигму слов со значением «орудие лова», в которую входят:

гипонимы **одност'енка** – «рыболовная сеть, имеющая одну стенку». *У этой сети всего одна стенка, на трицать, писят. В зависимости от рыбы, в мелку ячейку – м'елка, в крупну – к'рупа идёт* (с. Лопатино, Вад); **жебр'овка** – «рыболовная сеть, имеющая определенную ячейку, цепляющая рыбу за жабры». *Вся рыба в этой сети попадаца за жабры, в мелку ячейку к'рупна не идёт, ткнёцца и уходит, в к'рупну м'елка сквозь неё проходит* (с. Лопатино) и гипероним **руб'анок** – «инструмент, предназначенный для строгания», объединяющий гипонимы **фуг'анок** – «большой рубанок для чистого строгания плоских поверхностей». *Фуганок с разным лезвием бывает, на трицать, он длинный, метровой, есть ещё полуфуганок, он покороче, пятьдесят сантиметров, доски начисто чешит; полуфуг'анок* – «небольшой рубанок для чистого строгания плоских поверхностей». *Полуфуганок, как фуганок, тока поменьше* (с. Лопатино); **голт'ель** – «рубанок, предназначенный для выборки или выстругивания на деталях всевозможных желобков и выемок различной ширины». *Он тоже деревянный, как рубанок, железка вставляца в него, выемку делат, рубанок идёт плотно, а этот с выемкой* (Борисово Поле) и другие.

Названия, выражающие родовые понятия в лексике промыслов и ремесел, могут входить в составные видовые наименования: **сач'ок** – **к'руглый сачок**, **трёхгр'анный сачок** (с. Вад); **нап'ильник** – **л'ичный напильник** «напильник с крупной насечкой» (Зеленые Горы), **трёхгр'анный напильник** «напильник с тремя гранями» (Вад), **полул'ичный напильник** «напильник с мелкой насечкой» (Зеленые Горы); **охота** – **охота на т'ягу** «охота на вальдшнепа» (с. Борисово Поле), **охота с подсадн'ой** «охота со своей уткой», **охота заг'оном** «охота коллективом» (с. Петлино); **прут** – **нечищенный прут**, **варёный прут** (с. Свобода) и другие.

В целом гиперо-гипонимические отношения образуются в целом в результате привативной и эквиполентной оппозиций. Данные оппозиции соответствуют родовидовому принципу построения исследуемых парадигм, который является главным при организации лексики внутри различных тематических групп, объединяющих предметную лексику [6].

Реализуются и партитивные отношения, которые «играют важнейшую роль в мире, сознании и языке. Их следует поставить вровень с родовидовыми отношениями: и те и другие глобальны» [7]. Многие лингвисты отводят им довольно заметное место в ряду парадигматических отношений. Так, партитивные отношения рассматриваются как второй возможный тип родовидовых отношений [8], им отводится ведущее место наряду с родовидовыми отношениями [9], они счи-

таются проявлением импликационных связей слов [10].

В лексике промыслов и ремесел вадских говоров группы слов, вступающих в партитивные отношения, представлены как двучленными, так и многочленными рядами. Например, в качестве холонома (обозначения целого) выступают однословные наименования, а в качестве партитива (обозначения части) – как однословные, так и составные названия субстантивного типа: валенок – нос, пятка, голенище, подъём; лучок – маленькая кобылка, большая кобылка, струна; рубанок – клин, нож, колодка; зыбка «орудие лова» – крестовина, прутики, шест, сетка, верёвка.

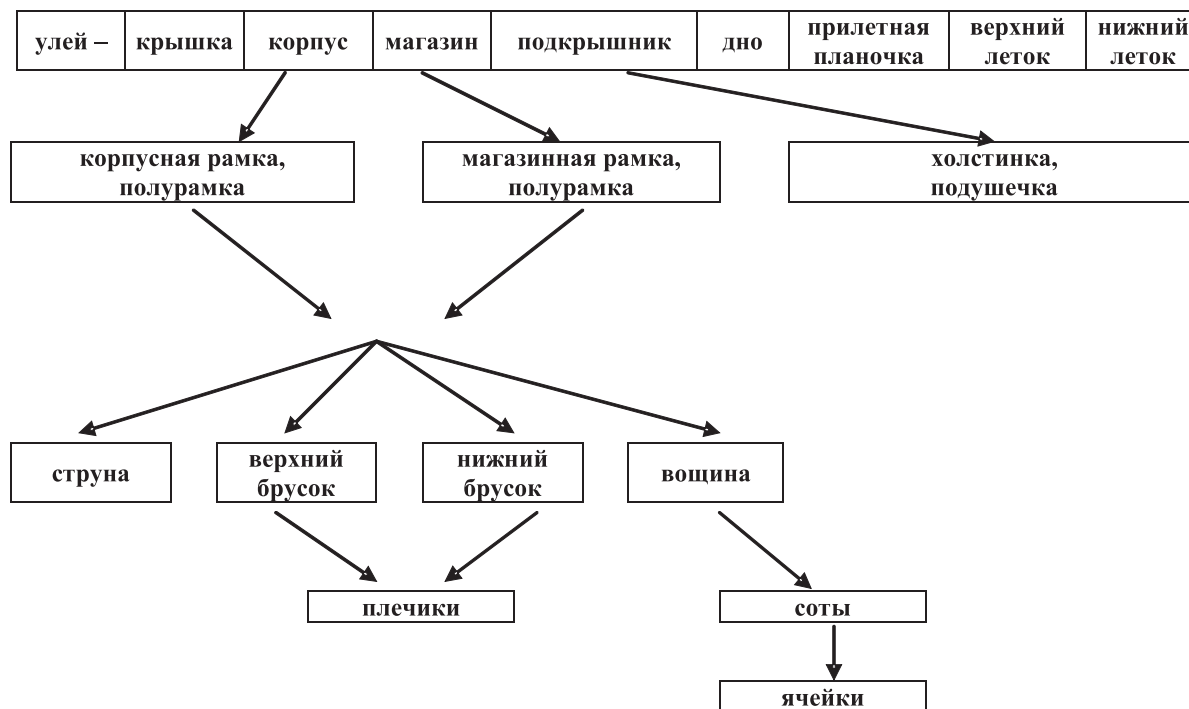
В изучаемой лексике встречаются парадигмы слов, где наблюдается пересечение различных отношений, в частности партитивных, гиперогипонимических и антонимических. Так, слово улей является холономом по отношению к партитивам крышка, корпус, магазин, подкрышник, дно, прилетная планочка, верхний и нижний леток (1-й уровень членения). В свою очередь, наименования корпус, магазин, подкрышник выступают в качестве холономов к партитивам корпусная рамка, корпусная полурамка; магазинная рамка, магазинная полурамка; холстинка, подушечка (2-й уровень членения); корпусная рамка, корпусная полурамка, магазинная рамка, магазинная полурамка – верхний брусок, нижний брусок, струна, вощина (3-й уровень членения); верхний брусок, нижний брусок – плечики (по четыре); во-

щина – соты (4-й уровень членения); соты – ячейки (5-й уровень членения).

Наименования верхний леток – «верхнее отверстие для вылета пчел», нижний леток – «нижнее отверстие в улье для вылета пчел» являются гипонимами к гиперониму леток – «отверстие в улье для вылета пчел»; корпусная рамка «рамка корпуса», корпусная полурамка «небольшая рамка корпуса», магазинная рамка «рамка в магазине», магазинная полурамка «небольшая рамка в магазине» – рамка «четырёхугольное скрепление из брусьев для вставки в улей», верхний брусок, нижний брусок – брусок. При этом видовые понятия представлены контрарными антонимами, в основе которых лежит признак по высоте и величине: нижний леток – верхний леток, верхний брусок – нижний брусок, рамка (большая) – полурамка (маленькая). Все рассмотренные отношения можно наглядно показать на схеме.

Как и гиперогипонимические, партитивные отношения пронизывают всю лексику промыслов и ремесел вадских говоров, хотя в разных лексических группах слов эти отношения представлены с разной степенью четкости.

Проанализированный материал показывает, что лексика промыслов и ремесел Вадского района Нижегородской области характеризуется разветвленными отношениями, в которых эксплицируется результат предметно-познавательной деятельности человека.



## Примечания

1. Климкова, А. А. Нижегородская микротопонимия в языковой картине мира [Текст] : монография / А. А. Климкова. Арзамас: АГПИ, 2007. С. 43.
2. См.: Петров, П. В. Вадский район. Рукопись [Текст] / П. В. Петров. Вад, 1994. 245 с.; Шеронов, А. А. Исторический очерк села Елховка Вадского района Горьковской области в далеком прошлом и теперь. Рукопись [Текст] / А. А. Шеронов. Вад, 1966. 178 с.; Плотников, М. А. Кустарные промыслы Нижегородской губернии [Текст] / М. А. Плотников. Н. Новгород, 1894. 278 с.
3. Словарь русского языка [Текст] : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. Т. 3. М.: Рус. яз., 1983. С. 504.
4. Там же. С. 705.
5. См.: Григоренко, Н. А. Названия птиц в говорах камчадалов [Текст] / Н. А. Григоренко // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. 2005. № 1. С. 3.
6. Там же. С. 3.
7. Никитин, М. В. Основы лингвистической теории значения [Текст] / М. В. Никитин. М., 1988. С. 88.
8. См.: Кузнецова, Э. В. Лексикология русского языка [Текст] / Э. В. Кузнецова. М, 1989. С. 45.
9. См.: Никитин, М. В. Основы лингвистической теории значения [Текст] / М. В. Никитин. М., 1988. С. 88.
10. См.: Плотников, Б. А. Структура плана содержания. Лексикология [Текст] / Б. А. Плотников // Общее языкознание. Минск, 1995. С. 45.

Е. А. Мишутинская

## РЕЛИГИОЗНЫЙ СИМВОЛИЗМ В ЯЗЫКЕ

В современной филологии и философии повышенный интерес проявляется к символическому содержанию, запечатленному в лексической системе языка. Предметом рассмотрения данной статьи являются факты английского языка, отражающие религиозную символику. Анализ единиц, вербализующих концепт РЕЛИГИОЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ в английской языковой картине мира, позволяет утверждать, что облачения священнослужителей являются наиболее востребованными в процессе семантической деривации.

The article deals with some fact of English language reflecting religious symbolism. Having analyzed units which verbalize the concept RELIGIOUS FIGURE in English picture of the world, we may state that vestments of ministers of church are the most demanded in semantic diversion process.

Символизм пронизывает все стороны человеческой жизни. Как указывает О. С. Борисов, человек никогда не жил фактами, но всегда значимостями [1], другими словами, человеку присуще осмысливать действительность и облекать ее в определенные символические формы. Религия – одна из самых эмоционально нагружен-

ных сфер, ее символы служат ориентирами для общества в целом и отдельного человека. Н. Б. Мечковская полагает, что религии превосходят любые знаковые системы во всех возможных аспектах: по разнообразию используемых знаков (иконы, символы), по сложности уровня строения, по разнообразию и богатству передаваемого содержания и выполняемых функций [2]. Таким образом, религиозные символы не могли не проникнуть в язык, так как язык символов – это неотъемлемая часть естественного языка.

В данное время проблема конфессионального символизма рассматривается фрагментарно представителями разных наук: религиоведами, культурологами, антропологами, социологами, филологами. Так, И. А. Тульпе исследует через икону метафизику православия [3]; А. В. Ульянов рассматривает символику православного креста [4]; Ю. Петрунин ищет ответ на вопрос о центре – «пупе» земли [5]; В. А. Симагин, Н. В. Курбатова, Р. В. Булгач ставят проблему семантики православной архитектуры как феномена культуры в аспекте ее влияния на архитектуру в целом [6]. В данной работе мы подходим к указанной проблеме с позиции лингвиста и попытаемся ответить на вопрос, какие религиозные символы находят отражение в английской языковой картине мира, как церковные атрибуты влияют на развитие семантической структуры лексических единиц.

Исследуя концепт «Религиозный деятель» в английской языковой картине мира, мы обнаружили, что некоторые религиозные символы, такие, как облачения священнослужителей, более широко представлены в языке, другие, такие, как принятие священнослужителями какого-либо обета, занимают в языке незначительное место. Основным источником материала явились словари The Oxford English Dictionary (Ed. by Simpson J. A., Weiner E. S.), Webster's Third New International Dictionary of the English Language, а также словари сленга A Dictionary of Slang and Unconventional English (Partridge E.), Dictionary of American Slang (Wentworth H., Flexner S. B.), Cassel's Dictionary of Slang (Green J.) и другие.

Облачения церковнослужителей в английском языке служат для наименования предметов разных сфер. Так, цвет облачений обусловил тот факт, что наименования религиозных деятелей используются для обозначения объектов концептуальной области «естественный мир»: животных (*parson*: an animal with a black coat or markings – животное черного окраса или с черными пятнами; *monk bat*: any of bats in which the males live in communities – вид летучих мышей), птиц (*parson bird*: a black New Zealand

honeyeater – черный новозеландский медосос; *parson gull*: great black-backed gull – большая черная чайка), рыб (*friar*: a European skate – монах в значении европейский скат; *monk-fish*: a goosefish – рыба-монах – морской черт).

Такие объекты естественного мира, как растения, очень часто переосмысливаются в терминах религиозных деятелей. По-видимому, в коллективном сознании представителей английского языкового сообщества существовал устойчивый стереотип рассматривать объекты растительного мира и религию как сущности, данные «свыше», поэтому многие растения считались «священными», и существовала традиция обозначать многие растения через наименования церковнослужителей (*friar's cap*: wolf's bane – аконит, арника горная, горный табак; *Jesuit's tea*: a tropical American pigweed – тропический американский амарант; *bishop weed*: goutweed – сныть обыкновенная). Таким образом, переносы в концептуальной сфере «Естественный мир» отражают действие принципа антропоморфизма, который традиционно связывают с религией, присущими ей образами и представлениями, когда природные объекты наделяются человеческими чертами и обликом.

Религиозная символика представлена и в сфере «Предметный мир»; в первую очередь, в секторе одежды. Первые примеры семантического сдвига РЕЛИГИОЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ – ОДЕЖДА относятся к середине XV в.: *monk's cloth*: a heavy cotton fabric used for curtains, bedspreads; *deacon*: a set of eucharistic garments. В дальнейшем наименования церковнослужителей служат для обозначения как определенного фасона: *bishop sleeve*: a full sleeve drawn in tightly at the wrist; *bishop*: a smock or all round pinafore worn by children; *cardinal*: a lady's cloak; *Jesuit*: a kind of dress worn by ladies; *pope's hat*: the head-dress of the Grenadier Guards; *Sister Dora*: a type of nurse cap; так и определенного вида ткани: *nun's veiling*: a thin dress stuff; *nun's cotton*, *nun's thread*: a fine white sewing cotton; *nun's cloth*: a thin woolen stuff; *cardinal lace*: a modern pattern of lace. Обозначения представителей нехристианских религий также приобретают новые значения по схеме РЕЛИГИОЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ – ОДЕЖДА: *rabbi*: a sleeveless, backless, vestlike garment; *mufti*: a civilian dress; *guru*: a high-hecked jacket fastened at the front by a vertical row of many small buttons. Наиболее продуктивной эта модель стала во второй половине XVIII в., т. е. можно констатировать, что именно в этот период облачения религиозных деятелей стали основополагающим стимулом в процессе семантической деривации исследуемой лексики.

Обратная модель ОБЛАЧЕНИЕ – РЕЛИГИОЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ характеризуется наибольшей

продуктивностью также в конце XVIII – начале XIX в. и ведет к появлению следующих примеров: *black coat*: a clergyman, a parson; *black gown*: a clergyman; *Mr. Prunella*: a parson; *old red socks*: the pope; *pair of lawn sleeves*: a bishop; *pudding-sleeves*: a parson; *apron and gaiters*: a bishop; a dean; *camister*, *canister*: a clergyman. Цвет и фасон облачений священника, епископа, Папы Римского являются мотивом переноса в указанных примерах. Такой атрибут, как четки, тесно связан в сознании людей с церковнослужителями, что послужило стимулом к образованию наименования *bead-counter* – a cleric, religious recluse. Появившееся в конце XIX в. выражение *St. Alban's clean shave* (a clergyman's beardless face, typical of the High Church) свидетельствует, что чисто выбритое лицо священника являлось одним из признаков, ассоциируемых с данной группой и нашедших объективацию в языке. В середине XIX в. облачения представителей католицизма получают наименование «m.b.coat», что означает «mark of the beast». Таким образом, даже через наименования одежды объективируется отношение к представителям того или иного религиозного направления.

Цвет сутаны стал мотивом переноса в следующих метафорах: *monk*: a dark or an over-inked spot in a printed sheet; *friar*: a white pale spot on a printed sheet. Эти переносы подтверждают тот факт, что объекты более освоенной сферы (религия: кармелиты и монахи) служат объективации предметов менее освоенной сферы (книгопечатание). Появившееся в Англии в XV в. книгопечатание требовало вербализации своих терминов и понятий, для этого стали использоваться наименования церковнослужителей, которые были, в основном, образованны и способствовали распространению грамотности среди населения, т. е. в коллективном сознании англичан существовала прочная связь «монах – образование – книга». Фраза *to bishop the balls* (to water the balls) использовалась в области книгопечатания в конце XVIII в., сейчас вышла из употребления.

Наименования представителей различных конфессий также отражают религиозный символизм в английском языке: *blue skin*: a Presbyterian (голубой – цвет пресвитерианской церкви); *old red socks*: the Pope (красный – традиционно связывают с католицизмом); *red-letter man*, *redneck*: a Roman Catholic. Влияние «рыбных дней» в католицизме послужило стимулом к образованию ряда наименований: *mackerel-snapper*, *mackerel-eater/-gobbler/-smacher/ -snatcher*, *minnow-muncher*: a Roman Catholic. По-видимому, большое количество таких примеров объясняется давним соперничеством англиканской и католической церкви за влияние в английском культурно-языковом сообществе.

Ассоциации с одежаниями церковнослужителей послужили основой семантического сдвига «религиозный деятель – цвет»: *patriarch*: a dark reddish purple (темно-красный, пурпурный); *pontiff*: a deep purple (насыщенный фиолетовый); *prelate*: a moderate violet (умеренный лиловый); *vestal*: a grayish purple (серовато-фиолетовый); *friar's grey*: grey worn by the Franciscans (серый); *parson grey*: dark grey (темно-серый).

На основе статистического анализа можно сделать вывод, что одежания и формы церковнослужителей являются стимулом переноса в 27% примеров. В процессе анализа были выявлены следующие образные признаки церковнослужителей, которые имеют наибольшую представленность в семантических сдвигах: цвет облачений (55%); определенный фасон облачений (20%); формы и размеры священнослужителей (11%); вид ткани, используемый для пошива одежаний (7%); бритые головы некоторых представителей духовенства (6%).

Помимо облачений знание о различных обрядах и требах, выполняемых священнослужителями, их миссионерской деятельности нашло отражение в языке. Если в ранненоанглийский период обозначения представителей различных конфессий часто содержали отрицательно-оценочную коннотацию (*jesuit*: a prevaricator – лукавый человек), то позднее, с середины XIX в., акцент переходит на качественную характеристику, деятельность церковнослужителей. Так, значение *Jesuit* претерпевает очередной семантический сдвиг: a type of Chinese porcelain (вид китайского фарфора), который свидетельствует о том, что в англоязычной когнитивной системе того периода присутствовали знания о миссионерской деятельности иезуитов в разных странах, в том числе в Китае. В ранненоанглийский период наименования религиозных деятелей используются для наименования оружия – *priest*: a mallet or other weapon used to kill a fish (деревянный молоток или другое оружие, используемое, чтобы убить рыбу); *monk's gun*: the wheel-lock gun of the 16<sup>th</sup> century (оружие с механическим затвором, используемое в XVI в.) (объясняется, по-видимому, функциями священнослужителя в ситуации с умирающим). В конце XVIII в. некоторые наименования церковнослужителей приобретают значение «указатель, указательный столб», в котором репрезентируется разъясняющая, направляющая функция священнослужителей: *bishop's finger*: a signpost; *parson*: a signpost; *finger-post*: a clergyman. Указанные семантические сдвиги свидетельствуют, что в англоязычной когнитивной системе того периода направляющая, руководящая деятельность приписывалась всем церковнослужителям, независимо от занимаемого места в церковной иерархии. С развити-

ем политических партий и снижением влияния церкви в делах государства в конце XIX в. *bishop* приобретает противоположное значение: a broken signpost.

Признак функции важен в процессе семантической деривации и при образовании устойчивых словосочетаний. Так, в словосочетании *see the chaplain* (to stop complaining, to shut up) акцентируется внимание на функции капеллана, в обязанности которого входит выслушивать истории и жалобы прихожан. Роль священника в ситуации с умирающим актуализируется в словосочетаниях *to be a person's priest* (to kill); *Davy putting on the coppers for the parson* (about an approaching storm). Чтение проповеди священником послужило стимулом к появлению такого наименования, как *gospel-cove* (a clergyman). Выполнение приходским священником обрядов бракосочетания и крещения привело к образованию глагола *to parson* (to marry; to church after child-delivery), словосочетания *to let the priest say grace* (to marry).

Английский историк, философ и культуролог К. Г. Доусон указывал на две отличительные особенности, присущие священнослужителям: с одной стороны, жрец – слуга бога, храмовый служитель; с другой стороны, он – строитель моста между миром людей и миром богов, т. е. он сам в некоторой степени разделяет с богами власть и престиж [7], т. е. священник всегда ассоциировался с высоким элитным положением в обществе. Таким образом, признак статуса в церковной иерархии значим не только для обозначения множества разновидностей священнослужителей в различных конфессиях, но он является значимым в концептуализации социальных отношений. Так, наименования священнослужителей высокого ранга используются для обозначения председателей, глав, лидеров, руководителей (*imam, patriarch, dean, pope* и др.); наименования церковнослужителей низкого статуса служат для обозначения помощников, представителей непрестижных профессий (*sidesman, curate, minor clergy* и др.) и часто приобретают пейоративные значения.

Высокий статус духовенства был связан с тем фактом, что священники, будучи самыми образованными людьми своего времени, способствовали распространению грамотности среди населения, развитию литературы, поэтому именно наименования церковнослужителей стали активно использоваться в обозначении новых реалий сферы образования и преподавания. Уже в древнеанглийский период в коллективном сознании представителей английского языкового сообщества существовала связь духовности и образованности и присутствовало противопоставление: ученый, духовный (*ge-lared*) – необученный, свет-

ский, мирской (lawede). К середине XV в. происходит формирование прототипного сдвига РЕЛИГИОЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: *lector*: a lecturer in a college; *rector*: the head of a university, school, or other teaching institution; *sacrist*: an officer in the University of Aberdeen; *Jesuit*: a graduate or an undergraduate of Jesus College, Oxford; *Jesuit*: a member of Jesus College; *curate*: a curator, an overseer, т. е. менее освоенная языком сфера преподавания объективируется при помощи единиц более освоенной сферы религии. Помимо области образования представители многих других сфер (суд, театр, ремесла) вербализуются в терминах религиозных деятелей: *ordinary*: a judge; *ordinary*: a stage prompter; *ordinary*: a courier; *pontifex*: a bridge-maker; *tub-thumper*: a cooper; *priest of the blue bag*: a barrister; *clergyman*: a chimney sweep; *cardinal*: a shoeblick; *father*: the owner of a common lodging house; *clerk*: the officer who has charge of the records, accounts of any department; *cantor*: a singer; *druoid*: a philosophic bard or poet. Следует отметить, что внешний вид священнослужителей, который является во многих моделях основным мотивом переноса, в данной модели не продуктивен. Большее значение приобретают функциональные характеристики.

Наименования церковнослужителей широко используются для обозначения различных блюд и особенно напитков. Этот факт, по-видимому, можно объяснить тем, что религиозное действо обязательно включало в себя культовое возлияние и приношение жертвы богам [8]. Трапезы и возлияния в церквях и монастырях запечатлены на картинах художников, в произведениях художественной литературы. В ранненовоанглийский период гастрономические метафоры с использованием наименований церковнослужителей были немногочисленными, первые переносы встречаются только с середины XVII в.: *Pope's milk*: a jocular name for some kind of drink; *clerk-ale*: an ale-drinking for the benefit of the parish clerk; *white friars*: a small flake of light-coloured sediment floating in wine; *bishop*: a mixture of wine and water; *friar's chicken*: chicken broth with eggs. Это объясняется устоявшимися религиозными традициями, царившими в ранненовоанглийский период в обществе; несмотря на вспышки негодования против деятельности представителей церкви, большинство еще считало священнослужителей посредниками между богом и человеком. Различные вина и продукты, которые производились в монастырях, находят широкое отражение в метафорической картине мира носителей английского языка на современном этапе: *benedictine*: a French liqueur; *Trappist cheese*: a mild, yellow cheese from whole milk; *trappistine*: a liqueur made by

Trappists; *Suisse*: a soft French white cheese resembling Neufchatel. Цвет одеяний отражается в следующих метафорах: *cardinal*: mulled red wine; *cardinal sauce*: a sauce variously flavored; *Mormon candy/ currency*: carrots. Место в церковной иерархии послужило мотивом создания таких переносов, как *curate*: the top half of a sliced teacake; *curate's delight*: a layered cake; *rector*: the bottom half of a sliced teacake. Метафоры *minister's face/ head/ snout*; *parson's face/ head/ snout* (pig's head cooked and served at a meal) отражают антиклерикальные настроения середины XIX в., а также соперничество различных направлений церкви в Англии.

В XX в. появляются такие метафоры: *pope's telephone number*: Vat 69 whisky; *parson's collar*: the froth on top of a glass of beer; *parson's wife*: gin; *archdeacon*: merton ale, stronger brew; *pope*: a hot spiced drink of mull based on any of various wines; *virgin*: a mixture of vermouth and gin; *Mormon poison*: coffee. В середине XX в. концепт «пьяный» получает объективацию через наименования церковнослужителей: *Molly the monk*: drunk; *out the monk*: drunk; *mouth like a nun's minge*: the furred tongue and disgusting taste that can accompany a hangover; *popeyed*: drunk; *drunk as a pope*. Указанные примеры свидетельствуют, что в настоящее время в коллективном сознании носителей английского языка существует устойчивый стереотип о распространённости пьянства среди церковнослужителей, хотя сами священнослужители проповедают обратное.

В любом религиозном течении наличие храма является обязательным атрибутом. Это не просто место для богослужений и обрядов, это священное место общения человека с Богом. Цитируем И. А. Тульпе: «Весь космос – ангелы, люди, животные, растения, светила – являет храм Божий. В нем воплощен образ восстановленного единства, которое было нарушено грехопадением. Храм и Церковь – частицы грядущего царства Божьего... В семантике храма явлено мироздание, священная история и священное будущее» [9]. Э. Сепир высказывает мнение, что если в рамках некоторой культуры возводятся величественные храмы, то это потому, что данная культура ощущает необходимость символизировать в прекрасных каменных сооружениях глубокий и жизненно важный религиозный импульс [10]. Большая встречаемость различных наименований храма в обозначении церковнослужителей свидетельствует, что в когнитивной системе англоязычного сообщества деятельность духовенства неразрывно связана с определенным местом. Вместе с тем наименования священных мест, как и наименования церковнослужителей, часто приобретают отрицательные коннотации: *temple*: the lavatory; *synagogue* – a shed; *convent* – a brothel;

*nunnery* – a brothel; *cbicken-perch*: a church; *pulpit*: the vagina; *vestry*: the vagina; *chapel*; *chapel of ease*: a privy, a lavatory; *chapel of little ease*: a police station; *chapel bat pegs*: erect female nipples. Данные примеры объективируют устойчивый стереотип негативного отношения к деятельности религиозных деятелей и церкви в целом, который существовал в коллективном языковом сознании английского общества, что привело к появлению пейоративных значений в структуре указанных единиц.

Части храма имеют семиотическое значение: есть места для прихожан, для священника, место для исповеди и других таинств. Наименования кафедры проповедника *coward's castle*; *coward's corner*; *clack-loft*; *bum-box*: *pulpit* служат для характеристики тех, кто занимает кафедру, раскрывают такие признаки, ассоциируемые с церковнослужителями, как трусость, пустословие. Несмотря на то, что алтарь – «духовное средоточие храма» [11], процессы секуляризации обусловили пейоративные изменения и в структуре слова *altar*, которое приобретает в XX в. значение «the lavatory». Параллель между сексом и религией как таинствами прослеживается в *altar of love*; *altar of hymen*; *altar of pleasure*: the vagina.

Пословичный фонд также опирается и раскрывает некоторые из религиозных символов. Так, в пословице «the parson (priest) always christens his own child first» – своя рубашка ближе к телу – заключено знание о том, что любой человек по натуре эгоист, «свое» (свои проблемы, переживания, радости) всегда стоит на первом месте; это знание иллюстрируется с помощью частного примера известной ситуации с обрядом крещения ребенка священником в церкви. Сутана – один из символов монашества, это знание представлено в пословице «the cowl (hood) does not make the monk» – не всяк монах, на ком клобук. В данном примере религиозный символ позволяет охарактеризовать универсальную ситуацию: не всегда по одежде можно судить о сущности человека. В этом и заключается смысл символа: он позволяет делать определенные выводы об универсальных законах миропорядка и помогает ориентироваться в окружающей действительности.

Таким образом, в рамках данной статьи была предпринята попытка отразить влияние религиозной символики на формирование лексическо-

го фонда английского языка, ее значение и проявление в семантической структуре ряда единиц. Такие религиозные символы, как облачения священнослужителей, являются наиболее востребованными в процессе семантической деривации, постоянно функционирующем в структуре лексических единиц, объективирующих концепт «Религиозный деятель» в английской языковой картине мира. Следует учитывать, что природа любого символа бесконечно глубока, и перечень смыслов, передаваемых тем или иным символом, никогда не может быть исчерпан [12]. Проблема религиозного символизма в языке требует дальнейшего исследования, так как она затрагивает проблему взаимосвязи различных семиотических систем.

#### Примечания

1. Борисов, О. С. Статус религиозного сознания в культуре [Текст] / О. С. Борисов // Вестник СПбГУ. Сер. 6. 2006. Вып. 2. С. 216.
2. Мечковская, Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций [Текст]: учеб. пособие для студ. филол., лингв. и переводовед. фак. высш. учеб. заведений / Н. Б. Мечковская. М.: Изд. центр «Академия», 2004. С. 283–284.
3. Тульпе, И. А. Метафизика православия в его иконе [Текст] / И. А. Тульпе // Религия и культура: Россия. Восток. Запад: сб. статей / под ред. Е. А. Торчинова. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2003. С. 7–35.
4. Ульянов, А. В. Русский крест [Текст] / А. В. Ульянов // Человек. 1999. № 6. С. 132–140.
5. Петрунин, Ю. Где стоит «дуб зеленый»? [Текст] / Ю. Петрунин // Наука и религия. 1994. № 2. С. 56–59.
6. Симагин, В. А. Семантика православной архитектуры [Текст] / В. А. Симагин, Н. В. Курбатова, Р. В. Булгач // Строительство. 2002. № 3. С. 110–119.
7. Доусон, К. Г. Религия и культура [Текст] / К. Г. Доусон; пер. с англ., вступ. ст., коммент.: К. Я. Кожурин. СПб.: Алетейя, 2000. (Миф, религия, культура). С. 138.
8. Маковский, М. М. Удивительный мир слов и значений: Иллюзии и парадоксы в лексике и семантике [Текст]: учебное пособие / М. М. Маковский. Изд. 2-е, стереотип.. М.: КомКнига, 2005. С. 24.
9. Тульпе, И. А. Указ. соч. С. 24.
10. Сепир, Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии [Текст] / Э. Сепир; пер. с англ.; общ. ред. и вступ. ст. А. Е. Кибрика. М.: Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1993. (Филологи мира). С. 473–474.
11. Доусон, К. Г. Указ. соч. С. 111.
12. Бескова, И. А. Язык символов как эпистемологический феномен // Эволюция. Язык. Познание. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 161.



3. Г. Набережнова

### СИНКРЕТИЗМ ЗНАЧЕНИЙ ТОЧЕЧНОЙ И ЛИНЕЙНОЙ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ В НЕКОТОРЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ ВО ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Предметом рассмотрения статьи являются функционально-семантические особенности обстоятельственных структур со значением предшествования во французском и русском языках. Анализируются структуры *il y a...*, *il y a... que*, *давно*, *...назад*, синкретично выражающие значения точечного и линейного предшествования в рамках ФСП темпоральности. Выражение различных видов предшествования данными структурами увязывается с видовременной формой и семантикой глагола.

The article concentrates on functional and semantic peculiarities of French and Russian adverbial structures depicting the meaning of the past. The author analyzes the structures *il y a...*, *il y a... que*, *давно*, *...назад* which syncretically express the meanings of the point and line anteriority within the lexico-grammatical field of temporality. The expression of different types of temporality is linked to the aspectual and temporal forms of verbs and to their semantics.

Полевая структура темпоральности имеет подвижные границы, поэтому временная семантика многих неглагольных показателей предшествования, которые находятся на периферии поля темпоральности, пересекается с другими категориями и представляет собой «тесное переплетение» аспектуальных, таксисных и темпоральных элементов [1]. Наречия *d'abord/сначала, сначала, прежде*, выражая временное значение тонкального предшествования, синкретично имеют значения начинательного способа действия и таксисного маркера, выражающего последовательность действий. Сема предшествования в словах *déjà/уже* пересекается и взаимодействует с категорией перфектности в рамках функционально-семантического поля аспектуальности. Русское наречие *по-прежнему* представляет собой обстоятельство образа действия и отвечает на вопрос «как?», однако сопровождающее значение этого слова – биаксиальное предшествование, соотносимое как с первичным, так и с вторичным дейксисным центром. Наречия *prématurément/преждевременно* выражают одновременно тонкальное предшествование и суспенсивный способ действия. Темпоральные значения предлогов *vers/к, jusque/до* сопровождаются аспектуальными значениями способов действия (СД): проспективным, предельным и обозначено-дуративным. Однако взаимодействие и синкретизм значений отмечается не только между элементами разных функционально-семантических полей, но и в рамках

одного поля, например поля темпоральности. Наглядным примером того, как перекрещиваются различные значения темпоральности во французском и русском языках, являются обстоятельственные структуры со значением предшествования *il y a...*, *il y a... que*, *...назад* и наречие *давно*. Ж. Пеншон и М. Н. Закамулина считают важным различать точечное и линейное выражение времени (предшествования и следования) и отличать линейную темпоральность от аспектуальной категории дуративности. Точечное предшествование указывает на момент совершения действия или возникновения состояния в прошлом, линейное предшествование локализует действие в его протяженности между двумя имплицитными точками T1 – T2, вторая из которых является приоритетной [2].

По нашему мнению, точечное предшествование может иметь две формы:

1) Событие S произошло в момент, предшествующий точке отсчета. Его результатом является состояние, которое продолжается в точке отсчета. Такая точечность достигается с помощью событийного глагола.

2) Событие S произошло в момент, предшествующий точке отсчета, но это событие либо не имело последствий в точке отсчета, либо о них ничего не известно. Этот вид точечного предшествования наблюдается в высказываниях с глаголом в общефактическом значении и/или с событийным глаголом в аористическом контексте, когда событие случилось в прошлом, закончилось и связи с настоящим не имеет.

Часто бывает трудно отграничить точечное от линейного выражения темпоральности, так как некоторые временные лексические и лексико-синтаксические компоненты в разных контекстах либо могут выражать оба вида предшествования, либо, выражая разные виды предшествования, оставаться очень близкими по смыслу. К ним относятся наречие *давно*, адverbиальные выражения *il y a...*, *il y a ... que*, *il y a longtemps*, *il y a longtemps que*. Далее мы сможем это увидеть.

Функциональные особенности русского *давно* описывали Е. В. Падучева и Т. Е. Янко. Французское *il y a...(il y a... que)* является предметом пристального внимания многих лингвистов (Бертонно, Вэт, Мартэн, Пеншон). Е. В. Падучева и Т. Е. Янко рассматривали наречия во взаимосвязи с глаголом и подчеркнули влияние семантики последнего на характер предшествования, выраженного наречием: «таксономическая категория глагола» определяет толкование наречия [3]. Опираясь на исследования Янко и Падучевой [4], мы будем различать следующие виды значений глаголов, влияющих на семантику темпоральных наречий: 1) глагол с общефактической семантикой, который констатирует события, «разобщен-

ные с точкой отсчета» [5]; 2) глагол с событийной семантикой, имплицитный переход в новое состояние, которое имеет место в точке отсчета. Данные виды глаголов могут употребляться в перфектном, имперфектном или аористическом контекстах.

Так, значение наречия *давно* изменяется в зависимости от видовременной формы глагола и его семантики и может выражать точечное предшествование или линейное предшествование, близкое к аспектуальной категории дуративности.

Наречие *давно* выражает точечное неканальное предшествование при определенных условиях:

1) Давно + прошедшее время совершенного вида событийного глагола с перфектным значением: *Ребенок давно заснул. Дождь давно кончился.*

Событие произошло в момент, предшествующий моменту речи (МР), но в МР длится состояние, которое возникло в результате этого события.

2) Давно + прошедшее время совершенного вида событийного глагола в аористическом контексте: *Эта история произошла давно.*

Событие началось и закончилось задолго до МР и не имеет никакой связи с настоящим.

3) Давно + прошедшее время несовершенного вида глагола с общефактической семантикой: *Я давно смотрела этот фильм. Я обедал давно.*

Событие имело место в период до МР, но оно или не привело ни к каким последствиям в МР, или о нем ничего не известно. В остальных случаях *давно* выражает ретроспективную линейность.

Французскими эквивалентами наречия *давно* являются *il y a longtemps, il y a longtemps que*. Однако *il y a longtemps que* всегда указывает на протяженность действия и наличие в момент речи состояния, начавшегося какое-то время назад, т. е. линейное ретроспективное предшествование. *Il y a longtemps* выражает точечное предшествование, эквивалентное русскому *давно*: *Jacques a quitté son pays il y a longtemps. Il y a longtemps, le duc de Bretagne fit le tour de sa région et s'arrêta au Niver. J'ai regardé ce film il y a bien longtemps.*

Аналогично ведут себя обстоятельственные структуры [II y a+Ntqu] и [II y a+Ntqu+que]. [II y a+Ntqu+que] указывает на ретроспективную линейность, тогда как [II y a+Ntqu] выражает точечное предшествование.

Обстоятельственной структуре [II y a+Ntqu] соответствует русская обстоятельственная группа [Ntqu + назад]: *Je suis venue il y a dix minutes. Я пришла десять минут назад.*

Значение русского *...назад* и французского *il y a...*, как и *давно*, зависит от семантики и видовременной формы глагола. Данные детерминан-

ты времени также выражают два вида точечного предшествования:

1. Точечное предшествование, имеющее результат в настоящем: *Je suis arrivée à Londres il y a 5 ans. Я приехала в Лондон пять лет назад.* В этом примере сочетание перфектной формы событийного глагола (т. е. глагола перехода в новое состояние) с обстоятельственным темпоральным конкретизатором дает семантику точечного предшествования. Причем данное сообщение подразумевает, что в момент речи имеется результат того, что произошло пять лет назад, т. е. речь идет о статальном перфекте.

2. Точечное предшествование, не имеющее результата в настоящем: *J'ai vu Pierre il y a deux jours. Я видел Пьера два дня назад.*

Здесь мы видим формы глаголов с общефактической семантикой, употребленные в акциональном перфектном значении; причем, если для французской формы *passé composé* перфектное значение является системным, первичным, то для русской формы несовершенного вида перфектное значение является вторичным. Высказывание указывает на точечность, на действие, которое имело место два дня назад, но последствий для настоящего оно не имеет.

В примере *Dominique travaillait (a travaillé) en Afrique il y a quinze ans. Пятнадцать лет назад Доминик работала в Африке* имперфектная (перфектная) форма общефактического глагола в сочетании с *il y a quinze ans* показывает, что действие или состояние было и закончилось в прошлом пятнадцать лет назад и что сейчас Доминик в Африке не работает. Связь с настоящим отсутствует.

Из этих примеров видно, что при глаголе с общефактической семантикой *il y a... и ...(тому) назад* выражают предшествование, не имеющее последствий в настоящем, а если действие обозначается событийным глаголом, то вся фраза эксплицитно или имплицитно указывает на наличие результата в момент речи.

*Il y a...que* имеет более сложную семантику. Часто по смыслу эта группа синонимична *il y a*: *Jacques a quitté l'armée il y a trois ans. Il y a trois ans que Jacques a quitté l'armée* (пример заимствован из Бертоно). Мы видим, что в обоих примерах сохраняется единый смысл: в момент речи Жак не работает в армии. Разница заключается в том, что оборот *il y a...*, который соответствует русской наречной группе *...назад*, кроме указания на предшествующее событие, имеющее последствия в момент речи, может также выражать предшествование, разобщенное с точкой отсчета: *Jacques a quitté l'armée il y a trois ans mais il a rengagé 6 mois après.* Тогда как *il y a...que*, которое дословно на русский язык можно было бы перевести *вот уже...как*, всегда обо-

значает протяженность действия или состояния, вызванного этим действием до точки отсчета и его наличие в момент речи. Поэтому фраза *Il y a trois ans que Jacques a quitté l'armée, mais il a rengagé 6 mois après* является некорректной [6].

Таким образом, несмотря на схожесть значений, мы считаем необходимым относить *il y a* и *il y a ... que* к разным видам предшествования.

Интересно, что многие наречия, выражая точечное нонкальное предшествование, в сочетании с глаголами перехода в новое состояние (событийными глаголами) в прошедшем времени совершенного вида имплицитно указывают на то, что результат этого действия в прошлом сохраняется в настоящем. К этим наречиям относятся: *hier, avant-hier, il n'y a pas longtemps, avant, tout à l'heure, вчера, позавчера, давно, недавно, на днях, ...назад, только что*. Например: *Le père est revenu de la mission hier. Отец вернулся из командировки вчера* (= > отец сейчас дома, не в командировке); *J'ai fait connaissance avec Carine il y a longtemps (récentement, l'autre jour). Я познакомился с Машей давно (недавно, на днях...)* (= > я с ней знаком в настоящее время). Однако тут же считаем необходимым отметить, что на наличие или отсутствие результата действия в настоящем моменте больше влияет семантика самого глагола, нежели наречие и, если удалить из фразы обстоятельство времени, результат действия в настоящем сохраняется: *Я познакомился с Машей неделю назад (вчера, недавно) – Я познакомился с Машей* (результат: сейчас я знаком с Машей).

#### Примечания

1. Бондарко, А. В. Основы функциональной грамматики. Языковая интерпретация идеи времени [Текст] / А. В. Бондарко. СПб: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999. С. 68.

2. Pinchon, J. Morphosyntaxe du français [Text] / J. Pinchon. Paris: Hachette, 1986. P. 145; Закамулина, М. Н. Темпоральность во французском и татарском языках: слово, высказывание, текст [Текст] / М. Н. Закамулина. Казань: Тат. кн. изд-во, 2000. С. 140, 257.

3. Падучева, Е. В. Давно и долго [Текст] / Е. В. Падучева // Логический анализ языка: язык и время: сб. науч. статей. М.: Индрийн, 1997. С. 257–264.

4. Там же. С. 253–266; Янко, Т. Е. Обстоятельства времени в коммуникативной структуре предложения [Текст] / Т. Е. Янко // Логический анализ языка: язык и время: сб. науч. статей. М.: Индрийн, 1997. С. 281–296.

5. Янко, Т. Е. Указ. соч. С. 289.

6. Berthonneau, A.-M. Depuis vs il a que, référence temporelle vs cohésion discursive ou A quoi sert que dans il y a? [Text] / A.-M. Berthonneau // C. Vetter. Le temps, de la phrase au texte. Lille: Presses Universitaires de Lille, 1993. P. 12.

М. Ю. Никитина

### КАТЕГОРИЯ ПРЕДЕЛЬНОСТИ/НЕПРЕДЕЛЬНОСТИ В СЕМАНТИКЕ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматривается универсальная категория предельности/непредельности глагольного действия, проводится классификация глаголов движения во французском языке в зависимости от их отношения к пределу действия. Главными семантическими признаками, на основе которых противопоставляется предельный/непредельный характер глаголов движения, выступают категория направления и понятие перспективы.

The universal category of limit/unlimit of verbal activity and the classification of french verbs of movement are regarded in this article. The limit/unlimit character of the verbs is pointed through the category of direction and according to the concept of perspective.

Объектом данного исследования являются глаголы движения, занимающие центральное положение в выражении категории движения во французском языке. Выбор объекта исследования не случаен, так как движение принадлежит к числу фундаментальных отношений объективной действительности. Оно представляет сложное явление, направленное в пространстве и протяженное во времени, поэтому может изучаться с разных точек зрения и в разных аспектах. В нашу задачу не входит анализ всех аспектов понятия «движения», движение нас интересует как предельный или непредельный процесс.

Категория предельности/непредельности глагольного действия, заняв прочное место в аспектологических исследованиях и привлекая все более пристальное внимание лингвистов, остается одной из самых сложных и недостаточно изученных.

Аспектуальность относится к наиболее распространенным языковым категориям и является, по мнению некоторых языковедов, более универсальной, чем даже категория времени. Наряду с такими функционально-семантическими категориями, как темпоральность, персональность, бытийность, локативность, поссессивность, данная категория является одной из семантических констант наиболее высокого уровня [1].

Аспектуальная характеристика действия сводится к указанию на способ распределения действия во «внутреннем времени»: является ли оно длительным (неограниченно длительным или ограниченно длительным) или недлительным (мгновенным), кратным (неограниченно кратным или ограниченно кратным) или некратным (разовым), протекающим как процесс или целостным фак-

тором, имеет ли оно внутренний предел в своем развитии или нет (предельные или непредельные действия) и др. В узком понимании область аспектуальности охватывает все характеристики действия с точки зрения наличия/отсутствия в его проявлении временной перспективы. В более широком понимании к аспектуальности относят все типы протекания и распределения действия во времени (фазовость, интенсивность, динамичность, статичность, отношение и др.).

Первичным делением поля аспектуальности является разграничение количественной и качественной аспектуальности.

К сфере *количественной аспектуальности* относится характеристика действия по прерывности и непрерывности, по кратности, по степени интенсивности и длительности.

*Качественная аспектуальность* раскрывается в системе содержательных вариантов, одним из признаков которых является отношение действия к пределу. Она охватывает такие семантические оппозиции, как динамика – статика; действие предельное, направленное к внутреннему пределу, – действие непредельное, не направленное к пределу; предельное действие, достигающее свой предел, – действие, когда предел еще не достигнут [2].

**Предел** – понятие универсальное, применяемое в различных сферах жизни и деятельности. Термин «предел» употребляется в физике, математике, лингвистике. В физике, например, под пределом пропорциональности, текучести, упругости, усталости понимается «наибольшее напряжение при различной деформации материалов» [3].

В лингвистике нет общепризнанного и однозначного толкования понятия «предел». Лингвисты вкладывают в этот термин различное содержание [4].

Вслед за С. И. Холод мы склонны рассматривать **предел** как некую критическую точку, связанную с качественным изменением в протекании действия, такой точкой может быть: 1) начало действия; 2) конец действия; 3) достижение цели; 4) переход в новое качественное состояние субъекта/объекта действия [5].

А. В. Бондарко выделяет следующие разновидности предела:

1) внутренний и внешний; 2) реальный и потенциальный; 3) эксплицитный и имплицитный; 4) абсолютный и относительный [6].

**Предельность** (далее П) – это входящее в семантику глагола указание на внутренний, самой природой данного действия предусмотренный предел.

**Непредельность** (далее НП) – это отсутствие внутреннего предела, ограничивающего течение действия хотя бы в перспективе [7].

Категория предельности/непредельности глагольного действия является лингвистической универсалией, так как она в той или иной степени свойственна всем языкам.

В *славянских языках* соотношение П/НП выступает в поле аспектуальности как оппозиция аспектуальных классов лексики, представляющая собой ближнюю периферию по отношению к грамматической категории вида как к центру поля, т. е. характерным примером является комплекс «глагольный вид и предельность/непредельность глагольного действия».

В *романских языках*, в частности во французском, оппозиция П/НП выступает в поле аспектуальности при отсутствии в данном языке вида как грамматической категории. Вследствие этого, значимость противопоставления предельности/непредельности в общей системе отношений к действию повышается. Как отмечает Е. А. Реферовская, предельность/непредельность глагола играет доминирующую роль в аспектуальной характеристике действия, какой бы глагольной формой оно ни выражалось [8]. Г. Гэрэй, выделяет во французском языке два класса глаголов – целевые и нецелевые – *telic/atelic verbs*. В основе данного противопоставления лежит признак цели, входящий в лексическое значение глагола (термин *telic* соотносится с древнегреческим *telos* “конец, окончание, исход, результат, цель”) [9]. В. Г. Как отмечает, что подобные группы глаголов получают различное наименование: непредельные – *cursifs, duratifs, imperfectifs, sans terme fixe, non-cycliques*; предельные – *terminatifs, perfectifs, à terme fixe, cyclique, ponctuels* и др. [10]

При анализе категории предельности/непредельности во французском языке мы опираемся на теорию *функциональной грамматики*, разработанную А. В. Бондарко [11]. Функционально-семантический подход к анализу фактов языка в целом и теория функциональной грамматики в частности базируются «на таких принципах исследования, которые способствуют выявлению глубинных семантических процессов, «скрытых» закономерностей, обусловленных сложной природой языка как средства общения, и обеспечивают возможность решения наиболее трудных теоретических вопросов [...] затрагивающих проблемы соотношения разных языковых уровней с точки зрения их иерархии и взаимодействия для выражения одного содержания или для выполнения одной коммуникативной задачи» [12].

Основным принципом построения функциональной грамматики является подход «от семантики к средствам ее выражения», что позволяет представить специфику грамматики во всей полноте ее признаков и является исходным пунктом лингвистического анализа. Семантика, исследуе-

мая в функциональной грамматике, всегда «потенциально грамматична». Элементы лексических значений включаются в сферу аспектуальной категории предельности/непредельности, в выражении которой определяющую роль играют грамматические средства [13].

Категория предельности/непредельности глагольного действия во французском языке, на наш взгляд, имеет трехступенчатую модель иерархической организации, на вершине которой находится семантическая характеристика глагола, вторую и третью ступень данной структуры последовательно занимают морфологические и лексико-синтаксические элементы. Обратимся подробнее к анализу первой ступени предложенной нами модели.

Предельность/непредельность является прежде всего внутренним свойством глагольной лексемы, ее постоянной *семантической* характеристикой, определяемой на лексикографическом уровне. Для исследования категории предельности/непредельности в семантике глаголов движения во французском языке используются различные критерии, к ним относятся категория направления и понятие перспективы.

Главным семантическим признаком, на основании которого осуществляется противопоставление предельных/непредельных глаголов движения, является *направленность* движения в пространстве. Категория направления является основной частью значения динамического предиката и объективирует обобщенный смысл движения как любого изменения.

Традиционно считается, что неоднаправленные глаголы движения являются непредельными, а одинаправленные – предельными, так как действие, обозначаемое этими глаголами, имеет определенную цель – достижение пространственного предела.

*Неоднаправленное* движение характеризует действие, которое по своему значению не направлено и не может быть направлено к достижению предела действия, поскольку осуществляется в разных направлениях и зачастую неоднократно [14]. Соответственно, неоднаправленные глаголы движения являются непредельными, так как никакого преодоления пространственной границы в обозначаемом ими действии не наблюдается, например:

*J'aime à muser toute la journée sans ordre et sans suite* [15]. В данном примере непредельный глагол *muser* обозначает недирективное движение (*directionality* – ‘направленность’, вслед за О. Г. Андреевым, L. Talmy и др. [16], т. е. передвижение в пространстве без указания на точку отправления и прибытия.

*Однаправленные* глаголы движения обозначают перемещение, происходящее в определен-

ном направлении к некоторой точке пространства, при этом локативный аргумент задается непосредственно в контексте или входит в состав глаголов, а дифференциальный признак «направленность движения» является неотъемлемой частью их семантики, например:

*C'est cela qu'il se dit sûrement, tandis qu'il rentre à la maison, referme sa porte, pose son chapeau sur la table de l'entrée, jette son pardessus sur la banquette* [17]. Ориентирами в данном контексте являются предлоги: *à, sur*, которые выступают в качестве вершины именной группы и служат локативными аргументами глаголов: *rentrer, poser, jeter*.

Итак, направление движения задается обстоятельством места. Конечный пункт (цель движения), если он предусмотрен, определяется только в контексте, т. е. является внешним пределом по отношению к действию. Внутреннего предела, к которому стремилось действие, а также изменений в характере протекания действия в семантике одинаправленных глаголов движения почти не обнаруживается. Таким образом, вслед за Ю. С. Масловым мы приходим к выводу, что значение конкретности, единичности и даже пространственной «одинаправленности» движения вовсе не то же самое, что значение направленности к какому-то пределу, к критической точке, с достижением которой действие должно исчерпать себя и прекратиться [18].

По мнению Е. С. Кубряковой, движение рождает в нашем мозгу особый вид репрезентации – схемы или программы движения, его мысленно восстанавливаемого «следа». Как только материя воспринимается как движущаяся субстанция, движение, очевидное глазу, создает образ этого движения в виде представления о его направленности траектории, следе – схемы осуществления [19]. Но конкретное языковое выражение, хотя и вызывает представление о всей ситуации движения, тем не менее выделяет, т. е. выносит на передний план и включает в перспективу только один её определенный аспект. А. Р. Ионеску считает, что понятие *перспективы*, являющееся неотъемлемой частью любой ситуации движения, наиболее адекватно помогает описать предельный/непредельный характер глагола [20].

В ситуации перемещения субъекта или объекта X из точки Y в точку Z можно выделить две сущности – процесс P и результирующее событие Q. Любой из этих аспектов может включаться в перспективу, что приводит к делению этих глаголов на два класса:

1) *непредельные (процессуальные)* глаголы движения, выдвигающие в перспективу процесс P: *(s')approcher, (s')avancer, descendre, errer, glisser, marcher, mener, monter, nager, passer, (se) pencher, poursuivre, rentrer, relever, revenir, rouler,*

*sauter, suivre, tourner, traverser, (se) trainer, (se) voler.*

2) *предельные (точечные)* глаголы движения, выдвигающие в перспективу точечное событие Q: *apporter, (s') arreter, arriver, atteindre, démarrer, entrer, fuir, gagner, (s') installer, jeter, lancer, (se) lever, partir, pénétrer, placer, poser, pousser, rapporter, renverser, soulever, suspendre, tirer, tomber, transporter, toucher.*

Считается, что *непредельные* глаголы обозначают процесс, имеющий в конце определенное событие (*accomplissement*) (т. е. процесс движения завершается при достижении пространственной точки), а глаголы второго класса описывают результат данного события и относятся к так называемым *точечным* глаголам (*résultat*). Из этого следует, что глаголы типа *marcher, monter, descendre* отделяются от таких действительно *точечных* глаголов, как *arriver, entrer, jeter* и т. п.

Итак, использование понятия перспективы при описании глаголов движения позволяет решить две частные задачи. С одной стороны, оно выявляет природу различия (которое на интуитивном уровне чувствуется носителями языка), существующего между *предельными* и *непредельными* глаголами. С другой стороны, понятие перспективы объясняет определенное сходство между *предельными* и *точечными* глаголами, ибо глаголы второго класса, описывая сложную ситуацию целиком, выносятся в перспективу *точечное* событие, являющееся частью этой ситуации.

Таким образом, анализ материала исследования показал, что *аспектуальная* категория *предельности/непредельности* глагольного действия не обладает во французском языке статусом грамматической универсалии. Она реализуется прежде всего на парадигматической оси, где представляет собой лексико-семантическую категорию, являющуюся ядром плана содержания микрополя акциональных значений лексемы. Главными семантическими признаками, на основе которых противопоставляется *предельный/непредельный* характер глаголов движения, выступают категория направления и понятие перспективы.

#### Примечания

1. Бондарко, А. В. Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка [Текст] / А. В. Бондарко // Рос. Академия наук. Ин-т лингв. исследований. М.: Языки славянской культуры, 2002. 736 с.; Lyons, J. Semantics [Text] / J. Lyons. Cambridge, 1977. Vol. 2. 897p.; Маслов, Ю. С. Очерки по аспектологии [Текст] / Ю. С. Маслов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 263 с.

2. Маслов, Ю. С. К основаниям сопоставительной аспектологии [Текст] / Ю. С. Маслов // Вопро-

сы сопоставительной аспектологии. Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. С. 10–18.

3. ФМЭ – Физико-математическая энциклопедия [Текст]. М.: Большая Рос. энцикл., 1998. С. 142.

4. Бондарко, А. В. Основы функциональной грамматики [Текст] / А. В. Бондарко. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2001. 260 с.; Зиндер, А. Р. Пособие по теоретической грамматике и лексикологии немецкого языка [Текст] / А. Р. Зиндер, Т. В. Строева. М., 1962. 318 с.; Крушельская, К. Т. Очерки по сопоставительной грамматике немецкого и русского языков [Текст] / К. Т. Крушельская. М., 1961. 153 с.

5. Холод, С. И. Предельность/непредельность глаголов движения в современном русском языке [Текст]: дис. ... канд. филол. наук / С. И. Холод. Тюмень, 2004. С. 20.

6. Бондарко, А. В. Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка... С. 186.

7. См.: Там же. С. 187.

8. Реферовская, Е. А. Аспектуальные значения французского глагола [Текст] / Е. А. Реферовская // Теория грамматического значения и аспектологические исследования. Л., 1984. С. 91–109.

9. Гэрей, Г. Б. Глагольный вид во французском языке [Текст] / Г. Б. Гэрей // Вопросы глагольного вида. М.: Иностр. лит., 1962. С. 345–354.

10. Гак, В. Г. Пространство вне пространства [Текст] / В. Г. Гак // Логический анализ языка. Языки пространств. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 281.

11. Бондарко, А. В. Основы функциональной грамматики...

12. Туникова, Н. А. Функционально-семантическая категория ин-персональности русского глагола [Текст] / Н. А. Туникова // Вестник ВолГУ. Сер. 2: Филология. Вып. 1. Волгоград, 1996. С. 14–18.

13. Бондарко, А. В. Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка... С. 296–300.

14. Авилова, Н. С. Вид глагола и семантика глагольного слова [Текст] / Н. С. Авилова. М.: Наука, 1976. С. 108.

15. Rousseau, J.-J. Julie ou la nouvelle Héloïse [Text] / J.-J. Rousseau. P.: Garnier, 1953. P. 175.

16. Андреев, О. А. Дирекциональность в испанском языке (грамматико-категориальный и когнитивно-концептуальный аспекты) [Текст]: автореф. дис. ... канд. филол. наук / О. А. Андреев. Воронеж, 2002. 20 с.; Talmy, L. Semantics & Syntax of Motion [Text] / L. Talmy // Syntax & Semantics, Vol. 4. N.Y., 1976.

17. Sarraute, N. Portrait d'un inconnu [Text] / N. Sarraute. P.: Gallimard, 1956. P. 106.

18. Маслов, Ю. С. Очерки по аспектологии [Текст] / Ю. С. Маслов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. С. 17.

19. Кубрякова, Е. С. Глаголы действия через их когнитивные характеристики [Текст] / Е. С. Кубрякова // Логический анализ языка. Модели действия. М.: Наука, 1992. С. 84–90.

20. Ионесян, Е. Р. Понятие перспективы в семантическом описании глаголов движения [Текст] / Е. Р. Ионесян // Вопросы языкознания. 1990. № 3. С. 129–135.

Е. В. Обчинникова

## МАКЕДОНСКОЕ *ЕДЕН* КАК ЭКВИВАЛЕНТ АНГЛИЙСКОМУ НЕОПРЕДЕЛЕННОМУ АРТИКЛЮ И ОПРЕДЕЛИТЕЛЮ *ONE*

В статье затрагивается проблема неопределенного артикля (НА) в македонском языке. Ряд исследователей, таких, как Б. Конески, З. Тополинска, Р. Усикова, рассматривают в качестве возможного варианта лексему *еден*. Для сравнения функционирования *еден* и неопределенного артикля мы выделили случаи соответствия *еден* неопределенному артиклю и слову «один» в английском языке при переводе с английского на македонский.

The article deals with the problem of the indefinite article in Macedonian. Some scholars like B. Konesky, Z. Topolinska, R. Usikova consider the word *еден* as a potential indefinite article. For comparison of function we are going to take the cases of conformities *еден* with the indefinite article and the word *one* in English in the translations into Macedonian.

Особенностью одноартиклевой системы является то, что только один из членов оппозиции определенность/неопределенность выражен артиклем. Например, в турецком языке есть только неопределенный артикль, а «его отсутствие эквивалентно определенному», или в новогреческом языке есть определенный артикль (ОА), а неопределенность выражается отсутствием артикля и показателей определенности при существительном [1]. Одноартиклевая система чаще всего рассматривается как промежуточная стадия, переход от безартиклевого выражения определенности/неопределенности к полиартиклевой системе. Так, В. Б. Кашкин, обращаясь к истории развития трехартиклевой системы на примере нескольких европейских языков, заключает, что в этом процессе оппозиция нулевого артикля и определенного сменяется оппозицией нулевого артикля и определенного и неопределенного артиклей [2].

Македонский язык относится к одноартиклевым языкам – в нем есть определенный артикль, но нет неопределенного: «Определенность находит свое выражение в артикле, а неопределенность – в его отсутствии» [3]. Отсутствие показателя называют общей формой существительного либо существительным с нулевым показателем. В качестве претендента на роль неопределенного артикля рассматривается показатель неопределенности *еден*. При необходимости подчеркнуть неопределенность имени, то есть при маркированной неопределенности, используются лексические средства. К ним относятся неопределенные местоимения *некој, некаков, кој-годе, кој-било, кој и да е*, а также *еден*. З. Тополинска добавляет к этому списку *понекој, извесен, фиљан*

и отмечает, что все неопределенные местоимения несут дополнительное, часто модальное значение. *Еден*, по мнению исследователя, указывает только на возможность индивидуализации объекта, поэтому, в отличие от других местоимений, оказывается беднее в плане дополнительных значений. В то же время это дает *еден* свои преимущества: он может заменять другие показатели неопределенности без ущерба для правильности грамматического построения [4]. Благодаря лексической ослабленности, в ряде случаев *еден* в какой-то мере утрачивает свое лексическое значение и приближается к чистому грамматическому показателю неопределенности – неопределенному артиклю. Основными приметами подобного использования *еден* являются отсутствие ударения и препозиция в именной группе. В то же время *еден* обладает особенностями, которые расходятся с характерными чертами неопределенного артикля. К таким особенностям относятся использование формы множественного числа (*едни ноќи*), способность в некоторых случаях присоединять определенный артикль (*едното око*) и способность сочетаться с неисчисляемыми существительными (*една нежност*). Все это подводит нас к проблеме определения статуса и закономерностей употребления *еден* в составе именной группы (в дальнейшем ИГ).

Для некоторого прояснения ситуации перспективным представляется сравнение с языком, обладающим устоявшейся системой определителей, где слово «один» и неопределенный артикль полностью разошлись как в семантическом, так и в формальном плане. В качестве такого «языка-эталона» идеально подходит английский язык: в нем параллельно сосуществуют слово «один» *one* и неопределенный артикль *a*.

Возможность для подобного сопоставления дает перевод с одного языка на другой. Для исследования взяты современные художественные тексты, написанные на английском языке, и их переводы на македонский. Материалом послужили высказывания с *еден* и их соответствия на языке оригинала. Выборка составила 1340 высказываний на македонском языке и столько же высказываний на английском. В ходе сравнения мы получили следующую картину. 49,9% всех использований *еден* соответствуют неопределенному артиклю, 17,3% использованы для перевода *one* и 38,8% для перевода других выражений. Таким образом, цифры показывают преимущественное использование *еден* как эквивалента НА.

В статье мы обратимся непосредственно к тем случаям, в которых *еден* является определителем при существительном и соответствует неопределенному артиклю или слову *one* в составе ИГ.

По формальным признакам *еден* мы разделили все случаи на три основные группы. Первая

группа включает сочетания с **едни+N**, т. е. те, в которых **еден** стоит во множественном числе. Вторая образована сочетаниями **едниот+N**, в которых **еден** присоединяет определенный артикль. Третья, самая большая, включает сочетания **еден+N**.

Сочетания **едни+N** в нашем материале встречаются крайне редко, всего 0,3% от общего числа, поэтому делать какие-либо безоговорочные выводы сложно. Такое малое количество подобных примеров, на наш взгляд, можно объяснить тем, что множественная форма слова «один» – специфическая черта этой лексемы в македонском языке, не свойственная английскому *one*. По этой же причине в нашем материале редко встречаются сочетания **еден** с неисчисляемыми существительными (в основном сочетание *едно време*) и случаи присоединения определенного артикля к **еден**. Приведем имеющиеся у нас факты. Сочетание **едни+N** соответствует английскому **some+N**, что неудивительно, так как *some* по замечаниям исследователей представляет собой эквивалент **НА** при существительном во мн. ч. [5] Например:

Ten minutes later, he came to the foot of **some worn stone steps**, which rose out of sight above him (HP-PA, 223)/По десетина минути стигна до **едни излизани скали** кои се губеа во темницата над него (ХП-ЗА, 169).

Сочетание **едниот+N** имеет три типа соответствий в английском языке. Первый из них – это прямое соответствие, при котором **едниот+N** используется для перевода существительного в ед. ч. с показателем определенности, чаще всего **ОА**:

*Crackers!*, said Dumbledore enthusiastically, offering **the end of a large silver noisemaker to Snape** (HP-PA, 227)/«*Божикни петарди!*», рече Дамблдор воодушевлено и му го подаде **едниот крај на сребрената петарда на Зајадлибски** (ХП-ЗА, 196).

Второй тип соответствий объединяет случаи перевода конструкции **one of the N**. Это соответствие в нашем материале распространяется только на парные предметы – руки, ноги, глаза, концы, туфли. Использование **едниот** в этом случае, вероятно, продиктовано тем, что в центре внимания оказывается один из двух предметов:

*Quickly, wondering if this plan could possibly work, Harry took off one of his shoes, pulled off his slimy filthy sock, and stuffed the diary into it* (HP-PA, 248)/Брзо, прашиувајќи се дали планот ќе му успее, Хари го собу **едниот чевел**, го извлече својот гнасен, тивъосан чорап и го пикна **дневникот во него** (ХП-ЗА, 290).

Третий тип близок ко второму и представлен переводом конструкции **one N**.

*More troubling still Mary was holding one hand high above the head of infant John...*(CDV, 191)/

*Уште попроблематично било тоа што Марија ја држала **едната рака** дигната високо над главата на детето Јован...* (Кодот, 145)

Здесь также чаще встречаются существительные, обозначающие парные предметы.

Что касается наиболее интересующей нас части высказываний условного вида **еден+N**, то эти высказывания можно разделить по трем типам соответствий: **еден+N=a+N**, **еден+N=one+N** и **еден+N=ИГ**. Более подробно рассмотрим группы **еден+N=a+N** и **еден+N=one+N**, так как эти сопоставления могут косвенно указывать на степень грамматикализации **еден**.

В целом высказывания с *one* типа **one+N** составляют 68,5% от общего числа использования этой лексемы. Особо выделяются следующие подгруппы.

Интересным представляется сочетание **само еден N** со значением 'только один N'. В нем **еден** может соответствовать как артиклю, так и *one* в значении числительного. Зависит это от того, относится частица **само** к **еден** или к **существительному**. В первом случае **еден** будет соответствовать *one* и иметь значение числительного:

**Only one man** possessed this number (CDV, 52)/**Само еден човек** го имаше тој број (Кодот, 36);

Во втором случае **еден** приближается к значению артикля. Сочетание **only a**, однако, по нашим наблюдениям, используется только с существительными, обозначающими время и пространство, а также часть чего-либо:

"Let's go together, we've **only got a minute**", Ron said to Harry (HP-PA, 54)/«Да одиме заедно, имаше **само една минута**», му рече Рон на Хари (ХП-ЗА, 62)

Относительно чистых соответствий сочетанию **one N**, напротив, можно отметить явное преобладание существительных, обозначающих меру, причем в нашем материале это мера времени. Отсутствие сочетаний с пространственными единицами объясняется заменой при переводе британских единиц измерения. Примеры с обозначением времени составляют 47,2% от общего числа примеров **еден+N=one+N**. Однако их можно разделить на два типа. *One* в сочетаниях первого типа представляет собой неопределенное местоимение, которое не может быть заменено на **НА**. В таких сочетаниях существительным обозначается не период времени, а некий момент времени:

*So, one night when they opened my door to bring food, I slipped past them as a dog* (HP-PA, 372)/**Една ноќ**, кога ја отворија вратата за да ми донесат јадење, се мушнав **крај нив во форма на куче** (ХП-ЗА, 315)

Соответственно, **еден** в подобных конструкциях также не грамматикализуется и совпадения **еден-one** стабильны. Примеры второго типа подтверждают происхождение неопределенного ар-



тикля от слова «один». И. П. Крылова, Е. М. Гордон замечают, что значение единичности в неопределенном артикле оказывается превалирующим, в частности, при употреблении неопределенного артикля с существительными, обозначающими меру, например: *a hundred, a thousand, a minute, a mile* [6]. Иными словами, в подобных сочетаниях *one* и неопределенный артикль оказываются взаимозаменяемыми. Г. А. Вейхман по этому поводу замечает, что существует определенная стилистическая разница между употреблениями *a* и *one*. По его мнению, *a* в таких случаях «придает высказыванию более разговорный характер» [7]. В то же время нельзя сказать, что в наших примерах подобная взаимозаменяемость всегда возможна. Исключением является случай, когда при помощи «один» подчеркивается ограниченность срока:

It seems inconceivable that all three senechaux and the Grand Master could be discovered and killed in one day (CDV, 354)/Незамисливо е сите тројца сенешали и големиот мајстор да биле откриени и убиени во еден ден (Кодот, 278)

Что касается высказываний, не относящихся к обозначению меры, то в них слово «один» представляет собой числительное: с его помощью дополнительно подчеркивается единичность предмета, которая и без того уже выражена числом существительного:

I heard your family all sleep in one room – is that true? (HP-PA, 279)/Слушнав дека дома сите спиете во една соба – навистина? (ХП-ЗА, 239)

Слово «один» здесь несет смысловое ударение, без него смысл фразы будет утерян. Особенно ярко проявляется значение единичности при открытом противопоставлении другим числовым значениям:

If one pentacle is good, two is better (CDV, 63)/Ако е добар еден пентограм, два се уште подобри (Кодот, 44)

Повторим, что *еден* в нашем материале чаще всего использовался именно для перевода неопределенного артикля. Однако здесь выделяются два типа сочетаний, в которых *еден*, судя по английскому эквиваленту, совмещает в себе функции числительного и местоимения. Во-первых, это использование *еден* при переводе обстоятельства времени:

And then, exactly a year ago, Hogwarts had written to Harry and the whole story had come out (HP-SH, 9)/А тогаш, пред точно една година, стигна писмо од Хогвартс и целата приказна излезе на виделина (ХП-ОТ, 8)

Его мы уже комментировали как синонимичный сочетанию *one N*. Всего такие сочетания составляют 13,8% от общего числа использования *a*.

Во-вторых, подобное совмещение наблюдается и при переводе *a single* как *еден*:

A single tear was running down his long, pointed nose (HP-CS, 132)/Една солза се лизгаше по неговиот долг шилест нос (ХП-ОТ, 154)

Здесь *еден* вмещает значение единичности *single* и значение неопределенности *a*. Таких случаев немного, всего 1,6% от общего числа.

Остальные примеры относятся к чистому соответствию *еден* неопределенному артиклю:

People used to play a game, trying to get near enough to touch the trunk (HP-PA, 186)/Игралме една игра, обидувајќи се да и се приближиме и да и го допреме стеблото (ХП-ЗА, 161)

Итак, несомненно, что функция и значение *еден* во многом зависит от ударности/безударности и сочетаемости, в частности от характера определяемого существительного. Кроме того, *еден* является эквивалентом *one*, если призвано подчеркнуть значение единичности и его отсутствие влечет за собой утрату смысла. Все это подтверждает, что *еден* способно к грамматикализации только в случае безударности. Отчетливо выделяются пограничные значения – это сочетания с существительными, обозначающими меру. В целом же *еден* в качестве определителя в составе ИГ чаще всего соответствует неопределенному артиклю, что не исключает дополнительных оттенков его значения.

#### Список источников

1. Brown, D. The Da Vinci Code [Text] / D. Brown. L.: Corgi books, 2004.
2. Rowling, J. K. Harry Potter and the Chamber of Secrets [Text] / J. K. Rowling. L.: Bloomsbury, 1998.
3. Rowling, J. K. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban [Text] / J. K. Rowling. N.Y.: Scholastic Inc. 2001.
4. Браун, Д. Кодот на Да Винчи [Текст] / Д. Браун. Скопје: Издавачки центар ТРИ, 2004.
5. Раулинг, Џ. К. Хари Потер и Одајата на тајните [Текст] / Џ. К. Раулинг. Скопје: Култура, 2002. Раулинг, Џ. К. Хари Потер и Затвореникот од Азкабан [Текст] / Џ. К. Раулинг. Скопје: Култура, 2003.

#### Примечания

1. Виноградов, В. А. Артикль [Текст] / В. А. Виноградов // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 2002. С. 46.
2. Кашкин, В. Б. Функциональная типология (неопределенный артикль) [Текст] / В. Б. Кашкин. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2001. С. 79.
3. Конески, Б. Граматика на македонскиот литературен јазик [Текст] / Б. Конески. Скопје: Култура, 1982. С. 229.
4. Тополињска, З. Македонски *еден* – неопределен член? [Текст] / З. Тополињска // Македонски јазик. 1981–1982. XXXII–XXXIII. С. 710.
5. Крылова, И. П. Грамматика современного английского языка [Текст] / И. П. Крылова, Е. М. Гордон. М.: КДУ, 2004. С. 27.
6. Там же. С. 271.
7. Вейхман, Г. А. Новое в английской грамматике [Текст] / Г. А. Вейхман. М.: Астрель, 2001. С. 7.

С. В. Полякова

## СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАТИВНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ ТЕКСТОВ

В статье дается анализ результатов психолингвистического исследования восприятия текстов на русском и английском языках. Цель исследования – выявление особенностей категоризации текстовой информации на двух языках. Используется методика свободной классификации. Наиболее востребованными категориями для русских и английских текстов являются «мир», «предметная область», «стиль/жанр».

The article is aimed at the analysis of the psycholinguistic research of Russian and English texts reading comprehension. It specifies the ways of categorizing 40 texts. The technique of free classification is applied. It is demonstrated that the most activated categories for both English and Russian texts are the “World”, the “Subject field” and the “Style/Genre”.

Проблема восприятия речевого сообщения и его смысла является одной из актуальных. В условиях изменяющегося информационного пространства каждый человек вынужден взаимодействовать с увеличивающимся потоком текстовой информации и, как правило, взаимодействовать, т. е. воспринимать эту информацию в ограниченном по времени режиме. Очевиден и тот факт, что реципиентам приходится воспринимать иностранные тексты, которые все в большем объеме проникают и ассимилируются в образовательном пространстве посредством Интернет, мультимедийных технологий и массмедиа [1]. Какой след, образ, представление отражаются во время взаимодействия реципиента с обширными массивами текстов на иностранном языке и насколько отличается от восприятия на русском языке полученная информация?

Как отмечает И. Г. Овчинникова, в процессе восприятия сообщения формируются гипотезы о смысле и содержании текста. Основой гипотез являются апперцепция и антиципация. Очевидно, что апперцепция, обеспечивающая предвосхищение последующих элементов, связана с соотношением воспринимаемого материала с прошлым опытом индивида, то есть с пониманием [2].

Целью нашего исследования стал анализ вариативности восприятия большого количества текстов на английском и русском языках в условно ограниченное количество времени.

В ходе исследования было использована методика свободной классификации. Участниками исследования стали 211 студентов Пермского государственного университета. Студентам

предъявлялся набор текстов на английском языке без названий. Данный набор текстов, предложенных участникам исследования для классификации, состоял из 20 целостных текстов на английском языке, приблизительно равных по объему (от 900 до 1200 знаков): 4 психологических текста; 4 художественных текста; 4 гуманитарных текста; 4 текста по экологии; 4 естественнонаучных текста. Данные тексты различались по функциональным стилям: научные (10), научно-популярные (6) и художественные (4). Еще одной особенностью текстов было отсутствие названий. Все тексты были перемешаны так, чтобы студенты могли использовать свои индивидуальные стратегии сортировки материала.

Участников исследования просили разложить тексты по группам в соответствии с каким-либо признаком, который казался им существенным. Число групп могло быть любым, как и число текстов в группе. Каждый текст мог быть определен только в одну группу. Затем студентов просили дать условное название группам.

На следующем этапе эксперимента испытуемым предъявлялся набор текстов на русском языке (всего 20 текстов). Задание давалось аналогичное – разложить тексты по группам и подобрать названия. Время выполнения заданий 20–40 минут.

В результате были получены два общих перечня групп текстов, выделенных испытуемыми, – для английских и для русских текстов соответственно. Перечень для английских текстов составляет 346 названий категорий, а перечень для русских текстов представлен 273 названиями категорий.

При помощи процедуры контент-анализа нами было выделено 6 категорий как для английских, так и для русских текстов:

1. Категория «Сфера» отражает универсальное обозначение сфер человеческой деятельности («искусство», «спорт», «культура»...).

2. Категория «Предмет» включает в себя названия определенной области человеческого знания, название конкретной науки, ее составляющих компонент. К этой же категории мы отнесли указания на единичные составляющее («психология», «техника рисунка», «восприятие пространства»...).

3. Категория «Стиль/Жанр» представляет собой отражение функционально-типологических стилистических и жанровых особенностей текста («художественный», «научный», «публицистический», «рассуждение», «сказка», «биография»...).

4. Категория «Перекодирование, обработка информации» отражает прием информации, степень сложности, доступности и степень понимания информации на иностранном языке («цифр-

ный», «нечитабельный», «непонятный», «многоскобчатый», «трудный для восприятия»...).

5. Категория «Отношение к тексту» включает названия групп, в которых отражена оценка содержания текста («чушь», «интересный», «легкий», «замечательный»...).

6. Категория «Мир» отражает явления мира внутреннего и внешнего («человек», «мироощущение», «окружающий мир», «социальные проблемы», «человек и природа»...).

В результате квантификации (метода сплошного подсчета) были выделены наиболее частотные группы названий для английских текстов, указанных испытуемыми:

«Психология» – 88; «наука» – 61; «литература» – 51; «биология» – 44; «язык» – 43; «понятный» – 41, «непонятный» – 32; «научный, научно-популярный» – 39; «физика» – 32; «художественный» – 25. При этом у испытуемых активизировалась категория «мир» (132 названия).

Наиболее частотные группы названий для русских текстов, указанных испытуемыми, включают:

«психология» – 77; «литература» – 69; «искусство» – 54; «биология» – 53; «художественный» – 41; «философия» – 34.

Таким образом, можно подвести некоторые итоги:

1. Количество категорий для английских текстов больше (346), чем для русских (273), что свидетельствует о компрессии текстов на русском языке.

2. Наиболее востребованными категориями при сортировке английских текстов были «Мир», «Предметная область», «Стиль/жанр», кроме этого многие студенты использовали названия групп, которые мы отнесли к категории «Перекодирование/обработка информации» («понятный»/«непонятный» – 41).

В то же время для русских текстов была также характерна активизация категорий «Предметная область», «Стиль/жанр» и «Мир».

3. Выявляется общая закономерность – большое количество указанных текстов категории «Предметная область» («психология») характерно как для английских текстов (88 упоминаний), так и для русских текстов (77 упоминаний).

4. Самое большое количество названий относится к категории «Мир» – 132 названия для английских текстов и 121 название для русских.

Таким образом, представления об английских и русских текстах, актуализирующиеся у реципиентов во время быстрого просмотра большого количества текстовой информации отражают определенные закономерности когнитивных процессов и вариативности смысла восприятия [3]. В большей степени реципиенты склон-

ны оперировать содержанием текста, чем его смыслом. В перспективе возможно исследование взаимодействия профессиональной ориентации (прошлого опыта и актуального опыта) реципиентов и особенностей категоризации большого количества текстов методом свободной классификации.

#### Примечания

1. Тылец, В. Г. К психологии освоения иноязычного лингвистического опыта [Текст] / В. Г. Тылец // Вестник Ставропольского государственного университета. 2002. № 30. С. 30–112; Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики [Текст] / А. А. Леонтьев. М.: Смысл, 1999. С. 223–227.

2. Овчинникова, И. Г. Вариативность интерпретации смысла текста. С любовью к тексту [Текст] / И. Г. Овчинникова. Уфа: Восточный университет, 2006. С. 51–63; Овчинникова, И. Г. Стандарт и индивидуальная вариативность восприятия текста нонсенса [Текст] / И. Г. Овчинникова // Стереотипность и творчество в тексте: межвуз. сб. науч. тр. Перм. ун-т. Пермь, 1999.

3. Полякова, С. В. Восприятие и понимание текста в психологии чтения [Текст] С. В. Полякова // Вестник Пермского университета. Иностранные языки и литературы. 2007. Вып. 2 (7). С. 150–154.

С. С. Прашкович

### СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА ДЕЛАТЬ, РАБОТАТЬ, ТРУДИТЬСЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Данная статья содержит отдельные положения теории словообразовательного гнезда. Рассмотрены литературный и диалектный фрагменты гнезд *делать, работать, трудиться*, репрезентирующих концепт *труд* в структурно-организационном и количественно-сопоставительном аспектах.

This article consists of some statements from the theory of word-building family of words. The literary and the dialect fragments of families of words *do, work, labour* were investigated in the following aspects: structural, organizational, quantitative and comparative.

Семантическое пространство языка состоит из единой системы концептов, которые нашли свое отражение, закрепились в нем и функционируют, проявляя национальное своеобразие, создавая языковую картину мира. В ней всегда репрезентируется исторический опыт этноса, ландшафт занимаемой им территории, религия, духовные и материальные ценности, образ жизни в определенном исторический период. Языковая картина мира представлена целым рядом компонентов, в том числе и словообразовательными гнездами (СГ), репрезентирующими один из самых значимых концептов русского этноса – *труд*. Освещению это-

го базового культурного концепта с использованием различных подходов посвятили свои работы Г. Н. Анферова, Е. И. Бутова, Ж. Ж. Варбот, М. А. Еремина, Л. Е. Кругликова, И. Б. Левонтина, Н. А. Лукьянова, Т. В. Матвеева, Е. В. Петрухина, З. И. Сметанина, Г. В. Токарев, С. М. Толстая, Л. Н. Храмцова и др. Однако огромный пласт общерусской лексики (и литературной, и диалектной) во всем его объеме нуждается в рассмотрении по ряду аспектов – структурно-организационному, количественно-сопоставительному, а также семантическому, в частности семантической преемственности значений.

Средствами экспликации концепта *труд* являются словообразовательные гнезда с вершинами *делать*, *работать*, *трудиться*. Обращение к процессу *труда*, его значимость, отношение к *трудоу* и к тому, кто *трудится*, является отличительной чертой любой национальной культуры и, как следствие, любой языковой картины. Русская языковая картина не является исключением, она в полной мере отражает преломление процесса и последствий *труда* через реалии нашей жизни: обширную территорию, суровый климат. Не случайно «в славянской народной традиции лексическое гнездо \**trud* входит в семантическое поле, основными значениями которого являются понятия боли, муки, усталости, слабости...» [1].

Гнездовой подход к словообразовательной системе в целом лежит в основе трудов Е. Л. Гинзбурга, А. Н. Тихонова, П. А. Соболевой. Позднее в работах Е. А. Земской, И. И. Ковалика, А. А. Лукашанца и других были затронуты наиболее важные вопросы определения словообразовательных гнезд как основных комплексных единиц языка. Изучение сложного семантического устройства СГ, в частности выявление некоторых закономерностей лексико-семантической соотносительности слов в словообразовательных парах, цепочках и гнезде в целом, отражено в трудах С. Г. Бабича, Т. Ф. Ивановой, Р. Г. Карунц, И. С. Улуканова. Большим вкладом в исследования теории гнезда явились работы А. Н. Тихонова, в том числе и создание им «Словообразовательного словаря русского языка» в 2 томах (1985), на сведения которого опираются многие исследователи при работе с конкретными гнездами.

Термин «гнездо», при достаточно широком его употреблении, все же требует уточнения в использовании: существуют такие понятия, как гнездо

*лексическое, словообразовательное и словарное*. «Если в основу описания гнезда кладется семантический аспект, в центре внимания оказывается лексическое значение, представленное как мотивированное словом (или словами) того же гнезда, то такое гнездо называется лексическим» [2].

Словарное гнездо – это «группа морфологически объединяющихся слов, представляемых в виде одной словарной статьи» [3]. Кроме того, существуют понятия *аффиксальное* и *корневое гнездо*, в данном случае о гнезде можно говорить как о совокупности слов, обладающих или общностью корня, или общностью аффикса [4]. Совершенно своеобразным типом является *гнездо толково-словообразовательное*, оно предстает как структурно-семантическое единство и имеет в основе своего описания два аспекта: семантический и словообразовательный.

Таким образом, на данный момент сложилось несколько классификаций гнезд, в основу одной из них положен *аспект* описания гнезда: *лексическое корневое, лексическое аффиксальное; словообразовательное корневое, словообразовательное аффиксальное; морфемное корневое, морфемное аффиксальное; толково-словообразовательное корневое, толково-словообразовательное аффиксальное*. Корневые словообразовательные гнезда, в том числе и те, что являются объектом нашего исследования, представлены в «Словообразовательном словаре русского языка» А. Н. Тихонова и в «Толково-словообразовательном словаре русского языка» И. А. Ширшова. Корневые лексические гнезда составляют содержание «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля и первых выпусков 17-томного толкового словаря Академии наук СССР.

В основу второй классификации гнезд положен *количественный признак*, согласно которому выделяют следующие типы гнезд: *нулевое (потенциальное) гнездо* – состоит из одного слова, *слаборазвернутое гнездо* – включает в себя только два слова: вершину и его производное и *сильноразвернутое гнездо* – включает три и более слов [5]. В русском языке большинство составляют сильноразвернутые гнезда. Таковыми являются СГ *делать, работать, трудиться*. Каждое из них репрезентирует концепт *труд* и включает в себя литературный и диалектный фрагменты. Количественное соотношение фрагментов названных СГ, характеризующих их мощность, можно определить по табл. 1 [6].

Таблица 1

СГ <i>делать</i>		СГ <i>работать</i>		СГ <i>трудиться</i>	
Литературный фрагмент	Диалектный фрагмент	Литературный фрагмент	Диалектный фрагмент	Литературный фрагмент	Диалектный фрагмент
343 слова	более 116 слов	305 слов	более 100 слов	93 слова	более 88 слов

Многие исследователи русского словообразования (Г. С. Зенков, В. В. Лопатин, А. Н. Тихонов) отмечали, что именно глаголы являются словообразовательно наиболее активными. Они представляют наибольший интерес лингвистов, так как словопорождающие возможности их как вершин СГ реализуются в максимальной степени: «В словообразовательной системе русского языка глагол занимает центральное место, поскольку обуславливает деривационный потенциал не только собственного, т. е. глагольного словообразовательного гнезда, но любого гнезда любой другой части речи» [7].

Самым объемным из трех является СГ *делать*. В его литературном фрагменте производные располагаются на шести ступенях деривации: на первой – 78 дериватов, на второй – 129, на третьей – 103, на четвертой – 21, на пятой – 6, на шестой – 5. Следовательно, данное СГ характеризуется большой глубиной и сложностью, а самой продуктивной в нем является вторая ступень деривации, на которой образовано наибольшее количество производных. Единицы различаются по частеречному признаку, при этом большинство составляют существительные – 159 слов, глаголы – 91 слово, прилагательные – 84, наречия – 9.

Сложная иерархическая структура гнезда раскрывается парадигматически и синтагматически. На горизонтальной оси структуру гнезда представляют две единицы: минимальная – словообразовательная пара и более крупная – словообразовательная цепь (СЦ). В гнезде *делать* насчитывается 342 словообразовательные пары и 220 словообразовательных цепей. По своему категориальному составу СЦ разнообразны, так как включают лексемы разных частей речи: *делать* (глагол.) – *дело* (сущ.) – *дельный* (прил.) – *дельно* (нар.); *делать* (глагол.) – *вделать* (глагол.) – *вделывать* (глагол.) – *вделывание* (сущ.); *делать* (глагол.) – *самодельный* (прил.) – *самodelка* (сущ.) – *самodelковый* (прил.) и другие.

В русском языке СЦ минимально состоит из одной словообразовательной пары, максимально – из 7 пар: «Седьмым звеном исчерпываются словообразовательные возможности русского языка на синтагматической оси» [8]. Наибольшая СЦ данного гнезда состоит из шести звеньев: *делать* (I) *дело* (II) *бездельный* (III) *безделье* (IV) *бездельник* (V) *бездельничать* (VI) *бездельничанье*.

В качестве основной единицы вертикальной оси в составе гнезда выступает словообразовательная парадигма. *Словообразовательная парадигма* (СП) – это совокупность всех непосредственно производных от одной и той же основы. В качестве постоянных элементов СП выступают: в плане содержания – семантика производящего сло-

ва, в плане выражения – производящая основа; в качестве чередующихся элементов, соответственно: словообразовательные значения и словообразовательные аффиксы. СГ *делать* имеет 100 парадигм.

В диалектном фрагменте *делать* насчитывается 115 словообразовательных пар, 95 СЦ и 29 парадигм. Единицы диалектного фрагмента гнезда относятся к различным частям речи, при этом существительные составляют большинство единиц гнезда – 86. Прилагательных в гнезде – 13, глаголов – 23 и наречий – 4. Преобладание существительных в гнезде подчеркивает ремесленно-трудовую направленность его единиц, связанную с отражением жизни «пользователей» языка в конкретное время в конкретных условиях, доминирование предметного компонента в языковой картине мира, преобладание его над процессуально-событийным компонентом. Это подтверждает и тематический принцип рассмотрения гнезда.

В нем отчётливо выделяются три семантические парадигмы:

– деловой, работающий человек, мастер – *делава, делавья, делака, делиха, делливый, деловщик, делонец, делуха, дельщица, делюга, изделие, сделочник, сдельчивый* и др.;

– выполнение каких-либо ремесленных занятий – *деланье, надельывать, обдельывать, оделять, сделка*;

– предметы быта – *деловина* «какой-либо предмет, вещь, штукавина», *деловуха* «мерка для раздела улова между участниками рыболовецкой артели», *деленицы* «вязаные варежки, обшитые холстом», *деланка* «заквашенное топленое молоко», *дельщина* «одежда, вытканная невестой».

Характерную черту диалектного фрагмента данного СГ в плане структуры его производных составляет наращение суффиксов: *деловочки* «дела», *деловушечка* «корзинка с овсом, которую вешают на голову лошади», *дельнёшенький* «красивый, статный» и др. Возможно, это объясняется особенностями конструирования диалектного фрагмента СГ.

В диалектном фрагменте *делать* много образований с уменьшительно-ласкательными суффиксами (*делечко, делинка, делиночка, делице, дельшико, изделиечек, изделиеце*), что находится в общем русле отражения своеобразия русского языка и русской языковой картины мира.

Производные литературного фрагмента гнезда *работать* располагаются на пяти ступенях деривации: на первой – 31 дериват, на второй – 111, на третьей – 106, на четвертой – 54, на пятой – 2. Следовательно, он тоже характеризуется большой глубиной и сложностью, а самой продуктивной в нем также является вторая ступень деривации. Единицы гнезда различаются по частеречно-

му признаку: имен существительных в гнезде – 151, глаголов – 80, имен прилагательных – 74.

В гнезде *работать* насчитывается 304 словообразовательные пары, 202 СЦ, 98 парадигм. Наибольшая словообразовательная цепь гнезда состоит из пяти звеньев: *работать* (I) *рабочий* (прил.) (II) *рабочий* (сущ.) (III) *орабочить* (IV) *орабочиться* (V) *орабочиваться*. В своем составе словообразовательные цепи имеют лексемы разных частей речи, например: *работать* (глагол.) – *работа* (сущ.) – *безработный* (прил.) – *безработный* (сущ.).

Большинство слов литературного фрагмента СГ *работать* функционирует и в диалектах. Единицы диалектного фрагмента гнезда различаются по частеречному признаку: существительные составляют большинство единиц гнезда – 43, прилагательных в гнезде 14, глаголов – 35, наречий – 2. В рамках диалектного фрагмента *работать* насчитывается 99 словообразовательных пар, 65 СЦ и 21 парадигма.

Активно представлено наращение суффиксов: *работяжунька* «работящий, трудолюбивый человек», *работяшенька* «работящий, трудолюбивый человек», *рабазельщик* «работник».

Отношение к *работе* и тому, кто *работает*, наглядно демонстрируют ласкательные единицы гнезда: *работанька* «работа», *работочка* «работа», *работушка* «работа», *работяжунька* «работящий, трудолюбивый человек», *работяшенька* «то же, что *работяжунька*».

В рамках диалектного фрагмента СГ с вершинной *работать* отчетливо выделяются три семантические парадигмы:

– человек, который выполняет (не выполняет) работу – *безработица*, *безработник*, *безработный*, *пóрабок*, *рабазельщик*, *раба́*, *работа́рь*, *работенка*, *работе́нь*, *работя́чка* и др;

– выполнение какого-либо дела с целью заработка – *зараба́тывать*, *зарабо́тать*, *за́рабствовать*, *обраба́тывать*, *обра́бливать*, *обраба́тывать*, *перераба́тывать*, *пораба́тывать*, *порабо́тывать*, *прираба́тывать*, *прира́бливать*;

– результат работы – *за́работка*, *за́работь*, *зарабо́чее*, *зарабть* (удар.?), *нарабо́ток*, *порабо́тки*, *прирабо́тки*.

Производные литературного фрагмента гнезда *трудиться* располагаются на пяти ступенях деривации: на первой – 14 дериватов, на второй – 34, на третьей – 38, на четвертой – 5, на пятой – 1 дериват. При большой глубине и мощности самой продуктивной является третья ступень деривации, на которой образовано наибольшее количество производных.

Фрагмент состоит из 93 слов, различных по частеречному признаку: имен существительных в гнезде – 44, глаголов – 28, имен прилагательных – 20, наречие – 1. В нем насчитывается 90 словообразовательных пар, 67 СЦ и 14 парадигм. В словообразовательных парах гнезда ядерным семным компонентом является «отношение к труду»: *трудиться* – *натрудиться*, *труженик* – *труженичество*, *труд* – *трудовик*, *трудолюбивый* – *нетрудолюбивый*, и др.

Наибольшая словообразовательная цепь гнезда состоит из пяти звеньев: *трудиться* (I) *труд* (II) *трудовай* (III) *врачебно-трудовай* (IV) *ВТЭК* (V) *втэковский*. В своем составе словообразовательные цепи имеют разные части речи, например: *трудиться* (глагол.) – *труд* (сущ.) – *трудовай* (прил.) – *трудовик* (сущ.).

Диалектный фрагмент *трудиться* состоит из 88 слов, из них: существительных – 38, глаголов в гнезде 34, прилагательных – 15, наречие – 1. Словообразовательных пар насчитывается 87, 46 СЦ и 20 парадигм.

Значения единиц диалектного фрагмента названного СГ вскрывают сопряженность труда с состоянием утомления, беспокойства, страдания, изнеможения, с болью, мучениями и т. д. (*потруда*, *потрудить*, *труд*, *трудить*, *труджать*, *труджаться*, *труженье*, *труженик*, *трудник*, *трудница*, *труженка*, *трудный*, *трудоваый*, *утруж(д)ать*, *утруженье*). Для русского человека труд – это подвижничество. Не случайно поэтому, в отличие от двух предыдущих диалект-

Таблица 2

Количество	СГ <i>делать</i>		СГ <i>работать</i>		СГ <i>трудиться</i>	
	Литературный фрагмент	Диалектный фрагмент	Литературный фрагмент	Диалектный фрагмент	Литературный фрагмент	Диалектный фрагмент
СП	342	115	304	99	92	87
СЦ	220	95	202	65	67	46
Парадигм	100	29	98	21	14	20
Сущ.	159	67	151	43	44	38
Глагол.	91	26	80	35	28	29
Прил.	84	17	74	14	20	18
Нар.	9	4	–	2	1	1

ных фрагментов исследуемых гнезд, данный фрагмент не имеет в своем составе уменьшительно-ласкательных образований.

Данные по структуре гнезд можно свести в таблицу (см. табл. 2).

Таким образом, словообразовательные гнезда с вершинами *делать, работать, трудиться*, репрезентирующие концепт *труд*, составляют обширный пласт лексики как в литературных (741 лексема) фрагментах, так и в диалектных (более 304 лексем).

Семантический аспект гнезда включает в себя задействованность лексико-семантических вариантов вершины гнезда и значений производных слов соответственно ступеням деривации. При этом происходит пересечение семантики слов, имеют место семные наращения, а также актуализация одних сем и ослабление, затухание других. Все эти процессы могут быть объектом особого исследования.

#### Примечания

1. Толстая, С. М. Слово в контексте народной культуры [Текст] / С. М. Толстая // Язык как средство трансляции культуры. М.: Наука, 2000. С. 108.

2. Ширшов, И. А. Теоретические проблемы гнездования [Текст] : монография / И. А. Ширшов. М.: Прометей, 1999. С. 12.

3. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов [Текст] / О. С. Ахманова. М.: Сов. энцикл., 1969. С. 109.

4. Ширшов, И. А. Теоретические проблемы гнездования [Текст] / И. А. Ширшов // Принципы составления толково-словообразовательного словаря современного русского языка: учеб. пособие по спецкурсу. Грозный: Чеч.-Инг. изд.-полигр. об-ние, 1991. С. 19.

5. Там же. С. 18.

6. Литературные фрагменты СГ *делать, работать, трудиться* взяты из: Тихонов, А. Н. Словообразовательный словарь русского языка [Текст] : в 2 т. / А. Н. Тихонов. М., 1985. Диалектные фрагменты СГ *делать, работать* составлены по: Словарь русских народных говоров [Текст] / гл. ред. Ф. П. Филин. Вып. 2. Л.: Наука, 1966; Вып. 7. Л.: Наука, 1972; Вып. 10. Л.: Наука, 1974. Вып. 12. Л.: Наука, 1977; Вып. 19. Л.: Наука, 1983; Вып. 20. Л.: Наука, 1985; Вып. 22. Л.: Наука, 1987; Вып. 23. Л.: Наука, 1987 / гл. ред. Ф. П. Сорокалетов. Вып. 24. Л.: Наука, 1988; Вып. 26. Л.: Наука, 1991; Вып. 30. СПб.: Наука, 1996; Вып. 31. СПб.: Наука, 1997; Вып. 33. СПб.: Наука, 1999; Вып. 37. СПб.: Наука, 2003. Диалектный фрагмент СГ *трудиться* – по: Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка [Текст] : в 4 т. / В. И. Даль. М.: Олма-пресс, 2004, причем вершиной гнезда у него является слово *труд*.

7. Казак, М. Ю. Глагольное словообразовательное гнездо в современном русском языке [Текст] : монография / М. Ю. Казак. Белгород: Изд-во Белгород. гос. ун-та, 2004. С. 12.

8. Тихонов, А. Н. Предисловие [Текст] / А. Н. Тихонов // Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. М., 1985. Т. I. С. 44.

А. А. Савёлова

## СЕМАНТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ СЛЕНГОВЫХ НАРЕЧИЙ\*

В статье рассматривается состав семантических классов наречий в русском сленге. На первом уровне членения наречия делятся на квалификативные, количественные, пространственные, временные, модальные и наречия логической обусловленности. Наречия каждого из этих типов представлены различными семантическими классами, состав которых существенно отличается от литературного языка.

The article is about units of semantic classes of adverbs in Russian slang. The adverbs are divided into qualificative, quantitative, spacial, temporal, modal and adverbs of logical conditionality. Adverbs of each of these types are represented by different semantic classes, and their units differ greatly from literary language.

Наречия включены в систему средств реализации различных секторов семантического пространства русского языка. Сложность устройства этих секторов предопределяет многоступенчатый характер семантической классификации наречий. На первом уровне членения в соответствии с тем, какой частнокатегориальный признак закреплён в их семантике, наречия русского языка могут быть разделены на 6 групп: квалификативные, количественные, пространственные, временные, модальные и наречия логической обусловленности. Вершинные рубрикаторы классификации, таким образом, соответствуют сложным семантическим категориям, в словесную реализацию которых включены адвербиальные единицы. При этом приведённая группировка наречий не является жёсткой, в частности, не исключается возможность одновременного вхождения некоторых из них в различные классы.

Наречия всех указанных групп имеются в различных функционально-социальных вариантах русского языка, в том числе и в сленге. Устройство же и лексический состав этих групп в литературном русском языке и нелитературных его разновидностях не совпадают. Сам набор семантических классов более низких уровней членения и их лексическая разработанность имеют в сленге существенные отличия от общерусского языка и территориальных диалектов.

В составе квалификативных сленговых наречий вычленяется несколько семантических классов:

1) единицы, называющие признаки, которые выражают оценку каких-либо характеристик лица

© Савёлова А. А., 2008

\* Исследование проведено при поддержке РГНФ (проект № 08-04-00312а)

(его действий, свойств – того, что обозначено предикатом), это, в частности: ‘оценка поведения’ – *вась-вась, внагляк, в шумную, по-китайски, по-митьковски, пофигистически, пофигистки, с понтом, с прибабахами, стёбно, стебово, технично* и др.; ‘оценка состояния’ – *балдёжно, вермуторно, до посинения, драйвово, душевно, кайфово, колбасно, напряжно, обломно, оттяжно, положительно* ‘безразлично’, *ржачно*; ‘эстетическая оценка’ – *вкусно*, ср.: *И эти вот строчки, как верхние, я прежде бы написал рукой, живо и вкусно – а теперь настукиваю на ПиСи, так легче редактировать* (В. Леви), *жестко играют, мрачно!* [1]; ‘оценка по соответствию/несоответствию содержанию разговора’ – *в кассу/не в кассу, в косяк, в тему/не в тему, в темак/не в темак, в тую/не в тую, мимо кассы, не в дугу, невтёмно, по месту/не по месту*;

2) наречия скорости (‘быстро, немедленно’): *аллюром, борзо, быфо, мухой, по-быфому, по-пыфому, по-шустфому, пулей, пулемётном, резко, торпедой, шмелём* и др.;

3) наречия образа действия: *втихушку* ‘тайно’, *втухляка* ‘тайно’, *вась-вась* ‘взаимовыгодно и в тайне от других’; *дуриком* ‘наобум’, *на халыву, халывно, на шару* ‘наобум’ и ‘даром, не тратя своих денег’; *на́ликом, наличманом, чистяком* ‘рассчитываясь наличными’; *вживую, живьём* ‘в живом исполнении’; *стопом, хичем/хичом* ‘автостопом’; *втёмную, в светлую* (об игре в карты); *в обратку* ‘в обратном направлении’ (читать), *встояка* ‘в положении стоя’, *насухо* ‘без закуски’, *нешком* ‘стоя’, *сосулькой* ‘солдатиком’ (о прыжке в воду) и др.;

4) наречия подобия: *бугром* (*налить, насыпать*) ‘так, что содержимое поднимается над уровнем края ёмкости’, *иксом* ‘криво, соединяясь посередине, расходясь по краям’ (о ногах), *распашонкой, рубашкой* (о расположении комнат);

5) наречия, называющие видовой признак предмета: *всмятку* ‘среднего уровня’ (*юзер всмятку* [2]), *по-скотски* (*макарены по-скотски* [3]), *по-морскому* и *по-флотски* ‘будучи посыпанным пеплом’ (*яичница по-морскому/по-флотски* [4]).

Наречия, называющие оценочные признаки, распределяются по двум областям – ‘хорошо’ и ‘плохо’, которые вместе составляют оценочную шкалу [5]. В семантическую зону ‘плохо’ своими значениями входят наречия *быдловато* ‘некультурно, грубо, отсталое’, *по-гоповски* ‘некультурно’, *борзо* ‘нагло’, *отвязно* ‘нагло’, *в шумную* ‘шумно, со скандалом’, *перфектно* ‘свысока, высокомерно’; *бермудно* ‘муторно’, *децистрёмно* ‘страшно’. В семантическую зону ‘хорошо’ включаются наречия *круто* ‘дорого, модно и престижно’, *попсово* ‘модно, престижно’, *смачно* ‘хоро-

шо, в полную силу’; *уматно* ‘смешно’, *по кайфу* и др. Лексическая разработанность областей ‘хорошо’ и ‘плохо’ имеет разные пропорции в различных семантических классах. К примеру, среди наречий класса ‘оценка поведения’ доля положительнооценочных единиц очень невелика, а среди наречий со значением ‘оценка состояния’ не обнаруживается явного преобладания отрицательно- или положительнооценочных единиц.

Примечателен тот факт, что отрицательная оценка в семантическом секторе ‘нагло’ (*внагляку, внагляк, в нахалку*) смещается в сторону положительной за счёт прагматического компонента, связанного с формированием специфического «ореола романтики» и сближением со значениями ‘смело’, ‘решительно’, ‘полагаясь на судьбу’: *без всякого пропуса, внагляк вошли; сдавать в нахалку экзамены* [6], *пришлось внагляку сочинять про изменения в графике* (устная речь).

В составе наречий класса ‘оценка по соответствию/несоответствию содержанию разговора’ наблюдается регулярное образование однокоренных антонимов. В то же время в организации данного сектора антонимического поля имеются случаи проявления асимметрии. Например, наречие *не в дугу* ‘неудачно, не к месту’ (*какую-то ты дрянь не в дугу ляпнул* [7]) формально имеет коррелят без отрицания – *в дугу*, но это наречие выражает значение высокой степени проявления признака (о состоянии алкогольного опьянения: *пьяный в дугу* [8]).

Наречия скорости передают только семантику быстроты (ср.: в литературном языке при отсутствии формального и смыслового параллелизма между наречиями *быстро* и *медленно* оба участка смыслового пространства всё же означены с помощью наречий [9]). Важно подчеркнуть, что наречия данного класса в сленге прагматически осложнены, и эта осложнённость у них однотипная. В семантике лексем *аллюром, шмулём, резко, быфо* и т. д. не просто имеется указание на высокую скорость движения, но также регулярно формируется прагматический компонент, связанный с выражением интенции говорящего – побуждением к выполнению действия (действие должно быть выполнено быстро, за короткий срок, и приступить к его выполнению следует немедленно): *принеси мне покушать, и давай резко* (устная речь).

К числу количественных наречий мы отнесли лексемы двух типов:

1) единицы со значением ‘сколько, в каком количестве’, которые на семантической шкале представляют три области – ‘много’, ‘мало’ и ‘несколько’, ср.: *до фи́га, до фи́гища, до хохота, до хрена, до хренища, немерено, полняк, полняком, пуцел* (‘много’) – *децел, кропаль, подецелу* (‘мало’) – *ни фи́га* ‘несколько’;



2) наречия, обозначающие интенсивность проявления признака: интенсификаторы – *в бэк, в грязь, в доску, в лоск, в мясо, в матину, в ноль, вчерняк, дико, до фи́га, до фи́гища, до хохота, до хрена, до хренища, жёстко, круто, офигенно, офигительно, по-чёрному*; деинтенсификаторы – *слегонца, смаленца*.

Значение наречий первой группы включает сему интенсивности ('очень [много/мало]'), что сближает их с наречиями второй группы. Кроме того, наречия модели *до + N<sub>2</sub>* (*до фи́га*) регулярно развивают значение высокой степени проявления признака, ср.: *денег у него до фи́га – до фи́га много сделал*. Значительная часть интенсификаторов лексически ограничена в связи с вхождением в семантическое микрополе «Степень опьянения» (*вдробыган, в дрова, в дугу, в дупель, в дуло, в дым, в дымину, в лашу, в лоск, в лоскут/лоскуты, в муку, в мясину, в мясо, в матину, в очко, вребаган, в сиську, в сосиску, в умат, в уматень, в уматину, в хлам, в шишки, в щепу*). Эти единицы строятся по модели *в + N<sub>4</sub>*. Они сочетаются как с прилагательными, так и с глаголами, лишь частично обнаруживая изофункциональность с общерусским наречием *очень*, ср.: *пьяный в доску (в дым, в умат) – напился в доску (в дым, в умат) и очень усталый – очень устал; очень гибкий – очень хорошо гнётся; очень сутулый – очень сильно сутулится*.

Лексически не разработаны в сленге классы пространственных и временных наречий.

Пространственная семантика передаётся несколькими локативными (*в стакане* 'дома', *дома* 'на своей площадке' (спорт.), *за бугром* 'за границей', *сквозняком* 'езде, повсюду') и транслокативными наречиями (*бэк* 'назад', *бэксайд* 'назад', *в стакан* 'домой', *домой* 'на свою площадку' (спорт.), *за бугор* 'за границу', *на хату* 'домой', *до хауза* 'домой'). Пространство называется конкретное (за исключением наречия *сквозняком*). Не является актуальной лексика ориентации в пространстве.

В рамках темпоральных наречий также выделяется два класса лексем: наречия временной локализации ('когда') – *поутряне* 'утром', *с(о) ранья* 'с утра', *натады́* 'навсегда' и 'на потом' – и наречия временной протяжённости (со значением повторяемости и постоянства, 'как') – *в постоянку, в системе, напостой, на постоянку, по жизни, стабильно*.

Группа модальных наречий – напротив – одна из многочисленных в сленге. Значения этих наречий выражают «рациональное или эмоциональное отношения субъекта речи к окружающей действительности» [10]. Они непосредственно связаны с особенностями коммуникативной организации высказывания и его прагматической

функцией. В составе наречий этой группы выделяются следующие семантические классы:

1) эпистемические наречия: *важняк* 'важно, необходимо', *верняк* 'навверняка, обязательно', *в натуре* 'действительно, в самом деле', *всячески* 'конечно', *кругом-бегом* 'в общей сложности', *реально* 'точно, действительно', *стопудово* 'точно, обязательно', *фактически* 'фактически' и 'точно', *чисто* 'действительно';

2) эмоционально-экспрессивно-оценочные наречия (выражают одобрение или неодобрение): *авторитетно, академично, беспонтово, запущено, зашибато, зашибись, зыбо, зыко, зэкинско, лажово, неслабо, нефигово, нехило, ништяк, ништячно, отпад, отпадно, откатно, отстойно, суперски, улётно, файно* и др.;

3) наречия, выражающие оценку возможностей кого-либо: *без вопросов, без проблем, влёжку, легко, зафростяк, в элементе, с полтинка*.

Основу эпистемических наречий в сленге составляют лексеммы со значением 'точно, непременно, обязательно', формирующие модальную рамку уверения адресата в обязательности осуществления того, что ожидается, и в точности, достоверности сообщаемого. Среди них представлены единицы разной структуры: наречия на *-о* (*железно, стопудово*), на *-ак* (*верняк, железняк*), на *-(ак)ом* (*навверняком, точняком*), а также наречные единицы, соотносительные с предложно-падежными сочетаниями (*в натуре, в натурель, на верочку, по фактуре*) и количественно-именными сочетаниями (*сто процентов, стопудов*). Семантическую основу части из них составляет значение соответствующего общерусского слова. Возникновение сленгового наречия в таком случае может расцениваться как результат формального преобразования общерусской единицы, ср.: *точно* и *вточняк, точняк, точняком; навверное, навверняка и навверняк, навверняком, на верочку*. Другая часть наречий также имеет формальные корреляты в общерусском языке в составе эпистемических лексем, но при этом общерусский и сленговый варианты наречия не совпадают по семантике, ср.: *фактически* 'в действительности', но *фактически* 'точно' (*фактически тебе говорю* (уверяю) [11]); *по факту* 'после совершения чего-либо', но *по фактуре* 'точно, на самом деле'; *натурально* 'естественно', но *в натуре, в натурель* 'точно'. Наконец, выделяются наречия, образование которых сопряжено с метафорическим переосмыслением общерусских слов: *железно, железняк, железо, бетонно, цементно, мертвяк*.

Эмоционально-экспрессивно-оценочные наречия наиболее разнообразны по своему лексическому составу. Как и другие оценочные слова, они своими значениями вовлечены в формирование двух семантических зон – 'хорошо' и 'плохо'.

Смысл 'хорошо' в семантике наречий градуируется: они передают значение 'очень хорошо, отлично' (*бородато, важно, в оттяг, высоко, горбато, готично, жёстко, забойно, зашибись, зашибенско, зэко, классецко, классно, клёво, колоссаль, колоссально, круто, кульно, кучеряво, матёрю, мобильно, мощно, недушно, некисло, обалденно, по госту, по-зелёному, офигенно, офигительно*) и 'нормально, хорошо' (*грамотно, зашитяк, шитячок, нормалёк, нёрмуль, пешком*).

Смысл 'плохо' также неоднороден, что, кроме прочего, проявляется в намечающейся семантической оппозиции 'очень плохо' (*бесфартово, глухо, кально, лажово, маздайно, мрачно, нежолй, отстойно, фигово*) и 'так себе' (*впересьюточку*).

Наиболее значимой оценочной областью для носителей сленга, судя по лексической мощности семантических классов эмоционально-экспрессивно-оценочных наречий, является та, которая формируется смыслом 'очень хорошо'. Прагматическая функция высказываний, включающих такого рода наречия, состоит в актуализации ценностной установки на получение удовольствия, на упрощённо-позитивное восприятие действительности.

Модальные наречия третьего из указанных выше классов, выражающие оценку возможности человека осуществить какое-либо действие, своими значениями сконцентрированы в одном смысловом секторе, предполагающем положительную оценку данных возможностей. Все они передают значение 'без труда, не прилагая усилий, не раздумывая, легко и просто'. Это согласуется с прагматикой уверенности (отсутствия сомнений) эпистемических сленговых наречий и образует один из векторов вербального воплощения такой ценностной установки носителя массовой культуры, которую на языке сленга можно обозначить как «не заморачиваться».

Семантика модальных наречий предопределяет системность их связей с другими частями речи (модальными словами и междометиями), что находит отражение в составе функционально-грамматических парадигм модальных наречий различных семантических классов.

Особую группу составляют наречия логической обусловленности, классы которых не отличаются большой лексической разработанностью ни в сленге, ни в общерусском языке. Эти наречия служат вербализации семантических категорий причины, цели, условия и последовательности. Соответственно, среди них выделяются 1) причинные: *от сырости* 'без причины, при отсутствии видимых оснований'; 2) целевые: *вприколку, для понта, для прикола, до кучи, зафига, на фига, нефиг, нефига, спеца, спецом, спецухой* 'специально'; 3) условные: *крайком, крайняк, на край-*

*няк, по-любому*; 4) указывающие на последовательность действий: *первачом, первяком, спервача, спермоначально* 'сначала'; *по концовке* 'в конце концов, в итоге'.

Причинные отношения вербализуются только в части указания на отсутствие какого-либо логичного объяснения с точки зрения здравого смысла, ср. также адverbиальное выражение *по слетевшей планке* 'по причине невменяемости, неконтролируемого состояния'.

Среди целевых слов особое место принадлежит вопросительным единицам с недифференцированным значением 'зачем/почему' (*зафиг, зафига, зафигом, нам клят, на фиг, на фига, на фигища, на хрен, на хрена, на хренища, фиг ли*, ср. также *какого банана?*), которые являются экспликаторами отрицательно-риторического прагматического компонента высказывания, например высказывание *Зафиг пошёл-то туда?* может быть истолковано так: 'зачем/почему пошёл + не следовало туда ходить'.

Показательно наличие в сленге наречий условия: *крайком* 'в крайнем случае', *на крайняк* 'в крайнем случае', *по-любому* 'в любом случае', *по-умному/по уму* 'если исходить из здравого смысла'. В литературном языке этот сектор смыслового пространства вообще не вербализуется наречным способом. В сленге в составе высказывания условные наречия одновременно выражают элементы модусного и пропозитивного содержания, что определяет специфику их прагмасемантического потенциала. В. Б. Евтюхин, указывая на малочисленность наречий причины и цели в литературном языке и отсутствие в нём условных наречий, высказывает предположение, «что система языка вообще налагает запрет на образование номинативно значимых наречий обусловленности. Факт существования в русском языке некоторого их количества можно рассматривать как следствие некоего «дисбаланса» грамматической системы. Свидетельством этого дисбаланса является яркая стилистическая коннотация данных наречий» [12].

Обобщая характеристику семантических классов сленговых наречий в русском языке, мы можем заключить, что по сравнению с литературной формой языка сленг очень избирателен в сфере вербализации тех или иных участков семантического пространства наречным способом, но тем не менее нельзя не отметить семантическую разноплановость сленговых наречий и их прагматическую выделенность. Наиболее разработанной в лексическом отношении является зона смысла 'как'. Наречия этого типа есть в составе и квалификативных, и количественных, и пространственных (ср. сленговое *сквозняком* и общерусское *езде*), и временных, и модальных, и в составе наречий логической обусловленности.

Случаи «выхода» наречия за пределы смысловой зоны «как» единичны («когда» – *поутряне*; «куда» – *на хату*; «зачем/почему» – *зафига* и т. п.). Самым представительным является класс модально-оценочных наречий. Сопоставительное описание состава семантических классов наречий в различных формах существования русского языка может составить основу исследования роли и места наречной лексикой в означивании тех или иных фрагментов семантического пространства языка и позволяет уточнить, какие именно участки этого пространства вербализуются с помощью адвербиальных единиц, какие смыслы являются актуальными и значимыми в ценностном видении мира в различных типах культур.

#### Примечания

1. *Никитина, Т. Г.* Молодежный сленг: Толковый словарь [Текст] / Т. Г. Никитина. М.: Астрель; АСТ, 2004. С. 185.
2. Там же. С. 101.
3. Там же. С. 366.
4. *Елистратов, В. С.* Толковый словарь русского сленга [Текст] / В. С. Елистратов; науч. ред. Н. Б. Тропольская. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. С. 494.
5. *Урысон, Е. В.* Семантика величины [Текст] / Е. В. Урысон // Языковая картина мира и системная лексикография / отв. ред. Ю. Д. Апресян. М.: Языки славянских культур, 2006. С. 757.
6. *Елистратов, В. С.* Указ. соч. С. 66.
7. Там же. С. 245.
8. Там же. С. 340.
9. *Богуславский, И. М.* Семантика быстроты [Текст] / И. М. Богуславский, А. А. Иомдин // Вопросы языкознания. 1999. № 6. С. 13–30; *Богуславский, И. М.* Семантика медленности [Текст] / И. М. Богуславский, А. А. Иомдин // Слово в тексте и словаре: сборник статей к 70-летию акад. Ю. Д. Апресяна / отв. ред. А. А. Иомдин, А. П. Крысин; Институт русского языка имени В. В. Виноградова; Институт проблем передачи информации. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 52–60.
10. *Космеда, Т. А.* Категории оценки и категория модальности: точки соприкосновения и отличия [Текст] / Т. А. Космеда // Вопросы функциональной грамматики: сб. науч. тр. Вып. 4 / под ред. М. И. Конюшкевич. Гродно: ГрГУ, 2001. С. 96.
11. *Елистратов, В. С.* Указ. соч. С. 430.
12. Теория функциональной грамматики. Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность [Текст] / отв. ред. А. В. Бондарко; РАН. Институт лингвистических исследований. СПб.: Наука, 1996. С. 156.

Н. Н. Семененко

### ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ КОГНИТИВНО-ДЕНОТАТИВНЫХ СИТУАЦИЙ РУССКИХ ПАРЕМИЙ

В статье рассматривается прагматический подход к выделению и интерпретации смысла паремий (пословиц и загадок), позволяющий описать особенности репрезентации посредством данных единиц когнитивных единиц (фреймов) и когнитивно-денотативных ситуаций как элементов когнитивно-денотативного пространства русской паремииологии.

The article deals with the pragmatic approach which identifies and interprets the meaning of paremies. It describes the peculiarities of verbalization of frames and cognitional-denotative situation by means of the paremies, what makes possible to analyze the elements of cognitional-denotative area.

Денотативная природа лексического значения, обусловленная предметностью человеческого мышления, побуждает нас рассмотреть вопрос о предметной соотнесённости текста паремии и объективированной ею когнитивно-денотативной ситуацией. Пословицы, поговорки, приметы и загадки – высказывания, чрезвычайно близкие предметному миру, окружавшему человека, в языковом сознании которого отразились их устойчивые денотативные связи. В сферу «притяжения» паремий входят как физические и материальные сущности из ближайшего «хозяйственного» окружения, так и абстрактные сущности, восприятие и оценка которых важны для того лингвокультурного дискурса, в пространстве которого выкристаллизовались соответствующие пословицы, приметы, загадки и т. д.

Проблема пространства языка исследована в работах Е. С. Кубряковой, в частности в работе «Язык пространства и пространство языка», где высказывается мысль о необходимости различать разные типы языковых пространств [1].

Попытка применить понятие денотативного пространства к исследованию паремического фонда русского языка открывает возможность к его углублению, что, в конечном итоге, приводит к необходимости введения нового для паремииологии понятия «когнитивно-денотативное пространство» русской паремии, под которым подразумевается, прежде всего, система обобщенных образов реальной действительности, регулярно воспроизводимых в текстах пословиц, поговорок, загадок и примет.

Вместе с тем сам по себе набор денотатов, даже в их парадигматической связи, не составляет той дискурсивной среды, которая необходима для порождения и функционирования на-

родных афоризмов. Сама по себе лексема, входящая в текст паремии, не являет прямой соотношенности с денотатом как элементом внеязыковой действительности, поскольку языковое воплощение денотата актуально для текста пословиц, загадок и других паремий лишь в аспекте той когнитивной функции, которую он реализует в составе умозаключения.

Значимость рассмотрения когнитивно-денотативного пространства паремий заключается в том, что паремические единицы, с одной стороны, способны к воссозданию системы наиболее значимых для этнической (преимущественно крестьянской) культуры понятий, составляющих ядро наивной картины мира, а с другой стороны, тексты паремий – это репрезентаторы важнейших ментальных категорий и пространств, определяющих собой стереотипы национального мышления. К примеру, концептуальная антитеза «Былое – Будущее» раскрывается в соответствующей тематической группе пословиц через самые различные культурно значимые образы: *Пролетела пуля – не вернется; Видели друга – увидим и недруга; Что было, видели деды; что будет, увидят внуки; Какова ни будь красна девка, а придет пора – выцветет; Гнездо цело, а птицы улетели* и т. д.

Наиболее показательными для анализа паремического денотативного пространства являются пословицы и загадки: во-первых, в силу особенностей внутренней формы, способствующей формированию обобщенного значения в процессе утраты лексическими компонентами пословиц и загадок первичной референции; во-вторых, в связи с огромным преобразующим потенциалом когнитивной метафоры, которая в тексте пословиц и загадок является не столько средством для воплощения языковой игры, сколько способом объективации когнитивно-денотативной ситуации паремическими средствами. Когнитивно-денотативная ситуация – ядро текстопорождающего дискурса – являет собой пропозитивную основу, которая в ходе своей вербализации утверждает не только предметную, но и событийную основу умозаключений, положенных в основу паремий. Когнитивно-денотативная ситуация в отличие от когнитивно-денотативного пространства четко структурирована в соответствии с когнитивной моделью порождаемого высказывания (пословицы или загадки) и, вне сомнения, является базовой единицей, выделяемой для описания когнитивно-денотативного пространства пословиц и загадок определенной тематической направленности.

Для сопоставления когнитивно-денотативных ситуаций, лежащих в основе текстов паремий различных типов, в частности в данном исследовании – пословиц и загадок, необходимо уста-

новление особенностей внутренней формы и метафорической структуры этих разновидностей паремий.

Феномен внутренней формы паремий на сегодняшний день относится к числу мало изученных, поскольку до сих пор в большинстве работ, посвященных данной проблеме, нет четкого выделения данного понятия применительно к пословицам, поговоркам и практически нет исследований о внутренней форме примет и загадок, даже на фоне традиционных представлений о внутренней форме слов и фразем.

Современная когнитивная лингвистика в попытке определения внутренней формы языкового знака должна обращаться, в первую очередь, к теории А. А. Потебни, сформулировавшего следующее определение: «Внутренняя форма... есть отношение содержания мысли к сознанию; она показывает, как представляется человеку его собственная мысль» [2].

Н. Ф. Алефиренко, анализируя ряд теорий относительно внутренней формы языкового знака вообще и фраземы в частности, предлагает свое когнитивно-синергетическое понимание данного феномена. Автор утверждает, что внутренняя форма фраземы не сводится ни к её этимологии, ни к её актуальному значению, а является «средством экспликации образа, служащего способом соотношения предмета мысли и значения фраземы» [3].

Подробное понимание чрезвычайно важно для попытки определения внутренней формы паремий, поскольку некоторые из них (в первую очередь поговорки) по своим семантическим свойствам достаточно близки к фраземам. Вместе с тем другие виды паремий, в частности рассматриваемые нами пословицы и загадки, существенно отличаются от фразем именно по тем признакам, которые особенно важны для характеристики их внутренней формы [4].

Обычно утверждается, что внутреннюю форму большинства пословиц можно охарактеризовать как «прозрачную» [5], ситуативную, сюжетную. И в этом есть доля правды. Действительно, многие пословицы характеризуются «свернутым» сюжетным планом, который в достаточной мере сохраняет ту их часть, «которая в силу уникальности обозначаемой ею ситуации... или ее языковой формы... детерминирует закрепившийся за ней смысл» [6]. Но вместе с тем эта яркая детерминированность смысла сочетается с высокой степенью десемантизации отдельных семем, связанных как раз с «сюжетно значимыми» денотатами. Так, вариантная парадигма пословиц, приведённая в сборнике «Русский народ. Пословицы. Загадки. Сказки» В. И. Даля, Д. Н. Садовникова и А. Н. Афанасьева, свидетельствует, скорее, о пропозитивной структуре высказывания – когнитив-

ной основе внутренней формы: *Была бы голова, будет и борода; Был бы бык, а мясо будет; Был бы лес, а топор свящам; Были бы хоромы, будут и знакомцы; Было бы болото, а черти будут; Был бы лес, будет и леший; Была бы изба, будут и тараканы; Была бы шуба, а вши будут; Були бы тирожки, будут и дружки; Были бы бобры, а ловцы будут; Была бы невеста, а сваха будет; Была бы голова, а хвост будет.*

Представленная вариация основывается на соблюдении фреймовой модели «Причина / источник порождает следствие / содержание», реализующейся в самых разных прагматических ситуациях. Выбор денотата обуславливается рядом факторов: в первую очередь, наличием у предмета номинации потенциала для репрезентации фреймовой структуры (*голова – борода, бык – мясо, лес – леший*). Кроме того, выделяется ряд особенностей, усиливающих ценность лексемы как вербализатора когнитивно значимого денотата:

1) способность лексем вступать в отношения контекстуальной антонимии, основанной на косвенных семантических признаках (*хоромы* «имущество» – *знакомцы* «потребители», *шуба* «достаток» – *вши* «паразиты», *изба* «имущество» – *тараканы* «паразиты»), и, таким образом, репрезентировать фреймовую модель;

2) наличие у лексем-репрезентаторов сюжетно значимых денотатов фонетического и ритмического потенциала для реализации коммуникативного потенциала паремии (рифмовка – *тирожки – дружки*);

3) тематическая соотнесённость лексем (*невеста – сваха, голова – хвост*);

4) общность прагматического компонента значения (*болото – черти*).

Исходя из вышесказанного, внутренняя форма пословиц – это не просто образ, основанный на представлении о ряде типовых денотатов в их связях и взаимовлиянии, а отражение прототипической ситуации, которая обычно представляется с помощью произвольно выбранных прагматически значимых реалий, получивших в языке прямое или метафорическое выражение. При этом внутренняя форма остаётся именно средством связи между предметом осмысления (когнитивной единицей), структурой умозаключения (когнитивной моделью) и прагматически выраженным значением пословицы.

При несомненной «пассионарности внутренней формы» [7] пословиц и загадок каждая из этих паремий демонстрирует особенности актуализации внутренней формы в процессе функционирования данных единиц. Внутренняя форма загадки отличается от внутренней формы пословицы прежде всего тем, что когнитивная модель первой совершенно иначе, нежели у пословицы,

связана с прагматически выражаемым значением. Значение пословицы – это обобщенное выражение смысла, вытекающего из некоей ситуации, в то время как значение загадки – отвлечённое отражение денотативной ситуации, логически вытекающей из ассоциативных связей первичных и вторичных предметов мысли. Например, *Шла свинья из Саратова вся исцарапана (терка)* или *Один заварил, другой налил; Сколько ни хлебай, а на любую артель еще станет (книга)*. Кроме того, для загадки в реализации её когнитивно-прагматической функции важен не столько выбор денотата, сколько способ взаимопредставления денотатов посредством когнитивной метафоры.

Когнитивная метафора, на наш взгляд, играет ведущую роль как в формировании, так и в языковой актуализации внутренней формы, поскольку является процессом, в равной степени языковым и когнитивным. Процесс метафоризации – «это всегда некоторая проблемная когнитивно-номинативная ситуация со многими переменными факторами» [8], при рассмотрении которой наиболее важным и сложно определяемым звеном является «перенос части информации из базиса на объект мысли» [9]. Поэтому наиболее важным при рассмотрении метафоры в тексте паремий является не её художественный потенциал, а функция когнитивно-номинативная, т. е. функция «обозначения того, чему нет названия» [10].

Когнитивная, или лингвокогнитивная, метафора выступает в роли «средства языкового сознания, средства создания нового смыслового содержания языкового знака» [11], и зачастую это новое содержание представляет собой обобщающее отвлечение от конкретной когнитивно-денотативной ситуации, как в случае с пословицами и загадками. При этом пословицы реализуют свой глубинный смысл умозаключения, а загадки – номинативный потенциал.

Таким образом, метафоричность семантической структуры пословиц и загадок не сводится к заложенному в ней явному и скрытому сравнению – пословица изначально глубоко метафорична по своему происхождению. То, что А. А. Потебня назвал «сгущением мысли» [12], а З. К. Тарланов определяет как предельную «обобщенность значения» [13], является специфической способностью паремий выражать посредством минимума языкового материала максимум смыслов, актуализирующихся в зависимости от потребности дискурса. Если для пословицы метафора играет роль средства, формирующего, с одной стороны, ее когнитивно-денотативный базис, а с другой – отвлеченное от него обобщенное значение, то для загадки метафора – это единственное связующее звено между внутренней формой и выражаемым смыслом.

При этом следует отметить, что собственно набор денотатов, отраженных в паремиях, достаточно ограничен, поскольку фольклорный мир «стремится к устойчивости». На этом основании А. Т. Хроленко высказывает сомнение в перцептивной «неограниченности лексической периферии» фольклорных жанров как следствии «богатства лексики» [14]. Полагаем, это вполне справедливо отнести и к паремиям. Поэтому для определения состава денотатов, «используемых» пословицами и загадками, целесообразно опираться на «ядерную» для значений паремий лексику. А поскольку набор денотатов той или иной паремии обеспечивает более или менее отчетливую «картинку быта», которая выполняет в тексте пословицы роль своеобразного сюжета, то и анализ когнитивно-денотативного пространства в его конкретных когнитивно-денотативных ситуациях, очерченных типичными сюжетами, сценариями и фреймами, следует проводить в пределах одной тематической группы паремий. Кроме того, при соблюдении тематического подхода сохраняется концептуальное единство рассматриваемого материала и, таким образом, вскрывается прагматическая значимость высказываний.

Помимо принципа тематического единства (1) анализ когнитивно-денотативного пространства опирается на системный принцип (2), так как денотативное пространство во многом изоморфно соответствующим лексико-семантическим парадигмам, на понимание денотативного пространства как полевой структуры, а когнитивно-денотативного пространства как многоуровневого образования со сложными и многополярными внутренними связями (3) и на признание прагматической значимости смыслов, репрезентируемых посредством паремий (4).

При определении круга паремий, включаемых в тематическую группу, предлагается учитывать единство их фреймовой семантики, то есть отнесенность анализируемых пословиц или загадок к одной лингвокогнитивной области, характеризующейся наличием в ней центрального фрейма, определяемого, чаще всего, именно по прагматическому смыслу, заложенному в паремии. Прагматический смысл при этом понимается как дидактическая нацеленность умозаключения на формирование в сознании носителей языка определенного стереотипа поведения и образа мысли.

Понимание фрейма как «иерархически организованной структуры данных, которая представляет собой в семантике фраземы знания о какой-то стереотипной ситуации» [15] позволяет говорить об актуальности рассмотрения фреймовой семантики именно паремий, поскольку они выражают умозаключения, базирующиеся на стереотипных ситуациях, воззрениях, убеждениях.

Например, фрейм «Праздник» репрезентирован рядом пословиц, относящихся к нескольким тематическим группам, но на основе единства фреймовой семантики их следует отнести к одной парадигме.

Это 29 пословиц одноименной тематической группы. Например, *У Бога всегда праздник* – «в любой день есть повод обратиться к истории православия»; *Примечай будни, а праздники сами придут* – «нельзя жить только в ожидании праздника, в будни происходит очень много важного»; *Воскресный день не нам, а господам* – «просто человеку даже в праздник невозможно предаваться праздности», то же самое – *Царский праздник не наш день, а государев*; в пословице *Ленивому всегда праздник* прагматический смысл заключается в утверждении, что «лень в человеке побеждает стремление соблюдать традиции общества» и т. д.

Репрезентация фрейма «Праздник» как центрального для смысловой структуры наблюдается у трех пословиц тематической группы «Игры – забавы – ловля» – *У наших ворот всегда хоровад* – «существуют люди, которые всегда живут праздно и весело»; *Кто с ангелами ликует, тому завсе праздник* – «праведный человек всегда живет с ощущением истинного духовного праздника»; *Делу время – потехе час* – «праздники желанны, но быстротечны, больше внимания нужно уделять повседневным делам».

Аналогичный процесс наблюдается в одной пословице тематической группы «Чудо – диво – мудреное» (*Маслена широко разлилась: затопила Великий пост* – «смысл праздника Масленицы не в его праздновании, а в духовной подготовке к нему») и в одной пословице тематической группы «Пьянство» (*То не спасенье, что пьян в воскресенье* – «праздник хоть и для веселья, но грех не оправдывает»).

При этом ряд пословиц, выделенных в сборнике в составе тематической группы «Праздник», имеет двойкий прагматический смысл. Например, *Всякая душа празднику рада* – 1) «даже грешник, не задумываясь о духовном содержании праздника, проникается его значимостью», 2) «праздник любят все, так как он освобождает от работы». Аналогично, в пословице *В такой день у Бога все равны* прагматический смысл может быть сформулирован как убеждение в том, что «в великий церковный праздник можно отчасти искупить грехи», либо в том, что «в великий церковный праздник равны и социально не равные люди».

Некоторые пословицы, входящие в сборнике в тематическую группу «Праздник», выпадают из общего фреймового пространства. Например, *И дурак знает, что Христов день праздник* – «существуют вещи, известные всем и очевидные

для всех, знание о них – не есть признак ума». Или *У праздника два невольника: одному хочется пить, да не на что купить, а другого потчуют, да пить не хочется* – первый прагматический смысл пословицы связан с тем, что «праздник на Руси – прежде всего для пьянки» и этот смысл вполне укладывается в общую смысловую парадигму тематической группы, а второй смысл – «нет в жизни совершенства в соотношении возможностей и потребностей» – выводит пословицу за пределы фреймовой семантики группы пословиц.

Зачастую двусмысленность выражаемого умозаключения связана с феноменом двуплановости русского религиозного сознания, основанного, с одной стороны, на следовании духовным законам церкви, а с другой стороны, на «народной» религиозности, выросшей из обыденного осмысления духовных категорий и из практического опыта православной культуры. Фрейм «Праздник» как раз и являет нам в паремических репрезентациях две свои основные составляющие – праздник духовный и праздность обыденную. Паремии же являют нам некий конгломерат этих двух категорий, зачастую выражая двоякую или компромиссную мораль.

Вне сомнения, в пределах выбранной тематической группы не раскрыта целостная структура фрейма, но ее описание и не является задачей исследования. Нам важно выделить ряд типовых когнитивно-денотативных ситуаций, которые прослеживаются при репрезентации фрейма посредством данных паремий. Прежде всего, это ситуации «Праздник-праздность – пьянство», «Праздник-праздность – безделье», «Духовный праздник – спасение, прощение грехов», «Духовный праздник – равенство для всех членов сообщества». Исходя из выделения данных ситуаций мы можем (1) обрисовать полевою структуру денотативного пространства данной конкретной группы паремий и (2) описать когнитивно-денотативное пространство через взаимодействие отдельных слотов фрейма и прагматического смысла репрезентированных ситуаций.

Первая задача выполнима в рамках денотативного анализа текста выбранных паремий, который включает следующие этапы:

1) определение «лексического минимума», номинирующего денотаты, максимально соответствующие тематическому понятию группы и составляющие семантическое ядро денотативного пространства (группа I);

2) определение периферийных денотатов, образующих приядерную зону денотативного пространства (группа II);

3) выявление состава денотатов, качественно характеризующих денотаты ядра и приядерной

зоны и образующих ближайшую периферию денотативного пространства (группа III);

4) выявление состава денотатов дальней периферии и определение их роли в выражении суждения или отражении явления внеязыковой действительности паремиями;

5) определение степени влияния денотативной сочетаемости на обобщенное значение пословицы и на формирование концептуального элемента значения у лексем, содержащих тематические денотаты, и у значения паремий в целом.

В результате анализа паремий данной тематической группы в группе денотатов I (лексем, выражающих основной денотативный смысл, актуальный для прагматики высказывания) мы выделяем лексемы *праздник, Маслена, масляная, Праздник Христов, воскресенье*; в группе II – *будни, душа, день, радость, свадьба, суббота, понедельник, работа, пить, хоровод, ангелы, дело, потеха, пиво, спасенье, колокол, похмелье*; в группе III – *хоровод, добрый (хороший), дурак, чарочка, потчевать, грешники*.

Выделенные нами группы лексем соотносимы с уже обозначенными когнитивно-денотативными ситуациями, которые, в свою очередь, изоморфны слотам фрейма, актуальным для прагматического смысла паремий.

Загадки, в отличие от пословиц, репрезентируют большей частью материальные категории, поэтому прагматические смыслы, ими выражаемые, основываются не на морали высказывания, а на формировании в сознании носителя языка метафорически широких и «гибких» представлений о взаимосвязи и взаимодействии различных предметных категорий. Причем эти суждения нередко формируются через сравнение. Например, *Шкура лежит, а сама до воды бежит* (тающий снег) – «снег и вода представляют одно тело в разных состояниях, как и живое существо (лицетворенная шкура животного), которое может совершать разные действия, но при этом является одним целым» или *Два братца через грядку смотрят, да не сойдутся* (глаза) – «угол зрения глаз одинаков, так же как и у родных братьев схожи взгляды» и т. д.

Тем не менее в числе загадок выделяется и группа единиц, обозначающих абстрактные категории. Например, в сборнике «Русский народ. Пословицы, Загадки. Сказки» отметим тематическую группу загадок «Понятия о времени, жизни, смерти и пр.». Некоторые из выделенных в данную группу загадок также репрезентируют фреймы, причем эта репрезентация может быть как фрагментарной (затрагивать лишь часть содержания фрейма) (1), так и весьма объемной, хотя и мало конкретной (2).

Первый способ репрезентации наблюдается в следующем примере: *На поле на тетенском сто-*

ит столб веретенской; Никто его не обойдет, не объедет: Ни царь, ни царица, ни красна девица (смерть). В данной загадке репрезентируется слот фрейма, связанный с концептом «Неотвратимость», что иллюстрируется при выделении следующих когнитивно-денотативных ситуаций: «Неотвратимость смерти – невозможность *объехать, обойти*», «Неотвратимость смерти – материальные, физические преимущества (*царь* – концепт «Власть», *царица* – концепт «Привилегия», *красна девица* – «Красота», «Здоровье», Молодость»). Таким образом, можно проследить ассоциативную цепь образов, актуальных для когниции в процессе осмысления фрейма через слот «Неотвратимость».

Второй способ репрезентации хорошо просматривается на следующем примере: *Диво варило тиво; Слепой увидал, Безногий за ковшом побежал, Безрукий сливал, Ты пил да не растолковал* (ложь). При прочтении данной загадки сложно выделить когнитивно-денотативные ситуации, способствующие репрезентации конкретных слотов фрейма, в то время как феномен лжи целостно раскрывается через прагматический смысл «ложь изначально, по своей природе есть введение в заблуждение, запутывание, нелепость и неправдоподобность».

Таким образом, сложная когнитивная структура, лежащая в основе семантики паремий, может рассматриваться с учетом единства прагматического и когнитивного подходов. При определении прагматического смысла, заложенного в паремии, мы определяем круг актуальных для умозаключения сем, тем самым разграничивая процессы реализации лексического значения компонента пословицы, актуального для определения этнокультурной специфики паремии, и процессы репрезентации посредством целостного паремического текста когнитивных единиц и структур.

Прагматическая функция пословиц и загадок, как правило, находится в тесной зависимости от когнитивно-денотативной ситуации, лежащей в основе номинации или умозаключения. Само понятие ситуации соотносимо с представлениями о свернутом характере сюжетной основы паремий. Каждая типичная когнитивно-денотативная ситуация – это элемент когнитивно-денотативного пространства паремий как основы соответствующего дискурса.

Особенности внутренней формы и когнитивно-метафорической структуры семантики посло-

виц и загадок позволяют отследить в процессе анализа различные нюансы репрезентации сложных когнитивных единиц и пространств. Особенно показательны способы репрезентации отдельных слотов фрейма посредством паремий одной тематической группы.

Таким образом, каждая разновидность паремий как жанра устного народного творчества заслуживает отдельного внимания как в описательном, так и в сопоставительном исследовании, которое позволило бы внести определенную ясность в структурирование когнитивно-денотативного пространства народных афоризмов.

#### Примечания

1. Кубрякова, Е. С. Язык пространства и пространство языка [Текст] // Известия АН, сер. лит. и языка. М., 1997. № 3. С. 23.
2. Потебня, А. А. Эстетика и поэтика [Текст] / А. А. Потебня. М., 1976. С. 98.
3. Алефиренко, Н. Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм [Текст] : монография / Н. Ф. Алефиренко. М., 2008. С. 62.
4. См.: Семенов, Н. Н. Проблема фразеологического статуса паремий в свете когнитивно-дискурсивного подхода [Текст] / Н. Н. Семенов // Фразеологизм и слово в национально-культурном дискурсе (лингвистические и лингвометодические аспекты). Кострома, 2008. С. 149–150.
5. Мелерович, А. М. Семантическая структура фразеологических единиц современного русского языка [Текст] / А. М. Мелерович, В. М. Мокиенко. Кострома, 2008. С. 89.
6. Там же. С. 91.
7. Алефиренко, Н. Ф. Язык, познание и культура: Когнитивно-семиологическая синергетика слова [Текст] / Н. Ф. Алефиренко. Волгоград, 2006. С. 62.
8. Телия, В. Н. Метафора как модель смыслопроизводства и экспрессивно-оценочная функция [Текст] / В. Н. Телия // Метафора в языке и тексте. М., 1988. С. 34.
9. Алефиренко, Н. Ф. Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания, культуры [Текст] / Н. Ф. Алефиренко. М., 2002. С. 53.
10. Телия, В. Н. Указ. соч. С. 11.
11. Алефиренко, Н. Ф. Фразеология и когнитивистика: в аспекте лингвистического постмодернизма [Текст] : монография / Н. Ф. Алефиренко. Белгород: Изд-во Белгород. ун-та, 2008. С. 16.
12. Потебня, А. А. Указ. соч. С. 520.
13. Тарланов, З. К. Язык. Этнос. Время [Текст] / З. К. Тарланов. Петрозаводск, 1993. С. 168.
14. Хроленко, А. Т. Семантика фольклорного слова [Текст] / А. Т. Хроленко. Воронеж, 1992. С. 6.
15. Алефиренко, Н. Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм... С. 10.



Е. Ю. Соболева

## ИНДЕЙСКИЙ ПЛАСТ ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ ФОНДЕ АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В статье рассматриваются формирование стереотипов об индейцах в американской культуре и их отражение во фразеологическом фонде языка. Анализ фразеологических единиц этой группы позволяет выделить набор базовых метафор, вокруг которых исторически строился образ индейца. Результаты исследования свидетельствуют о многоаспектности проявления индейского наследия в американской фразеологии.

The article is devoted to the development of stereotypes concerning Native Americans in American culture and their reflection in phraseology. Analyzing this layer of units allows the author to establish a set of metaphors that served as the basis for the historical image of Native Americans. The research results reveal the various ways Native American legacy is manifested in idiomatic sphere.

Колонизация североамериканского континента европейцами происходила путём заключения договоров с индейцами (многие из которых были затем аннулированы), а также через войны и насильственное отторжение. Она сопровождалась постоянным противостоянием между европейским и индейским образом жизни. Эта борьба проходит красной нитью через всю историю США, и многие её аспекты нашли своё отражение в языке как неотъемлемой части исторически сложившейся американской культуры.

Вооруженные конфликты между поселенцами и местным населением (Indian Wars) велись на протяжении почти трех столетий и сопровождались проявлениями исключительной жестокости с обеих сторон. Так, 5 июня 1637 г. колонисты из Массачусетса вместе с союзными племенами заживо сожгли в индейской деревне 700 человек в ходе Пекотской войны (Pequot War), а в 1812 г. более 300 поселенцев были истреблены в форте Дирборн индейскими племенами под предводительством вождя Текумсе. Такое постоянное противостояние, естественно, нашло выражение и во фразеологических единицах американского варианта английского языка, связанных с индейцами, а также сказалось на формировании стереотипного образа индейца-врага на протяжении многих лет американской истории.

Некоторые фразеологические единицы обязаны своим происхождением конкретным историческим событиям и, как правило, описывают сложные отношения колонистов и индейцев. Так, например, насильственное переселение индейских племен Юго-Востока за р. Миссисипи (из

Джорджии в Оклахому) в 1830-е после принятия закона о переселении вошло в историю под названием *The Trail of Tears* – «Тропа Слёз». Из 50 тысяч переселяемых индейцев примерно половина погибла в пути. Выражение употребляется, главным образом, по отношению к племени чероки, потерявшему во время перехода зимой 1838–1839 гг. более 4 тысяч человек. По иронии судьбы именно чероки успели многое перенять из образа жизни белых, тогда как одним из заявляемых президентом Джеймсом Монро оснований для переселения индейских племён было их нежелание «стать цивилизованными», что, по его мнению, ставило их под угрозу вымирания.

Многие индейские племена не желали покоряться судьбе и вели активные военные действия против американцев. Так, фразеологизм, впервые зарегистрированный в 1866 г., *buckskin men* относился к печально знаменитым индейцам-похитителям людей, которые несколько лет держали в страхе колонистов. Единица *Custer's Last Stand* – «последний оплот Кастера» – обязана своим появлением битве на реке Литтл-Бигхорн 25 июня 1876 г., в которой кавалерийский полк генерала Кастера, призванный вернуть индейцев в пределы их резервации, потерпел огушительное поражение, потеряв 265 человек убитыми. Естественно, американское правительство не оставалось в долгу и проводило карательные экспедиции, которые в реальности оказались в значительной степени направлены против индейского гражданского населения и получили ироническое наименование *the squaw campaign* – «война с женщинами».

К более поздним фразеологическим единицам этой группы можно отнести *The Trail of Broken Treaties* – «тропа нарушенных договоров» – марш протеста в Вашингтоне осенью 1972 г., организованный Движением американских индейцев (American Indian Movement) и их сторонниками.

История противостояния колонистов и индейцев запечатлена во фразеологическом фонде американского варианта английского языка не только в наименованиях отдельных событий и личностей.

Как известно, языковая картина мира любого общества характеризуется определенным набором стереотипов – устойчивых ментальных образов-представлений о группе людей или предметов, построенных на фиксированном наборе типичных признаков [1]. Одним из основных видов стереотипов являются этностереотипы, выступающие как проявление долговременной культурной памяти этноса – их употребление возвращает в сознании собранные в единый образ воспоминания о предшествующих контекстах, оценки соответствующих референтов и отношение к ним [2].

Этнические стереотипы выражают мнение доминирующей референтной группы – этноса-носителя языка, преобладающего на данной территории и/или имеющего более высокий социальный статус – и основаны на выделении и оценке отличий описываемой группы от референтной. Эта оценка чаще всего негативна (чужое как аномальное, «неправильное», вредное, дикое и т. п.), намного реже встречается положительная оценка (чужое как лучшее по качеству) [3].

Одним из способов вербализации этностереотипов является функционирование соответствующих этнонимов в составе фразеологизмов. Так, анализ семантических особенностей фразеологизмов, имеющих в своем составе или словарной дефиниции указание на индейцев или их образ жизни, показывает противоречивое отношение носителей языка к индейцам, а также основные черты некоего совокупного образа индейца, сложившегося за годы колонизации. Е. А. Березович и Д. П. Гулик используют для описания такого обобщенного представления о представителе некоего этноса термин *ономазиологический портрет*, определяемый как «наивное знание» о нем и о группе в целом, запечатленное в лексической системе языка [4].

Исследование фразеологических единиц, содержащих компонент *Indian* или ссылающихся на традиции, нравы или быт индейцев, позволило выделить несколько базовых метафор, вокруг которых исторически строился образ индейца в сознании носителей американского варианта английского языка:

#### 1. Индеец – животное, зверь, хищник

(убийца, безжалостный, кровожадный, демонстрирующий бессмысленную жестокость, неразумный, недочеловек, объект охоты)

*Bulldog Indian* – full-blooded Indian (1870).

*Dog soldier/ warrior* – 1) a fierce and renegade Indian of the plains and Rocky Mountains who often united with others to make up an independent fighting band; 2) a member of a warlike band among the Cheyennes (1887).

*Buck Indian* – male Indian (first recorded in 1840).

Слово “buck” имеет значение «самец животного (оленья, антилопы, зайца, кролика, овцы, козы)» и, как правило, выступает в роли атрибута, стоящего в препозиции к определяемому существительному, например *buck antelope*. Фразеологическая единица *buck Indian* построена по той же модели и буквально могла бы переводиться как «самец индейца», тем самым недвусмысленно относя индейцев к животным (ср. фразеологизм *Buck Negro* того же периода). Помимо основных сем, здесь, очевидно, актуализируются и такие потенциальные семы слова «buck» как «здоровый, крепкий», поскольку второсте-

пенными значениями его могут выступать (US, informal) “a young man” и (archaic) “a robust spirited young man” (ср. другой американский фразеологизм – *as hearty as buck* – физически крепкий, здоровый).

Интересно отметить, что исторически закрепленные за образом индейцев агрессивность и воинственность заставляют американцев ставить их в один ряд с хищниками. Так, проведенное Р. Фрэнксом исследование названий американских спортивных команд показало, что восемь из десяти наиболее популярных прозвищ представляют собой названия хищных животных (Eagles, Tigers, Cougars, Bulldogs, Lions, Panthers, Wildcats, Bears), и ещё два – Indians и Warriors. Более того, страх перед этими хищниками привёл к тому, что почти все они (за исключением бульдогов, представляющих собой искусственно выведенный вид) за последние пятьсот лет были истреблены практически полностью, или численность их резко сократилась вследствие бесконтрольной охоты [5].

Яркий пример фразеологической единицы, где индеец рассматривается именно как объект охоты (необязательно хищник), представляет собой малоупотребительный историзм *black duck* (1790). В словаре У. Крейги “A Dictionary of American English on Historical Principles” к нему даётся следующее пояснение: “some English soldiers boasted of having killed a black duck which meant they had killed an Indian”.

Агрессивность как характерная черта индейцев просматривается в таком американском варианте общепринятого фразеологизма, как *to get one’s Indian up*, имеющего значение «беситься, лопатиться со злости, лезть в бутылку». Интересно отметить, что британский вариант этой идиомы звучит как *to get one’s Irish up*, что позволяет провести некоторые параллели между образом индейцев в сознании американцев и этнокультурными стереотипами, существующими у британцев по отношению к ирландцам (вспыльчивый, агрессивный, дикий).

#### 2. Индеец – дьявол, демон

(враг, зло, сверхъестественное, нечеловеческие способности, колдовство)

*Red Devil* – an American Indian (obs., 1834–1885).

*Big Devils* – a tribe of Sioux Indians (1814).

Интересно отметить, что ассоциации индейцев с дьяволом проявляются иногда даже в таком пласте лексики, как названия животных и растений, где эти два слова стоят рядом, например в наименовании американской россомахи (*Gulo lousus*) – *Indian devil*; или в названии ядовитого растения – *Indian tobacco*.

Референция к чёрной магии и сверхъестественным способностям, предположительно присущим

индейцам, прослеживается в таких единицах, как *black drink* – «черное зелье» – a decoction of the leaves of the yaupon, formerly used by the Indians of the Southern states as a ceremonial drink and as medicine; *Indian sign* – a magic spell designed to place the victim in one's power or bring him bad luck; *Indian rope-trick* – предполагаемая способность индейцев взбираться по незакрепленной веревке; *Indian hay/grass* – «травка», марихуана.

### 3. Индеец – хитрец

(лживый, нечестный, ищущий выгоду)

Такой образ лежит в основе группы слов *Indian gift/giver/giving*:

*An Indian gift* – a present for which an equivalent return is expected (1765); ещё одно, более позднее значение (1892) – one who gives a gift and then asks for it back.

*Indian giver* – (US and Canadian offensive) a person who asks for the return of a present he has given

Приписывание индейцам таких генерализованных черт, как нечестность и стремление к собственной выгоде (ожидание возмещения подарков), не обязательно основано на реальном поведении. Так, Бенджамин Франклин в «Заметках относительно дикарей Северной Америки» приводит слова Канассетого, торговавшего и даже состоявшего в дружеских отношениях с некоторыми белыми поселенцами, который, напротив, обвиняет белых в корысти и незнании простого гостеприимства [6]. Вероятно, в основе исследуемых фразеологизмов лежит неправильная интерпретация поселенцами индейских обычаев (то, что давалось им во временное пользование, они принимали за подарок) или стремление унижить противника, приписав ему отрицательные черты.

### 4. Индеец – примитивный дикарь, неразумное дитя/животное

(глупый, наивный, смешной)

Колонисты воспринимали местное население как варваров, дикарей, которым далеко было до того уровня развития цивилизации, на котором находились сами поселенцы. Они смотрели на индейцев свысока и с презрением, считая их обычаями, традиционные костюмы и образ жизни поводом для насмешек. Это отношение было закреплено и на фразеологическом уровне языковой системы:

*Blanket Indian* – an Indian who still uses the blanket as a garment instead of the ordinary dress of the whites, and remains in a primitive state of civilization (1859).

*Feather duster* (hum.) – an Indian (1907). Фразеологическая единица построена на отдаленном внешнем сходстве между традиционным головным убором индейцев равнин, состоящим, в основном, из перьев, и метелкой из перьев для смахивания пыли – feather duster (букв.).

Проблемы, возникавшие у индейцев при столкновении с европейской цивилизацией, и их попытки перенять образ жизни белых также нашли своё отражение во фразеологии. Одним из важных преимуществ и достижений своего общества колонисты считали образование, в то время как немногие индейцы стремились учиться «наукам белых людей». Образованный (по меркам европейцев) индеец был исключительным явлением и оставался чужим в белом обществе, получая неуважительное наименование *College Indian* – an Indian that has attended the schools provided by the white man (1724).

Объектом насмешек стала и слабая сопротивляемость индейцев алкоголю, как, например, во фразеологической единице *Indian list* (informal, in Canada) – a list of persons to whom spirits may not be sold.

Аналогия между индейцами – примитивными дикарями – и неразумными детьми прослеживается и в группе фразеологизмов, отражающей, в терминологии Я. Лехтонена, переносные этнокультурные автостереотипы, т. е. мнение представителей некоей этнической общности о том, как люди из другой общности воспринимают их [7]. Применительно к американскому варианту английского языка это единицы, предположительно отражающие взгляд «со стороны индейцев» на мир белых, такие, как *paleface* – a derogatory term for a white person, said to have been used by North American Indians.

К фразеологизмам этой группы можно отнести следующие устойчивые сочетания:

*Black gown* – a Jewish missionary among the Indians of the West, obsolete, except for hist. (1845)

*Big knife* – 1. an Indian name for a) a Virginian b) an American (in contrast to an English white man), obsolete, except for hist. (1750); 2. An Indian attached to the American side (1773)

*Big canoe* – an Indian name for a ship (1813)

В приведенных примерах наблюдается естественная попытка объяснить незнакомые реалии чужой цивилизации через собственные, что, однако, может быть интерпретировано как детскость, неспособность правильно назвать и понять элементарные, с точки зрения поселенцев, вещи. Как следствие возникают пародийные фразеологические единицы, построенные по той же модели, например *big talk* – a conference or discussion with/or among Indians.

### 5. Индеец – загадка

(странный, непонятный, таинственный, чужой)

*A wooden Indian* – «деревянный индеец» – человек с непроницаемым лицом, молчаливый и замкнутый. Своим происхождением этот фразеологизм обязан обычаю выставлять у входа в табачную лавку раскрашенную деревянную фигуру индейского вождя, иногда держащего в руке несколько сигар, ружье и т. п.

### 6. Индеец – благородный дикарь

Образ индейца как благородного дикаря (*noble savage*) занимает значительное место в европейской романтической традиции и предстает в американской литературе и искусстве в произведениях Генри Лонгфелло, Фенимора Купера, Джорджа Кэтлина. Тем не менее исследование корпуса фразеологических единиц американского варианта английского языка не подтвердило значимость романтического представления об индейцах (исключая романтическую традицию демонизации) для носителей американской культуры, поскольку подобные фразеологизмы очень немногочисленны, например *child of the forest* – an Indian (1823).

Даже такая единица, как *Indian summer*, означающая «золотую осень», благоприятный период и содержащая положительную оценку, этимологически могла быть связана с периодом окончания традиционных индейских набегов на земли поселенцев. Безусловно, это всего лишь одна из версий происхождения исследуемого фразеологизма, однако в ней вновь прослеживается образ индейца-врага.

В целом следует отметить, что объём негативных коннотаций, исторически закрепленных за этнонимом *Indian*, настолько велик, что в настоящее время этот термин воспринимается как политически некорректный и даже оскорбительный, о чём свидетельствуют пометы в современных словарях, например в словаре Collins – *old-fashioned, highly offensive*. Как оптимальное наименование указывается *Native American* (1956) – коренной житель Америки, однако и словарь Collins, и *Americana* признают пока правомерность употребления термина *American Indian* как менее предпочтительного, но приемлемого.

Говоря об индейском пласте фразеологического фонда американского варианта английского языка, стоит особо выделить группу фразеологизмов, этимологически восходящую к описанию обычаев и традиций коренного населения Америки. Впоследствии они приобрели переносное значение, были оторваны от индейского контекста и затем закреплены в системе языка как готовые единицы. Поскольку основной сферой взаимодействия колонистов и местного населения была война, эти единицы отражают, в основном, военные реалии и представляют собой полные или частичные кальки с языков индейцев, например *to bury/dig up the hatchet/tomahawk* – начать войну (от обычаев некоторых племен зарывать боевой топор в землю при заключении мира); *to be/go on the warpath* – вступить на тропу войны, подготовиться к войне, замышлять войну (тропа войны – у американских индейцев тропа, используемая воинами для неожиданного нападения на лагерь врага); *to*

*smoke the pipe of peace/calumet* – установить мирные, дружеские отношения (предложение чужестранцу выкурить «трубку мира» всегда было знаком гостеприимства и доброжелательности, отсюда расценивался как признак враждебности); *to be/go after somebody's scalp* – быть воинственно настроенным в отношении кого-либо, жаждать чьей-то крови (у некоторых индейских племен военный трофей – кожа с волосами с головы побежденного врага – *scalp*); *to count coup* – продемонстрировать смелость; рассказывать о боевых подвигах (у индейцев степей *coup* – смелый поступок, состоящий, как правило, в прикосновении к противнику).

Другие фразеологические единицы построены на референции к повседневной жизни индейцев (питанию, охоте, способам передвижения и т. п.): *to paddle one's own canoe* – полагаться только на себя, на собственные силы (букв. «самому грести на своем каноэ»); *happy hunting ground(s)* – небеса, рай, счастливая загробная жизнь (первоначально в представлении американских индейцев); раздолье, золотое дно; *Indian bread* – пресный хлеб из кукурузной муки с добавлением в тесто молока и яиц, рецепт ранних колонистов; *Indian file* – гуськом, по одному, один за другим (подобным образом индейцы предположительно передвигались по своим тропам).

Многие из фразеологизмов, этимологически связанных с жизнью индейцев, содержат элементы, заимствованные из их языков, например *to hold a powwow* – созвать собрание, совещаться, бурно обсуждать (*powwow* – у индейцев обряд с участием колдуна или собрание, совет). Слово *powwow* восходит к Алгонкинским языкам, в частности, языкам Натик (Natick), где *pauwau* – one who practises magic, и *Narraganset powwaw*. Выражение *high muck-a-muck*, имеющее варианты *high muckety mucks, high mucky mucks, u high muckety muck on the totem pole*, предположительно происходит от “*hiu muckamuck*”, что на языке Чинук (Chinook) означает «иметь много еды». Вероятно, фраза была воспринята пионерами и торговцами (возможно, из-за сходства первого компонента со словом *high* – высокий – и экзотического, не соответствующего эстетическим нормам английского языка второго компонента), которые стали применять её для обозначения индейского вождя. Впоследствии фразеологизм приобрел пренебрежительное значение «большая шишка» или «заяц, гордец, выскочка». Вариант *high muckety muck on the totem pole* связан с обычаями некоторых племен помещать изображение животных-предков на деревянный тотемный столб, устанавливаемый в память об умершем вожде его наследником на могиле вождя или перед его домом (ср. *low on the totem pole* – имеющий низкий ранг).

Характеризуя индейский пласт американской фразеологии в целом, в первую очередь, необходимо отметить значительный объем единиц, содержащих референции к американским индейцам или этимологически восходящих к контактам с ними. Многие из этих фразеологизмов давно закрепились в языковой картине мира американцев как историзмы, другие приобрели современное, оторванное от индейского контекста значение, как, например, *Cherokee strip* – последние ряды в Палате представителей Конгресса США, занимаемые партией большинства, которые, не уместаясь на своей стороне (справа или слева от прохода), вынуждены занимать пустующие задние кресла, предназначенные для партии меньшинства (изначально, полоса земли вдоль южной границы Канзаса, гарантированная племени чероки по договорам с США 1828 и 1833 гг.).

Анализ единиц этой группы свидетельствует о глубокой укоренённости негативных стереотипов, связанных с индейцами, в американском языковом сознании, борьба с которыми ведётся и по сей день (например, кампания против использования индейских образов в спорте). Требования современной межкультурной коммуникации включают в себя политическую корректность и соблюдение норм уважения к правам этнических и религиозных групп, что было отражено в новых словарных пометах к некоторым пренебрежительным фразеологизмам. Тем не менее представляется маловероятным, что эти меры смогут радикально изменить исторически сложившийся образ американских индейцев в сознании языкового коллектива.

#### Примечания

1. Милевич, И. Г. Стереотипы как презентанты доминирующих референтных групп [Текст] / И. Г. Милевич // Филология и культура: м-лы VI Междунар. науч. конф. 17–19 октября 2007 года / отв. ред. Н. Н. Болдырев; редкол.: В. А. Виноградов, Е. С. Кубрякова, Н. А. Потанина и др.; Федеральное агентство по образованию, Ин-т языкознания Рос. Академии наук, Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина, Общерос. обществ. организация «Российская ассоциация лингвистов-когнитологов». Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2007. С. 271–273.

2. Кашкин, В. Б. Этнонимы и территория национальной души [Текст] / В. Б. Кашкин, С. Пейхёнен // Русское и финское коммуникативное поведение. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. С. 62–70.

3. Березович, Е. А. О явлении лексической ксеномотивации [Текст] / Е. А. Березович // Вопросы языкознания. 2006. № 6. С. 3–18.

4. Березович, Е. А. Ономазиологический портрет «человека этнического»: принципы построения и интерпретации [Текст] / Е. А. Березович, Д. П. Гулик // Встречи этнических культур в зеркале языка в сопоставительном лингвокультурологическом аспекте / отв. ред. Г. П. Нещименко. М.: Наука, 2002. С. 232–253.

5. Pewewardy, C. Will Another School Year Bring Insult or Honor?: The Usage of Indian Mascots in

School-Related Events [Electronic resource] / C. Pewewardy // Canku Ota. October 7, 2000. Issue 20. Режим доступа: [http://www.turtletrack.org/Issues00/Co10072000/CO\\_10072000\\_Honor.htm](http://www.turtletrack.org/Issues00/Co10072000/CO_10072000_Honor.htm), свободный. Загл. с экрана.

6. Франклин, В. Избранные произведения [Текст] / В. Франклин; под общ. ред. и вступ. статья. М. П. Баскина. М.; Л.: Госполитиздат, 1956. 631 с.

7. Кашкин, В. Б. Указ. соч.

#### Лексикографические источники

1. Англо-русский лингвострановедческий словарь «Американа-П» [Электронный ресурс] / под ред. Г. В. Чернова // АБВУ Lingvo 12 – 2005. DVD-ROM.

2. Кунин, А. В. Большой англо-русский фразеологический словарь [Текст] / А. В. Кунин. 5-е изд., перераб. М: Рус.яз.–Медиа, 2005. 1210 с.

3. Collins English Dictionary [Electronic resource] / 8th Edition first published in 2006 © HarperCollins Publishers // АБВУ Lingvo 12 – 2006. DVD-ROM.

4. A Dictionary of American English on Historical Principles [Text] / ed. Sir William A. Craigie and James R. Hulbert. 4 vols. Chicago, 1938. 2552 p.

5. A Dictionary of Americanisms on Historical Principles [Text] / ed. M. Mathews. 2 vols. Chicago, 1951. 1946 p.

6. Random House Historical Dictionary of American Slang [Text] / ed. J. E. Lighter. Vol. 1, A-G. N.Y., 1994. 1006 p.

А. П. Султанова

### МЕТАФОРА В СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ РУССКИХ ГЛАГОЛЬНЫХ ПОЛИСЕМАНТОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ РАЗРУШЕНИЯ

В статье рассматриваются регулярные метафорические значения русских глаголов лексико-семантической группы разрушения и механизмы формирования производных метафорических значений глаголов разрушения.

The article deals with the regular metaphorical meanings of the Russian verbs of the lexico-semantic group of destruction and mechanisms of metaphorization.

В отечественной лингвистической традиции преобладает утверждение о том, что многозначность (или полисемия) характеризует подавляющее большинство знаменательных слов, и в частности глаголов, которые, по мнению Н. Ю. Шведовой, «не просто и не только именуют процесс или процессуальное состояние, но стремятся активно участвовать в назывании предметно представленных абстрактных категорий действительности, связей и отношений» [1].

Семантическая структура полисемантического глагола, как и любого другого полисемантически-

го слова, «может быть представлена как совокупность лексико-семантических вариантов или семем – в зависимости от того, какой содержательный акцент положен в основу анализа. При употреблении первого понятия акцент падает на внутреннюю смысловую зависимость лексико-семантических вариантов и связь их с одной лексической оболочкой; при выборе другого – семемы – обращается внимание на семантическое членение каждого значения и структурную взаимосвязь сем как в отдельном ЛСВ, так и между двумя ЛСВ, объединенными по смыслу» [2].

Значения многозначного слова объединяются в семантическое единство благодаря определенным отношениям, которые существуют между ними на основе общих семантических ассоциаций (метафора, метонимия, функциональная общность) [3].

Многие исследователи под метафорой понимают «тип семантической деривации исходного (чаще всего первичного, но иногда и вторичного) моносеманта, при котором он начинает обозначать еще и другую реалию вследствие того, что человек при познании этих реалий обнаружил между ними сходство по тому или иному параметру» [4].

Языковеды отмечают, что метафорическая номинация, как автономная, так и неавтономная, отличается двумя характерными чертами:

1) наличием осознаваемой современной языковым коллективом семантической двуплановости, позволяющей проводить сравнение различных денотатов;

2) наличием образного элемента значения, обеспечивающего целостное, чувственно-наглядное восприятие сравниваемых сущностей, что дает возможность при их ассоциировании не прибегать каждый раз к логическим операциям [5].

Авторы учебника «Современный русский язык» подчеркивают, что «в метафоре наблюдается сложность отношений прообраза и образа. ...На семном уровне это выглядит как переход гипосемы (часто коннотативной) из мотивирующего значения в гипосему или гиперсему мотивированного значения» [6].

Метафоризация – это процесс такого взаимодействия сущностей и операций, который приводит к получению нового знания о мире и к оязыковлению этого знания. Метафоризация сопровождается вкраплением в новое понятие признаков уже познанной действительности, отраженной в значении переосмысливаемого имени, что оставляет следы в метафорическом значении, которое в свою очередь «вплетается» и в картину мира, выражаемую языком [7].

Авторы книги «Языковая номинация» подчеркивают, что «некоторые признаки значения, присутствующие переосмысливаемой языковой единице, пе-

реносятся в сигнификат нового наименования»... Опосредующее звено, в роли которого выступает предшествующее «структурно-семантическое значение» языковой единицы, «снимается» с новой предметно-понятийной связи не полностью. Необходимая, существенная часть информации для вновь отображаемого объекта переносится в новое формирующееся понятийно-языковое содержание языковой единицы. Снятые же признаки не исчезают, они остаются у данных единиц в потенции и функционируют каждый раз в зависимости от контекста [8].

Аспект сравнения состоит из одной семы или совокупности сем, которые в исходном значении метафоризируемого слова относятся к сфере коннотации, а в метафорическом значении входят в его денотативное содержание в качестве ядерных, дифференциальных сем и служат основанием смысловых преобразований при метафоризации.

По наблюдениям Д. Н. Шмелева, признак, служащий основой метафорического переноса, часто не релятивен для семантической структуры метафоризируемого слова, часто вообще не является элементом этой структуры, а зависимость метафорического значения от исходного определяется вовсе не повторением в метафорическом значении элементов, существенных для номинативных значений, а «отражением в них ассоциативных, или репрезентативных, признаков, то есть признаков, так или иначе отражающих представления, связанные с обозначаемыми данными словами предметами и явлениями» [9].

На наш взгляд, метафорические значения, развиваемые полисемантическими глаголами, в частности глаголами деструкции, основаны на актуализации коннотативных, дифференциальных и ассоциативных признаков, отобранных коллективом интуитивно, но последовательно и закономерно в силу экстралингвистических особенностей, окружающих тот или иной этнос и определяющих специфику метафорических значений глаголов деструкции в русском языке.

В данной статье мы рассмотрим образование регулярных производных метафорических значений русских глаголов с первичным значением разрушения.

Наш анализ позволил выявить, что для русских глаголов с первичным значением разрушения характерны следующие регулярные метафорические значения: 1. 'разрушать' – 'причинять душевный дискомфорт'; 2. а) 'разрушать материальные объекты' – 'разрушать нематериальные объекты (чувства, отношения, связи)'; б) 'разрушать материальные объекты' – 'разрушать нематериальные объекты (явление, процесс, событие)'; 3. а) 'разрушать' – 'причинять физический дискомфорт'; б) 'разрушать' – 'ощущать физичес-

кий дискомфорт (о чувстве боли); 4. а) 'разрушать' – 'быстро и энергично делать что-либо'; б) 'разрушать' – 'быстро и энергично делать что-либо (о потоке, струе)'; 5. 'разрушать' – 'говорить, произносить что-либо отрицательное'; 6. 'разрушать' – 'брать большую плату за что-либо'; 7. 'разрушать' – 'воздействовать на что-либо (кого-либо), стараясь добиться какого-либо результата'.

Рассмотрим некоторые регулярные метафорические значения подробнее.

Метафорическое значение '*разрушать*' – '*причинять душевный дискомфорт*' является регулярным для следующих глаголов: *ударить* – 14. (кого или по кому-чему) 'причинить душевную боль, страдания' (БТС РЯ 2000: 1372); 16. *Разг.* 'сознательно причинить кому-либо какие-либо неприятности, сделав или сообщив что-либо вредное, оскорбительное и т. п.' (БТС РЯ 2000: 1372); *убить* – 3. 'сильно расстроить, привести в отчаяние, в подавленное состояние' (БТС РЯ 2000: 1363); *уничтожить* – 4. 'унизить, подавить кого-либо, поставить в безвыходное положение' (БТС РЯ 2000: 1390); *зрызть* – 3. (кого-что) *Разг.* 'терзать, мучить, тревожить (о мыслях, чувствах)' (БТС РЯ 2000: 232); *колоть* – 6. // 'вызывать в ком-либо чувство досады, раздражения' (БТС РЯ 2000: 442); *душить* – 4. (кого) 'мучить, тяготить (о мыслях, чувствах, переживаниях и т. п.)' (БТС РЯ 2000: 291); *давить* – 3. (кого-что (чем) 'вызывать мрачные, тяжелые мысли, приводить в подавленное состояние, настроение, угнетать, тяготить' (БТС РЯ 2000: 237); *гнест* – 2. (кого-что (чем) 'приводить в подавленное состояние, вызывать тягостное чувство, удручать' (БТС РЯ 2000: 212).

В основе рассматриваемого метафорического значения, развиваемого указанными глаголами, лежит категориально-грамматическая сема «действие». Категориально-лексической семой в рассматриваемых метафорических значениях указанных глаголов является сема 'причинять душевный дискомфорт', которая образуется на базе коннотативной семы в структуре основных значений глаголов разрушения 'отрицательное воздействие'. В указанном метафорическом значении также актуализируются интегральные и дифференциальные признаки основных значений глаголов разрушения. Например, в образовании указанного значения глаголов *душить*, *давить*, *гнест* участвует интегральный признак, объединяющий глаголы давления 'тяжесть, груз; сила тяжести, груза, действующая на какую-либо поверхность', ассоциативные признаки – 'длительность, непрерывность'. Переносное значение указанных глаголов предполагает воздействие на душевно-эмоциональную сферу, которое подобно тяжкому грузу, бременю и причиняет, как и материальный предмет, характеризующийся боль-

шим весом, тяжестью, страдания, мучения, неприятности. В образовании вторичного значения каузации душевного дискомфорта глаголов *уничтожить*, *убить* участвует интегральный признак, объединяющий глаголы прекращения существования, 'прекращение нормального функционирования', ассоциативные признаки 'сильное, резкое, интенсивное воздействие'. Переносное значение указанных глаголов обозначает отрицательное воздействие на объект такой силы, что в результате объект не способен продолжать нормальную деятельность. В метафорических значениях глагола *ударить* актуализируются ассоциативные семы 'сильное, резкое, интенсивное воздействие'. Переносные значения *ударить* обозначают резкое, внезапное воздействие на душевное состояние объекта, подобное резкому, сильному, неожиданному удару. В основе указанного вторичного значения глагола *зрызть* лежат ассоциативные признаки 'длительность, назойливость, постепенность'. Отрицательное воздействие на душевное состояние осуществляется медленно, постоянно, подобно продолжительному раскусыванию чего-либо жесткого или прочного. Метафорическое значение глагола *колоть* развивается на основе дифференциальных признаков основного значения 'острый, резкий' и выражает сильное отрицательное воздействие на объект, подобное острому и резкому уколу.

Метафорическое значение '*разрушать*' – '*быстро и энергично делать что-либо*' развивают следующие глаголы: *лупить* – 4. обозначает различные действия, выполняемые с особой силой, страстностью, азартностью и т. п. (БТС РЯ 2000: 507); *резать* – 12. *Разг.-сниж.* обозначает быстрое энергичное действие (БТС РЯ 2000: 1112); *жать* – 5. *Разг.-сниж.* 'делать что-либо энергично, быстро, лихо, с азартом' (БТС РЯ 2000: 300); *драть* – 10. употребляется при обозначении какого-либо интенсивного, энергичного действия (ТСРЯ 2005); *ударить* – 8. (что, во что, по чему) *Разг.* 'начать быстро, энергично делать что-либо, действовать чем-либо' (БТС РЯ 2000: 1372).

В основе рассматриваемого метафорического значения, развиваемого указанными глаголами, лежат ассоциативные признаки 'с силой', 'интенсивно, быстро'. Категориально-лексической семой в рассматриваемых метафорических значениях указанных глаголов является сема 'быстро, энергично действовать', которая преобразуется на базе ассоциативной семы в структуре основных значений глаголов разрушения.

Метафорическое значение '*разрушать*' – '*быстро и энергично делать что-либо (о потоке, струе)*' развивают следующие глаголы: *бить* – 9. 'с силой вырваться откуда-либо, вытекать стремительной струей (о жидкости, о паре и т. п.)' (БТС РЯ 2000: 80); *ударить* – 10. *Разг.*

‘внезапно и с силой вырваться откуда-либо, устремиться вверх, внутрь и т. п. (о жидкости, о паре и т. п.)’ (БТС РЯ 2000: 1372); *хлестать* – 3. ‘идти сильной струей (струями); вырваться потоком (фонтанами и т. п.)’ (БТС РЯ 2000: 1445).

Категориально-лексической семой в рассматриваемых метафорических значениях указанных глаголов является сема ‘идти струей’, которая преобразуется на базе дифференциальной семы ‘с силой’, ‘интенсивно, быстро’ и ассоциативной семы ‘движение’.

Метафорическое значение ‘разрушать’ – ‘говорить о ком-либо, о чем-либо отрицательно’ развивают следующие глаголы: *хлестать* – 7. (кого-что) ‘зло, резко отчитывать, критиковать’. (БТС РЯ 2000: 1445); *разить* – 2. (кого-что) ‘наносить поражение кому-либо, побеждать кого-либо, подвергать беспощадной критике’ (БТС РЯ 2000: 1070); *долбить* – 3. Разг. ‘беспреданно напоминать о чем-либо, повторяя одно и то же; твердить’ (БТС РЯ 2000: 270); *грызть* – 2. (кого) Разг. ‘постоянно докучать придирками, бранью, упреками’ (БТС РЯ 2000: 232); *колоть* – 6. (кого) Разг. ‘задевать колкими, неприятными замечаниями, язвительно упрекать, подкалывать’ (БТС РЯ 2000: 442); *резать* – 11. (что) Разг. ‘говорить прямо без обиняков, не стесняясь’ (БТС РЯ 2000: 1112); *рубить* – 5. (что) Разг. ‘говорить, высказываться о чем-либо прямо и резко’ (БТС РЯ 2000: 1131); *бить* – 5. // (по кому-чему) ‘направлять свои действия против кого-либо, чего-либо, резко критиковать, бичевать’ (БТС РЯ 2000: 80).

Категориально-лексической семой в рассматриваемых метафорических значениях указанных глаголов является сема ‘причинять душевный дискомфорт’, которая образуется на базе коннотативной семы в структуре основных значений глаголов разрушения ‘отрицательное воздействие’. В рассматриваемых метафорических значениях актуализируются также дифференциальные и ассоциативные признаки первичных значений глаголов разрушения. Например, в метафорическом значении глаголов *хлестать*, *разить*, *бить* актуализируется дифференциальный признак ‘сильно, интенсивно’, ассоциативный признак ‘резко, хлестко, подобно удару’. В метафорическом значении глагола *долбить* актуализируется дифференциальный признак ‘равномерно, монотонно’ и ассоциативный признак ‘твердо, жестко’. В метафорическом значении глагола *грызть* актуализируется дифференциальный признак ‘монотонно, продолжительно’ и ассоциативные признаки ‘надоедливо’, ‘жесткий, крепкий’, ‘незначительный, мелкий’. В метафорическом значении глагола *колоть* актуализируется дифференциальный признак ‘острый, резкий’ и ассоциативные признаки ‘метко, точно’, ‘незначительный, мелкий’. Метафорические значения глаголов *резать*, *рубить* образова-

ны на основе дифференциальных и ассоциативных признаков первичных значений ‘резко’, ‘точно, прямо’, ‘четко отделяя’, в метафорическом значении глагола *рубить* также актуализируется дифференциальный признак ‘с размаху, грубо’.

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Во-первых, большинство глаголов лексико-семантической группы являются многозначными и развивают целую сеть метафорических значений; во-вторых, регулярные метафорические значения развиваются у глаголов со схожей семантикой или синонимов; в-третьих, в большинстве регулярных метафорических значений рассматриваемых глаголов сохраняется коннотативная сема, на базе которой образуется категориально-лексическая сема производных значений (в случае, если производное метафорическое значение не имеет отрицательной коннотации, то категориально-лексическая сема развивается на базе ассоциативной или дифференциальной семы основного значения глагола); в-четвертых, большинство регулярных метафорических значений имеет в лексикографических источниках помету Разг., что указывает на принадлежность к разговорной лексике.

#### Примечания

1. Шведова, Н. Ю. Глагол как доминанта русской лексики [Текст] / Н. Ю. Шведова // Филологический сборник: К 100-летию со дня рождения акад. В. В. Виноградова. М., 1995. С. 413–414.
2. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений: в 2 ч. Ч. 1. Фонетика и орфоэпия. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование / Е. И. Диброва [и др.]. 2-е изд. испр. и доп. М.: Изд. центр «Академия», 2006. С. 203.
3. Шмелев, Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики [Текст] / Д. Н. Шмелев. М.: Наука, 1973. С. 71.
4. Васильева, С. Г. Современный русский язык. Лексикология и фразеология [Текст]: учебное пособие для вузов по спец. «Филология» / С. Г. Васильева. Казань: РИЦ «Школа», 2005. С. 16–17.
5. Арутюнова, Н. Д. Коммуникативная функция и значение слова [Текст] / Н. Д. Арутюнова // НДВШ. Филологические науки. 1973. № 3. С. 42–54.
6. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц... С. 204.
7. Телия, В. Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира [Текст] / В. Н. Телия // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М., 1988. С. 186.
8. Языковая номинация / отв. ред. чл.-корр. АН СССР Б. А. Серебренников, А. А. Уфимцева; АН СССР, Ин-т языкознания. М.: «Наука», 1977. С. 74–86.
9. Шмелев, Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики [Текст] / Д. Н. Шмелев. Изд. 2-е, стереотип. М.: КомКнига, 2006. С. 73.

#### Лексикографические источники

БТСРЯ 2000 – Большой толковый словарь русского языка [Текст] / под ред. С. А. Кузнецова. СПб., 2000.



И. В. Толкачева

## ЛЕКСИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ НЕРЕГУЛЯРНЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРАХ

Данная статья посвящена проблеме нерегулярных фонетических явлений в русских народных говорах и просторечии. Выделяются два аспекта исследования: описание существующих лексикализованных явлений с точки зрения живых фонетических процессов и изучение исторических причин изменения внешнего облика диалектных лексем.

This research is devoted to the problem of irregular phonetic phenomena in the Russian dialects and the popular language. There are two aspects of investigation: the existent lexicalized phenomena description from the active phonetic processes point of view and the examination of the historical reasons of the dialect words out form alternations.

Современные диалекты русского языка представляют собой сложные языковые системы, что обусловлено, с одной стороны, проявлением в них общеязыковых свойств, процессов и тенденций, с другой – их специфическими образованиями, функционирующими в локально ограниченных сферах. Специфику развития и функционирования русских говоров на современном этапе в значительной степени определяют и такие общие особенности диалектов, как структурная близость к литературному языку, открытость диалектных систем. Неодинаковые для разных этапов развития русского языка взаимоотношения таких компонентов национального русского языка, как литературный язык, говоры, а в последнее время и просторечие, усиливающаяся влияние литературного языка на все другие формы существования русского языка, изменившиеся социальные условия – все это усложняет функционирование диалектных систем, определяет их большую проницаемость и открытость. В современных русских народных говорах, считает Л. И. Баранникова, «ярче выступает подчиненность, зависимость диалектных систем <...>. Увеличивается открытость диалектной системы, заметно возрастает число звеньев, общих диалектным системам и системе литературного языка» [1]. Регулярные фонетические явления в говорах сосуществуют с особенностями нерегулярными, со всевозможными отклонениями и исключениями; интенсивное влияние литературного языка приводит к утрате фонетическими системами говоров регулярных проявлений. «Каждый отдельный диалектный факт, – писал Р. И. Аванесов, – представляет собой, так сказать, линию пересечения ряда разнокачественных явлений – фоне-

тических, грамматических, лексических» [2]. Ярким примером этого положения являются лексикализованные диалектные лексемы, т. е. слова, закрепившие в своем звуковом облике какое-либо нерегулярное фонетическое изменение, что выводит эти языковые единицы за пределы как фонетического, так и лексического уровня, они становятся «переходными» единицами этих двух уровней. Лексикализованные явления охватывают немалую часть словарного состава говоров (значительную по количеству и разнообразную по своему характеру).

Лексикализацию можно определить, во-первых, как *процесс* перехода любого фонетического явления, реализующегося в определенной фонетической позиции и характеризующегося открытым рядом слов, в явление, ограниченное конкретным рядом слов, отдельными словами; во-вторых, как результат такого перехода. На закрепление некоторых фонетических изменений в конкретных, отдельных словах обращали внимание исследователи еще в конце XIX–XX вв. (А. А. Шахматов, ученые Пражского лингвистического кружка, Р. И. Аванесов и др.), однако работ по детальному изучению этой проблемы весьма немного (О. Д. Кузнецова, отдельные исследования Л. П. Михайловой).

Изучение слов с фонетическими изменениями в говорах обнаруживает тесную и постоянную связь диалекта не только с литературным языком, но и с просторечием, поскольку наблюдается постоянное взаимопроникновение просторечных и диалектных языковых явлений, выявляются общие закономерные результаты фонетических процессов.

Предметом нашего исследования являются фонематические диалектизмы, то есть диалектные слова, тождественные по значению соответствующим словам литературного языка, но отличающиеся от последних фонемным составом. Под подобное определение попадают не только собственно диалектные лексикализованные явления, но и лексемы, которые не имеют жестко определенной территориальной локализации (*куды, суды, слухать, пинжак* и др.) и которые могут быть определены как просторечные. Думается, правомерно рассматривать данную категорию слов с лексикализацией фонетических изменений, общих как для городского просторечия, так и для говоров, в рамках собственно диалектного исследования, поскольку эти слова включены в систему определенного говора, функционируют в рамках существующих фонетических и грамматических закономерностей, вступают в словообразовательные и семантические связи, что позволяет определить их как диалектно-просторечные. Так, по данным Словаря русских народных говоров, лексема *куды* имеет

8 значений, однако из них только восьмое значение полностью идентично литературному *куда*. Кроме того, именно лексикализованная форма становится производящей основой для целого ряда новых слов, а также устойчивых сочетаний, как-то: *куды-зря*, *куды-ино*, *кудыкалка*, *кудыкать*, *кудыкина гора*, *на кудыкин остров* и др.

В ходе исследования была проведена сплошная выборка фонематических диалектизмов из картотеки Диалектного словаря Нижегородской области (ДСНО), Ярославского областного словаря (ЯОС), Словаря русских говоров на территории Мордовской АССР (МС), Словаря современного русского народного говора села Деулина Рязанской области (ДС). Полученный материал анализировался в двух аспектах – синхроническом и диахроническом.

Цель исследования – показать возможность изменения фонетического облика слова под влиянием не только исторических процессов, отживших явлений, но и в результате действующих в диалектах живых языковых законов, процессов, тенденций.

С синхронической точки зрения в исследуемом массиве выделяются следующие группы лексем: 1) результат действия диерезы: *зорник* «озорник» (ДСНО; МС), *колько* «сколько» (ЯОС; ДС; МС), *тракан* «таракан» (МС), *кудакать* «кудахтать» (ЯОС), *верес* «вереск» (ЯОС), *баушка* «бабушка» (ДСНО), *струмент* «инструмент» (ДСНО; МС); 2) ассимиляции: *клев* «хлев» (ДСНО; МС; ЯОС; ДС), *толда* «тогда» (ЯОС; МС), *мохомор* «мухомор» (ДСНО), *суроежка* «сыроежка» (ДСНО; ДС; ЯОС), *карасин* «керосин» (ДСНО); 3) диссимиляции: *вспомнить* «вспомнить» (ДС), *небель* «мебель» (ДСНО; МС; ЯОС), *кокушка* «кукушка» (ДСНО; МС), *кыравод* «хоровод» (ЯОС); 4) метатезы: *калбук* «каблук» (ДСНО; ДС; МС), *порнавиться* «понравиться» (МС), *кокувать* «куковать» (ДСНО), *корпотливый* «кропотливая» (ЯОС), *ведмедь* «медведь» (ДСНО; МС; ЯОС); 5) эпентезы: *гарустить* «грустить» (ЯОС), *пошеница* «пшеница» (ЯОС), *жереб* «жеребий» (ДСНО), *сумородина* «смородина» (ДСНО; ЯОС), *алышный* «алчный» (ЯОС), *киёт* «киот» (ЯОС), *ентот* «этот» (ДСНО; МС; ДС), *навук* «паук» (МС), *чублук* «чубук» (ДСНО), *страм* «срам» (ДСНО; МС); 6) протезы: *ялтарь* «алтарь» (ДС; МС), *воспа* «оспа» (ДСНО; ДС; ЯОС), *альняной* «льняной» (ДСНО; ЯОС), *оландышек* «ландыш» (МС), *эстолько* «столько» (ЯОС), *уполовник* «половник» (ДСНО).

Однако не все фонематические диалектизмы [3], встречающиеся в говорах, могут быть объяснены описанными выше явлениями. Достаточное количество лексем включается в закрытые ряды, появление которых обуславливается иными причинами. Можно выделить группы слов, где в ос-

нове изменения фонетического облика лексем лежат: 1) озвончение согласного: *картожечка* «картошечка» (ДСНО), *сабог* «сапог» (ДСНО, МС); 2) оглушение согласного: *воточка* «водочка» (ЯОС), *клунига* «клубника» (МС); 3) смягчение согласного (часто с изменением некоторых грамматических характеристик): *комарь* «комар» (ДС, МС), *високий* «высокий» (ДС); 4) отвердение согласного: *крючок* «крючок» (2, ДСНО; 6, ЯОС), *гурба* «гурьба» (2, ДС); 5) контаминация: *логопвт* «логопед» (ДСНО), *бураган* «ураган» (МС); и некоторые другие.

Данная классификация все же не исчерпывает всего многообразия фонетических лексикализованных явлений в диалектах, так как в одном слове могут сочетаться сразу несколько процессов, причем не только фонетических, что затрудняет отнесение диалектизма к тому или иному типу и усложняет выявление причин фонетических изменений. Так, например, при диерезе гласного рядом с сонором происходит в некоторых случаях усиление лабиализации у гласного предшествующего слога (*куврять*); в некоторых словах явление метатезы (*инфакр*, *косомафт*) сопровождается выпадением отдельных звуков ([т] и [н]), а в слове *веревьянка* – полной ассимиляцией по способу образования и межслоговым сингармонизмом. Исследуемый материал показал и наличие в говорах взаимозаменяемых, обратных процессов, например: *здря* и *нозреватый* – вставка и выпадение из той же группы согласных. Иллюстрацией этого положения могут служить и различные способы устранения зияний (сочетания двух гласных): или через стяжение (*ародром*), или через эпентезу (*навук*).

Часто изменению подвергаются слова, неизвестные носителям диалекта, а потому и сложно воспроизводимые и «добываемые» в обычной ситуации общения (*леандра* «олеандр»). Другой случай появления в картотеке подобных примеров связан с быстрым темпом разговорной речи, а соответственно, выпадениями или вставками отдельных звуков. Рассмотрим способы фонетической адаптации иноязычного заимствования лишь на одном примере. Лексема *гортензия* в русских говорах представлена в различных фонетических «вариантах», которые образовались под действием фонетико-морфологической системы диалекта: 1) в одном случае происходит ассимиляция согласных по способу образования – *гортендия* (ДСНО); 2) в другом говоре внешний облик этого слова складывается при взаимодействии фонетического процесса, а именно метатезы согласных [з]-[т], а также грамматического изменения рода – *горзентий* (ДСНО); 3) остальные «варианты» этого заимствования объединены одним общим процессом: оглушением начального согласного и щелевого согласного в сочетании [рз] – *корсентия*

(ДСНО); отмечается трансформация и морфологических категорий: категории рода – *корсентий* (ДСНО) и категории числа – *корзеньти* (ДСНО). Однако приобретают ли подобные «искажения» в языке лексикализованную форму, являются ли абсолютно достоверными услышанные собирателями лексемы, – эти вопросы не имеют однозначного и достоверного решения. Необходимыми условиями для лексикализации являются: а) географическая распространенность (воспроизводимость) лексемы, так как ареалы распространения каждого случая различны: от единичного употребления до практически повсеместного (на территории говора); б) словообразовательная активность лексемы. Привлечение единичных фиксаций к исследованию обусловлено позицией автора: подобные фонетические изменения, хотя и являются в некоторой степени случайными, вероятнее всего, более не воспроизводимыми, однако могут отражать попытки системы адаптировать неисконное фонетическое образование к своим правилам и нормам.

Анализ диахронических причин изменения фонетического облика диалектных лексем показал возможность объединения исследуемых лексем в несколько групп на основании общности произошедших изменений: 1) лексемы, отражающие исторические фонетические процессы древнерусского языка, которые не проявились в литературном языке: *молоденец* «младенец» (ЯОС), *молонья* «молния» (ДС, МС, ЯОС), *тверёзый* «трезвый» (ДСНО) и *терёзвый* «трезвый» (ДСНО, МС, ЯОС); 2) лексемы с изменением ударных гласных: *карнез* (ДСНО, ЯОС), *линта* (МС, ЯОС); 3) лексемы с освоением фонемы <ф>: *куфайка* «фуфайка» (ДСНО, МС, ЯОС); 4) лексемы с изменением заднеязычных согласных: *клев* «хлев» (ДСНО, МС, ДС, ЯОС), *кутор* «хутор» (ДСНО, МС); 5) лексемы с начальными протетическими [в] и [j]: *вулица* «улица» (ДСНО), *этот* «этот» (ДСНО); 6) лексемы, отражающие действие народной этимологии: *мухомёр* «мухомор» (ЯОС), *завтехник* «зоотехник» (МС), *крыжовник* «крыжовник» (ДСНО). Нами зафиксированы также лексемы (количественно менее представительные) с частными изменениями. Следует, однако, отметить, что далеко не все слова могут быть включены в указанные группы, поскольку нерегулярные изменения в области фонетики говора могут изменить внешнюю форму только единственного слова, то есть поиск причин трансформации следует во многих случаях искать индивидуально для каждой лексемы.

Таким образом, детальное изучение фонематических изменений, ведущих к лексикализации того или иного облика слова, позволяет, на наш взгляд, выявить линии развития более частных языковых законов, расширить и углубить пред-

ставление о языковой системе в целом, многообразии и сложности отношений внутри нее.

#### Примечания

1. Баранникова, А. И. Русские народные говоры в советский период (к проблеме соотношения языка и диалекта) [Текст] / А. И. Баранникова. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1967. С. 203–204.

2. Вопросы теории лингвистической географии [Текст] / Р. И. Аванесов, С. В. Бромлей, А. Н. Булатова и др. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 21.

3. Под фонематическими диалектизмами понимаются диалектно-просторечные лексемы с изменением внешнего облика, имеющие соответствия в литературном языке.

А. Е. Худышкина

### СЕМАНТИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ОБЩЕРУССКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ И В ГОВОРАХ КАМЧАДАЛОВ

В статье представлены результаты исследования автора по теме «Общерусское имя существительное в камчатских говорах». Статья посвящена проблеме типологии семантических различий общерусских существительных, функционирующих в говорах и в литературном языке. Рассмотрена группа общерусских существительных, семантическая структура которых включает значения, известные в литературном языке, и собственно диалектные значения.

Group of common Russian nouns the semantic structure of those includes the meanings known in the literary language and proper dialect meanings have been examined. The results of the authors researches on the theme “The Common Russian Noun In Kamchatsky Dialects” are presented in the article. The article is devoted to the problem of the typology of semantic distinctions of common Russian nouns functioning in dialects and the literary language.

Камчатские говоры представляют собой уникальное языковое явление, поскольку они сохранили специфические только для них диалектные особенности. В настоящее время идет процесс формирования некоторых русских камчатских говоров за счет активной ассимиляции таких этнических групп, как русские, ительмены, эвены и коряки. Однако до сих пор русские камчатские диалекты полностью не изучены [1].

Актуальным становится изучение слов разных частей речи, функционирующих в русских говорах, в рамках проблемы соотношения «общерусское/диалектное» слово в системе диалектного языка. Среди диссертационных работ последнего времени, посвященных изучению отдельных частей речи на материале камчатских говоров, следует отметить исследования А. П. Каргиной, И. И. Быковой [2].

Цель статьи состоит в описании типологии семантических различий общерусских существительных, функционирующих в литературном языке и в камчатских говорах.

Источниками работы послужили материалы картотеки русских камчатских говоров Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга, записи диалектной речи (полевые тетради), аудиозаписи, а также собственные наблюдения автора, сделанные в четырех диалектологических экспедициях в период с 2004 по 2007 г. в сёлах Мильково, Анавгай, Соболево Камчатского края.

Типология различий семантики общерусских существительных в литературном языке (далее ЛЯ) и в камчатских говорах может быть представлена следующим образом.

**I тип.** Существительные, имеющие в говорах камчадалов более сложную семантическую структуру, чем в ЛЯ. **II тип.** Существительные, имеющие в говорах камчадалов и в ЛЯ равное количество значений. **III тип.** Существительные, имеющие в говорах камчадалов меньшее количество значений, чем в ЛЯ.

В семантической структуре общерусского слова в диалекте могут быть представлены: а) все значения, известные ЛЯ, плюс собственно диалектные; б) часть значений, известных ЛЯ, плюс собственно диалектные [3].

Обратимся к описанию слов, семантическая структура которых включает часть значений, свойственных ЛЯ, плюс собственно диалектные значения.

Система значений анализируемых слов приведена по «Словарю русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой (далее [МАС]) [4].

Существительное **во́льница** в ЛЯ имеет два значения: 1. *собир.* В старину: группы населения из различных общественных слоев, преимущественно беглые, крепостные, оседавшие на окраинах Московского государства и притязавшие на независимость; 2. *разг.* О своевольном, своенравном человеке (чаще о ребенке) [МАС, 1, 207].

Семантическая структура слова в говорах камчадалов включает такое же количество значений, в число которых входит 2-е значение ЛЯ («*Во́льница, – ја могу згоряча сказа́ть на вну́чку, – иди́ оцсю́да, во́льница*». Или тех, кто *во́льный сли́шком обра́з жы́зни ведёт, во́льницей зва́ли.* Анв.), а также собственно диалектное значение: Бездомная собака. *Был у меня́ кот, я́вбо во́льница загры́зла.* Млк. *Иэсли соба́ка не нужна́, вот мо́жно во́льницей назва́ть.* Длн.

Существительное **гнё́т** в ЛЯ имеет два значения: 1. Тяжесть, груз, накладываемая на что-л. для постепенного отжимания (устар.) 2. Насильственное воздействие сильного на более слабого [МАС, 1, 321].

Семантическая структура слова в говорах камчадалов включает большее количество значений, в число которых входит 1-е значение ЛЯ (*На капу́сте лежа́л гнё́т. Гнё́т поло́жышь, ка́мень, когда́ капу́сту ло́жышь. На охóту я́здили, ра́ньше ры́бу налови́ли, в бо́чке засо́лили, гнё́т свёрху – это ка́мни большы́йэ.* Млк. *Собира́яца жы́молость, скла́дывали ф чума́шыки, залива́ли холо́дной водо́й и под гнё́т, фсе́ сохра́нялось.* Длн.), а также собственно диалектное: Свод печи. *А ухва́т – это чу́гушки вы́таскивали, гнё́т – это куда́ ста́вили.* Млк.

Существительное **жена́** в ЛЯ имеет два значения: 1. Замужняя женщина (по отношению к своему мужу). 2. Устар. То же, что женщина [МАС, 1, 477].

Семантическая структура слова в говорах камчадалов включает такое же количество значений, в число которых входит значение 1 ЛЯ (*Вот бра́т ж жено́й в го́рот у́ехали, хорошо́, сосе́ди за́пах учу́ствовали, вну́з згоре́л мой. Изнева́живать – это зна́чит ненави́деть, муш за изме́ну жenú сво́ю извева́живал.* Анв. *Мы ж жено́й до́лго жы́вём, фсе́ в Ми́льково. Бы́ло у меня́ две жены́; Наде́жда – пе́рваја жена́, ка́ждый ве́чер бы́ли та́нцы, фсе́ взо́ры на не́ю.* Млк. *Иа дете́й в ло́тку, жenú в ло́тку и у́ехали.* У-Х.), а также собственно диалектное значение: Самка. *Жenú называ́ют ва́женка у оле́ня.* Млк.

Существительное **занава́ска** в ЛЯ имеет два значения: 1. Полотнище ткани для занавешивания или отгораживания чего-л. 2. *Обл.* Передник, фартук [МАС, 1, 549].

Семантическая структура слова в говорах камчадалов включает такое же количество значений, в число которых входит 1-е значение ЛЯ (*Занава́ски цвeта́стыя́ повеси́ла, врёде ничё. Занава́скоф ра́ньше и не́ было и́ли с си́ччика де́лали.* Млк.), а также собственно диалектное значение: Украшение, опушка из меха или ткани, замши на внешней или внутренней стороне торбов. *На торбо́зах обо́рки – ни́знийэ занава́ски, опу́шки – ве́рхнийэ занава́ски.* Млк.

Существительное **капе́лла** в ЛЯ имеет два значения: 1. Хор певчих, а также смешанный ансамбль, состоящий из певцов и артистов, играющих на музыкальных инструментах. 2. В католической и англиканской архитектуре: небольшая отдельная часовня или помещение (в храме, замке и т. п.) для молитв одного знатного семейства [МАС, 2, 28].

Семантическая структура слова в говорах камчадалов включает такое же количество значений, в число которых входит значение 1 ЛЯ (*Капе́лла – это музыка́льнаја хо́р, иску́ство сло́вом. Иа в го́роде была́ на капе́лле Морóзова.* Млк. *Капе́лла была́ в Эссо, при́ежжали́ сюда́ арти́сты самоде́льныея́.* Анв.), а также собственно

диалектное значение: Группа людей. *Соберёшь капёллу дефчат и пойдёшь в лес.* У-Б.

Существительное **коко́ра** в ЛЯ имеет два значения: 1. *Спец. и обл.* Нижняя часть ствола хвойного дерева вместе с перпендикулярным ему крупным корнем, идущая на постройку деревянных судов. 2. *Обл.* Дерево, вывороченное с корнем; коряга [МАС, 2, 70].

Семантическая структура слова в говорах камчадалов включает такое же количество значений, в число которых входит 2-е значение ЛЯ (*Когда пльвуть на бата́х, смотри́ не призыва́йся, где стои́т коко́ра, карца́, коря́га.* Кзр.), а также собственно диалектное значение: Каркас лодки. *Лотку де́лают, до́ски прибыва́ют к коко́ре. Корни де́рева иду́т на коко́ру.* Клч.

Существительное **ла́пка** в ЛЯ имеет три значения: 1. *Уменьш.-ласк.* к лапа (в 1 знач.: Ступня или вся нога у животных и птиц (обычно крупных); маленькая лапа. 2. обычно мн. ч. Шкурка, мех, снятый с лапы какого-л. животного. 3. Как составная часть некоторых ботанических названий [МАС, 2, 164].

Семантическая структура слова в говорах включает такое же количество значений, в число которых входят значения 1, 2 ЛЯ, а также собственно диалектное значение.

1. *Это внучо́к на карточке, личико́ кругленько́е, животи́к торчко́м, ла́пки малюсеньки́е, схвати́лся йма, как кле́цки.* Кзр.

2. *Красиво́ раньше́ было́ пальто́, мех ли́сьи приде́лаэшь, а фпедерди́ ла́пки вися́т.* Млк.

Собственно диалектное значение: Лопасть весла. *Оди́н весло́ дава́й, на конца́х ла́пки, вот с йма во́ду гребу́т.* Слт.

Существительное **лапша́** в ЛЯ имеет два значения: 1. Пресное тесто из пшеничной муки, тонко раскатанное и разрезанное на узкие полоски (используется для приготовления первых и вторых блюд). // Суп, приготовленный с такими полосками. 2. *перен. Разг.* Обрезки, обрывки бумаги, что-л. нарезанное, настриженное полосками [МАС, 2, 164].

Семантическая структура слова в говорах камчадалов включает такое же количество значений, в число которых входит значение 1 ЛЯ (*Лапша́ обяза́тельно была́; те́сто заво́зят, лепёшки раската́вают, су́шат, наре́зают и ва́рят в молоко́.* Млк. // *Суп с лапша́ де́лают, но ја лапшу́ эту́ не люблю́. Лапшу́ де́лали, кипяти́ли молоко́ и туда́ лапшу́ кидáли.* Млк.), а также собственно диалектное значение: Длинные тонкие стружки, оставшиеся после обработки досок, бревен. *Дрова́ сюда́ броса́ют, они́ их лапшой́ называ́ют. А их уже́ на зиму́ гото́влю. Бревно́ беру́т, до́ски ре́жут, а кра́я-то неровни́е, сре́зают их – лапша́ получа́ется. Говора́т: «Че́ ты ходи́шь, дава́й ја тебе́ лапша́́ этой да́м». Отхо́ды эти́ мелки́е – лапша́, не то што́ чу́рка, опилки́ эти.* Млк.

Существительное **ли́ст** в ЛЯ имеет четыре значения. 1. Тонкая зеленая пластинка различной формы на черенке (орган воздушного питания и газообмена у растения). // *соби́р.* Листва. // *соби́р.*; с определением. Засушенные, реже свежие листья некоторых растений, употребляемые как приправа, а также для настоя или приготовления лекарств. 2. Тонкий, плотный кусок или пласт какого-либо материала. 3. с определением. Полигр. Единица измерения, применяемая в издательском полиграфическом деле, разного характера в зависимости от того, что измеряется. 4. обычно с определением. Документ, удостоверяющий что-л. или содержащий какое-л. предписание [МАС, 2, 186–187].

Семантическая структура слова в говорах камчадалов включает такое же количество значений, как и в ЛЯ, в число которых входят значения 1, 2, 4 ЛЯ, а также собственно диалектное значение.

1. *Ис кра́йвы́ нитки де́лали, когда́ высохнут, листы́ ста́дут, чи́стили из не́ю нитки.* Млк. // *А вот с тра́вы на́до собира́ть тыся́чели́стник, багу́льник, берёзовы́й ли́ст, бру́сничны́й ли́ст са́мый помога́ет.* Клч.

2. *Ф пала́тке ками́н де́лали, там лист желе́зный и дёрка́ для дымохо́да. Там утепли́тель де́лали, а он (медведь) ли́ста́ трёи слома́л на потоло́ке.* Млк.

4. *Это зако́н тако́й вну́тренний был, щас на бума́ге, на листе́ вдоф опека́ют. У Лотки компю́тер стои́т, там бума́ги, листы́ – она́ ш претпринимáтель.* Млк.

Собственно диалектное значение: Противень. *Пирогы́ вот ма́ма де́лала, те́сто раската́вают, и таки́е у них бы́ли листы́, ја зна́ю, называ́ются противень, и на пе́чку ло́жат.* Квр. *Галга́ – отварна́ја рьба́ солёна́ја и отвари́ваётся карто́шка, толче́ца фся́ в листе́, выскáблива́ется на лист, и ф пе́чку. Лист – это́ противень, как хочешь называ́й, а пото́м ф пе́чку са́дишь я́во и печёшь.* Млк.

Существительное **ло́жечник** в ЛЯ имеет два значения: 1. Мастер, делающий деревянные ложки. 2. Тот, кто играет на ложках (во 2-м знач.: Ударный народный музыкальный инструмент вроде кастаньет) [МАС, 2, 196].

Семантическая структура слова в говорах камчадалов включает такое же количество значений, в число которых входит значение 1 ЛЯ (*Лошка́рь или ло́жечник, кото́рый ло́шки де́лал, как-то называ́ли, умельце́ф мно́го бы́ло.* Млк. *Ложечник – это́ же ру́ско́е наро́дно́е, а у нас в жы́зни никто́ не игра́л.* Анв.), а также собственно диалектное значение: Приспособление для ложек, которое крепится к стене. *Прибыва́ется к стене́ деревя́нная палочка́ для ло́жек – ло́жечник.* Тгл. *Ложечник на́ кухне, возьми́ там ло́шки.* Млк.

Существительное **ночёвка** в ЛЯ имеет два значения: 1. Остановка где-либо на ночь для сна,

отдыха. 2. Ночной отдых, сон (животных, птиц) [МАС, 2, 512].

Семантическая структура слова в говорах камчадалов включает такое же количество значений, как и в ЛЯ, в число которых входит 1-е значение ЛЯ (*На ночёфку останóвишься, а рано утром ча́йу́ешь и да́льше ф путь.* Анв.), а также собственно диалектное значение: Деревянное корытце. *Деревя́нна ночёфка, а пото́му ночёфка, как ры́ба в ней ночевáла.* Клч.

Существительное палец в ЛЯ имеет два значения: 1. Одна из пяти подвижных конечных частей кисти рук или ступни ноги у человека. 2. Конечный член на лапах животных и птиц. 3. *Тех.* Валик или стержень округлой формы, укрепляемый на конце одной из движущихся частей механизма и служащий осью вращения для другой, соединенной с ним части [МАС, 3, 14].

Семантическая структура слова в говорах камчадалов включает такое же количество значений, как и в ЛЯ, в число которых входят значения 1, 2 ЛЯ, а также собственно диалектное значение.

1. *Два го́да не прохóдилó, на большóм пáльце пля́мба бы́ла. Жыр та́кой с пáлец то́льщиной и тй́хтер возй́ли.* Млк.

2. *Пáлец тóже у собáки жэ́сть, у олё́ня, так вот повы́ше.* Анв.

Собственно диалектное значение: Приспособление для ловли рыбы в виде досок, прикрепленных к верше (рыболовной снасти, сплетенной в виде узкой круглой корзины с воронкообразным входом). *Ры́ба помалёньку дохóдит до кнй́шки, до отвёрсти́я, инóй рас не захóдит, там кнй́шка оста́юца, у неё прохóт жэ́сть, мórда, а в мórде пáльцы фпереплёт. Пáльцы расхóдяца из дóсок, онй́ тóнкижэ.* Млк.

Существительное хлебница в ЛЯ имеет два значения: 1. Устар. Женск. к хлебник (тот, кто печет и продает хлеб). 2. Тарелка или корзинка для хлеба [МАС, 4, 602].

Семантическая структура слова в говорах камчадалов включает такое же количество значений, в число которых входит 2-е значение ЛЯ (*Хлебница – это рели́кви́я кака́я-то, это вот при́ежжжйэ́ лóди при́ежали ненадóлго и, у́ежжáя, продава́ли. Хлебницы́ я да́же не помню́, э́тих не́ было. Хлеп храни́ли ф хлебницах, он не поснева́л по́ртица.* Млк.), а также собственно диалектное значение: Деревянная лопатка, при помощи которой вынимали хлеб из печи. *Хлебница́ звáли деревя́нну́ю лопáтку, котóрой хлеп ис пёчки вы́тáскивали.* Ссн.

Существительное яго́дник в ЛЯ имеет три значения: 1. Место, где растут, выращиваются ягодные растения. 2. Ягодный куст, ягодное растение. 3. *Разг.* Тот, кто собирает или любит собирать ягоды [МАС, 4, 778].

Семантическая структура слова в говорах камчадалов включает такое же количество значений,

в число которых входит 1-е значение ЛЯ (*А яго́дник, где поля́на с яго́дой, где мно́го яго́ды.* Млк. *Яго́дник – это яго́дны́е меса́.* Анв.), а также собственно диалектные значения:

1. Разновидность медведя, питающегося ягодой. *Разны́е медвёди: тра́вник, яго́дник, ры́бник.* Млк. *Яго́дник, ну онй́ (медведи) когда́ на яго́дах – яго́дники, онй́ на ры́бе щас – рыба́кй.* Млк.

2. Небольшая болотная птичка сем. ржанковых, с длинными ногами и длинным носом, которая питается ягодой. *Яго́дник – это та́кой пты́чка, ку́лик назывáюца, длинноно́гий, длинноно́сый, онй́ шы́кшу собира́ют, цёлый день онй́ ф тун́дре, до чево́ жырны́е станóвляца, што лежа́ть не мо́гут.* Анв.

Анализ языкового материала показал, что существуют семантические различия общерусских существительных, функционирующих в ЛЯ и в говорах камчадалов. Рассматривая слова, имеющие в говорах и в ЛЯ равное количество значений, мы отметили группу общерусских имен существительных, семантическая структура которых в камчатских говорах включает часть значений, свойственных ЛЯ, а также собственно диалектные значения. Среди них выделены следующие: вольница (2:2) [5]; гнёт (2:2); жена (2:2); занавеска (2:2); капелла (2:2); кокора (2:2); лапка (3:3); лапша (2:2); лист (4:4); ложечник (2:2); ночёвка (2:2); палец (3:3); хлебница (2:2); яго́дник (3:3). Проанализированный материал позволяет согласиться с утверждением о том, что «общерусское слово в ЛЯ и в диалектных системах живет самостоятельной жизнью, являясь частью этих разных лексических систем, хотя и имеющих, бесспорно, общие точки соприкосновения» [6].

#### Примечания

1. *Каргина, А. П.* Общерусский глагол в говорах камчадалов [Текст]: автореф. дис. ... канд. филол. наук по спец. 10.02.01 русский язык / А. П. Каргина; Владивостокский гос. ун-т. Владивосток, 2006. С. 5.

2. *Каргина, А. П.* Указ соч.; *Быкова, И. И.* Имя прилагательное в говорах камчадалов [Текст]: автореф. дис. ... канд. филол. наук по спец. 10.02.01 русский язык / И. И. Быкова; Ярославский гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. Ярославль, 2006. 22 с.

3. *Ильинская, Н. Г.* Общерусское слово в лексикологическом аспекте [Текст] / Н. Г. Ильинская. Петропавловск-Камчатский: Изд-во КГПУ, 2001. С. 43.

4. *Словарь русского языка [Текст]: в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. М.: Рус. яз., 1981–1984. 2978 с.*

5. (2:2) – (количество значений в ЛЯ: количество значений в говорах).

6. *Ильинская, Н. Г.* Указ. соч. С. 247.

#### Условные обозначения

ЛЯ – литературный язык.

МАС – Словарь русского языка [Текст]: в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. М.: Рус. яз., 1981–1984.

Анв. – с. Анавай; Длн. – с. Долиновка; Квр. – с. Ковран; Кзр. – с. Козыревск; Клч. – п. Ключи; Млк. – с. Мильково.

А. Е. Чуранов

## ПЕРЕХОД СЛОВ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В МЕЖДОМЕТИЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

В статье процесс перехода слов знаменательных частей речи в междометие рассматривается как постепенное движение словоформы от стадии окказионального употребления в функции междометия к стадии константного употребления и далее функционального перехода в данный класс (стадии закрепления новой единицы в классе); последующая (последняя) стадия – полный переход.

In the article the process of transition of notional words into interjections is considered as a staged movement of a word-form proceeding from the stage of an occasional use in the function of interjection to the stage of a constant use, then a functional transition (the stage of fixation of a new unit in the word-class); the following (last) stage is a complete transition.

Явление переходности в сфере частей речи до сих пор остается весьма дискуссионным вопросом, несмотря на имеющиеся многочисленные исследования (Н. А. Каламова [1], В. В. Виноградов [2], М. Ф. Лукин [3], Т. С. Тихомирова [4], А. С. Бедняков [5], И. К. Зданевич [6], П. А. Соболева [7], Ю. А. Жлуктенко [8] и др.).

Наблюдается как терминологически разноречивый (полный, абсолютный, прочный, устойчивый, постоянный, узусальный переход – неполный, неустойчивый, окказиональный, контекстуальный, временный, ситуативный, частичный переход), так и различие во взглядах относительно количества степеней перехода. Их число колеблется от 2 до 4 [9]. Само понятие переходности частей речи также трактуется лингвистами не однозначно. Одни исследователи рассматривают переходность в рамках транспозиции [10], другие включают ее в понятие конверсии [11]. По мнению Т. С. Тихомировой, наиболее плодотворным является рассмотрение переходности «лишь применительно к проблематике частей речи» [12]. В настоящей статье мы придерживаемся данного подхода.

При рассмотрении вопросов, связанных с переходностью в сфере частей речи, необходимо четкое разграничение терминов «слово» и «лексема». Слово – «лексема в словаре, в языке» [13], словоформа – «слово в некоторой грамматической функции» [14]. Из одной части речи в другую переходит не слово как самостоятельная структурно-семантическая единица языка, а одна или несколько его словоформ, которые, по образному выражению Т. С. Тихомировой, «отпочковываются от «материнской» лексемы» [15]. В связи с этим мы считаем лингвистически не совсем верными формулировки вроде «переход слов других частей речи в прилагательное», широко

используемые в различного рода работах. Тем не менее термин «переход слов» можно использовать как условный, традиционный, в качестве «опознавательного термина» [16]. И это имеет определенные плюсы. Во-первых, введение новых терминов взамен традиционных приводит к определенной путанице, возникающей вследствие того, что дискуссии об одном и том же понятии ведутся «на разных языках». Во-вторых, это позволяет избежать превращения обсуждения научной проблемы в спор о правильности имен [17].

Применение метода дистрибутивного анализа убеждает нас в том, что словоформа в процессе перехода из одного грамматического разряда (части речи) в другой проходит три стадии, на каждой из которых она характеризуется наличием определенных «признаков перехода».

Первая стадия – *употребление словоформы одной части речи в функции другой*. Оно может быть постоянным (константным) или случайным (окказиональным). При константном употреблении словоформа характеризуется следующими признаками перехода: а) регулярно употребляется в функции другой части речи, б) не образует самостоятельной лексемы и воспринимается носителями языка как одно из значений исходного слова.

Данное употребление, как правило, выделяется в отдельное значение заглавного слова и сопровождается соответствующей пометой. Так, к примеру, исходная форма английского прилагательного *gung-ho* ‘по-детски восторженный’ регулярно употребляется в функции междометия, соответствующего русским «дружно!»; «раз, два, взяли!». Новый большой англо-русский словарь (под рук. акад. Ю. Д. Апресяна) отмечает это употребление следующим образом: 4. *в грам. знач. межд.* дружно! раз, два, взяли! [18] Исходная форма английского прилагательного *fine* также регулярно употребляется в функции междометия. Вот как это подается в словаре Longman Dictionary of Contemporary English [19]:

1. **ACCEPTABLE** [not before noun] *especially spoken* satisfactory or acceptable [=OK]: “We’re meeting at 8.30.” “Okay, fine.”

При случайным (окказиональным) употреблении словоформа характеризуется следующими признаками перехода: а) употребление в функции данной части речи носит случайный (часто единичный) или нечастый характер. Обычно это индивидуально-авторское употребление; б) не образует самостоятельной лексемы и не входит в активный словарный запас подавляющего большинства носителей языка. Однако не вызывает затруднений с интерпретацией значения.

Например,

“...But the big buzz on the red carpet was Hulk Hogan, who arrived with his wife and kids – all of whom looked exactly like him. **Scary!**” [20]

В приведенном примере исходная форма прилагательного 'scary' 'жуткий' использована автором в качестве междометия для передачи смешанного чувства изумления и испуга.

В результате употребления словоформы одной части речи в функции другой образуется гибридная единица, совмещающая признаки обеих частей речи. В рассматриваемом нами случае – полумеждометия-полузнаменательные слова. Мы называем их «междометоидами» (т. е. подобными междометиям). Междометоиды являются одним из главных источников пополнения класса междометий. Наиболее часто в междометоиды переходят существительные (Alarm! Attention! и др.), глаголы (Behold! Bother! Bug off! Come! Come on! Cut! Go on! Hold! Listen! Look! Mind! Piss off! Recover! See! Shoot! Watch out! и др.), прилагательные (Awful! Awesome! Bad! Charming! Curious! Divine! Excellent! Fantastic! Fine! Funny! Good! Great! Incredible! Splendid! Wonderful! и др.) и наречия (Back! Down! Exactly! Forward! Here! Indeed! Now! Precisely! Rather! Really! So! Surely! There! Truly! Well! и др.). А. А. Григорян отмечает интересную особенность: междометия, как правило, эмигрируют в глаголы, существительные и прилагательные, т. е. в те части речи (кроме наречия), из которых они преимущественно образуются [21]. Междометие как класс в системе частей речи характеризуется особым видом открытости – синтаксическим, который не свойственен ни знаменательным, ни служебным словам. Синтаксическая открытость данного класса находит свое проявление в том, что в речевой цепи практически любое слово (чаще знаменательное) при определенном интонационном оформлении потенциально способно уподобиться междометию, т. е. стать «междометоидом» (полузнаменательным словом-полумеждометием). Например, 'Ты бы помог ему. – Помочь?! (с выражением недовольства) – Да ни за что!'

У имен существительных это чаще всего базовая словоформа (общий падеж, единственное число) – Alarm! Attention! и др. Однако возможно также: а) сочетание базовой словоформы с определенным артиклем – The devil! The deuce! The dickens! The end! The idea! и др.; б) сочетание базовой словоформы существительного с базовой словоформой прилагательного (при наличии или отсутствии неопределенного артикля) – A bad job (business)! Good idea! Happy thought! и др.; в) сочетание словоформы множественного числа существительного с базовой словоформой прилагательного – Bad doings! и др.; г) сочетание базовых словоформ двух существительных, соединенных союзом and (при наличии или отсутствии неопределенного артикля) – A shame and disgrace! Stuff-and-nonsense! и др.; д) сочетание базовой словоформы существительного

с отрицанием no – No fear! No hope! No way! и др.; е) сочетание базовой словоформы одного или двух существительных с предлогом (возможно наличие неопределенного артикля перед первым существительным) – A piece of cake! By God! Heaven on Earth! и др.

У прилагательных также чаще всего это базовая словоформа – Charming! Divine! Excellent! Fantastic! и др. Встречается еще сочетание базовой словоформы прилагательного с наречием very – Very good! Very neat! и др. и употребление базовой словоформы прилагательного по модели сравнительной конструкции as ... as – As good as a circus! и др.

У наречий в междометоиды переходят: а) наречия места и направления – Back! Down! Forward! и др.; б) наречия времени – Now!; в) модальные наречия – Indeed! Really! Surely!; в) наречия образа действия – Precisely! Truly! и др.; Возможны также сочетания двух наречий, относящихся к разным разрядам – Very well! (наречие степени + наречие образа действия), Well, now! (наречие образа действия + наречие времени) и др.

У глаголов в междометоиды переходит форма повелительного наклонения, как правило, динамических глаголов – Bother! Come! Hold! Listen! Look! Mind! Recover! See! Shoot! и др. Особенно активно в междометоиды переходят так называемые фразовые глаголы – Bug off! Come on! Go on! Piss off! Watch out! и др.

Междометоиды, образованные от знаменательных частей речи, следует отличать от омонимичных эллиптических конструкций. Так, к примеру, восклицание Great! может выступать в качестве междометоида, выражающего радость (Замечательно! Превосходно!), а может представлять собой неполное предложение с легко восстанавливаемым подлежащим (that или it) и глаголом-связкой be, в котором дается высокая оценка предмету или лицу, упомянутому в предыдущем высказывании. Граница между этими двумя употреблениями весьма зыбкая, и при решении вопроса о том, является ли рассматриваемая единица междометоидом или представляет собой член неполного предложения, следует исходить из того, какой компонент преобладает в данном контексте: номинативный (например, оценка предмета, о котором шла речь в предшествующем высказывании или эмотивный (на передний план выходит чувство, переживаемое говорящим в момент речи)). Так, в следующем примере Great! представляет собой эллиптическое предложение:

"...There's not been the usual signs, folks coming and going, doorbells ringing day and night." – "Great. That's great. ..." [22] Говорящий при помощи слова great выражает свое мнение по поводу услышанного, т. е. то, что он услышал, он оценивает (дает номинацию!) как «что-то очень



замечательное». В этом примере great является эллипсисом от That's great. К тому же говорящий сам уточняет, что он имел в виду, уже при помощи полного предложения – That's great.

А вот пример, в котором Great! выступает как междометие:

“I'll lend you the car if you like” – “Great! Thanks a lot!” [23]

Детальный анализ самой ситуации показывает, что говорящий был рад(!), что ему дают напрокат машину. Следовательно, Great! – это прежде всего слово, с помощью которого говорящий показал свою радость. Таким образом, в рассматриваемом примере Great! – это междометное восклицание, подобное таким, как, например, Wow!, а не эллиптическое предложение.

Между тем, наличие полного предложения не обязательно является показателем того, что перед нами не междометие:

‘I've arranged the flights.’ – ‘Oh, that's great.’ [24] В данной ситуации говорящий посредством выражения that's great выражает свое удовольствие организацией перелетов. Следовательно, that's great является здесь междометием.

В ряде случаев решить вопрос о статусе подобных единиц помогает сама ситуация, в которой рассматриваемая единица была употреблена. Восклицание Question! не является эллипсисом от Keep to the question!, поскольку, как показывает практика, восклицанием Question! председатель собрания обычно выражает требование (повеление) говорить по существу дела (междометное значение!) или проявляет свое недовольство отступлением говорящего от темы, часто повторяя его несколько раз (также междометное значение). Другой аргумент в пользу того, что это не эллипсис, состоит в том, что председатель в силу своей должности обязан использовать строгий официальный язык, а не разговорный со всевозможными сокращениями и опущениями.

Вторая стадия перехода – *функциональный переход* (или *переход по функции*). На этой стадии словоформа характеризуется следующими признаками: а) полным «отпочкованием» от «материнской» лексемы в своей новой функции [25] и употреблением в языке в качестве самостоятельной лексемы, б) приобретение словоформой всех признаков новой части речи, в) исходная словоформа сосуществует параллельно с перешедшей как два разных слова, г) в словарях подается, как правило, отдельной словарной статьей. Функциональный переход является результатом постепенного и длительного процесса. В качестве примера можно привести прилагательное dear и междометие Dear! По данным этимологического словаря Online Etymology Dictionary, составленного Дугласом Харпером (Douglas

Harper) из Великобритании, начало употребления dear в качестве междометия относится к 1694 г. [26] К знаменательным словам, перешедшим в междометия (по функции), относятся следующие: Beans! Boy! Rasp(berry)! Nuts! и др. (из разряда существительных); Dear! Gracious! и др. (из разряда прилагательных); Bother! Hear, hear! и др. (из разряда глаголов); Why! There! и др. (из разряда наречий). Главные признаки, отличающие указанные единицы от междометиев: а) функционирование в языке в качестве самостоятельных единиц, б) полная утрата лексического значения исходной части речи.

Третья стадия перехода – *полный переход*. О полном переходе можно говорить в том случае, если словоформа по каким-либо причинам полностью прекратила свое существование в исходной функции и фактически произошло выпадение слова из лексического фонда одной части речи и его вхождение в фонд другой. На данной стадии слово действительно «переходит» из одной части речи в другую. По мнению М. Ф. Лукина, лишь в данном случае можно говорить о переходе слова в другую часть речи [27]. Однако такой переход наблюдается далеко не всегда, и поэтому он предлагает отказаться от понятия «переход частей речи» как несостоятельного в научном отношении [28]. По мнению М. Ф. Лукина, то, что лингвистами называется переходом, по существу является «лексико-семантической субституцией», т. е. образованием словоформами той или иной части речи своих вторичных форм и использование их «в качестве субститутов заместителей потенциальных словоформ других частей речи» [29]. Под сомнение употребление термина «переход частей речи» на том же основании ставит и Т. С. Тихомирова [30]. У таких единиц как междометия, полный переход нередко проявляется не только в полной утрате исходной единицей своего лексического значения, но и в разрушении (или, точнее, деформации) ее звуковой оболочки. Так, к примеру, исходная форма By Jesus! при полном переходе превратилась в Bejabbers!

Итак, мы рассматриваем переход знаменательной части речи в междометие как процесс постепенного движения отдельной словоформы (или словоформ) от стадии окказионального (временного) употребления в функции междометия к стадии константного (постоянного) употребления в функции междометия и далее функционального перехода в класс междометий (стадии закрепления новой единицы в данном классе). Последующая (последняя) стадия – полный переход. Длительный процесс перехода знаменательного слова в междометие наглядно можно представить в виде следующей шкалы междометности:

0 – номинативная единица – Christ, good, scary

1 – стадия междометности

1a – окказиональные междометности – Scary!

1б – константные междометности – Awesome! Good! Great! Fine!

2 – стадия междометности

2a – функциональный переход в класс междометий – Christ! Gracious!

2б – полный переход в класс междометий – Wejeebers (Wejabbers)! Cripes! Gadzooks!

Наиболее активные процессы образования новых «претендентов» на междометия происходят в современном языке на стадии междометности. Поэтому основную перспективу изучения данного класса мы видим в исследовании особенностей семантики и функционирования в языке междометных.

#### Примечания

1. Каламова, Н. А. К вопросу о переходности одних частей речи в другие [Текст] / Н. А. Каламова // РЯШ. 1961. № 5. С. 56–59.

2. Виноградов, В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове) / В. В. Виноградов; под ред. Г. А. Золотовой. М.: Рус. яз., 2001.

3. Лукин, М. Ф. Переход частей речи или их субституция? [Текст] / М. Ф. Лукин // Филол. науки. 1982. № 2. С. 78–80.

4. Тихомирова, Т. С. К вопросу о переходности частей речи [Текст] / Т. С. Тихомирова // Филол. науки. 1973. № 5. С. 78–87.

5. Бедняков, А. С. Явление переходности грамматических категорий в современном русском языке [Текст] / А. С. Бедняков // РЯШ. 1941. № 3. С. 28–31.

6. Зданевич, И. К. К вопросу о переходе одних частей речи в другие [Текст] / И. К. Зданевич // Учен. зап. Горьковского пед. ин-та. Вып. 128. Сер. филол. наук. 1971. С. 58–63.

7. Соболева, П. А. Об основном и производном слове при словообразовательных отношениях по конверсии [Текст] / П. А. Соболева // ВЯ. 1959. № 2. С. 91–95.

8. Жлуктенко, Ю. А. Конверсия в современном английском языке как морфолого-синтаксический способ словообразования [Текст] / Ю. А. Жлуктенко // ВЯ. 1958. № 5. С. 51–64.

9. Лукин, М. Ф. Критерии перехода частей речи в современном русском языке [Текст] / М. Ф. Лукин // Филол. науки. 1986. № 3. С. 49–56.

10. Шигуров, В. В. Сущность и основные типы транспозиции в русском языке [Текст] / В. В. Шигуров // Функционально-семантические исследования: межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 1. Саранск, 1996. С. 9–11.

11. Михневич, А. Е. Конверсия в славянских и германских языках [Текст] / А. Е. Михневич // II Всесоюзная конференция по славяно-германскому языкознанию: тезисы докладов. Минск, 1965. С. 46–49.

12. Тихомирова, Т. С. Указ. соч. С. 79.

13. Там же. С. 81.

14. Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. энцикл., 1990. С. 470.

15. Тихомирова, Т. С. Указ. соч. С. 81.

16. Блох, М. Я. Теоретические основы грамматики [Текст] / М. Я. Блох. М.: Высш. шк., 2004. С. 13.

17. Там же.

18. Новый большой англо-русский словарь [Текст]: в 3 т. / под общ. рук. Ю. Д. Апресяна. 5-е изд. М.: Рус. яз., 2000. С. 87.

19. Longman Dictionary of Contemporary English [Text]. Pearson Education Limited, 2003. P. 594.

20. Rolling Stone, Issue 958. 2004. P. 55.

21. Григорян, А. А. Междометия в системе частей речи английского языка: (аспекты взаимодействия классов) [Текст]: автореф. дис. ... канд. филол. наук / А. А. Григорян. Л.: ЛГУ, 1988. С. 137.

22. Shankman, S. Now Let's Talk of Graves [Text] / S. Shankman., N.Y.: Pocket Books, 1990. P. 113.

23. Cambridge International Dictionary of English [Text]. Cambridge University Press, 1997. P. 621.

24. Collins Cobuild. English Usage [Текст]: словарь справочник по нормативному речепотреблению / рус. пред. Т. Б. Назаровой. М.: ООО «Изд-во Астрель»: ООО «Изд-во АСТ», 2003. С. 570.

25. Тихомирова, Т. С. Указ. соч. С. 81.

26. Harper, D. Online Etymology Dictionary [Electronic resource] / D. Harper // <http://www.etymonline.com/> – Дата доступа: 04/03/2007.

27. Лукин, М. Ф. Переход частей речи или их субституция? [Текст] / М. Ф. Лукин // Филол. науки. 1982. № 2. С. 78.

28. Там же.

29. Там же.

30. Тихомирова, Т. С. Указ. соч. С. 81.

Н. В. Шамова

### О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДИАХРОНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

В статье рассматриваются некоторые вопросы перевода древних и старых текстов, в частности вопрос о выборе временной отнесенности переводящего языка (современный язык vs. язык предыдущих эпох), а также вопрос о недостатках и преимуществах строго научного, или академического, перевода.

The article is devoted to the problem of translation of old texts. The main attention is given to the choice of language of translation (modern vs. old) and any lacks and advantages in the scientific approach in the translation of old texts.

Исследование проблем диахронического перевода остается актуальным и сегодня. Временная дистанция, отделяющая перевод от оригинала, может влиять на творческие цели переводчика, вследствие чего формируются различные подходы к пониманию задач диахронического перевода.

Еще А. В. Федоров уделял большое внимание изучению проблем перевода «старого текста». В частности, он впервые в отечественной теории

перевода обозначил круг задач, связанных с передачей «исторического колорита» классического произведения [1]. Проблематика вопросов, связанная с переводом «старого» произведения, требует сегодня дальнейшей проработки. Несмотря на то, что все старые известные классические произведения уже переведены в предыдущие века, в современное время вновь возникает потребность в переводе старой прозы и поэзии.

Д. С. Лихачев, отвечая на вопрос, зачем нужны все новые переводы, писал так: «Как невозможно в любой, самый большой телескоп вместить реальную звезду, так невозможно любым, самым хорошим переводом заменить гениальное произведение», поэтому каждый новый перевод открывает в нем «что-то новое, не замеченное предшествующими» [2]. Возникновение все новых переводов обуславливается также поступательным развитием лексической и структурной систем языков, что, как следствие, может вызывать у современного читателя затруднения в восприятии и понимании переводного текста.

Под диахроническим переводом понимается, согласно В. С. Виноградову, перевод произведений прошлых эпох, «когда временная дистанция между созданием подлинника и перевода становится значительной, временные уровни языков оригинала и перевода уже не являются соотносительными, а экстралингвистические характеристики соответствующих эпох различаются коренным образом» [3]. Такой подход к переводу «старого» текста характеризуется И. И. Валуйцевой и Г. Т. Хухуни как лингвокультурный [4], в противоположность собственно лингвистическому подходу, разработанному А. А. Нелюбиным [5].

Одну из проблем, над разрешением которой работают ученые, можно сформулировать так: на какой язык следует переводить старое произведение – на современный язык или на язык предыдущей эпохи, хронологически параллельной эпохе создания подлинника? Этот вопрос тесно связан с проблемой понимания текста. Если попытаться, к примеру, перевести немецкий средневековый эпос «Песнь о нибелунгах» [6] на русский язык этого же периода, то такой перевод вряд ли будет понятным современному русскому читателю, так как в основе русского языка XIII в. лежит церковнославянский, который очень сильно отличается не только от современного русского языка, но и от русского языка XVII в., сменившего церковнославянский.

По мнению А. В. Федорова, основная цель переводов древних текстов состоит в том, чтобы ознакомить современного читателя с литературным памятником, который в момент своего создания, т. е. для читателей своей эпохи, тоже был современником. Постановка такой цели «предполагает использование в основном совре-

менного языка в переводе, хотя бы и с таким отбором словарных и грамматических элементов, которые позволяли бы соблюсти нужную историческую перспективу, наметить «дистанцию времени», отделяющую нас от времени создания подлинника» [7].

Эту мысль поддерживает и В. С. Виноградов. Он подчеркивает, что неправильно переводить старые тексты языком того же времени. Естественную архаичность языка оригинального текста следует сохранять не за счет реконструирования языка ушедшей эпохи, а путем адаптации древней орфографии, морфологии, а также лексики и синтаксиса, если это необходимо, согласно правилам современного языка. Приспособление материальной формы оригинала к новым языковым условиям делает возможным сохранить интерес к нему и у современных читателей. В. С. Виноградов замечает, что «осовременивание» позволяет подлиннику продолжать активную жизнь в литературе спустя века после выхода в свет [8].

Таким образом, сегодня ученые высказывают единодушную точку зрения, что при хронологической адаптации «старых» и древних произведений переводчику следует опираться на современный ему язык.

Вторую проблему, возникающую в процессе диахронического перевода, можно сформулировать следующим образом: каким должен быть подход к переводу «старого» произведения – строго научным или художественным/поэтическим? Высказываются разные мнения по этому поводу.

Примером академического, или строго научного, перевода можно назвать перевод Д. С. Лихачева древней русской поэмы «Слово о полку Игореве». А. Дмитриев в своих комментариях к изданию характеризует перевод Д. С. Лихачева как «научно-поэтический», а также как «параллельный» древнерусскому тексту [9]. Сам же Д. С. Лихачев называет свой перевод «объяснительным» [10]. В основе объяснительного, или научно-поэтического, перевода Д. С. Лихачева лежит семантический принцип, в соответствии с которым формулируется и переводческая задача – сделать смыслы древнего памятника доступными пониманию современного читателя.

В связи с этим Д. С. Лихачев выстраивает свою переводческую стратегию следующим образом. С одной стороны, он сохраняет поэтическую форму и метрико-ритмический рисунок древнего произведения, сохраняет старые слова, смысл которых нам еще понятен сегодня, а с другой стороны, он заменяет устаревшие и непонятные слова современными, одновременно архаизирует лексику, дополнительно вводит в скобках слова, объясняющие контекст, например

«тогда напустил десять соколов (пальцев) на стадо лебедей (струн); который (из соколов) догнал какую (лебедь), та первая (и) пела песнь («славу») старому Ярославу (Мудрому)...» [11].

В связи с рассматриваемым вопросом интересно мнение и Т. А. Казаковой. Она указывает на то, что следует принимать во внимание разницу между понятиями «художественный перевод» и «перевод художественной литературы». Если в первом понятии слово «художественный» определяет вид деятельности, то во втором понятии указывается только на характер переводимых текстов, но не обязательно характер самого перевода. Из этого Т. А. Казакова делает важный вывод о том, что не художественные переводы художественных текстов тоже имеют право на существование, однако их можно оценивать как с положительной, так и с отрицательной точки зрения.

С одной стороны, некачественные переводы популярных произведений, написанные в коммерческих целях, являются отрицательным проявлением нехудожественного перевода художественных текстов. С другой стороны, нехудожественный перевод художественных текстов используется «в целях» академических исследований в отношении наиболее ценных памятников мировой литературы или для создания подробных подстрочников, которые могли бы служить справочным материалом для специалистов разного рода, в том числе и для переводчиков» [12]. В качестве примера Т. А. Казакова называет нехудожественный перевод «Гамлета», переведенного прозой М. М. Морозовым. В качестве своей единственной цели переводчик назвал передачу семантической стороны подлинника с наибольшей возможной точностью. Под целевой аудиторией при этом подразумевались режиссеры и актеры, для которых работа над образом требует понимания всех оттенков слова.

Сторонником научного, академического перевода древнего текста является и видный историк-медиевист, знаток языков А. Я. Гуревич. Своё видение вопроса он отразил в работе «Средневековая литература и ее восприятие: о переводе «Песни о нибелунгах» [13]. Он отмечает наличие двух подходов к переводу древнего текста. Согласно первому подходу «переводимый текст по возможности «облегчается от всего непонятного, упрощается и тем самым делается более «похожим» на современное литературное произведение». При этом ставится благородная цель, пишет он, «приблизить древний текст к пониманию современного читателя». Да, признает он, трудность восприятия исчезает, но облик древности при этом искажается и подтягивается до нашего восприятия. А. Я. Гуревич убежден, что «встречи двух эпох» не происходит, так как

у современного читателя складывается искаженное представление о древней эпохе и коллизиях в древнем тексте.

Он напоминает также, что при переводе средневековой литературы следует обязательно учитывать ее специфику. Средневековой текст был, как известно, полифункционален, т. е. он отражал не только эстетические запросы человека, что находит свое выражение в художественном тексте, но он, кроме того, удовлетворял религиозные, правовые и хозяйственные потребности человека. (Эти виды текстов тогда еще не выделялись из «художественной литературы».)

Поэтому другим способом сближения с творцом древнего текста является, по убеждению А. Я. Гуревича, «попытка проникнуть в структуру мысли, не жертвуя ее своеобразием». Главное при переводе древнего текста – это точная передача содержания текста. На втором месте по степени важности стоит требование сохранения «словаря и словоупотребления в эпоху возникновения памятника литературы» [14]. Известный ученый все же делает оговорку, что переводчик должен стремиться к тому, чтобы перевод соответствовал современным эстетическим требованиям, легко читался и удовлетворял современным требованиям к переводу художественного произведения.

Таким образом, главным для перевода «старого» произведения А. Я. Гуревич считает точную передачу содержания подлинника с целью воссоздания духа эпохи. Он формулирует и основные требования к переводчику – четкое представление о всех реалиях жизни, которые отражены в древнем тексте, и донесение их до читателя. Для этого переводчику необходимы обширные специальные знания, например, в области права, философии, эстетики, культуры, предшествующей эпохи, и это, по его мнению, единственно правильный способ проникновения в другую культуру.

Как видим, самой главной в процессе перевода признается проблема понимания, а эстетические функции текста оказываются на втором плане. А. Я. Гуревич опирается при этом на высказывание историка С. С. Аверинцева о том, что общение с древним текстом и с древним его творцом есть «понимание «поверх» барьеров непонимания, предполагающее эти барьеры» [15]. Позиция ученого состоит в том, что самым существенным, к чему следует стремиться при переводе древнего текста, является правильное понимание и передача реалий и понятий, представлений того времени современными читателями, т. е. такое понимание, каким оно было у читателем оригинала.

А. Я. Гуревич затрагивает важные вопросы восприятия древнего произведения современным

читателем. Он высказывает мысль, что если переводчик будет ближе держаться к источнику, не будет отходить от духа и буквы подлинника, то читатель сможет испытать «удивление, которое вызывается разительным несоответствием средневекового и современного восприятия многих явлений». Он считает, что переводной текст заинтересует читателя именно тогда, когда он увидит отличия древней культуры от современной, поэтому цель процесса переводчика должна состоять в «раскрытии, неповторимости, непохожести жизни людей далекой эпохи» [16].

Таким образом, А. Я. Гуревич высказывается за сохранение в переводном тексте реального расхождения в мировосприятии «в отношении к слову и жесту, в эстетике». Ведущими переводческими приемами передачи древнего текста на современный язык он считает комментарии и разъяснения. Неудивительно поэтому, что А. Я. Гуревич подверг резкой критике перевод «Песни о нибелунгах», выполненный известным переводчиком Ю. Б. Корнеевым. Они – представители разных подходов. А. Я. Гуревич критикует Ю. Б. Корнеева за то, что в русском переводе много отступлений от смысла и тональности исходного текста, а «осовременивание» ведет к потере аромата эпохи. Творческое кредо Ю. Б. Корнеева иное. Для него художественные, эстетические ценности важнее, чем точная передача содержания текста.

Итак, в теоретических размышлениях А. Я. Гуревича содержится очень много ценных идей, но современные лингвисты, филологи и переводчики навряд ли согласятся с тем, что доминирующим в переводе художественного произведения должен быть строго научный, или академический, подход. Сегодня укрепляется точка зрения, что перевести древний текст означает «осовременить» его, дать ему вторую жизнь и сделать текст подлинника доступным пониманию людей новой эпохи.

Рассуждая о писателях, работающих в жанре исторического романа, В. В. Виноградов, к примеру, пишет, что отношения между историческим романом и изображаемой им эпохой не должны определяться «принудительно-документальным характером», «важна не точность цитаты, а впечатление читателя, зависящее от художественной, а не хроникальной правды» [17]. Это высказывание полностью справедливо и в отношении перевода «старых» текстов.

Не умаляя ценности академического, или строго научного, перевода, все же следует отметить, что такой подход не дает возможности забыть, что перед нами перевод, а не оригинал. Это обстоятельство особенно важно учитывать при переводе и адаптации «старых» художественных текстов.

В настоящее время концепция диахронического перевода еще находится в стадии разработки. Несомненно, что фундаментом для ее формирования могут и должны послужить современные представления о требованиях к переводу художественного текста. Теория перевода выдвигает сегодня в качестве главного критерия качества переводного художественного текста не только исчерпывающую передачу смыслового содержания подлинника, но и «полное функционально-стилистическое соответствие ему» [18]. А. К. Латышев также подчеркивает, что критерием качественного перевода художественного текста является полноценная передача денотативного содержания оригинала с соблюдением языковых и визуальных норм переводящего языка, с сохранением структурно-семантических особенностей исходного текста и учетом равноценного регулятивного воздействия на адресата переводного текста [19]. Передача основной функции произведения художественной литературы, заключающаяся в «художественно-эстетическом воздействии на читателя» [20], – вот та идея, которая может оказаться самой важной при создании новых подходов к переводу текстов прошлых эпох.

#### Примечания

1. Федоров, А. В. Основы общей теории перевода [Текст] / А. В. Федоров. М.: Высш. шк., 1983. С. 284–292.
2. Цит. по: Поэтическая жизнь «Слова о полку Игореве» в русской литературе [Текст] // Слово о полку Игореве / вступ. ст. и подготовка древнерус. текста Д. Лихачева; сост. и коммент. Л. Дмитриева. М.: Худож. лит., 1987. С. 107.
3. Виноградов, В. С. Перевод. Общие и лексические вопросы [Текст] / В. С. Виноградов. М.: КДУ, 2004. С. 141.
4. Валуицева, И. И. Время как фактор межкультурной коммуникации [Текст] / И. И. Валуицева, Г. Т. Хухуни // Общение. Языковое сознание. Межкультурная коммуникация: сб. ст. / Ин-т языкознания РАН. Калуга: КГПУ им. Э. К. Циолковского, 2005. С. 276.
5. Нелюбин, А. А. Толковый переводческий словарь [Текст] / А. А. Нелюбин. М.: Флинта, Наука, 2003. С. 46.
6. Das Nibelungenlied [Text] / Nach dem Text von Karl Bartsch und Helmut de Boor ins Neuhochdeutsche übersetzt und kommentiert von Siegfried Grosse. Stuttgart: Philipp Reclam jun, 2002. 1045 S.
7. Федоров, А. В. Указ. соч. С. 285.
8. Виноградов, В. С. Указ. соч. С. 143.
9. Слово о полку Игореве [Текст] / Вступ. ст. и подготовка древнерус. текста Д. Лихачева; сост. и коммент. Л. Дмитриева. М.: Худож. лит., 1987. С. 189.
10. Там же. С. 164.
11. Там же. С. 166.
12. Казакова, Т. А. Художественный перевод. Теория и практика [Текст] / Т. А. Казакова. СПб.: ИнГязиздат, 2006. С. 8.
13. Гуревич, А. Я. Средневековая литература и ее современное восприятие: О переводе «Песни о нибелунгах»

лунгах» [Текст] / А. Я. Гуревич // Из истории культуры средних веков и Возрождения. М.: Искусство, 1976. С. 276–314.

14. Там же. С. 277.

15. Цит. по: Там же. С. 278.

16. Там же. С. 285.

17. *Виноградов, В. С.* Указ. соч. С. 145.

18. *Федоров, А. В.* Указ. соч. С. 127.

19. *Латышев, А. К.* Технология перевода [Текст] / А. К. Латышев. М.: НВИ – Тезаурус, 2000. С. 25, 27.

20. *Комиссаров, В. Н.* Теория перевода [Текст] / В. Н. Комиссаров. М.: Высш. шк., 1990. С. 251.

О. А. Шишкарева

### ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ СЛОВА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ

В статье рассматриваются активно функционирующая в современной печати языковая игра и понимание данного явления различными исследователями, а также анализируются окказиональные слова как её проявление, способы их производства и роль в публицистическом тексте.

This article investigates such active phenomenon in modern mass-media as language play and minds different reseachers on this problem, analyses the ways of word-formation the occasional derivates and they significance in the publicistic text.

Явление языковой игры неоднократно привлекало внимание ученых, особенно активно это происходило в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в., что связано с периодом активного изучения русской разговорной речи. В конце XX – начале XXI в. интерес к языковой игре возобновился, что проявляется в большом количестве работ, исследующих различные аспекты данного явления (психолингвистический, функциональный, стилистический).

Давая определение языковой игре, исследователи выделяют два существенных признака этого явления: ненормированный характер и прагматическую направленность – «некая языковая неправильность (или необычность) и, что очень важно, неправильность, обозначаемая говорящим (пишущим) и намеренно допускаемая» [1]; «творческое, нестандартное (неканоническое, отклоняющееся от языковой/речевой, в том числе стилистической, речеповеденческой, логической нормы) использование любых языковых единиц и/или категорий» [2]; «форма деканонизирующего речевого поведения говорящих, реализующая прагматические задачи коммуникативного акта» [3]; «определенный тип речевого поведения говорящих, основанный на преднамеренном (сознательном, продуманном) нарушении системных

отношений языка, то есть на деструкции речевой нормы с целью создания неканонических языковых форм и структур» [4].

Следует отметить, что языковая игра всегда направлена на достижение определенного эстетического эффекта («всюду в качестве сознательной или неосознанной цели выступает одно: вызвать напряжение словом, которое приковывает слушателя или читателя» [5]).

Представление исследователей о данном «эстетическом эффекте» варьируется. Так, языковую игру связывают с шуткой в широком понимании: «целый текст ограниченного объема (или автономный элемент текста) с комическим содержанием» [6], с «эстетическим, в целом стилистическим эффектом» [7], с «созданием остроумных высказываний, в том числе комического характера. Остроумие здесь понимается как «изобретательность в нахождении удачных, смешных или язвительных и метких выражений» [8].

Языковая игра реализуется на всех уровнях языковой системы. В последнее время широкий интерес у исследователей вызывает словообразовательная игра, реализующаяся в деривационных процессах. Одной из распространенных разновидностей словообразовательной игры исследователи считают создание новых слов, как правило, окказиональных. Последние, в силу присутствия им экспрессивности, становятся выразителями авторского отношения к происходящему.

Напомним, что в науке под окказионализмами понимают «речевые явления, возникающие под влиянием контекста, ситуации речевого общения для осуществления какого-либо актуального коммуникативного задания, главным образом для выражения смысла, необходимого в данном случае, создаются на базе продуктивных/непродуктивных моделей из имеющегося в структуре языкового материала вопреки сложившейся литературной норме» [9]. Напомним, что в зависимости от отношения незуального слова к литературной норме классифицируется сама незуальная лексика. При одном подходе разграничиваются слова, нарушающие только лексическую норму (потенциальные) и слова, которые нарушают и словообразовательную норму (окказиональные). При другом подходе и окказиональные слова и потенциальные объединяются по отношению к лексической норме как окказиональные и противопоставляются словам узуальным. В этом случае незуальные слова (окказионализмы в широком смысле слова) дифференцируются в зависимости от их отношения к словообразовательной норме на потенциальные и собственно окказиональные.

Учитывая важность эстетического эффекта при языковой (в частности, словообразовательной) игре, представляется логичным встать на

позицию широкого понимания окказионализмов и ориентироваться не столько на способ их производства, сколько на производимый новообразованием в определенном контексте эффект, его роль в тексте. При этом характер словопроизводства окказионализмов можно оценивать как индикатор степени творческой активности авторов, нестандартности их мышления. Таким образом, деривацию не любого, а только лишь связанного с достижением определенного эстетического эффекта окказионализма следует относить к проявлению языковой игры.

Одним из наиболее ярких проявлений языковой игры являются гибриды – речевые единицы, образованные на базе узуальных лексем или их частей. Гибридные образования *Рогодина* и *Бабуродина* образованы в результате контаминации начальных частей имен собственных (*Рогозин* и *Бабурин*) и конечной части лексемы *родина*, *сканделаки* – в результате междусловного наложения узуальной лексемы *скандал* и фамилии *Канделаки*: «Латиноамериканские страсти развернулись в Думе вокруг закона о монетизации льгот. Родинец Рогозин с группой товарищей объявили по этому поводу голодовку и жаловались, что соратники во главе с Бабуриным «пытают их запахами вкусной еды, которую поглощают по соседству». В итоге фракция «Родина» распалась, а депутаты в шутку назвали ее осколки «*Рогодиной*» и «*Бабуродиной*» [Комсомольская правда – Нижний Новгород, 17.11.07]; «В номинации «Светская жесь, или Скандалы, скандалики, *сканделаки*» «Калошей» за аварию в Ницце с участием одного олигарха и одной «Феррари» наградили Тину Канделаки» [Комсомольская правда – Нижний Новгород, 30.06.07].

Эффект от употребления гибридных новообразований различен. Так, *Рогодина* и *Бабуродина* – шуточные названия «осколков» «Родины», в то время как в слове *сканделаки* просматривается явная ирония авторов номинации по поводу произошедшего с ведущей, что усиливается из-за использования приема однокорневого повтора (*скандалы, скандалики, сканделаки*).

Беспроектный способ произвести эффект на читателя – графическая гибридикация, при которой в составе одной узуальной лексемы графически выделяется другая лексема. На её основе были произведены окказионализмы *РасКРАБленное* (*разграбленное* и *краб*), *сМОК* (*смог* и *Международный Олимпийский комитет*) и *НЕУдачники* (*неудачники* и *не у*): «*РасКРАБленное море*» [Комсомольская правда – Нижний Новгород, 28.12.2007]; «*Путин сМОК*» [Проспект, 07.08.07]; «Люди делятся на 2 типа: дачники и *НЕУдачники*» [Проспект, 15.05.07.]. В окказионализмах *РасКРАБленное* и *сМОК* присутствуют графемные видоизменения. Графическая ак-

центуация способствует семантической компрессии, переплетению смыслов при восприятии окказионализмов. Так, «*РасКРАБленное море*» – заголовок к статье о хищениях в морях, где водятся крабы, заголовок «*Путин сМОК*» прочитывается как Путин смог справиться с Международным Олимпийским комитетом (МОК) и отстаивать право Сочи быть столицей Олимпиады 2014, в третьем заголовке к шуточной рубрике «*Кураж*» те, кто с началом весны находятся НЕ У дачи, не являются дачниками, автоматически причисляются в неудачникам.

Окказионализмы *мяченосец*, *Чеченбаши*, *путинопклонство*, образованные при помощи заменительного словообразования (субституции), также выполняют в тексте определенные задачи. Напомним, что под субституцией понимают подстановку морфемы на место другой морфемы или произвольно вычленяемого сегмента в узуальное слово.

«*Мяченосец*» (*мяч* и «*Меченосец*») – пародия на одноименный фильм: «Он всю жизнь мечтал играть в футбол, но из-за корявых ног лишь носил мячи. Он всю жизнь мечтал играть в баскетбол, но из-за короткого роста лишь носил мячи. И вот он вырос и стал озлобленным на всех. Смотрите во всех кинотеатрах «*Мяченосец*» [Проспект, 19.12.06.]; *Чеченбаши* (*Чечня* и *Туркменбаши*) – ироничная номинация президента Чечни Рамзана Кадырова, входящая в состав заголовка к статье о Чечне: «Культ личности Чеченбаши?»: «Настораживает другое. Наверное, даже в Туркмении не было столько портретов, плакатов, щитов и т. д. с изображением Ниязова, сколько их (портретов), рамзановских, сегодня в Чечне» [Комсомольская правда – Нижний Новгород, 06.03.2005]; *путинопклонство* (*Путин* и *низкопклонство*) – заголовок к статье о предвыборной ситуации [Проспект, 13.11.07], выражающий явную негативную её оценку.

Окказионализм *баблонавты* (*бабло* и *космонавты*), образованный по конкретному образцу лексемы *космонавты*, саркастически номинирует поколение будущего: «Страна наша гордилась поколением покорителей Арктики, потом поколением космонавтов. А завтра поколением «*баблонавтов*?»» [Комсомольская правда – Нижний Новгород, 08.09.07] В случае с *баблонавтами* эффект от восприятия окказионализма усиливается за счет использования жаргонной лексемы *бабло* «деньги».

Таким образом, использование в тексте окказионализмов, образованных в результате языковой (словообразовательной) игры, всегда связано с достижением определенного эстетического эффекта, зависящего от стоящей перед автором статьи задачи, «журналист как творческая личность порождает тексты с коммуникативно-праг-

матической установкой на креативное общение, используя при этом в качестве текстообразующих смысловых и оценочных доминант новые слова различной структуры» [10].

#### Примечания

1. Санников, В. З. Русский язык в зеркале языковой игры [Текст] / В. З. Санников. М.: Языки славянской культуры, 1999.
2. Сковородников, А. П. О понятии и термине «Языковая игра» [Текст] / А. П. Сковородников // Филологические науки. 2004. № 2. С. 79–87.
3. Гридина, Т. А. Языковая игра: Стереотип и творчество [Текст] / Т. А. Гридина. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1996.
4. Стилистический энциклопедический словарь [Текст] / под ред. М. Н. Кожинной. М.: Наука, 2003.
5. Хейзинга, И. Человек играющий [Текст] / И. Хейзинга. М.: Наука, 1995.
6. Санников, В. З. Указ. соч.
7. Стилистический энциклопедический словарь.
8. Сковородников, А. П. Указ. соч. С. 79–87.
9. Энциклопедия Русский Язык. М.: Флинта, 1998.
10. Рацибурская, А. В. Новые слова в газетном тексте как средство социальной оценки [Текст] / А. В. Рацибурская // Культура. Технология. Цивилизация: сб. науч. ст. Н. Новгород: Изд-во Нижегород. техн. ун-та, 2007. С. 155–161.

И. Ф. Янушкевич

### КОНЦЕПТОСФЕРА АНГЛОСАКСОНСКОГО ПРАВА ПЕРИОДА РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Статья посвящена исследованию концептосферы англосаксонского права VI–XI вв. В ней сделана попытка проследить лингвосемиотическую динамику формирования англосаксонского правосознания в связи со становлением институциональности. Показано, что правовое сознание как форма отражения реального мира концептуализируется в языке и отражается в виде языковых знаков (концептов и лексических номинаций). Типология правовых номинаций фиксирует лингвосемиотическую основу современной правовой системы англоязычного социума.

The article investigates the domain of Anglo-Saxon law of the VI–XI cent. An attempt has been made to trace the linguosemiotic dynamics of establishing the Anglo-Saxon sense of law and order as connected with the establishing of statehood. The sense of law and order as a form of the reflection of reality is conceptualized through the language and is verbalized by means of various linguistic signs (linguistic concepts and lexical denominations). The typology of denominations of legal relationship marks the linguosemiotic basis of the English legal system.

Как известно, концептуальная картина мира отражает социокультурную реальность, наполненную культурными смыслами и поддерживаемую определенными конвенциями. Справедливо, поэтому, утверждение по поводу того, что «за-

кон, являясь одной из таких конвенций, представляет собой доминирующую форму регулирования отношений в современном обществе» [1]. К сказанному необходимо добавить, что концептуальная картина мира, являясь следствием активной этноспецифичной деятельности ментального феномена – человеческого сознания, непротиворечиво накладывается на языковую картину мира этноса в целом и отдельной языковой личности в частности, совокупно формируя сложное лингвосемиотическое образование – соответствующий юридический дискурс. Применительно к законодательству, законопорядку и законотворчеству все это означает, что правовое сознание как форма отражения реального мира (картины мира) концептуализируется в системе языка или дискурсе, поэтому соответствующий фрагмент картины мира «обозначает мир в зеркале языка» [2] и может быть определен как соответствующая «совокупность знаний о мире, запечатленных в лексике, фразеологии, грамматике» [3]. Применение законов, обеспечивающих социальный порядок и безопасность общества, порождает особую семиотическую систему, отражающую концептосферу угодного власти социального поведения, что неминуемо отражается вербально (коммуникативно), т. е. в виде языковых знаков.

«Легитимная» модель мира оказывается своеобразным инструментом рефлексии взаимодействия человека власти и среды подчинения с помощью языка. Язык играет организующую роль в членении и восприятии мира в ракурсе его правовой организации, обобщая при этом человеческий опыт по выявлению сходства и различий вычленимых фрагментов легитимной картины мира. Соответствующие языковые знаки, образуя лингвосемиотическую систему, моделируют динамику отношений между ее продуцентом и ею самой. Именно из этой динамики проистекает взаимная вариативность легитимных потребностей власти, продуцируемых ею правоустановлений и лингвосемиотическая (вербальных) перестройка/флуктуация последних в диахронном измерении.

Такое положение дел давно отмечено лингвистами и семиотиками; так, Ю. Д. Апресян справедливо констатирует, что «язык активно используется властью как средство ограничивающего (рестриктивного) воздействия. Он может восприниматься властью как самостоятельный рестриктивный механизм, требующий постоянного вмешательства и контроля. Это, в частности, реализуется в именовании, в отстаивании определенных названий, переименовании, творении новых имен и т. д.» [4] Р. Барт считает, что власть, скрытая в языке, связана прежде всего с тем, что «язык – это средство классификации и что



всякая классификация есть способ подавления: латинское слово *ordo* имеет два значения: «порядок» и «угроза» [5].

Как любой элемент концептуальной картины мира, концепт «закон» подвергся динамике в диахронном представлении того или иного этноса о правопорядке. Правосознание древних англосаксов (VI–IX вв.) неуклонно развивалось вместе с динамикой, совершенствованием и усложнением разнообразных и разветвленных отношений между представителями все сильнее социально дифференцировавшегося населения Британских островов. Вектор лингвосемиотического развития правовой концептосферы неуклонно разворачивался от наивных интерпретаций права (наивной картины мира) ко все более усложняющемуся смысловому содержанию правовых взаимоотношений социума.

Как отмечает И. В. Палашевская, «в наивно-языковом понимании “юридический закон” рассматривается как *нормы и правила* поведения, т. е. как руководящее начало, управляющее поведением личности, другими словами – своего рода социальный знак того, что каждый из нас вправе и не вправе что-то делать, что-то совершать, основание для отличия дозволенного от недозволенного» [6]. Право, понимаемое пра-обществами в виде правила поведения для обеспечения собственного выживания в суровом и жестоким природном локусе, как раз и составляло краеугольный камень суровых взаимоотношений на фоне не менее сурового существования. Так, толковый словарь английского языка [7] дает развернутую дефиницию закона (*law*), в которой мы выделили правило (*rule*) как доминантное (диахронически первичное) значение:

**Law:** 1. **A rule of conduct or procedure** established by custom, agreement, or authority. 2. **a. The body of rules and principles** governing the affairs of a community and enforced by a political authority; a legal system: *international law*. 3. **A set of rules or principles** dealing with a specific area of a legal system: *tax law; criminal law*; <...> 10. **A code** of principles based on morality, conscience, or nature; 11. **a. A rule** or custom generally established in a particular domain: the unwritten laws of good sportsmanship. **b.** A way of life: *the law of the jungle*.

Из выделенных жирным шрифтом определенных выводятся две ключевые семиотические составляющие, определяющие понимание закона с точки зрения носителей наивного языкового сознания: закон – обязательное правило, норма для всех; закон предполагает наличие власти, которой он создается и поддерживается. Благодаря наличию указанных компонентов, закон выступает как выражение порядка или гармонии различных форм социальности. Интерпретация вы-

деленных компонентов варьируется в зависимости от типов общественных образований, регулируемых законом, и природы представляемых законом форм социальности. При этом закон выступает, прежде всего, как семиотический феномен означивания чувств, ассоциирующихся с правами и обязанностями, заключенными в тех или иных законах: не случайна лингвосемиотическая ассоциация законности «дух и буква закона», знаково закрепляющая требование его соблюдения.

Представление о законе как норме или правиле, а также его взаимосвязи с властью, определяющей императивный характер закона, является константной понятийной моделью во всех культурах, которая нагружается специфическими для той или иной культуры конвенциональными значениями, определяющими характер самих правил и их взаимосвязи с властными структурами. Однако наряду с константными представлениями всегда существуют в пределах одной культуры представления, делающие данный концепт специфичным, отличающим его от аналогичных концептов в других культурах, в силу чего такие представления можно назвать вариативными.

Следует заметить, что специфика становления закона как нормы и правила, возникающая в результате варьирования их формулирования от этноса к этносу, так или иначе восходит к общему семиозису магического ритуала подчинения социума существующей власти, сакрализирующего ее проявления, возводящего власть в статус «божественного праводержца». В этом отношении нельзя не согласиться с мнением Е. Г. Бруновой, замечаящей, что «полифункциональность ритуала и культурный вектор его развития позволяют считать ритуал знаковой системой, своего рода – пред-языком, поскольку в нем используются не только языковые средства. Семиотическая система дописьменных культур, представленная в ритуале, принципиально отличается от более поздних семиотических систем: каждому элементу природного и культурного окружения человека придавался особый знаковый смысл, находивший свое выражение в мифах, фольклорных текстах и других явлениях культуры... Магический ритуал целесообразно рассматривать как универсальный сценарий, пронизывающий все сферы жизни архаичного коллектива: *он обеспечивал стабильность религиозно-правовой сферы* (курсив мой. – И. Я.), а также регламентировал охрану от внешнего врага и производственно-экономическую деятельность, что вполне соответствует трем социальным ролям древнего общества (жрец, воин и труженик)» [8]. Для англосаксонского ритуала, в семиотике которого, в конце концов, сформировалась система разно-

образных взаимоотношений власти и социума, характерно, что его отличительной чертой явилась одновременная двунаправленность – к «своему» и «чужому» адресатам, которая установила «запрет на борьбу среди «своих», удерживает их в замкнутом сообществе и отграничивает данное сообщество от других групп, т. е. от «чужих» [9].

Обратившись к фактам британской истории, зафиксированным в свидетельствах просвещенных авторов (например, к «Germania» – труду древнеримского историка Тацита), можно утверждать, что уже у древних англосаксонских племен, пришедших на острова с континента, имелась весьма разработанная и успешно функционировавшая правовая система. Так, в частности, историк отмечает, что правовому анализу подвергались различные по сложности правовые прецеденты, причем несложные в правовом отношении дела рассматривались вождями племен, сложные – «всем миром» (социумом); в то же время окончательный вердикт (особенно касающийся телесного наказания, ссылки или казни за тяжкое преступление) выносился вождем в совместном заседании с советом племени. В коммуникативном отношении семиотика законопорядка не имела письменной формы вплоть до VI в.

Средневековый период развития архаических англосаксонских правовых установлений (законы кентских королей VI–VII вв., законы Альфреда Великого IX в., законы Эдуарда Старшего, сына Альфреда, совместный договор Альфреда, Эдуарда и датского короля Гутрума в X в.; восьмой век не был отмечен законотворчеством) характеризовался все более нарастающим влиянием церковных норм на правоприменительные нормы, что, безусловно, связано с интенсивным обращением этноса в христианство; при этом первоочередное внимание уделялось правовому регулированию четырех основных социальных отношений или юридических функционалов – оскорбление церкви или преступление против церкви (а через эти деяния – оскорбление Бога), насилие над человеком, нелегитимное отношение к его собственности и его противозаконное отношение к власти. В диахронической перспективе семиотика и аксиология каждого из этих четырех функционалов стремительно менялись в связи со сменой моделей государственности и изменением политических формаций, причем с VI в. правовая коммуникация приобрела письменную форму, что зафиксировано в лингвистическом правовом пространстве англосаксонских правовых документов в указанных хронологических рамках VI–XI вв.

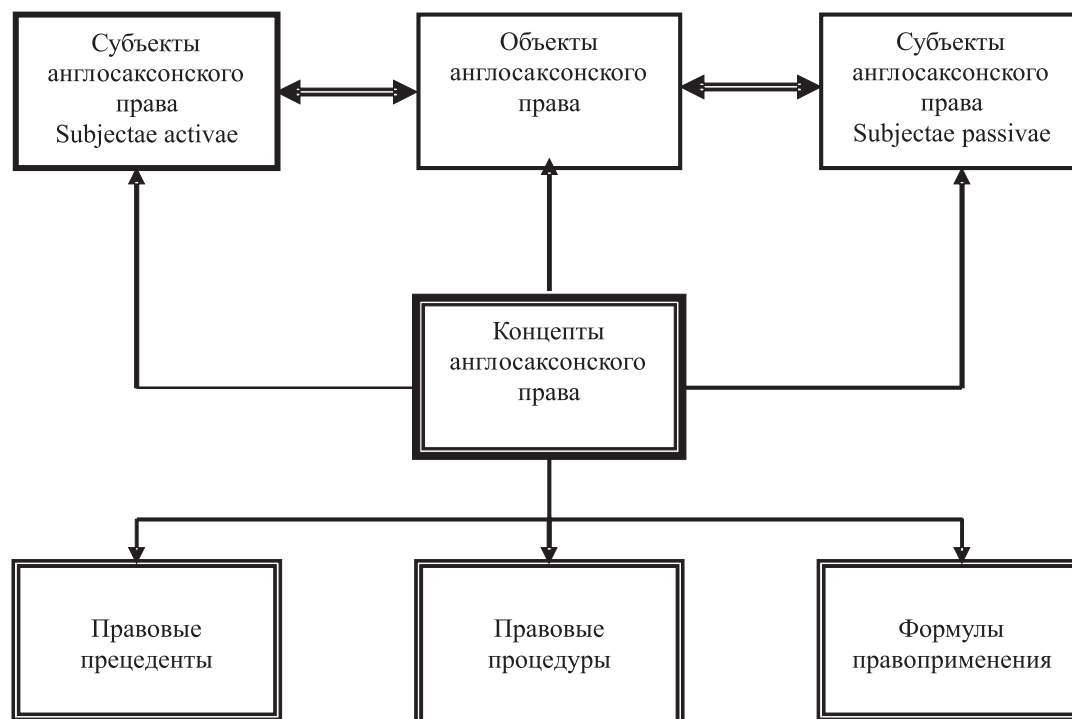
Законы кентских королей (Этельберта и др.) были написаны в то время, когда большая часть Англии была еще языческой; они представляли

собой, в основном, тарифы на штрафы за членовредительство. Анализ позволяет выделить лексические знаки, репрезентирующие преступные действия, направленные против человека. Так, выделенные нами в текстах законов номинации репрезентируют действия, наносящие вред телу человека (*do lyswe* (evil), steal, slay, *do wegreaf* (robbery), *make feahfang* (fighting, slay, strike off/out, pierce, mutilate, injure, break, stab, disfigure, strike on with a fist, give a bruise, wound, destroy, cut off и др.), и виды наказаний в форме денежных компенсаций: *bot* (= compensation for an injury or wrong, to the man himself), *dribtinbeab* (= compensation to the lord for killing a freeman), *wite* (= contribution in money or food to sustenance of king or his officers), *wergeld* (= the legal money equivalent of a person's life to the kin for slaying a man).

В VI–VII вв. содержание законов указывает на антропоцентричность мира англосаксов: основное наказание налагалось за преступления против личности, что свидетельствует о том, что человек ценился более имущества. Общество было военизированным, и членовредительство наносило существенный урон потерпевшему как воину, а также опустошало ряды защитников общины. Кроме того, неприятие членовредительства, возможно, определялось отголосками язычества как нарушение целостности тела (с чем связана и боязнь порчи, сглаза и т. п.). Общинный строй смещал фокус ценности к человеку, так как земля и прочее имущество пока не представляли личной ценности (они были общие) и не были объектом права. В слабо иерархизированном сообществе даже предметы роскоши обладали коннотацией общедоступной ценности, переходя от вождя к воинам-дружинникам (например, дарение колец).

В ходе англосаксонской истории под влиянием крепнущей государственности на территории Британских островов лингвистическая семиотика права стала складываться в полноценную правовую систему, оказавшуюся инструментом социальной экспликации институциональности, номинированную обширными пластами языковых знаков, постепенно структурировавшуюся в соответствии с формирующимся и распадающимся англосаксонским социумом. Наше исследование этого процесса дало возможность выявить лингвистические элементы этой системы и построить типологию правовых англосаксонских номинаций, отражающих иерархию концептосферы права, вербализованной в правовых документах раннесредневекового периода развития англосаксонского государства. Схематическая типология таких номинаций может быть отражена в следующем виде (см. рисунок).

Как следует из схемы, в центре типологии располагаются концепты англосаксонского законопорядка как ядро правового сознания англосаксов,



Типология правовых англосаксонских номинаций

с течением времени образовавшие концептосферу права. Концептосфера правопорядка имеет трехчастную структуру и представлена равноуровневыми концептами смыслового содержания, различающегося по своим предметным, образным и аксиологическим признакам: 1) в основе концептосферы располагаются метаконцепты правопорядка, вокруг которых концентрируются их интерпретирующие или дополняющие ментальные сущности, рефлектирующие представления англосаксов о государстве, институциональности, власти и безопасности бытия социума в целом. К ним относятся институционально ориентированные метаконцепты, определяющие средства и способы достижения правовой сбалансированности в обществе; 2) концептами, дефинирующими нарушения такой сбалансированности и, соответственно, оказываемыми объектом правоприменения, в англосаксонской правовой концептосфере оказались ментальные сущности, семиотически очерчивающие угрозу институциональности. Они вербализованы как номинации преступлений, их видов, нарушений закона, девиациями аморального, угрожающего институциональности свойства и в целом социально опасного характера; 3) наконец, концептосфера правопорядка англосаксонской лингвокультуры представлена концептами, семиотически фиксирующими последствия нарушений правовой сбалансированности как угрозы институциональности.

Следует обратить внимание на тот факт, что лингвосемиотика правовой концептосферы англосаксонского социума фиксирует явное рассло-

ение права на уголовное и гражданское: в центре правоприменения мы обнаруживаем концепты, которые отражают как аксиологию преступления против Бога, власти и бытия человека, так и аксиологию межличностных отношений в сфере производства, матримониальных отношений, наследования имущества, земельного владения, правообладания и проч. Таким образом, уже в VI–VIII вв. в лингвосемиотической системе правоприменения англосаксов фиксируются такие номинации, которые, пережив века, легли в лингвосемиотическую основу современной правовой системы англоязычного мира.

#### Примечания

1. Палашевская, И. В. Концепт «закон» в английской и русской лингвокультурах [Текст] : дис. ... канд. филол. наук / И. В. Палашевская. Волгоград, 2001. С. 28.
2. Красных, В. В. Основы психолингвистики и теории коммуникации [Текст] / В. В. Красных. М., 2001. С. 66.
3. Маслова, В. А. Лингвокультурология [Текст] / В. А. Маслова. М., 2001. С. 66.
4. Апресян, Р. Г. Сила и насилие слова [Текст] / Р. Г. Апресян // Человек. 1997. № 5. С. 135.
5. Барт, Р. Риторика образа [Текст] / Р. Барт // Избранные работы. Семиотика. Поэтика / пер. с фр. М.: Прогресс, 1994. С. 548.
6. Палашевская, И. В. Указ. соч. С. 32.
7. The American Heritage Dictionary of the English Language [Text] / © 1996 by H. Mifflin Company.
8. Брунова, Е. Г. Архаичные пространственные отношения в англосаксонской языковой модели мира [Текст] : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Е. Г. Брунова. М., 2007. С. 15.
9. Там же.

**АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ  
КВАЛИФИКАЦИИ ФЕ В СОСТАВЕ  
ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП,  
ОБОЗНАЧАЮЩИХ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  
(НА МАТЕРИАЛЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ФЕ  
С СЕМАНТИКОЙ ПОВЕДЕНИЯ В РУССКОМ,  
АНГЛИЙСКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ)**

В данной статье рассматриваются возможности систематизации глагольных ФЕ, обозначающих поведение человека, с позиций деонтической и ценностной картин мира, раскрываются особенности выявления оценочного компонента на основе применения модальной рамки, приводятся примеры. Акцент делается на фразеологизмах с положительной квалификацией. В статье также излагаются отдельные результаты исследования и выводы относительно некоторых ценностных ориентаций русской, английской и татарской лингвокультур.

The present article deals with the possibilities of systematization of verbal phraseological units designating man's behaviour from the positions of the world's picture of norms and values. It reveals the main features of the evaluating component on the basis of application of a modal frame; examples are given. Emphasis is laid on phraseological units with positive qualification. The article also produces results of the research and conclusions concerning some valuable orientations of the Russian, English and Tatar linguistic cultures.

В связи с тем, что на данный момент развития языкознания лингвоаксиологический аспект изучения языковых единиц выделился в отдельное направление лингвистики, правомерным представляется подход, согласно которому современный уровень исследования лексики, семантики, текста, дискурса требует того, чтобы оценочность вычленилась из родственных и близких, но не тождественных ей лингвистических явлений, что позволит более объективно взглянуть на суть языковых фактов [1].

Глагольные ФЕ с семантикой поведения человека обладают повышенным оценочным потенциалом, поскольку поведение является социально оценочной категорией. По своей природе и функции подобные фразеологизмы являются языковыми экспонентами представлений о ценностной и деонтической картинах мира. Фразеологизмы сами по себе уже содержат «большой объем дополнительной информации о характере поступков, поведении человека» [2]. Вместе с тем «человеческий поступок представляет собой такую языковую реальность, которая воплощает в себе важные ценностные установки: это тот поведенческий ориентир, который формирует всю человеческую жизнь, состоящую из поступков моральных и амораль-

ных, смелых и трусливых» [3]. Преобладающее количество ФЕ, обозначающих поведение человека, имеет не столько номинативную, сколько оценочную функцию. Ее природа заключается в отрицательной или положительной квалификации той или иной социально значимой линии, манеры поведения человека, характера его действий, поступков, образа жизни или результата деятельности.

Абсолютное большинство ученых говорит о преобладании отрицательной оценочности над положительной (А. Д. Райхштейн, А. В. Кунин, Л. И. Ройзензон, Ю. А. Гвоздарев, В. Ф. Петренко, В. И. Шаховский, Е. Ф. Арсентьева и др.), что проявляется в общей семантической асимметрии фразеологической системы, а именно сдвига в сторону отрицательных значений. Однако данный факт не должен снижать интереса к изучению положительной оценочности ФЕ, поскольку мелиоративная семантика фразеологизмов также вызывает интерес.

Цель статьи состоит в том, чтобы раскрыть возможности практического использования одного из способов анализа оценочности языковых единиц, в частности приема модальной рамки (Е. М. Вольф, В. Н. Телия) для рассмотрения глагольных ФЕ, обозначающих поведение человека и обладающих положительной квалификацией, в сопоставительном аспекте. Применение модальной рамки имеет широкие возможности для описания оценочного компонента ФЕ и может применяться как для описания единичных ФЕ, так и для фразеосемантических групп и подгрупп.

Возможным представляется, к примеру, рассмотрение целого блока ФЕ с *положительной* квалификацией со значением «*соблюдения моральных, этикетных и правовых норм*». Данный базовый блок в качественном и количественном отношении отличается от блока с отрицательной квалификацией со значением «*несоблюдения или нарушения моральных, этикетных и правовых норм*». На количественном уровне существенно расходится число фразеосемантических групп и их наполняемость подгруппами и фразеологическими оборотами. На качественном уровне расходятся сами выделяемые фразеосемантические группы (не всегда будут выступать в качестве прямых антонимичных оппозиций), интегральные семантические признаки, положенные в их основу.

Положительный оценочный компонент объектно может быть описан с помощью модальной рамки следующим образом: «субъект оценки *X* считает, что признак *Z* (этическое, нравственное, соответствующее моральным нормам поведение) объекта *Y* является хорошим с точки зрения нормы *N* (соблюдение норм обществен-

ной морали, этикета и закона) и в соответствии со шкалой ценности **Q**».

Как и отрицательный блок, блок с положительной квалификацией связан с оценкой поведения в соответствии с параметрами соблюдения **этикета** (*кланяться в ноги кому, снимать шляпу перед кем-л., встречать с распростертыми объятиями кого-л.; play host, do the civil, keep up appearances, pay one's respect; туфракка йөз ору, бил бөгеп сәламләү әдәп киртәсенә сью, икмәк-тоз белән каршылау, сый-хөрмәт күрсәтү*) **моральных** (*держат свое слово, стоять на правильном пути, держаться подальше от греха, взяться за ум, держать себя в рамках приличия, не позволять себе лишнего, знать совесть, знать свое место, держать марку; be good as one's word, play fair, deliver the goods; әйткән сүздә тору, анттында тору*) и **правовых норм** (*стоять на своем посту; eat an honest penny, be on the right side of the law; закон тому, законлы дип танылу*).

Поведение, связанное с соблюдением моральных и правовых норм, конкретизируется в более узких зонах, что служит основанием для выделения фразеосемантических групп, обозначающих тот или иной положительный тип поведения человека. Фактический материал позволил выделить не менее 15 групп с мелиоративной квалификацией: «положительный результат деятельности, действовать успешно», «сдержанное, терпеливое поведение», «стойкое, мужественное, решительное поведение», «поведение, направленное на оказание помощи, спасения», «нравственный, правильный образ жизни или линия поведения», «самостоятельное поведение», «поведение, направленное на оказание положительного влияния», «осторожное, осмотрительное поведение», «поведение, характеризующееся внимательным, вежливым отношением», «поведение, характеризующееся трудолюбием, усердием, энергией, энтузиазмом», «поведение, характеризующееся ответственным, преданным отношением» и др. Поскольку в рамках данной статьи не представляется возможным дать детальное описание каждой из групп, ограничимся подробным описанием некоторых из них.

К примеру, оценочный компонент фразеосемантической группы «**стойкое, мужественное, решительное поведение**» (14 ФЕ в русском, 63 ФЕ в английском, 23 в татарском) может быть представлен в виде следующей декларативной записи: «субъект оценки **X** считает, что признак **Z** (решительное, храброе поведение) объекта **Y** является хорошим с точки зрения нормы **N** (не отступать перед трудностями, действовать собранно, смело, энергично) и в соответствии с ценностной шкалой **Q**, на которой подобные признаки выступают в роли ценных моделей поведения».

Глагольные ФЕ объединены на основе следующих значений:

- не испытывать страха, проявлять стойкость, мужество: *смотреть смело в глаза чему, стоять грудью, не опускать голову перед трудностями, твердо стоять на ногах; carry a stiff upper lip, put on a brave face, present a bold front, come up smiling, stand foursquare to all the winds; батырлык күрсәтү, бөгелеп төшмәү, куркынныһ ни икәннен белмәү, тау кебек тору, үзенне кыю тоту, ут басып йөрү, авырлыкларга баш имәү, аякта нык басып тору;*

- вести себя решительно, энергично: *выдерживать характер, брать быка за рога, поднять голову, землю рыть; come it strong, draw the sword and throw away the scabbard, fight like a lion, take the bull by the horns, put on the beat, go full steam ahead, hit the ground running, grasp the nettle, take the plunge, fire a shot, put one's shoulder to the wheel, bounce like a ball; үзгән мөгезеннән эләктеү, чапкан жирдән өзү, тоткан жиреннән сыйдыру.*

Фразеосемантическая группа с интегральным признаком «**поведение, характеризующееся внимательным, вежливым отношением**» объединяет 16 ФЕ в русском, 20 ФЕ в английском, 47 ФЕ в татарском языке. Положительная оценочность может быть представлена с помощью модальной рамки следующего вида: «субъект оценки **X** считает, что признак **Z** (учтивость, обходительность, уважительное отношение) объекта **Y** является хорошим с точки зрения нормы **N** (соблюдение общепринятых норм этикета и общественной морали, уважение к личности другого человека) согласно шкале ценностей **Q**, где вышеперечисленные признаки представляются социально одобряемыми». Выделяются подгруппы:

- отнестись с уважением, любезностью, почтением, доброжелательно, терпимо: *встречать как друга, явиться с почтением, do the polite, do one's devoirs, do well by smb., pay homage to smb, pay one's respects to smb., sit at smb.'s feet, hold smb. in reverence, адәмгә санау, авызына карап йөрү, тиңән хөрмәт белән карау, жөп табу, зур дәрәжә күрсәтү;*

- отнестись радушно, приветливо, гостеприимно: *принимать (встречать) с распростертыми объятиями, do the honours, throw open the door to smb., welcome smb. with open arms, extend a hand of friendship, keep open house, ачык чырай белән каршы алу, биш куллап каршы алу, кочак жәен каршы алу, йөз күрсәтү, дошман итмәү, хуш күрү, кунак итү, дус күрү, сый-ризык күрсәтү;*

- отнестись с вниманием, участием, заботой: *поворачиваться лицом, делить горе с кем-л., ухаживать как родная мать, беречь как зеницу ока, handle smb. with gloves, башыннан сыйнау,*

ак бәхетләр теләү, хәлене керү, үз канаты астына алу, шәфкать күзе салу, йөзне бору, ике күз кебек саклау;

• отнестись с благодарностью: не остаться в долгу, отдать должное, *give smb. credit, do smb. justice*, буш итмәү, бурычлы булып калмау, рәхмәт уку.

Отдельные фразеологизмы достаточно сложно распределить в группы в силу их немногочисленности или семантической сложности: *выкурить трубку мира, smoke the pipe of peace, hold the scales even (true)* (быть справедливым, непредубежденным, судить беспристрастно), *cast one's bread upon the waters* («отпускать хлеб по водам», т. е. делать добро, не ожидая благодарности), *heap coals of fire on smb.'s head* (притыднить кого-либо, отплатив добром за зло, обезоружить великолепием) и др.

Нередки случаи энантиосемии в мотиве оценки. Так, ФЕ *to be an eager beaver* в зависимости от наблюдаемых свойств и целей поведения будет реализовывать различную оценочность (и соответственно относиться к блокам с положительной или отрицательной квалификацией). В первом значении «стараться, относиться к работе с энтузиазмом, быть работягой, трудягой» содержатся исключительно положительные семы. Однако при выходе данного признака из допустимой нормы (несоблюдение, отклонение от нормы) возникает оценка пейоративная, которая сопровождается коммуникативной целью пренебрежительного отношения к ретивому работнику, пытающемуся выслужиться перед начальством.

При сравнении анализируемого блока с противоположным по оценочной семантике блоком проявляется следующая специфика. Фактический материал явно свидетельствует об отмечаемой многими лингвистами асимметрии фразеологической системы – сдвига в сторону отрицательных значений. Соотношение отобранных ФЕ (общим количеством не менее 3824 единиц) для блоков с отрицательной и положительной оценочностью передается коэффициентом 3,6, т. е. в блоке с отрицательной квалификацией содержится более чем в три раза больше ФЕ, чем в блоке с положительной квалификацией. Соответственно, оценка дерогативного, ненормативного, неадекватного, безнравственного, неправильного поведения в отличие от оценки правильного, нравственного поведения (которое воспринимается как норма)

инициирует наличие большего количества фразеологизмов.

Наряду с этим проявляются корреляции между противоположными группами блоков. Особенно отчетливо данная закономерность прослеживается на примере английского языка (например, крайние точки в оппозициях: «положительный результат деятельности» – «отрицательный результат деятельности»; «стойкое, мужественное, решительное поведение» – «трусливое, нерешительное, уклончивое поведение»; «сдержанное, терпеливое поведение» – «несдержанное, безрассудное поведение»; «поведение, характеризующееся внимательным, вежливым отношением» – «поведение, характеризующееся презрением, неуважительным отношением»).

Кроме того, можно утверждать, что существенное различие в числе фразеологизмов одной и той же группы разных языков может рассматриваться в качестве некоторого показателя (в определенной степени объективного), так как во фразеологической системе того или иного языка некий образ жизни, линия поведения или поступок человека получили более фрагментарное выражение, более интенсивную представленность, больший эмоционально-оценочный отклик, чем в других языках. В итоге можно сказать, что они являются лингвистически маркированными и позволяют судить о ценностных и антиценностных доминантах (положительной и отрицательной оценках) образа поведения и деятельности членов той или иной лингвокультуры. Следует также подчеркнуть, что полученные статистические данные не противоречат существующим стереотипам об особенностях русской, английской и татарской лингвокультур, их общечеловеческих и национальных чертах, а во многих случаях подтверждают их.

В качестве показателя значимых различий, свидетельствующих о положительных ценностных ориентациях в русском, английском и татарском языках, был принят критерий в 15 единиц. Ценностно значимые признаки поведения заметно проявляются в 5 группах (см. таблицу).

Для блока с положительной квалификацией характерны следующие особенности. В русской лингвокультуре повышенную ценностную значимость несут такие формы поведения, как 1) «положительный результат деятельности»; 2) «сдержанное, терпеливое поведение»; 3) «поведение,

Группы	Русский	Английский	Татарский
Положительный результат деятельности	42	58	56
Стойкое, мужественное, решительное поведение	14	63	23
Нравственный, правильный образ жизни или линия поведения	15	28	38
Осторожное, осмотнительное поведение	14	35	29
Внимательное, вежливое поведение	16	20	47

направленное на оказание помощи, спасения». Большую ценность, чем в английском и русском языках, в татарском языке представляют следующие линии поведения: 1) «поведение, характеризующееся внимательным, вежливым отношением», также 2) «нравственный, правильный образ жизни». В английском языке максимально дифференцированной, ценностно значимой из всех групп представляется такой тип поведения, как «стойкое, мужественное, решительное поведение». Также значимы: 1) «осторожное, осмотрительное поведение», 2) «сдержанное, терпеливое поведение», 3) «самостоятельное поведение».

Точками соприкосновения в татарском и английском являются: 1) положительный результат деятельности; 2) «поведение, направленное на оказание положительного влияния». Близкими оказались: 1) «поведение, направленное на оказание помощи, спасения», 2) «осторожное, осмотрительное поведение». Сходными в татарском и русском выступают: 1) «сдержанное, терпеливое поведение» и 2) «самостоятельное поведение». Во всех трех языках сходство в дифференциации поведенческих образцов наблюдается в группах: 1) «трудолюбивое, усердное поведение», 2) «ответственное, преданное поведение», 3) «послушное поведение» и др.

Несмотря на дальнеродственность русского и английского языков, большие сходства обнаруживаются в русском и татарском языках, что, вероятно, объясняется сосуществованием данных языков и культур на одной территории, их взаимодействием, разнообразными связями и взаимовлияниями, распространенным билингвизмом, многочисленными фразеологическими заимствованиями и кальками в основном с русского. В то же время обнаруживаются некоторые вышеуказанные близкие черты в русском и английском, английском и татарском языках.

В заключение следует подчеркнуть, что «язык хранит информацию о жизни ментального мира, т. е. о том, как человек воспринимал мир, постигал окружающую действительность, осознавал себя, свою роль, место в ней» [4], а содержащаяся в составе ФЕ этнокультурная информация дает основание определить национально-культурные приоритеты народа через языковые символы, стереотипы, эталоны в составе идиоматики [5].

Таким образом, оценочность в составе значения фразеологических единиц – интересный и сложный феномен, объективное существование которого определяется рядом причин внеязыкового и лингвистического характера. Отражая общие тенденции актуализации и реализации категории оценки, оценочность фразеологизмов имеет свои особенности, связанные с семантической и структурной спецификой фразеологизма как языковой единицы.

#### Примечания

1. Голованевский, А. Л. Оценочность и ее отражение в политическом и лексикографическом дискурсах [Текст] / А. Л. Голованевский // Филологические науки. 2002. № 3. С. 68.

2. Артемова, А. Ф. Коннотативный аспект семантики фразеологических единиц [Текст] / А. Ф. Артемова // Актуальные проблемы современной семасиологии: межвуз. сб. науч. тр. Л.: РГПУ, 1991. С. 12.

3. Бушуева, Л. А. Межкультурный аспект в именах поступков (на материале русского и английского языков) [Текст] / Л. А. Бушуева // Язык, культура, общество: тез. докл. Междунар. науч. конф. М., 2007. С. 168.

4. Феоктистова, А. Б. Культурно значимая роль внутренней формы идиом с позиций когнитологии [Текст] / А. Б. Феоктистова // Фразеология в контексте культуры. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 176.

5. Ворокова, Н. У. Национальная культура в идиоматике [Текст] / Н. У. Ворокова. Нальчик: Политграф-сервис и Т, 2003. С. 120.

## ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

### Русская литература

Ф. А. Боцьева

#### «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» НА ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ (К ВОПРОСУ ВОССОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ ПОДЛИННИКА)

Автор статьи рассматривает проблему передачи элементов национальной специфики в переводе, анализирует возможность передачи сложной композиции романа «Евгений Онегин» на осетинском языке.

The author of the article considers a problem of the translation of national peculiarities' reproducing and analyses the opportunity of knotty composition expressing in the "Eugene Onegin" in Ossetian language.

Основная цель художественного перевода заключается в передаче художественно-эстетических достоинств оригинала, в создании полноценного художественного произведения на языке перевода. Об этом писали и пишут многие теоретики перевода. Но «полное взаимопонимание между представителями разных культур, говорящих на разных языках, принципиально невозможно» [1], так как помимо идейного, смыслового, уровня в переводе нужно отразить также лексические, эмоционально-ритмические компоненты оригинала.

В силу «разнокачественности языкового материала» (термин, предложенный Н. Джусойты) переводчику приходится мириться с некоторыми потерями, но при этом «нужно уметь точно угадать границы допустимого в потерях, а потерянное компенсировать с максимальным тактом» [2]. А. В. Федоров, ставя вопрос о непереводаемости национальных реалий, пишет: «Когда... говорится... о непереводаемости, весьма часто имеются в виду названия национально-специфических реалий, передача которых, несомненно, составляет одну из больших, хотя, как свидетельствует опыт, преодолеваемых разными способами трудностей» [3]. Действительно, в последнее время сужается круг явлений, которые казались непереводаемыми на другой язык. Даже для перевода каламбуров и идиоматических выражений болгарские ученые С. Влахов и С. Флорин предлагают раз-

личные способы решения. Но все же в переводческой практике, как отмечают болгарские ученые, довольно часто наблюдается явление, когда образы подлинника искажаются «в результате замены национальных и исторических реалий не свойственными ему реалиями» [4]. Таким образом, проблема воссоздания национальной и исторической специфики подлинника по-прежнему актуальна.

Проблема отображения национальной специфики и ритмико-интонационных особенностей оригинала при переводе стихотворений с русского языка на осетинский не менее актуальна, чем при переводах с национальных языков на русский. Конечно, многое из русского быта, в силу исторически сложившейся общности осетинского и русского народов, кажется для осетинского читателя привычным. Но зачастую в осетинском языке не бывает эквивалента для обычных, казалось бы, слов.

Кроме того, в стихотворном тексте важной составляющей перевода является и композиция произведения, и потому «каждому переводчику в высшей степени желательно сохранить не только прямой смысл, но и строй стиха, его ритмический рисунок» [5].

На примере перевода Г. Кайтуковым романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» мы проследим, как решаются эти проблемы.

Роман «Евгений Онегин» – роман-импровизация. Эффекта непринужденного разговора с читателем А. С. Пушкин добился выразительными возможностями четырехстопного ямба (излюбленного пушкинского размера) и гибкостью онегинской строфы, включающей 14 стихов четырехстопного ямба со строгой рифмовкой AbAb CCdd EffE gg (прописными буквами обозначены женские клаузулы, строчными – мужские). Вместе с тем это не сонет: I и II катрены не имеют сквозной рифмовки, у каждого катрена своя система рифмовки (перекрестная, кольцевая, парная), заканчивается строфа двустипшием с парной рифмой. Онегинской строфой написан весь роман, за исключением некоторых вставных элементов (письма Татьяны и Онегина, песня девушки).

Кроме того, строфа является единицей композиции. Каждая строфа – законченное по смыслу и форме маленькое произведение, являющее-



ся определенным элементом в движении сюжета. Правда, есть строфы, которые как бы не закончены, их окончание переносится в следующую строфу. Но этот прием автор использует, чтобы привлечь внимание читателя к тому или иному действию (например, «бегство» Татьяны в третьей главе).

Казалось бы, не найдется мастера, способного передать такую сложную композицию на другом языке. Но Г. Кайтукову удалось передать не только размер произведения, но и сложную схему рифмовки, а также четкое чередование клаузул. Более того, переводчику удается почти всегда соблюдать эквивалентность. Такое мастерское владение ритмикой стиха встречается крайне редко.

Но вместе с тем бывают случаи, когда некоторые слова русского языка, не имеющие точного эквивалента, переводятся поэтом не совсем точно. Так, например, первая строка I главы «Мой дядя самых честных правил...» переводится «Хæрзæгъдау йе'фсымæр – мæ фыдæн» («Очень воспитанный брат моего отца»). Действительно, в осетинском языке нет слова «дядя» в общем значении, как в русском. Значение слова конкретизируется: «брат матери» или «брат отца» («мады'фсымæр», «фыды'фсымæр»). Но вообще выбор словосочетания «брат отца» более удачен, так как получение наследства, в большинстве случаев, было возможно по линии отца.

Скрупулезный анализ всего романа, строка за строкой, невозможен в пределах данного исследования, поэтому мы рассмотрим лишь ключевые сцены.

Подчеркивая непрочность дружбы Ленского с Онегиным («от делать нечего друзья») Пушкин рисует, насколько они разные, соединяя попарно как однородные совершенно разные качества («волна и камень», «стихи и проза», «лед и пламень»).

У Г. Кайтукова все эти качества перечисляются по порядку, не объединяясь в парные однородные члены предложения. Эффект противопоставления от этого несколько ослабляется:

*Æскодта дзы æмбал йæхицæн.  
Нæ фæжæныц кæрæдзæ хицæн  
Æмдзæвгæ, прозæ, их, стæй зынг,  
Дур, донь улæн, уыйау тынг* (34) [6].

(«Сделал его своим другом. / Не бывают такими разными / Стихотворение, проза, лед, пламень, / Камень, волна»).

В роман входит изображение культуры, рожденной в недрах русской нации. Она включала в себя быт, нравы, фольклор деревенского простонародья, которые входят в роман, прежде всего, в образе Татьяны Лариной. Описывая внешность Татьяны, Пушкин пишет:

*Ни красотой сестры своей,  
Ни свежестью ее румяной  
Не привлекла б она очей* (47) [7].

У Г. Кайтукова немного различаются характеристики:

*Йæ хойау конд, уындай æцæг  
Йæхимæ уый æттын нæ уыди  
Лæджы æрбакæсынгæнæг* (39).

Так, в переводе говорится не о «свежести румяной», а о «фигуре». Кроме того, строка «Не привлекла б она очей» переводится длинным словом «æрбакæсынгæнæг», которое, хотя и близко по значению пушкинскому выражению («привлекающая внимание»), все же выбивается из ритмического строя всего отрывка и тем самым нарушает легкость повествования, присущую пушкинской строфе.

Сцена обсуждения Ленским и Онегиным двух сестер передана переводчиком настолько удачно, что чувствуются даже интонации пушкинских строк:

*«Кæнын дис, – кæсдæр у дæ уарзон!»  
– Æмæ цы? – «Не 'взарин æй, базон, –  
Поэтыл к'уаин æз нымæд,  
Йæ цæсгом Ольгæйæн – æдзард  
Вандиковы Мадонæ – мæнæ...»* (С. 49).

(«Я удивляюсь, – младшая твоя возлюбленная! / – И что? – «Не выбрал бы ее, ты знай, / – Если бы почитался поэтом, / Лицо Ольги безжизненно / Вандикова Мадонна – точь-в-точь...»)

Даже переносы, употребленные Пушкиным, передаются и в переводе.

Большой удачей можно считать перевод «Письма Татьяны». Не только содержание и ритмический рисунок, но и перекрестная рифма, чередование женской и мужской клаузул, даже необычная цезура в начале строки передается Г. Кайтуковым с пунктуальной точностью. Правда, во второй строке цитируемого отрывка переводчиком употреблен перенос, которого нет в оригинале. Но это нарушение не ощущается:

*Æндæр!.. нæ, нæ, зæрдæ дæу хоны  
Йæхицæн амæттаг, лыггонд.  
Æрцыдис уый уæлдæр тæрхонь...  
Уый арвы фæнд, – æз дын – ныбонд...»* (С. 61).

(«Другой!.. нет, нет сердце лишь тебя называет / Своей судьбой. / Это свершилось в вышнем суде (совете) / Это воля неба, – я тебе – сужденая...»)

Правда, здесь, как и в строфе, повествующей о встрече Татьяны с Онегиным, Г. Кайтуков допускает важное отступление от оригинала: в письме Татьяны, которая в волнении переходит в письме то на «ты», то на «вы», употребляется только «ты». Онегин при встрече с Татьяной также разговаривает с ней на «ты»:

*«Ныффыстай мæм, кæнын ам уый кой,  
«Нæ ма зæгъ!» – кодта йын ныхас* (С. 70).

(«Ты мне писала, знаю я, / Нет, не скажи!» – говорил он ей»)

В силу особенностей осетинского языка, в котором «вы» означает лишь множественное число местоимения «ты», эту особенность речи персонажей передать было невозможно.

Письмо Онегина Татьяне, как мы уже отмечали выше, является ритмическим отступлением от всего романа, но ритмический рисунок этого отрывка также сложен и разнообразен. После восьмистишия с чередованием кольцевой и перекрестной рифмовки идет 14-стишие со всеми видами рифмовки (AAbCCbdEdEFggF), затем – 10-стишие, система рифмовки которой также сложная (aBaVccDeDe). В 16-стишии первые три четверостишия с перекрестной рифмовкой, а последнее – с кольцевой. Завершает письмо Онегина четверостишие с кольцевой рифмовкой.

Г. Кайтукову удалось передать всю сложную схему рифмовки, нигде он не отступает от оригинала. Вместе с тем во второй строфе вместо слова «постылую» он употребил слово «тыхсынганæг» («мучительную, заставляющую беспокоиться»), которое, помимо того, что не совсем адекватно переводимому слову, выбивается из общего ритмического рисунка, способствует утяжелению ямба, отчего стих звучит не совсем благозвучно:

*Зынарæг ахуырæн бар нæ радтон;*

*Мæ тыхсынганæг сæрибар бон*

*Нæ бафæндыди сафын мæн (С. 163).*

Более удачным, на наш взгляд, является выбор словосочетания «Сæрмæ нæ хæссыс мæн» вместо слова «презренье» в следующем отрывке. Действительно, в осетинском языке нет односложного эквивалента данному слову. Но, хотя вместо одного слова пришлось употребить целое словосочетание, поэту удалось избежать ритмического перебора:

*Сæрмæ нæ хæссыс мæн, – æвдисдзæн*

*Дæуæн дæ сæфыстыр факаст (С. 163).*

(«Ты считаешь ниже своего достоинства общение со мной, – покажет / Твой высокомерный взгляд»).

Хотя отрывок передан не эквилинарно, можно считать перевод вполне адекватным.

Несмотря на некоторые замечания, касающиеся, в основном, передачи лексического значения некоторых слов, скрупулезный, тщательный перевод романа в стихах «Евгений Онегин» можно считать большой заслугой Г. Кайтукова. Переводчику мастерски удалось передать сложную композицию романа, сохранить схему рифмовки. Почти всегда он старается переводить текст эквилинарно. Кроме того, в переводе (за редким исключением) чувствуется пушкинская легкость и непринужденность повествования. Но в ряде случаев, больше внимания обращая на воссоздание

внешней композиции, Г. Кайтуков допускает употребление слов, не совсем адекватных словам перевода; иногда выбирая слишком длинные слова, автор утяжеляет стих, делая его неблагозвучным.

Таким образом, Г. Кайтукову удалось передать в переводе на осетинский язык композицию романа «Евгений Онегин», в большинстве случаев ему удается передать и национальную специфику образов и характеров.

#### Примечания

1. *Комиссаров, В. Н.* Современное переводоведение [Текст]: учеб. пособие / В. Н. Комиссаров. М.: ЭТС, 2004. С. 71.

2. *Джусойты, Н.* Несколько наблевших вопросов [Текст] / Н. Джусойты // Дружба народов. 1978. № 11. С. 264.

3. *Федоров, А. В.* Искусство перевода и жизнь литературы [Текст]: очерки / А. В. Федоров. Л.: Сов. писатель, 1983. С. 183.

4. *Влахов, С.* Непереваемое в переводе [Текст]: монография / С. Влахов, С. Флорин. 2-е изд. М.: Высш. шк., 1986. С. 130.

5. *Джусойты, Н.* Все сущее увековечить [Текст] / Н. Джусойты // Литературное обозрение. 1983. № 8. С. 39.

6. Здесь и далее осетинские тексты цитируются по кн.: *Пушкин, А. С.* Евгений Онегин [Текст]: пер. на осет. язык Г. Кайтукова / А. С. Пушкин. Дзауджикау: Гос. изд-во Северо-Осетинской АССР, 1958. Страница указывается в скобках арабскими цифрами.

7. Текст романа «Евгений Онегин» цитируется по изд.: *Пушкин, А. С.* Полн. собр. соч. [Текст]: в 10 т. Т. 5 / А. С. Пушкин. М.: Изд-во АН СССР, 1957. Страница указывается в скобках арабскими цифрами.

К. А. Деменева

### СИСТЕМА ПЕРСОНАЖЕЙ В КОМЕДИИ А. ВАМПИЛОВА «СТАРШИЙ СЫН»

В статье рассматриваются особенности группировки персонажей в комедии А. Вампилова «Старший сын». Мир семьи Сарафановых, представляющий собой родовую утопию, противопоставлен обществу и существующим в нем нормам. Человек способен обрести гармонию только тогда, когда он включается в род, наполняющий его жизнь вневременными смыслами.

The peculiarities of a character's group in A. Vampilov's comedy "Elder son" are studied in the article. The world of Sarafanov's family, which corresponds the ancestral utopia, is contrasted with society and its norms. Human being is capable of finding the harmony, if he is included into the family, which fills his life with a timeless sense.

Пьеса «Старший сын» занимает особое место в драматургической системе А. Вампилова. Она является одной из наиболее оптимистичных пьес

драматурга и обнаруживает близость к комедии несатирического (шекспировского) типа. Исследователи указывают на архаичность сюжетного построения пьесы, которая определяет ее удаление от проблематики современности. «Старший сын» мыслится как пьеса-притча, выстраивающаяся в общей зоне времен и имеющая крайне мало тематических связей со временем написания (1965–1969 гг.) Тем не менее конфликт пьесы апеллирует к одной из наиболее актуальных проблем современной культуры: противостоянию в человеке индивидуального, семейного (родового) и социального начала. Вампилов делает в «Старшем сыне» основной темой семьи как рода, замкнутой от мира общности людей, видящих действительность сквозь призму единого для них чувства, не просто сходно мыслящих, а наследующих определенный тип мышления. В пьесе показано формирование родовой утопии, в которой человек обретает гармонию с собой и со своим малым миром, надежно отгороженным от внешнего холода. В характерной для комедии положений сцене подслушивания главный герой Бусыгин узнает необходимые для опознания его как сына биографические детали – год, место рождения, имя матери: для Сарафанова этого более чем достаточно («У меня никакого сомнения! Он твой брат! Обними его!» [1]). Постепенно в Бусыгине начинают раскрываться семейные черты, которые окончательно убеждают Сарафановых в том, что он настоящий сын и брат, и предопределяют полное слияние героя с семьей в финале. Катализатором родového чувства является природная склонность Бусыгина к нестандартным поступкам, к отклонению от принятого, дозволенного в социуме типа поведения. В большинстве пьес Вампилова происходит противопоставление двух групп персонажей: веселых («сумасшедших») и серьезных («нормальных»), которые воплощают собой норму и псевдонорму художественного мира соответственно. Обозначенная характерологическая поляризация является одной из имманентных черт образной системы произведений драматурга, позволяющей говорить о единстве поэтики. «Серьезные» персонажи представляют социум как защитную оболочку, призванную минимализировать влияние случайностей. Их субъективность сращена с социальной маской, что предопределяет стандартизированность, усредненность поведения даже при внешней речевой свободе и постулируемой свободе отношений. Ограничения, налагаемые на них обществом, они считают органичными для собственной натуры, поскольку наличие правил и запретов упорядочивает жизнь, снимает необходимость в определении субъективности. В контексте «Старшего сына» «серьезные» персонажи активно претендуют на эталонное поведение,

полагают собственные действия необходимыми и нормативными. Раскрывая секрет Сарафанова его детям, Кудимов остается уверен в собственной правоте: «Ну что же. Уж лучше горькая правда, чем такие вещи» [2]. Данный персонаж обозначен как «серьезный» в одной из реплик Сарафанова: «Э, ее будущий муж – летчик, серьезный человек» [3]. Подобным образом характеризуется и новый супруг матери Нины и Васеньки, которого она предпочла «блаженному» Сарафанову. В отношении себя он употребляет слово «серьезный» только в отрицательной конструкции: «Да... Серьезного музыканта из меня не получилось. И я должен в этом сознаться...» [4]. Показателен тот факт, что наиболее часто данная характеристика появляется в речи Сарафанова, главного идеолога родовой утопии, ее творца: он признает, что параллельно с его воображаемым миром – идеальной фратрией – существует мир, считающий себя единственно реальным, куда ему практически нет доступа, где его специфические ценности не востребованы. Признавая за «серьезными» их претензии на нормативность, Сарафанов осознает, что он не в состоянии солидаризироваться с ними: для них он останется «маленьким человеком», поскольку модус его жизни не соотносим с эталонным. Более того, он понимает, что со стороны данного мира ему могут быть предъявлены претензии, поскольку семейные отношения терпят крах – сначала жена, а затем и дети стремятся покинуть родовую утопию и стать частью нормативной, стереотипной социальности. Так, осуждение высказывает сосед: «Нет, Андрей Григорьевич, не нравится мне ваша новая профессия» [5]. В данной реплике воплощен общий голос социума, который оценивает смену Сарафановым профессии как падение, отторжение от нормативности. Мир «серьезных» выдавливает Сарафанова на периферию жизни (потеря места в филармонии и переход в оркестр, играющий на похоронах и свадьбах), сужает сферу реализации его примирительной философии и устами дочери и младшего сына объявляет героя сумасшедшим: «Нина. И псих! Папа твой псих, и ты такой же»; «Васенька. Сумасшедший! Было лучше, когда ты обо мне не заботился!» [6]. Герой не оказывает сопротивления, поскольку осознает свою чужеродность, неадекватность обществу. У него нет рычагов воздействия на внешний по отношению к семье мир, подчиненный праву успешных – тех, кто обрел собственную субъективность в социальной маске. Его потребность в гармонизирующей силе родовой утопии возрастает, хотя удерживать ее от распада становится непосильной задачей. Взрослеющие дети стремятся выйти из привычного и, казалось бы, исчерпавшего возможности для их дальнейшей самореализации

дома в широкий мир общества. Неизбежный процесс социализации понимается ими вполне традиционно – как создание новой семьи (запланированный брак Нины, любовь Васеньки), а не поддержание и укрепление семьи родительской, которая, выполнив предназначенную ей роль, обречена на умирание. В мире «серьезных» смена поколений происходит болезненно: старшие становятся по отношению к младшим расходным материалом – чувствительные дети Сарафанова, искушаемые возможностями внешнего мира, не способны самостоятельно понять драму покидаемого ими отца, которого в будущем ожидает одиночество. В младших Сарафановых родовая способность к эмпатии еще не развита, ее пробуждают к жизни действия Бусыгина. Желая войти в мир «серьезных», они шли против собственной субъективности, сопротивлялись сближающей силе родовой утопии: «Да так... Ты прав, отца нельзя оставлять. Сегодня я это поняла. И еще я поняла, что я папина дочка. Мы все в папу. У нас один характер... Какой, к черту, Сахалин!» [7]. Социальная норма в художественном мире пьесы – это норма разоблаченная, псевдоэталон, претендующий на роль всеобщего регулятора: двойные стандарты поведения, явленные соседом, механистичная, нечуткая к голосу разнообразной действительности правда Кудимова, жестокий поступок матери, бросившей двоих детей – это детали не знающего сомнений, уверенного в себе социума, который противопоставлен единому телу и духу семьи. «Серьезные» обладают усвоенными в процессе социализации нормативными принципами восприятия мира, способами его освоения, набором оценок, применимых ко всему спектру возможных ситуаций. Мышление Сарафановых гибко, оно соприродно текучести мира, его несводимости к единой универсальной модели. Трезвой оценке действительности, характерной для изображенного в пьесе социума, противопоставлено сарафановское интуитивное приятие жизни, которое воспринимается извне как инфантильность. По существу, «серьезные» персонажи «Старшего сына» – это поглотители: они пытаются внедрить в сопротивляющийся им замкнутый мир семьи собственные представления о нормативном мышлении и поведении, стандарты жизнестроения. Поглотителем выступает весь мир «серьезных» по отношению к родовой утопии: однако потенциальный разрушитель (лжец-деструктор Бусыгин) становится ее ревностным защитником, проявляя в большей степени, чем прямые, кровные наследники Сарафанова, верность семейной идеологии. Пассивность Сарафанова, его позиция непротивления агрессивному внешнему миру, страх перед ним и фатализм в конечном счете делали распад отношений неизбежным. Миру «серьезных» он мог противопоставить толь-

ко собственное видение бытия, ойкуменическую концепцию, всеохватность мышления – слабый голос кларнета, творящего космогоническую музыку. Спасение приходит извне, как сбой в социальной системе, – в кризисный момент появляется импульсивный Бусыгин, который воплощает собой все действенные силы семьи: проникаясь позицией «отца», он находит возможность сохранить семью в целостности, изгнать расхитителей. В нем обнаруживаются черты поведения и мышления, характерные для всех Сарафановых, расподобляющие их с миром «серьезных» – естественность реакций, активность в выражении эмоций, склонность к нестандартному поступку, продиктованному интуитивным пониманием ситуации, не требующему одобрения и приятия со стороны общества. Отличие семьи Сарафановых от окружающих подчеркнуто следующими автохарактеристиками: «быть сумасшедшим», «быть ненормальным», «сходить с ума». В «сумасшествии» Сарафановых проявляется их отказ от рационального постижения необъятной жизни, от солидаризации с миром «серьезных», в котором искажены прямые, непосредственные отношения между людьми, где родство обязательно должно быть кровным – иные формы нарушают принципы сложившейся социальности. Особое отношение семьи к необходимости освоения действительности с помощью рационального разъятия, анализа и с помощью формирования кажущихся алогичными ситуаций, в которых вскрывается суть происходящего (модель поведения юродивого), продемонстрировано в следующей сцене, в которой участвуют все временные и постоянные обитатели квартиры:

«Нина. Надо, чтобы ты не сходил с ума. Сначала думать надо, а потом уже с ума сходить!

Бусыгин. Разве? Уж лучше наоборот. <...>

Сарафанов. А по-моему, Володя прав. Думать, конечно, не лишнее, но...

Нина. Давайте, давайте, оправдывайте его, защищайте. Если хотите, чтобы он совсем рехнулся.

Васенька (поднимается, Нине). Думай сколько тебе влезет, а я не хочу. Я с ума хочу сходить, понятно тебе? Сходить с ума и ни о чем не думать! И оставь меня в покое! (Уходит в другую комнату.) <...>

Сильва. А лучше всего вот что: не думать ни о чем и с ума не сходить. Так оно спокойнее. По-моему» [8].

Выясняя последовательность действий, персонажи формируют поле вариантов единой модели поведения, в которой обязательным компонентом является только «схождение с ума», то есть непосредственная эмоциональная реакция на события, не соотносимая с общественным стандартом поведения. Наиболее ярко она проявляется

в поведении Васеньки, который весь отдается любовному чувству, доходит в нем до предела, – в целом, для Сарафановых характерен подростковый тип реакции на мир, когда не сдерживаемые условностями эмоции находят непосредственное выражение в действиях и речи, поэтому поведение Васеньки является наиболее репрезентативным. Нина, временно принявшая ценности мира «серьезных», являющаяся их голосом в рамках семьи, полагает, что нерациональное поведение позволительно, когда уже произведен анализ и просчитаны все риски, и тем не менее даже она не отрицает необходимости иных, интуитивных форм взаимодействия человека с действительностью. Бусыгин считает более правильным вариант, явленный в его собственном поведении: сначала совершить алогичный поступок, создать интригу, а затем находить приемлемые выходы из нее, рефлексировать над собственными действиями. В данной сцене он обнаруживает близость к Колесову («Прощание в июне») и Зилову («Утиная охота»): осмыслению жизни и погружению в себя предшествует иррациональная активность героя – однако эта близость не означает тождественности, поскольку налицо разница судеб. Сарафанов соглашается с Бусыгиным, который ближе, чем родные дети, подходит к пониманию его выстраданной философии: он признает ценность рационального мышления, но оно для него несоотносимо с всемогуществом чувственного притяжения жизни, с верой в бытие как в доброго справедливого бога. Отсюда недоговоренность фразы: за тем, что принимается людьми за сумасшествие, стоит нечто невыразимое словами – дословесная, чистая сущность, лежащий вне суетности обыденного мира дух первоединства. Лишь один персонаж отрицает обязательность и необходимость «схождения с ума» – Сильва, не способный войти в семью Сарафановых, не имеющий общих с ее членами черт характера. Ему не свойственна рефлексия («не думать ни о чем»), однако он неизменно стремится рационально объяснить поведение окружающих – в проникновении в квартиру Сарафановых он видит криминальный смысл: «Слушай, что ты опять придумал?.. Мы вернемся сюда ночью, а?» [9]. Он ищет причины поступков Бусыгина в привычной для него сфере прямой материальной выгоды. Хотя Сильва отличен от Кудинова и соседа, не слит с миром «серьезных», он не имеет характерного для семьи компонента мышления, является для них чужим и в финале изгоняется из родовой утопии.

В «Старшем сыне» человек обретает себя только во включении в семью, где, исполняя определенные функции, он становится больше явленной им в завязке человечности. Он достраивается тем семейным, родовым смыслом, который является истиной данной картины мира. Через отказ от личного негативного опыта и приобщение к опыту коллективному он становится частью всего мира, благосклонного к «чистым сердцем», «блаженным». Принципиальное отличие родовой утопии от семьи как клетки социального организма состоит в том, что она формируется не на основе общности крови, а на основе общности мировоззрения, порождающего особый тип сознания, реакции на мир. Она замкнута, эндогамна и тем не менее открыта, поскольку пропуском в нее является духовная идентичность. Важна не формальная доказанность родства, а вера в него: «Бусыгин. Откровенно говоря, я и сам уже не верю, что я вам не сын»; «Сарафанов. Не верю! Не понимаю! Знать этого не хочу! Ты – настоящий Сарафанов!» [10] Реальность, в которой живут Сарафановы, миражная, но эта миражность прочнее эмпирически проверяемого. Они вынесены на определенную высоту, приподняты над стандартизированным бытом – для них мысль и слово более материальны, чем знание фактов жизни. Для мира «серьезных», данного в пьесе в качестве противовеса родовой утопии, принятие в семью на правах сына взрослого человека, уже не нуждающегося в родительской опеке, представляется экстраординарным, нерациональным поступком, противоречащим здравому смыслу. Стереотипности, обезличивающей силе общества противопоставлен не один человек, а уникальный семейный организм, в котором баланс между личным и неличным, тесное взаимодействие без масок, непосредственное соприкосновение субъективностей являются залогом гармонии – части общей гармонии рожденного из музыки бытия.

#### Примечания

1. Вампилов, А. В. Утиная охота: Пьесы. Записки книжки [Текст] / А. В. Вампилов. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. С. 117.
2. Там же. С. 162.
3. Там же. С. 122.
4. Там же. С. 162.
5. Там же. С. 90.
6. Там же. С. 136, 163.
7. Там же. С. 166.
8. Там же. С. 130–131.
9. Там же. С. 147.
10. Там же. С. 174.

К. Р. Елканов

## ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВОЙ СТРУКТУРЫ ОСЕТИНСКОГО РОМАНА

В статье рассматриваются особенности жанровой структуры осетинского романа 60–80-х гг. XX в., который характеризуется широким охватом большого круга явлений, показом исторического, социального опыта людей, что является художественным содержанием романа и определяет его структуру.

Осетинскому роману присуще стремление осмыслить историческую, жизненную правду через правду характеров, в причинно-следственных связях личных и общественных черт.

В романе указанного периода раскрывается историческое и национальное самосознание народа и личности. Изучается человек, сочетая социальный и психологический анализ.

В идейно-художественной практике своеобразно отразился процесс формирования осетинской нации.

Роман выработал свое понимание национального характера, показал сложную эволюцию самосознания горца. Эта сложная эволюция отражает новое жанровое качество романа.

The article deals with peculiarity of genre structure of the Ossetian novel of 60ies–80ies XX c. which is characterized by a great variety of phenomena, shows historical and social experience of people. They are artistic contents of the novel and determine its structure.

The desire to comprehend historic and life-like truth through true-to-life characters and their personal and social features is so characteristic of the Ossetian novel.

Historic and personality is revealed in the novel of above mentioned period. Social and psychological analysis is combined with studying of a man.

The process of formation of Ossetian nation was originally reflected in the artistic message of the novel.

The novel worked out its understanding of national character, showed complicated evolution of self-consciousness of a highlander. This complex evolution reflects a new genre quality of the novel.

Жанровое своеобразие осетинского романа 60–80-х гг. XX в. вообще выражается в широком охвате большого круга явлений, требующих определенного объяснения, определенной интерпретации. Историческая романистика стремится показать исторический, социальный опыт людей, который становится художественным содержанием романа и «организует» его структуру: сюжет, конфликтные узлы и т. д. В осмыслении прошлого историзм – важнейший ценностный ориентир и критерий.

Критерий исторической осознанности в осетинской литературе позволяет раскрыть национальное самосознание народа. Эпическое мышление показывает, как превращается народ в субъекта активного социально-исторического действия.

Концепция героя, субъекта истории, меняет саму жанровую структуру романа, обогащает и

усложняет ее. Эпический характер героя отличается способностью ума и чувств, стремлением объять все происходящее. Увидеть бытие в его целостности и нерасторжимых связях, в свете идеала, т. е. в его поступательном движении к своей важнейшей исторической цели. Эволюция структуры эпических форм познания заметно проявляется в изменении соотношения диалектики субъективного и объективного, в художественном раскрытии многообразия связей человека и действительности, характера и обстоятельств.

Роману, анализирующему значительные, судьбоносные исторические события и их роль в духовном самосознании народа и личности, свойствен глубокий интерес к социально-психологическому исследованию человека, его активного, творческого взаимодействия с миром; присуще стремление осмыслить историческую, жизненную правду через правду характера, в нерасторжимых причинно-следственных связях личных и общественных черт. Литература настойчиво пытается высветить духовность, познать то, что заперто глубоко в душе героя, стремится изучать человека «изнутри», сочетая социальный и психологический анализ. Это, естественно, присуще не только осетинской, но и в равной степени другим литературам: литературе народов СССР, литературе народов России. Чем же в таком случае показателен опыт именно данной литературы? Прежде всего тем, что в ее идейно-художественной практике своеобразно отразился процесс формирования осетинской нации, нового типа духовной культуры, которая родилась в результате сложного взаимодействия народно-этических идеалов с насущными потребностями общественного развития.

Сама жизнь выдвинула идеал социально-активной личности, которая испытывает острую внутреннюю потребность к созиданию новых отношений между людьми. Народ – главный герой осетинского романа – представлен в нем как активная созидательная сила. При этом он особо акцентирует типы, воплотившие в себе основные противоречия эпохи, ее суть. Решение романским мышлением данной творческой задачи расширяет социально-исторический и философский кругозор жанра романа, обогащает его познавательные и социологические функции.

Идейно-художественные изыскания такого порядка не случайны на интересующем нас этапе развития осетинской литературы. В них выражено стремление художественного сознания взглянуть на мир проблемно, эпически масштабно, осмыслить само возрастание значимости социальных требований к человеку. Чем глубже художественная правда, тем ярче представлено в литературе национальное бытие, по своему раз-

маху эпически масштабное. В поисках ответа на вопрос о том, как соотносится человеческая личность с реальной действительностью, романное мышление стремится создать более углубленную и обогащенную, более масштабную историю человеческой души, емкий национальный характер, отражающий основные противоречия и духовные искания эпохи. Роман выработал свое понимание национального характера как исторически конкретного, социально обусловленного явления, отразившего в процессе своего развития сложную эволюцию самосознания горца.

Эта сложная эволюция отражает новое жанровое качество романа, способствующее накоплению национальных художественных традиций. Осетинское романное мышление, как мы могли видеть на примере романа В. Гаглойты «Осетинское сказание» [1], выработало концептуальный, проблемный подход к истории, целостное восприятие исторического процесса.

В жанровой структуре осетинского романа все сущее обретает свои качественные черты и многозначность. Становится целостной картина национального бытия, формулируются общечеловеческие законы жизни. Это, собственно, и составляет «зерно» жанра романа, цель и смысл его художественного бытия в структуре национальной литературной системы. Функции его, как мы могли уже заметить из сказанного, довольно многообразны. Роман моделирует реальную действительность, т. е. структурно организует ее художественный аналог. Осетинский роман, как модель социальной жизни, содержит в себе философское и эстетическое объяснение мира и его оценку. Каждый раз при рождении нового романа конкретные законы художественного моделирования действительности приводятся в соответствие с целым жизненным процессом человечества и спецификой горского бытия как части целого. Структурно эта связь «материализуется» в романной жанровой форме. Конечно же, каждая новая веха в историческом бытии народа заметно обогащает романские представления о человеке и мире, ценностные критерии жанровой структуры. Расширяет его философский и эстетический кругозор, раздвигая рамки художественного видения человека в целом. Словом, суть диалектики романной структуры в осетинской литературе не что иное, как формирование нового взгляда на мир, оценка его мирообъяснения. Так появляется познавательный смысл жанра романа. Ведь мир познаваемым становится через его конкретную структуру как художественной модели действительности. То есть осетинский роман акцентирует целостность бытия, его всеобъемлющий характер, через конкретные пространственно-временные измерения горской жизни на определенном изломе исто-

рии. А они в романной трактовке становятся формами проявления духовной сути, духовной содержательности человеческого мира. Так, своеобразно организованный частный мир национальной действительности однако же «повторяет» все тенденции, процессы и связи, определяющие как конкретную жизнь отдельного человека, так и бытие всего общественного организма в целом. Здесь, в лаборатории художественных поисков романной жанровой структуры, одинаково важны связи, исходящие от большого мира к частному миру и, наоборот, от частного – к всеобщему. В основе художественного мирозидания жизненного процесса в романном мышлении лежит эта диалектика. Отсюда следует мнение, что роман надо рассматривать «как художественную форму мира (или самый общий коэффициент этой формулы)» [2], выражающую всеобщие законы жизни. А это в принципе и обуславливает его эпический характер, эпический размах и масштабы.

В романе В. Малиева «Дом Сурме» изображена сложная судьба старой женщины, в которой, как в капле воды, отражается нелегкая история нашего народа, перенесшего все тяготы эпохи тридцатых годов и последующих десятилетий.

...Письмо, продиктованное умирающей Сурме Зарине, как исповедь, как откровение, объясняющее многое как в характере старухи, ставшей как бы живой, непосредственной совестью народа, так и в реальной народной жизни. Оно поражает своей леденящей душу правдой, искренностью, чистотой человеческого сердца и в то же время той мерой, на которую только способен человек в своем нравственном падении, когда только критериями шкурнических интересов ориентируется он в мире себе подобных.

Письмо заставляет задуматься о том, до каких нравственных высот может подняться человек, если осознает, что он не один в мире, а следовательно, надо считаться с интересами и совестью другого; и в какую нравственную пропасть проваливается, если он – всего лишь «сам-для-себя».

Проявиться этим людям полностью, в наготе их нравственной сущности, помогли бесчеловечно жестокие обстоятельства жизни народа на рубеже 20–30-х гг.

Созурико, писавший доносы на всех неугодных ему односельчан, погубил таким доносом мужа Сурме, через месяц поругался с Афаем Дзасболовым, отцом профессора Солтана, и пригрозил ему расправиться с ним. Тем временем Сурме, на попечении которой остались два маленьких сына – Дзамбулат и Цараг, решила совершить справедливую месть: убить Созурико.

Принять такое, прямо скажем, не легкое и не естественное решение Сурме заставило не толь-

ко личное горе: обида за себя и детей. Справедливая кара должна была, по мнению женщины, настичь его из-за того, что он опозорил село, мог оговорить других. Потому и вынесла ему смертный приговор эта маленькая, слабая на вид женщина.

Взяв ружье, Сурме настигла Созурико в лесу и, когда он крутил спокойно самокрутку, прицелилась. Но что-то помешало ей совершить задуманное: женщина, призванная от природы давать жизнь, не может ее отнять.

И еще поняла тогда Сурме: со злом, царящим в мире, надо бороться только одним оружием – добром.

Однако в ту же минуту она услышала выстрел: месть все же совершилась. Стрелял Афай, испугавшись угрозы Созурико.

Решив, что в убийстве Созурико обвинят Дзамбулата, Сурме прогнала из села старшего своего сына. Символичен последний разговор матери с сыном перед ее скорой смертью.

Женщина, конечно же, и тут верна себе: логика характера героини романа железная. «Я благодарна людям, которые взяли тогда моего малолетнего сына к себе, сделали из него человека, – замечает она, – только в надежде на этот народ и его благородство я отправила тебя из отчего дома». «Но если ты отвернешься от своего народа, – наставляет мать сына, – то кто тебе это простит?.. не будет тебе доверия, не назовет тебя народ своим сыном...» [3]

Такая позиция матери не совсем понятна сыну: знать имя настоящего убийцы и промолчать, облечь тем самым малолетнего сына своего на страдания, голод, одиночество... «Почему я должен был страдать из-за кого-то?» – не понимает сын. Думать о другом, о чужом тебе человеке и не подумать о сыне? Это не укладывается в сознании Дзамбулата, человека уже пожившего, прошедшего, как говорится, огонь и медные трубы, ставшего большим начальником. Сын, не понимая позиции матери, не приемлет ее. Более того, он облекает в слова, то есть материализует, произносит вслух приговор, который вынесла себе Сурме, – жить и умереть в одиночестве. Ведь те, резонно подчеркивает Дзамбулат, из-за которых загубила она себя, детей своих, никогда не придут к ней на помощь, не помогут облегчить ее последний час.

Но сын не удивил этим замечанием мать: она всегда знала, осознавала это, но ведь не из-за людской благодарности решилась на такое: надо было ей прежде всего убить очаг вражды в селе, не дать разгореться пламени.

Судьбе было угодно, чтобы Сурме стала свидетельницей еще одной страшной тайны, которая могла иметь последствия в жизни родного села не меньше, чем убийство Созурико: это изнасилование несовершеннолетней Олимпиады.

Если первая тайна, которую скрыла Сурме, а именно убийство Созурико, погубила старшего ее сына Дзамбулата, то вторая грозила младшему сыну, Царагу, которого несправедливо обвинили в изнасиловании несовершеннолетней дочери председателя колхоза.

Но сама-то Сурме знала, что сын ее не виновен, и опять промолчала. Не желая больше нести тяжелый нравственный груз, груз моральной ответственности, она призывает к себе Асланбека, истинного виновника несчастья.

В разговоре с Асланбеком, как ему показалось, старуха хотела вынести кару, а в кару вложить вековое презрение народа к нарушителям святых норм морали.

Горе, когда человек умирает своей смертью, но это горе, без которого наша жизнь была бы не жизнью, а раем. А рай живому человеку не нужен.

Поле жизни пашет плуг, который тянут два вола: рождение и смерть, уверена Сурме, кто родился, тот должен готовить себя к смерти... Красиво умереть может только тот, кто красиво жил.

В разговоре с Асланбеком Сурме пытается внушить ему мысль о том, как важно и необходимо человеку избегать поступков, которые другому, себе подобному, причиняют боль. А испытаний на жизненном пути встречается всегда много и в разных проявлениях, в виде дорогих вещей, прекрасного женского тела, безграничной власти... Ведь фундамент человеческого дома не камнями крепок: камень можно разрушить другим камнем. Дом же должен держаться на справедливости, совести, чести, тогда только, по мнению Сурме, он и будет держаться вечно и будет полон радости и счастья.

...Такой дом всю свою нелегкую жизнь и пыталась строить Сурме, так же как и жить исключительно по человеческим нормам морали и нравственности.

Конечно, Сурме понимает, что уповать только на божью кару и обязательное возмездие недостойно – это удел слабых, беспомощных. Она уверена, что с каждым плохим, безнравственным человеком надо бороться, кто как умеет.

Но что могла противопоставить злу эта бедная женщина, как она-то могла бороться?

Сурме оказалась очень сильной. Она принесла в жертву единственное, что у нее было в жизни: двух своих сыновей. Обрела саму себя на невыносимые бесчеловечные страдания, жертвы, одиночество...

На пороге смерти, не жалея ни о чем, Сурме задает себе вопрос: а имела ли она право так жестоко и своевольно, как ей кажется теперь, распоряжаться судьбой своих детей?

Не найдя утвердительного ответа на этот вопрос, женщина в своем письме-исповеди предла-



гает детям своим судить ее строгим, беспощадным сыновним судом: право на это за ними умирающая полностью признает, ведь это и их она обрекла на тяжелые многолетние страдания и муки, на голод, холод и безрадостную юность и на страшное обвинение младшего в насилии над несовершеннолетней.

На краю могилы, чувствуя, что часы и минуты ее жизни сочтены, мучается Сурме, не может успокоиться. И больше всего терзает старую женщину мысль о том, что зло, в борьбе с которым она отдала главное, что она имела, – детей своих, семейное благополучие, свой собственный душевный покой и обеспеченную старость, – все еще не уничтожено, не побеждено.

Видимо, мало стараний и самопожертвований одного человека: со злом, в каком бы облики оно ни выступало, порой даже и в очень привлекательном, соблазнительном, надо бороться всем и сообща.

#### Примечания

1. Гаглойти, В. Осетинское сказание. Роман [Текст] / В. Гаглойти; пер. с осет. Г. Ковалевича. М.: Современник, 1988. 311 с.

2. Гей, Н. К. Художественность литературы. Поэтика. Стиль [Текст] / Н. К. Гей. М.: Наука, 1975. С. 346.

3. Малиев, В. Дом Сурме. Роман [Текст] / В. Малиев. Орджоникидзе: Ир, 1986. С. 83.

Т. И. Зайцева

### ГЕНРИХ ПЕРЕВОШИКОВ И СОВРЕМЕННАЯ УДМУРТСКАЯ ПРОЗА: СУТЬ ПЕРЕМЕН

Повесть Г. Перевошикова «В пору цветения земляники» рассматривается в связи с основными тенденциями развития современной удмуртской прозы, прослеживается открытие писателем нового для удмуртской литературы героя-интеллекта, перенесение коллизии во внутренний мир человека, что и обусловило обновление традиционных повествовательных приемов.

The story *When wild strawberry is in bloom* by G. Perevoshikov is analyzed in the context of the main tendencies of present-day Udmurt literature. The author of the article focuses on the character of an intellectual, which is new for the Udmurt literature, and traces the way collisions are transferred into inner life of a man, which caused renovation of prosaic genres.

С именем удмуртского прозаика Генриха Перевошикова связаны четыре десятилетия литературной жизни в республике. Одним из первых стремится он осознать драматические коллизии современности, отозваться на то, чем живет эпо-

ха и что волнует его народ. Если своим психологизмом современная удмуртская проза многим обязана Геннадию Красильникову, то усиление в ней философского начала неотделимо от художественных исканий Перевошикова. Этапными в этом смысле стали для него повести «Гужем лымы» («Летний снег», 1981–1983), «Шелеп» («Щепка», 1999–2000), «Узы сяськаян вакытэ» («В пору цветения земляники», 2002), рассказ «Палэсмурт» («Леший», 2002). Произведения Перевошикова реально востребованы читателем республики, и новый интерес к его творчеству усилен тем, что в 2005 г. повесть Г. Перевошикова «В пору цветения земляники» была удостоена главной литературной премии общества М. А. Кастрена (Финляндия). Между тем писатель остается одним из малоизученных современных удмуртских авторов. В чем же своеобразие его пути и каково направление его творческих поисков?

В удмуртской прозе рубежа 1980–1990-х гг. возобладало, как и во всей отечественной литературе, повышенное внимание к негативным сторонам действительности. Пугающе темные стороны народной жизни предстали в повестях и рассказах В. Агбаева («Зудэм чожд» – «Оторопелая утка», «Ашкынэм пиос» – «Обнаглевшие парни»), Р. Игнатъевой («Сьольклян емьшез» – «Плод греха», «Анай-атайёслэн нуналзы среда» – «Среда – день родителей»), К. Ломагина («Вир» – «Кровь»), Г. Мадьярова («Аналтэм сяська» – «Заброшенный цветок»), Н. Никифорова («Куар толэзе кисьма узы» – «Земляника зреет в мае»), Л. Нянькиной («Берпум коньдон» – «Последние деньги») [1].

Пожалуй, впервые по отношению к произведениям удмуртской литературы, отсылающим на современную проблематику, стали применимы такие определения изображенного мира, как «дно жизни», «перевернутый мир», «жесточкий реализм» и др. «Человеком на обочине» чаще всего является в них городской удмурт, оставшийся без работы: опустившийся люмпен, «сломавшийся» инженер – торгаш, уголовник или бомж. Причину потерянности героя в современной действительности удмуртские писатели видят не в нем самом и не в роковом стечении обстоятельств, в которых оказался герой, а в тех кардинальных изменениях, которые произошли в стране. Герой, отторгнутый от заводского коллектива или отпавший от любого иного трудового процесса, не имеет реальной возможности участвовать в новой жизни. Отсюда основные черты литературного героя эпохи безвременья – душевное одиночество, безысходность, отчаяние.

Удмуртским писателям удалось уловить и запечатлеть состояние незащитного человека, оказавшегося «на дне» жизни, и представить раз-

личные варианты его горестного падения (Глаша – у Мадьярова, Аркаш – у Ломагина, Нюрка – у Игнатъевой и др.). Однако глубокого осмысления проблем национальной жизни в новом историческом времени и нетрадиционных жанровых решений в подходе к актуальному материалу в литературе названного периода мы не обнаруживаем. Читательский интерес к тексту обострялся публицистическим оживлением традиционных, уже обессиленных жанровых форм с «производственной» тематикой. Отношение писателя к конфликту маргинала-удмурта с современным миром ограничивалось негативными оценками и жалобами на эпоху. Кстати, и роман Г. Перевощикова «Тоды куака» («Белая ворона», 1988) о судьбе героя, не «сгоревшего» в афганском огне, но ставшего жертвой махинаций колхозного руководства, не выходит за пределы иллюстрации отдельного трагического случая. В его же повести «Сюлэмтэм дунне» («Жестокосердие», 1994), посвященной проблеме соотношения роскоши и нищеты в современной национальной среде, история героев не вписана в широкий социальный контекст, их действия и поступки получают в тексте лишь биологическую мотивацию.

Для удмуртской литературы перестроечные годы стали особым временем, определившим судьбу целого поколения писателей. Г. Перевощиков, по собственному признанию, чувствует себя устаревшим, переживает мировоззренческий кризис. В то время уходят из жизни его ровесники и собратья по перу, известные в регионе прозаики-публицисты Семен Самсонов и Петр Чернов, и в начале 1990-х казалось, что Генрих Перевощиков как писатель исчерпал себя. Этого, к счастью, не произошло. К концу того же десятилетия из-под его пера выходит повесть «В пору цветения земляники».

У Генриха Перевощикова появляется новый герой, с иным, чем в произведениях других удмуртских писателей первых перестроечных лет, кругозором. В основе повести и последующих произведений Перевощикова лежит внутренняя коллизия ошибающегося и вдумывающегося в свою жизнь интеллигента.

Произведения Г. Перевощикова, пожалуй, не назовешь философскими в принятом смысле слова, речь не идет также и о жанровом их определении, а скорее – о склонности писателя к философским раздумьям и обобщениям, к размышлениям над вечными проблемами бытия и человеческой души. И новый герой открывает перед писателем такие возможности. Надо отметить, что впервые в удмуртскую прозу подобного героя ввел Геннадий Красильников в своем коротком рассказе (или стихотворении в прозе) «Рваные сны» (1988), синтезирующем возможности

двух литературных родов – эпического и лирического.

Генрих Перевощиков преемственно продолжает и развивает это направление творчества – проникновение в сферу сознания и бессознательного личности, усиливая при этом изобразительные функции предметно-вещного окружения героя. Его повесть «В пору цветения земляники» характеризуется новыми способами повествования, которые сегодня особенно востребованы авторами, приходящими в прозу из поэзии или драматургии.

В основу повести положена история удмуртской семьи, которая представлена автором в «обратном порядке». Ее поэтика обнаруживает особенности романа «подведения итогов», известного в мировой литературной практике: Дж. Голсуорси, Т. Манн, Г. Гарсиа Маркес и др. Органически слитно с повествованием прослеживается движение эстетических взглядов автора, основанных на национальных культурных традициях и несущих на себе живой отпечаток их самобытности.

Герой повести Юрий Сергеевич Назаров – представитель элиты технической интеллигенции республики. Исходным моментом для движения его аналитической мысли явилось обострение душевного состояния, вызванное ожиданием неизбежной смерти от неизлечимой болезни. В критической для него ситуации герой подытоживает свою жизнь, пересматривает прежние жизненные позиции, образ жизни, принципы, которыми он руководствовался, оценивая поступки других людей.

Обращаясь к пограничной ситуации *жизнь/смерть*, в которой оказался герой, Перевощиков рассматривает ее в аспекте не только вины человека, но и его беды. Особое внимание писателя привлекает главная для героя проблема разрыва человеческих связей и родственных отношений, акцентированная в повести Перевощикова как характерная и угрожающая миропорядку примета времени. Семья, по мысли прозаика, – средоточие важных национальных доминант – подвержена в современной эпохе угрозе распада.

Когда-то молодой и честолюбивый Назаров не понял и не простил ошибки своей жены, выгнал ее из дому, обрек на нищету и неприкаянность. В итоге разрушил свой домашний очаг. И вот теперь умирающий герой переоценивает свои тогдашние действия. Хотя он стойко пережил личную драму, вырастил и воспитал любимую дочь, добился успехов в работе, но своим выбором он лишил счастья и собственного ребенка, и самого себя. В финале повести герой не просто одинок и немощен: беда его в том, что он отпал от корней, жизнь его сложилась вне сложившихся веками народных представлений о семье, доме, женщине.

Традиционно (и до сих пор) женщина в удмуртской семье занимает главенствующее положение. Она «хранительница очага», а вместе с тем – чести, достоинства и репутации всей родословной. Перевощиков показывает надломленность удмуртской женщины в пошлом и жестокое современном мире. Писатель видит серьезную опасность для будущего своего народа в том, что внутренне надорванная женщина перестала быть нравственной и духовной опорой для семьи. Мотив изгнания из внутрисемейных форм общения таких вековых норм и понятий, как «жалость», «любовь», «сострадание» и «прощение», преломляется в истории главного героя. Живя по законам раздробленного мира, он не смог простить свою жену, предпочел расстаться с ней, тогда как обязан был помочь ей выйти из запутанной ситуации и тем защитить свою семью, оградить свой дом. По мысли писателя, источником нравственного противостояния народа трагическим обстоятельствам истории во все времена были именно устои семьи, крепящиеся женщиной изнутри и обороняемые мужчиной извне.

Направленность мысли повести движется от самокритики и самоанализа к самоопределению, а затем через раскаяние и внутреннее пробуждение – к духовному и умственному перерождению, направленному на восстановление утраченной близости с людьми, на соединение ребенка с матерью. Назаров перешагивает порог жизни и смерти, обретая внутреннее духовное равновесие. Физическое угасание героя приводит к его духовному прозрению.

В изображении внутреннего конфликта героя и страданий его души Перевощиков наследует традиции русской психологической прозы. При встречах с читателями он не раз подчеркивал особое для него значение опыта Достоевского и Толстого. О том, что удмуртский писатель синтезирует в своем творчестве общезначимые принципы литературы философского направления, свидетельствуют, в частности, применяемые им приемы раскрытия душевного настроя героя.

Мы видим, что в своей повести писатель использует такие приемы проникновения в душевный мир героя, как несобственно-прямую речь: «Один вот говорит, причина «пожара» – загрязненный воздух <...>, опоганенная земля, другой – тяжелый труд, третий – производимое тут страшное оружие, ядерные отходы. А разве только это... Да еще говорят и ссоры-ругань туда же входят, и про стрессы вон говорят, и зависть, и когда один другого проклиняет, и пустая еда, и женщина не рожающая...» [2]; «Да, теперь Лиза домой уже не стучалась, но, словно побитая собака, вокруг их дома еще неделю бродила. Видел. Наверно, про себя говорила, хоть и не удастся обнять-полюбить-приласкать, изда-

лека хоть глазами обласкаю, прижмусь. Неизвестно...» [3]; внутренний монолог, поток сознания: «Запоздал, запоздал... – не только болезнь внутренней части тела нужно было лечить, – тревожно шептал он один в палате <...> душу главное не лечил. Думать обо всем раньше надо было. Раньше... намного раньше... Жить не греша... А у меня они, грехи, очень большие оказались...» [4]; «В эту минуту Юрий Сергеевич всем сердцем-душой, всем телом, умом ощутил: вот пришло То. А он, грешная душа... с самым большим грехом Туда никак не может уйти. Никак! Иначе и он, и самые близкие ему люди вечно в смоле гореть будут. Они – еще в этом мире. И та, единственная... столько лет в нелюбви была. Встретиться до сих пор так и не решился... Все откладывал, хотя уж и решимости набрался было. Теперь отступать некуда. Пусть бы слова, для меня предназначенные, она открыла... Без этого, без них, нельзя. Хоть как – но легче. А иначе...» [5]; сопряжение в едином сюжетно-композиционном построении разных временных пластов и свободное переключение художественного повествования из плана житейски-бытового в план абстрактно-символический: «Лизе все чаще приходилось ночью работать. Тогда вся домашняя работа и все остальные заботы – готовить еду, кормить ребенка, стирать, купать ее, мыть, одевать, гулять, водить в садик и забирая, да и чего только не приходилось делать – все на Юрия Сергеевича перешло. Делал все это любя. Но такая жизнь дала неожиданные плоды. Дочь привязалась к отцу, мать в ее восприятии померкла. И у птиц ведь заведено, деток мать высиживает. <...> Птицы парами живут, природой так создано, пара пару находит, детей вместе высиживают, стаяей к перелетам готовятся... Он же не сбил себе стаю, вышел из нее...» [6]

Г. Перевощиков ввел в удмуртскую литературу героя, отличающегося особой чуткостью мировосприятия, наделенного умом и строгим самоанализом. Этим во многом обусловлены особенности языка повести. Отказавшись от жестких правил удмуртского синтаксиса, писатель придавал большое значение ударно-смысловому слову фразы, что позволило ему выразить то медлительность, то торопливость речи персонажа, сделать фразу прерывистой, короткой, создавать неожиданные ассоциативные связки. Эти новации органично уживаются в тексте с остроумными народными сравнениями, мудрыми изречениями, поговорками: не встретили с горячими табанями; сухая ложка рот дерет; не рукояткой сковороды встретили; чужой фурункул не болит; из слезы суп не сварить; трусливая собака и на ветер лает; наша встреча – разбитая тарелка с мукой-крупой и др.

В жанровом отношении, по признанию автора, при создании повести он ориентировался на модель «короткого» эстонского романа, считая, что непосредственные творческие контакты финно-угорских писателей, установившиеся в последние годы, плодотворны для развития удмуртской литературы. Тем самым Генрих Перевощиков преодолевает свойственную удмуртской литературе описательность и убедительно демонстрирует жизнеспособность обновления традиционных повествовательных жанров.

#### Примечания

1. См.: *Азбаев, В. А.* Зудэм чож [Текст] / В. А. Азбаев // Кенеш. 1998. № 9. С. 4–21; *Азбаев, В. А.* Ашкынам пиос [Текст] / В. А. Азбаев // Кенеш. 1993. № 5. С. 5–20, 25–27; *Игнатъева, Р. С.* Сьолыклэн емьшез [Текст] / Р. С. Игнатъева // Кенеш. 2002. № 9–10. С. 3–9; № 11–12. С. 83–92; *Игнатъева, Р. С.* Анай-атайёслэн нуналзы среда [Текст] / Р. С. Игнатъева // Былырам синкыли: Веросьёс. Ижевск: Удмуртия, 1997. С. 67–72; *Ломагин, К. Е.* Вир [Текст] / К. Е. Ломагин // Кенеш. 2000. № 1. С. 8–22; № 2. С. 8–21; № 3. С. 8–21, 25–31; *Мадьяров, Г. Н.* Аналтэм сясыка [Текст] / Г. Н. Мадьяров. Ижевск: Удмуртия, 1994. 184 с.; *Никифоров, Н. М.* Куар толэзе кисьма узы [Текст] / Н. М. Никифоров // Инвожо. 1991. № 6. С. 12–24; № 7. С. 11–21; № 8. С. 20–34; *Нянькина, А. С.* Берпум коньдон [Текст] / А. С. Нянькина // Кенеш. 2004. № 8. С. 3–35 и др.

2. Здесь и далее удмуртский текст в дословном переводе автора статьи цит. по: *Перевощиков, Г. К.* Узы сясыкаян вакытэ [Текст] / Г. К. Перевощиков // Кенеш. 2003. № 3. С. 4.

3. Там же. С. 23.

4. Там же. С. 27.

5. Там же. С. 28.

6. Там же. С. 18.

*Н. А. Каспирович*

### СЕМАНТИКА РУИН В РОМАНЕ П. П. МУРАТОВА «ЭГЕРИЯ»

В статье речь идет о языке руин в романе П. П. Муратова «Эгерия» (1922). Интерес Муратова к теме руин объясняется его культурфилософскими представлениями, выраженными в статье «Предвидения» (1922) и в «Образы Италии». Подчеркивается амбивалентный характер данного культурного и поэтического символа. Рассматривается связь с ним образов главных героев романа – художника Орсо Вендоло и шведской графини Юлии Дален.

The article narrates about ruins' language in the novel «Egeriya» by P. P. Muratov (1922). Muratov's interest on the subject of ruins accounts for his cultural and philosophical views expressed in the article «Previsions» (1922) and «The Image of Italy». It emphasizes the ambivalent character of the given cultural and poetical symbol. It examines the connection of the main heroes' images of the novel with it – the artist Orso Vendolo and the Swedish countess Yulya Dalen.

Тема гибели искусства, шире – европейской культуры, гуманистической культуры, в начале XX в. приобрела особую актуальность. Закат современной культуры воспринимался в числе прочего и как следствие утраты ею связей с античностью. П. П. Муратов рассматривал данную тему на разном материале. В статье «Предвидения» (1922) он писал о том, как современность разрывает нити, соединявшие ее с античностью [1]. К этой теме непосредственно подключалась написанная им в том же году пьеса «Кофейня» (1922). Роман «Эгерия» (1919–1921), где современностью является XVIII в., также попадал в поле притяжения обозначенной проблематики, поскольку именно с этим столетием Муратов-эссеист связывал начало заката античности, начало сегодняшнего ее «конца» [2]. Здесь следует подчеркнуть, что Муратов, во-первых, не был склонен излишне драматизировать смену культур; во-вторых, вслед за О. Шпенглером понимал «гибель» как процесс, протяженный во времени.

Особый интерес в связи с указанной проблематикой представляет образ руин, несущих в себе, по словам С. Н. Зенкина, идею «угрозы, нависающей над культурой» [3].

Руина, как любой культурный и поэтический символ, амбивалентна. С одной стороны, она ассоциируется с упадком, разложением, смертью, с другой – символизирует непрерывающуюся связь времен, сопротивление распаду, вечность. Руина может указывать на бренность всего земного и восприниматься как «материализованная память». В ней можно видеть памятник человеческому величию и свидетельство бессилия человека «перед всепобеждающей Природой и всепожирающим Временем» [4]. «Поучительный смысл зрелища разрушенных памятников древности, – по словам И. Е. Даниловой, – не только в том, что они разрушены, но и в том, что они выстояли. Это – памятники победы времени над человеком и одновременно человека над временем» [5]. С. Н. Зенкин считает, что «созерцание руин доставляет человеку удовольствие от ощущения себя младенцем <...> для которого нынешнее существует рядом с отошедшим в прошлое» [6].

Итак, в современной науке руина понимается как емкий образ, содержащий в себе широкий спектр значений: от разрушения и гибели до торжества жизни над тленом. Цель данной статьи – показать концептуальную значимость образа руин в художественном мире романа «Эгерия».

О смыслах, которые связывал с руинами Муратов, позволяют судить его «Образы Италии», являющиеся ближайшим контекстом романа. Здесь следует вспомнить также и о том, что Муратов редактировал журнал «София» (1914). В нем публиковались, в частности, работы, по-

священные изучению античного наследия и его судьбе в современной культуре. Среди них – статья Георга Зиммеля «Руина». Для Зиммеля прелесть руины заключалась в том, «что создание человека, в конце концов, воспринимается как произведение природы». Философ утверждал, что руина демонстрирует равновесие природы и культуры. Он полагал, что руина «создает в настоящем образ прошедшей жизни, не в смысле содержания или остатков этой последней, а в смысле прошлого как такового»; руина, по его мнению, – высшая форма «выражения прошлого в настоящем» [7].

Эти мысли были близки П. П. Муратову, автору «Образов Италии». Он также считал руины самым живым и естественным проявлением прошлого в современности, также видел в развалинах «многовековое сотрудничество искусства и природы» [8]. Представления Муратова-искусствоведа питали воображение Муратова-романиста.

Руины – один из наиболее значимых образов «Эгерии». Само место действия – Италия, в особенности, Рим и римская Кампания – предполагает изображение руин. Говоря словами В. Вейдле, «объясняется это тем, что природа вокруг Рима, как и в самом Риме, присвоила, сделала частью самой себя остатки древнего строительства» [9]. В Риме, «городе камней, священных своей древностью и искусством», родился главный герой Орсо Вендоло. Руины с самого детства влекут его к себе. Он взбирается на них в садах палаццо Ангвиллара, освободившись от дел в лавке отца, он «спешит спуститься к руинам», глаз его ищет «трагические изломы руин»; работая помощником Джаннаро Фантоки в управлении вод, Орсо не столько трудится над поддержанием новых водных путей, сколько любит «живописной заброшенностью» разрушенных акведуков: «Я любил их изъеденную веками кладку и колеблемые ветрами травы, проросшие в ее трещинах. Я рисовал с увлечением фантастические замки, которые игра природы и времени образовала из некогда полезных и разумных человеческих сооружений» [10]. «Знакомые развалины Рима», пейзажи с руинами родной Кампании сопровождали Вендоло во всех его странствиях. Он, художник, гравёр, в своих офортах и рисунках изображал «зрелища римских руин, среди которых отдыхают пилигримы неведомых святых и внуки латинских фавнов пасут свои мохнатые стада» (15).

Эта тяга к руинам, ставшим основной темой рисунков Орсо, во многом предопределила его встречу с Джованни Баттиста Пиранези, сделавшего близкого ему по духу юного художника своим учеником. Он не только научил молодого Вендоло мастерски распоряжаться светом и те-

ню, но и открыл ему свое понимание руин, шире – античной культуры.

Вводя в роман Пиранези в качестве героя, автор фокусирует внимание по преимуществу на его отношении к римским древностям. Здесь уместно напомнить, что в «Образех Италии» Муратов посвятил художнику специальный раздел (глава «Рим»). Он (раздел. – Н. К.) соотносится с заключительными (VII–VIII) главами первой части «Эгерии», в которых речь идет о пяти годах учения Вендоло у великого венецианца.

Муратов-эссеист считал Пиранези романтиком, открывшим трагический лик античности. Он, по мнению Муратова, «питая неоклассические вкусы эпохи», не был человеком XVIII в.: «Любовь к преувеличению и крайностям, драматизм таланта и беспокойный нрав делали его естественным романтиком. В классическом мире его не столько привлекало величие созидания, сколько величие разрушения. Его воображение было поражено не так делами рук человеческих, как прикосновением к ним руки времени. В зрелище Рима он видел только трагическую сторону вещей, и поэтому его Рим вышел даже более грандиозным, чем он был когда-либо в действительности» [11]. Муратов замечал, что известность Пиранези принесли главным образом изображения римских развалин: «Руины Рима никогда не переставали вызывать в нем (Пиранези. – Н. К.) подвиг духа и воображения. Он любил бродить среди них при луне, стремясь найти их истинное выражение в решительных контрастах света и тени» [12]. Отдавая должное знаниям художника, автор «Образов Италии» настаивал на том, что «он (Пиранези. – Н. К.) менее всего стремился к буквальной правде изображений»: «Надо было родиться безумствующим романтиком, чтобы с такой решительностью и вечной тревогой души искать трагическое в развалинах Рима» [13].

Муратовская трактовка творчества Пиранези близка современным представлениям о художнике. По словам С. Н. Зенкина, именно Пиранези сделал новый шаг среди итальянских *vedutisti* («руинописцев») XVIII в., начав «изображать развалины изнутри – фантастические полуразрушенные подземелья, которые освещаются сквозь проломы в своде, заросшие дикими растениями». Исследователь подчеркивает далее, что «Пиранези был очень популярен в культуре преромантизма и романтизма», его живописным фантазиям подражали не только художники, например Юбер Робер, но и некоторые писатели, например Теофиль Готье [14].

Образ Пиранези в романе «Эгерия» непосредственно связан с представлениями Муратова-эссеиста. Убедимся в этом.

Вендоло, от лица которого ведется повествование, вспоминает о том, как был замечен Пира-

нези, как при первой встрече с учителем получил от него предназначавшийся другому «звонкий удар» линейкой «по месту ниже спины», как потом «работал рука об руку» со своим кумиром, был его «верным и терпеливым помощником», «внимательным слушателем его речей», «свидетелем тех признаний его, которых не слышало, быть может, ничье ухо» (54). Наряду с упоминаниями о необыкновенном нраве художника, его странных привычках, например «работать ночью среди руин Форума и Колизея, освещенных несущейся в облаках луной» (50), в памяти героя сохранилось особое восприятие учителем античности как эпохи исключительно трагической. Так, размышляя об успехе, который художник имел у своих современников, Вендоло связывал его с умением художника выразить «своими контрастами света и тени трагические судьбы вечного Рима» (50). Не случайно во время раскопок одной из счастливых находок Пиранези становятся многочисленными изображения Антиноя. «Гляди, – говорил он, – как это мало прикрито землей, по которой мы ступали столько раз”. В свете луны я заметил блестящую полоску мозаического пола, перемежавшую с изображениями священных зверей Египта бесчисленные портреты божественного Антиноя. “Давно я искал тебя!” – громко воскликнул мой учитель с крайним удовлетворением, опустившись на колени и касаясь рукой цветных камешков» (58).

Как известно, Антиной находился в свите римского императора Адриана. Упоминание о Египте, римской провинции, вводит в рассматриваемую сцену тему гибели Антиноя: согласно одной из версий, он бросился в Нил во время посещения Египта Адрианом. Принося себя в жертву речным божествам, он надеялся вызвать разливы Нила, которых не было уже два года. Погибая, Антиной хотел, чтобы будущее процветание этого края связывали с пребыванием в нем римского императора. После смерти Антиноя Адриан увековечил память о нем во множестве скульптурных изображений. Ему начали поклоняться как Божеству, греки и римляне почитали его как Диониса [15]. С Антиноем ассоциировались, таким образом, представления не только о красоте, но и о дионисийском экстазе, трагедии.

Пиранези ищет трагическое в развалинах Рима и находит его, натолкнувшись на руины святилища Антиноя. На ассоциативном уровне его признание в том, что он давно ждал встречи с Антиноем, может быть прочитано как обретение еще одного «аргумента» в пользу своего представления о трагическом облике античности.

В памяти ученика осталось и печальное откровение учителя, также связанное с его восприятием древнего мира. Пиранези признавался: «Античность не имела от меня тайн, но после

моей смерти она снова уйдет в могилу и укроется от людей» (55). Он мечтал «повторить ее дело и на месте нынешнего, погруженного в летаргию Рима создать более величественный, чем ее Рим» (55). Но великий художник вполне отдавал себе отчет в том, что эта его мечта – напрасная, она из разряда чудес, а «чудес не бывает в жизни» (55).

Учитель, как всегда, оказался прав. Его дионисийская концепция античности подтвердится раскопками, предпринятыми лишь почти столетие спустя, когда трагический лик античности станет очевидным для многих. До этого времени, как известно, во взглядах на античность господствовала точка зрения Гете – Винкельмана, видевших греко-римскую древность светлой, солнечной, аполлонической.

Не унаследовал воззрений Пиранези и его ученик, отказывающийся абсолютизировать ту или иную грань античной культуры. На это указывает, в частности, сцена, когда он, после смерти Пиранези, совершая обряд поминовения, отправляется в мастерскую, где «протекла полная величия» жизнь незабвенного учителя, «где все дышало его гением, где родились его творения» (64). Однако по дороге герой меняет свое решение, понимая, что в мастерскую не войдет, потому что память о Пиранези живет в самом городе, Рим – «истинное поле его трудов, великая мастерская его созданий». Орсоло смотрит на «сияющий утренним солнцем город» и видит свой Рим, в котором «жизнь ютилась среди величавых руин». Он, пришедший сюда думать о смерти, невольно прислушивается к долетавшим до него «голосам этой жизни» и возвращается с «поминок» «странно умиротворенным» (65). Дело здесь не в его юном возрасте, а в его миропонимании, отрицающем любые крайности. Руины для него сопряжены не только со смертью, но и с жизнью. Их восприятие лишь частный случай его отношения к жизни в целом, выражение его стремления познать жизнь во всей ее полноте.

Не случайно и в счастливые минуты своей жизни, и в моменты крушения надежд, тяжелых утрат Орсо и его возлюбленная Юлия совершают паломничество к руинам. В одних случаях созерцание руин наполняет душу Орсо покоем и гармонией. Изображая «руины храмов, глядящиеся в спокойные воды», «развалины акведуков, перешагнувших через пустынный канал», пастухов Кампаньи, он обретает искомое душевное равновесие. Руины на его рисунках как знак вечности противостоят суетной современности с ее опасными разбойниками, уродливыми нищими, дерзко протягивающими руки за подаянием, масками, угрюмо кутающимися в свои плащи, бродячими монахами, проповедующими «далеко не слова примирения», солдатами, фиглярами и т. п. (252).

В ряде других случаев руины заставляют героя задуматься о тлене, которому подвержено все живое. В связи с этим примечателен один из важнейших топосов романа – грот нимфы Эгерии. Его развалины становятся местом гибели Карла Старре. Здесь Юлия Дален безуспешно пытается стать новой Эгерией, а Орсо надеется найти свою любовь в Лукреции. Вероятно, потому что руина несет в себе семантику разрушения, не сбываются ни любовные, ни политические надежды, так или иначе с нею связанные. Замужняя дама Лукреция заводит роман с Орсо от скуки, подлинных чувств у нее нет, не поддавшись решительных действий с его стороны, она уходит к его более находчивому другу Боллини. Терпит крах стремление Юлии разрушить заговор против шведского короля Густава III.

В трактовке отмеченных поражений героев могут быть задействованы и иные смыслы рассматриваемого культурного символа. В страстях, которым предаются и Орсо, и Юлия, и Лукреция, много придуманного ими самими, противостественного. Руина сопряжена с вечным, непреходящим; на ее фоне рельефнее выступает все сиюминутное, преходящее, все «искусственное», лишённое подлинной жизни и потому обреченное на гибель.

Следует подчеркнуть, что восприятие руин героем восходит к авторскому их пониманию: и для героя, и для автора руины ассоциировались как с жизнью, так и со смертью. Данная трактовка противостоит в романе представлениям о древних развалинах Пиранези, у которого руины вызвали ассоциации лишь со смертью, со всемогуществом времени.

Важно заметить также, что руины в художественном мире «Эгерии» выступают как символы античной культуры, их изображение позволяет судить о взглядах автора (и героя) на судьбу античности в современности. И для героя, и для автора очевидна связь современности с античностью, с течением времени становящаяся, однако, все более слабой. Античное в современности отмечено печатью ущерба: пятна сырости на красных стенах жилища Орсо «перемежаются со вмазанными в штукатурку ржавыми обломками античных рельефов», «зеленая плесень окутывает в углу разбитую статую в тоге» (290). Постепенное угасание прошлого в настоящем воспринимается и автором, и героем с известной долей иронии. Так, говоря о пришедшем в упадок доме кардинала Ангвиллара, где «паутина обрамляла лепных амуров», где олимпийские боги «зияли там и сям темными впадинами» (97), герой не без иронии замечает, что, словно в нака-

зание за это, «язычники и язычницы с потолка» грозили в один прекрасный день свалиться на голову хозяина палатки.

Итак, образ руин выступает заметной составляющей художественного мира романа П. П. Муратова «Эгерия». Архитектурные развалины являются здесь многообразием значений и ассоциаций. Интерес к ним писателя кроется в том очаровании прошлых эпох, которое несут в себе «эти камни вечных легенд».

#### Примечания

1. Муратов, П. П. Предвидения [Текст] / П. П. Муратов // Шиповник. Сборник литературы и искусства. 1992. № 1. С. 103.

2. Претензии П. П. Муратова к XVIII в. были связаны, в частности, с тем, что культура этого столетия заточила античность в музей и тем способствовала ее гибели. См. об этом: Муратов, П. П. Образы Италии [Текст] / П. П. Муратов. Т. II, III; ред. и коммент. В. Н. Гращенкова. М.: Галарт, 2005. С. 89.

3. Зенкин, С. Н. Из новейшей истории руин [Текст] / С. Н. Зенкин // Arbor mundi / Мировое древо: международный журнал по теории и истории мировой культуры. Вып. 7. М., 2000. С. 62.

4. О научном интересе к данному поэтическому и культурному символу свидетельствует специальный раздел «Язык руин в европейской культуре» в журнале «Arbor mundi / Мировое древо» (М., 2000. № 7). Помимо уже упоминавшейся статьи С. Н. Зенкина, указанный раздел включает в себя следующие работы: Матюшина, И. Г. Руины: становление топки в средневековой европейской лирике [Текст] / И. Г. Матюшина. Указ. изд. С. 11–37; Данилова, И. Е. «Прах и останки древнего великолетия». Тема руин в трактате Л.-Б. Альберти «Десять книг о зодчестве» [Текст] / И. Е. Данилова. Указ. изд. С. 38–60; Савинков, С. В. «Четвертая фракийская элегия» В. Г. Теплякова и судьба «элегического» языка [Текст] / С. В. Савинков, А. А. Фаустов. Указ. изд. С. 67–72; Соколов, Б. М. Язык садовых руин [Текст] / Б. М. Соколов. Указ. изд. С. 73–106.

5. Данилова, И. Е. Указ. соч. С. 51.

6. Зенкин, С. Н. Из новейшей истории руин... С. 64.

7. Simmel, G. Руины (Из сборника статей «Philosophische Kultur») [Текст] / Г. Зиммель // София. М., 1914. № 6. С. 47.

8. Муратов, П. П. Образы Италии. Т. II, III. С. 97.

9. Вейдле, В. В. Рим: из бесед о городах Италии [Текст] / В. В. Вейдле // Умирание искусства. М.: Республика, 2001. С. 78.

10. Муратов, П. П. Эгерия. Роман и новеллы [Текст] / П. П. Муратов. М.: ТЕРРА-TERRA, 1997. С. 46. Далее ссылки на это издание в тексте с указанием страницы в круглых скобках.

11. Муратов, П. П. Образы Италии... С. 89.

12. Там же. С. 93.

13. Там же. С. 89, 96.

14. Зенкин, С. Н. Указ. соч. С. 61.

15. См об этом: Рим: Эхо имперской славы [Текст] / пер. с англ. М., 1997. С. 66. (Энциклопедии «Исчезнувшие цивилизации»).

Р. А. Нурмухамедова, О. Р. Темиршина

**ЛИРИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ  
Т. КИБИРОВА И А. БЛОКА  
И ПРОБЛЕМА ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ  
(«СИМВОЛИСТСКИЙ ТЕКСТ» В «БАЛЛАДЕ  
О ДЕВЕ БЕЛОГО ПЛЕСА» Т. КИБИРОВА)**

В статье рассмотрен феномен символистской традиции в творчестве Т. Кибирова сквозь призму категории лирического субъекта. Доказывается, что отношение Кибирова к символизму носит метатекстовый характер. Символизм осмысливается современным поэтом в постмодернистских мировоззренческих координатах как «язык-объект». Лирический субъект коррелирует уже не с образом лирического героя стихотворения, имеющего символистский генезис, но с «голосом» повествователя, появление которого связано с мотивами «приятая реальности», «прощания» и «прощения».

In the article the phenomenon of symbolical traditions in T. Kibirov's poetry is considered from the point of view of the lyrical subject. It is proved that Kibirov's attitude to symbolism is of metatextual nature. Symbolism is interpreted by the contemporary poet in the context of postmodern ideas as the "language-object". The lyrical subject correlates in this case not with the lyrical hero having symbolical origins but with the narrator's "voice" whose emergence is connected with the motives of "acceptance of reality", "valediction", and "forgiveness".

1. Зачастую понятие лирического субъекта определяется статично. Предполагается, что лирический субъект и разные формы его воплощения, такие, как лирическое Я, лирический герой, герой ролевой лирики, оказываются некими целостными и завершенными структурами. Установка на статичное описание смысла часто приводит к тому, что лирический субъект рассматривается вне системных координат. Нам кажется, что лирическая субъективность не есть завершенная и неподвижная конструкция. Она – некое развивающееся целое (в бахтинском смысле), а в «готовом» тексте мы находим лишь ее «след», статичную форму.

Возникает вопрос: каким образом лирическая субъективность может развиваться? С точки зрения формальных признаков особенности лирической субъективности определяются соотношением речи автора и речи героя. Однако структура этих отношений будет непонятна, если не учитывать мировоззренческий уровень. На наш взгляд, *лирическая субъективность конституируется на границе между миром и носителем лирической эмоции. Фактически лирический субъект есть граница, подвижная и изменяющаяся.*

Существует два способа преодоления семиотической границы. Условно назовем их: романтический (разновидностью которого является

символистский) и реалистический. На семиотическом уровне эти способы определяются вектором деформации границы и формируют две модели движения: центробежное и центростремительное.

Главная особенность романтического субъекта – это не только установка на «отделенное» от мира Я (которое является центром и смыслом романтической вселенной), но и проекция Я на образ мира. В результате этой проекции мир гипотетически должен обрести черты, которые желает в нем видеть лирический субъект романтической или символистской лирики. Данная центробежная тенденция, заключающаяся в проекции Я-образа на мир, семиотически выражается в *мотиве перехода героя за мировые «границы»*. Это приводит к разъятости и раздробленности романтического субъекта, который принципиально не может обрести психологическую целостность.

Центробежное движение лирической субъективности позволяет системно объяснить комплекс образов, тем и мотивов, появляющихся в лирике романтического типа, и увидеть их как единое функционирующее целое.

Так, на модели центробежного движения, которое предполагает проекцию собственного Я на мир, базируются следующие метамотивы, связанные с концепцией романтического художественного мира и лирической субъективностью:

а) метамотив отчуждения героя от мира, что выражается в центробежном мотиве движения героя к «пограничным» зонам (в качестве которых могут выступать такие локусы, как периферия, провинция, кабак и проч.);

б) метамотив вторжения мира в заповедные пределы романтической вселенной, который осознается как *реакция* на центробежное движение героя. При этом реальность часто демонизируется, поскольку выполняет роковую функцию по отношению к герою;

с) метамотив распада личности лирического субъекта, который оказывается как бы «разорванным» между мыслимой идеальной вселенной и страшной «демонической» реальностью. Этот метамотив реализуется в частотных для романтико-символистской парадигмы мотивах двойничества, душевной болезни, галлюцинации, опьянения;

д) все это приводит к пограничному состоянию героя, которое может трактоваться как на психологическом уровне, так и на уровне физическом (попытка перехода в иную реальность). В конечном счете, в романтической парадигме и у некоторых русских символистов мы встречаем героя именно такого пограничного типа.

Нетрудно увидеть, что из этих метамотивов складывается определенный общий сюжет, который является базовым для целого ряда роман-



тических произведений. Мировоззренческой основой этого сюжета оказывается *вектор движения героя в мире*. Хочется отметить, что здесь возникает интересный философский парадокс, имеющий психолого-религиозное основание: романтическая ориентация на собственное Я приводит к тому, что это собственное Я уничтожается и теряется.

Если же движение героя направлено на внутреннее пространство, то возникает иная смысловая модель: центростремительная, свойственная первичным стилям (в частности, реализму). Главным метамотивом здесь будет собирание мира через гармонизацию противоречивых аспектов реальности, что обуславливается изначальной ориентацией авторов на мир как целое.

Вышеозначенные установки позволяют поставить проблему традиции и влияния в несколько ином ключе, чем это было принято раньше. Нас будут интересовать не просто интертекстуальные совпадения (которые во многом могут оказаться «случайными»), но системная соотнесенность творчества обоих поэтов, рассмотренная под углом лирической субъективности. Системой, которая будет верифицировать эти интертекстуальные переключки на уровне лирической субъективности, будет структура пространства. Соответственно лирический герой будет рассматриваться в контексте таких понятий, как пространство, граница, вектор движения героя.

2. Давно уже доказано, что в лирике Кибирова присутствует обширный интертекстуальный пласт, связанный с русским символизмом [1]. При этом символистские цитации часто соседствуют с романтическими (см., например, стихотворение «К вопросу о романтизме» [2]), что указывает на то, что романтизм и символизм Кибиров воспринимает как разные реализации одной художественной системы.

Характерно, что заимствование ведется не только на уровне отдельных цитат, но также и на жанровом уровне. Возможно, это связано с тем, что жанр, будучи маленьким семиотическим универсумом, позволяет Кибирову целостно осмыслить романтико-символистскую традицию. Так, Кибиров обращается к таким традиционным романтико-символистским жанрам, как баллада, и в «Балладе о девице белого плеса» возникает традиционный романтико-символистский хронотоп, данный в стихотворении с пародическими обертонами.

Развитие лирического сюжета в стихотворении (на наличие которого указывает уже обозначение самого жанра, вынесенного в заглавие) обусловлено двумя факторами, которые, возможно, имеют символистский генезис.

Во-первых, сюжет кибировской баллады возникает из семантической неоднородности худо-

жественного пространства в стихотворении: пространство оказывается «двойным». С одной стороны, это реальное человеческое измерение, с другой стороны, это некая мистическая непостижимая сфера, где герой видит «Деву белого плеса» (явная аллюзия на соловьевско-блоковскую Вечную Женственность). Ср.: «Дева белого плеса и тихой воды, / золотой красоты-наготы / на белейшем коне в тишине, в полусне...» [3].

Такая семантическая структура характерна в общих чертах для романтико-символистского мира, в частности же, – для художественного мира А. Блока (см., например, его ранние стихотворения).

Во-вторых, лирический сюжет мотивирован *отчуждением героя* от «бытового» мира, несоответствием героя пространству, в котором он вынужден находиться. Герой как бы отрицает бытовое пространство, которое в балладе намеренно рисуется в сниженном виде: «дембеля возвращались в родную страну», «пили водку в купе», «с улыбкой дурною и песней блатной» [4] и проч.

Нарушение семиотического равновесия, обусловленное этими двумя причинами, приводит к появлению мотива *центробежного* движения, которое «сгущается» в сюжет, имеющий отчетливо символистско-романтическую природу (что впоследствии подтверждают прямые цитаты из лирики Блока). Центробежное движение герой Кибирова осуществляет, будучи в «зоне» дороги, которая выполняет функцию границы между двумя пространствами, а фактически оказывается местом «разрыва» пространства, где возможен переход в иную реальность.

Характерно, что когда герой Кибирова теряет свою «деву белого плеса», он снова направляется в подобные пограничные места: «шашлычная», «станционный буфет» и т. д. Здесь напрашивается явная аналогия с такими стихотворениями Блока, как «В ресторане», «Незнакомка», герой которых видит Прекрасную Даму в таком же пограничном месте – ресторане. Возможно, что в этих случаях в действие вступают определенные мифопоэтические механизмы. По крайней мере, с точки зрения мифологических соответствий такие корреляция являются вполне закономерными [5].

3. В стихотворении Кибирова все реалии и детали обретают двойную мотивировку, за счет чего возникают две парадигмы образов, которые в рамках одновременного восприятия целого оказываются семантически эквивалентными: *просветление – психушка, ефрейтор – жених, Мистическая Дева – проститутка, смерть – возвращение к девице белого плеса*.

Думается, что главным условием возникновения этих парадигм становится наличие двух про-

странств. Смыслы как бы распределяются пространственно и привязываются к определенному локусу, образуя некое поистине символическое единство. И общие принципы кодировки смысла обуславливаются именно пространственной моделью автора. Таким образом, пространство конституирует смыслы, и само конституируется смыслами.

Подобная структура характерна и для лирики Блока, главной особенностью которой также становится наличие эквивалентных семантических парадигм, в рамках которых могут уравниваться противоположные понятия. Такая семантическая «равнозначность» на уровне поэтики, несомненно, объясняется особенностями символистского мировоззрения, в основе которого лежит концепция *символического*, предполагающая категорию всеединства, на уровне поэтики реализующегося именно в семантически равнозначных группах образов.

Однако это символическое всеединство оказывается иллюзорным и в основе своей трагичным, ибо в контексте эквивалентных парадигм становится возможным мотив демонической подмены (ср. один из главных лейтмотивов лирики Блока: «Но страшно мне: изменишь облик Ты» [6]). Герою Кибирова также приходится сталкиваться с такой подменой: «И однажды он вроде бы видел ее. / Но вблизи он ее не признал» [7].

Какую же функцию в рамках такого смыслового пространства выполняет лирический субъект у Кибирова и у Блока? Лирический субъект становится началом, которое как бы «соединяет» эти два разорванных мира. Поэтому *точка зрения, то есть выбор из этих эквивалентных групп, зависит от положения лирического субъекта в пространственной системе координат*. Здесь возможны три варианта: лирический субъект находится в мистическом пространстве, лирический герой находится в бытовом пространстве, однако сам факт того, что перед героем Кибирова и Блока встает «проблема выбора», свидетельствует о том, что *положение героя погранично*. Он находится как бы в точке стыка (или разрыва) этих двух реальностей.

Таким образом, центрбежное движение героя за пределы его пространства оборачивается смертью и закономерно связывается с мотивами трагической отчужденности и гибели. Стоит отметить, что у Блока и Кибирова движение к иному, «за пределы», соотносится с распадом структуры личности. Недаром у Блока бытовой мотивировкой проникновения в мистический мир оказывается опьянение, а в балладе Кибирова все заканчивается душевной болезнью. При этом попадание в «психушку» в рамках выведенного нами метасюжета может пониматься как реакция реальности на попытку героя проникнуть за ее пределы.

4. Тем не менее схожесть лирических субъектов Блока и Кибирова не обозначает их полной идентичности. Сама ситуация поиска девы белого плеса в балладе Кибирова осмысливается иронически. Эту иронию нельзя назвать романтической.

На семантическом уровне романтическая ирония может пониматься как результат одновременного эквивалентного соположения и оппозиции образов мистического и земного пространства с наличием пограничного героя, который не может свести эти парадигмы к «общему знаменателю». Поэтому результатом такого восприятия мира у Блока зачастую оказывается полная отстраненность от любого типа пространства вообще, абсолютный разрыв с миром: связи героя с землей разорваны, с небом – не найдены, в результате чего герой оказывается как бы в семантическом вакууме. Отсюда мотив трагической отчужденности лирического субъекта многих лирических стихотворений Блока [8].

Однако ирония Кибирова строится за счет принципиально иных механизмов, она не предполагает подобной отстраненности, более того, в финале стихотворения иронический пафос полностью снимается. Ср.: «Дева белого плеса, слепящих песков, / пощади нас, прости дураков, / золотая краса, золотые глаза, / белый конь, а над ним и под ним бирюза. / Лишь следы на песке от подков» [9].

Почему так происходит? Почему ситуация, явно ироничная у Кибирова, вдруг лишается пародических обертонов? Ответ, думается, нужно искать опять же на уровне субъектной структуры.

Общеизвестно, что в символизме (как и в романтизме) личностный аспект выдвигается на первый план, что приводит к абсолютной доминанте лирического субъекта у Блока и отсутствию внешней точки зрения. У Кибирова такая точка зрения появляется в самом финале стихотворения и принадлежит она *внеположному этическому повествователю*. Появление эпического взгляда, с одной стороны, предполагает некоторую отстраненность от описываемой ситуации, а с другой стороны, этот эпический взгляд является гарантом существования хоть какого-то порядка в мире. В этом плане внешняя точка зрения (а фактически – элемент эпичности, который появляется в структуре лирической субъективности) позволяет обрести почву под ногами и выйти из разорванного мира.

Поэтому истинным героем в стихотворении Кибирова парадоксально оказывается «голос за кадром», который в финале говорит «мы», отрицая индивидуализм романтического персонажа. Если анализировать это стихотворение в бахтинском ракурсе, то можно сказать, что голос повествователя оказывается «внеположным» самой нарисованной ситуации. Повествователь, все еще теснейшим образом связанный с романтическим

героем, все-таки отстраняется от него. И в этой ценностной амбивалентности и заключается сам пафос стихотворения.

Таким образом, психологически раздробленный герой Кибирова постфактум обретает целостность через соотнесение его с внеположным «образом» повествователя. Это свидетельствует о принципиально иной, центробежной, модели движения смысла, которая предполагает пафос собирания разъятого мира в единое целое через акт прощения и прощания (ср., например, эти мотивы в поэме «Сквозь прощальные слезы»). Эта модель движения коррелирует уже не с образом лирического субъекта стихотворения, имеющего символистский генезис, но с «голосом» повествователя, появление которого связано с мотивом притяжения реальности. Поэтому в стихотворении Кибирова отношение к символизму можно назвать метатекстовым. Символизм здесь является, если использовать терминологию Р. Якобсона, «языком-объектом», который осмысливается уже в иных мировоззренческих координатах.

#### Примечания

1. См., например: Багрецов, Д. Н. Тимур Кибиров: интертекст и творческая индивидуальность [Текст] / Д. Н. Багрецов. Екатеринбург, 2005. С. 82–99.
2. Кибиров, Т. «Кто куда – а я в Россию...» [Текст] / Т. Кибиров. М., 2001. С. 110.
3. Там же. С. 66.
4. Кибиров, Т. Указ. соч. С. 64–65.
5. См., об этом: Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров [Текст] / Ю. М. Лотман // Семиосфера. М., 2001. С. 257–268.
6. Блок, А. Собр. соч. [Текст]: в 6 т. Т. 1 / А. Блок. Л., 1980. С. 143.
7. Кибиров, Т. Указ. соч. С. 67.
8. См. Жирмунский о Блоке: «Вместо восторженных взлетов первых страстных стихов – все усиливающееся гнетущее сознание душевной разорванности и падения» (Жирмунский, В. Поэзия Александра Блока [Текст] / В. Жирмунский // Поэтика русской поэзии. М., 2001. С. 295).
9. Кибиров, Т. Указ. соч. С. 69.

Е. Г. Озерова

### ПРИНЦИПЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОГНИТИВНО-КОННОТАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА СТИХОТВОРЕНИЙ В ПРОЗЕ И. С. ТУРГЕНЕВА

В статье эксплицируются принципы лингвистического моделирования когнитивно-коннотативного пространства стихотворений в прозе И. С. Тургенева, среди которых основными являются: 1) принцип апперцептивной номинации; 2) принцип дискурсивно-апперцептивной интерпретации внутренней

речи; 3) принцип протодискурсивной интерпретации внутренней речи; 4) принцип эгоцентрической интерпретации.

The article deals with the principles of linguistic modeling of cognitive-connotative space in the prose poems by I. S. Turgenev. The basic principles are: 1) the principle of apperceptive nomination; 2) the principle of discursive-apperceptive interpretation of endophasia; 3) the principle of protodiscursive interpretation of endophasia; 4) the principle of egocentric interpretation.

Дискурсивная интерпретация текстов И. С. Тургенева позволяет выявить основные когнитивно-коннотативные регистры поэтической прозы данного автора. Цикл художественных произведений этого жанра создавался не для печати, может быть, поэтому в них заключён откровенный итог не только сугубо писательской деятельности, но и дана философская ретроспектива тем авторским переживаниям и размышлениям, которые всегда сопровождали писателя в принятии им жизненно важных решений. И это при том, что одной из особенностей рассматриваемого поэтического жанра является *лаконичность* текста, *миниатюрность* формы. Обращает на себя внимание тщательность отбора выразительных средств, метафор-символов, аллегорий, повторов, параллелизмов, образующих кольцевую композицию, замкнутость произведения.

Например, стихотворение в прозе «Разговор» имеет эпиграф: *«ни на Юнгфрау, ни на Финстерааргорне ещё не бывало человеческой ноги»*, который раскрывает метафорический смысл всего произведения: насущные, мирские проблемы и заботы – это удел земного, а высшие, нравственные, духовные ценности – это небесное, где *проходят тысячи лет: одна минута*, где *над горами бледно-зеленое, светлое, немое небо*, где нет места суете и материальным приоритетам.

Изображение действительности в поэтической прозе И. С. Тургенева абстрагировано от реального мира, отражая внутренний, субъективный опыт автора и эмотивное отношение к миру через поэтические образы-символы. Метафорическое концентрирование образов-символов имеет не только экспрессивную, но и коннотативную функцию. Рефреном произведения является образный повтор *проходят еще тысячелетия: одна минута*, в котором заключена антитеза вечного и преходящего.

Метафорические антропонимы *Юнгфрау* и *Финстерааргорн* представляют женское и мужское начало, соединившиеся в Царствии Небесном, где царит спокойствие и благодать, образным противопоставлением представлена земная, материальная жизнь *«там внизу всё то же: пёстрые, мелко... копошатся козявки, знаешь, те двуножки, что ещё ни разу не могли осквернить ни тебя, ни меня. – Люди? – Да; люди. Проходят тысячи лет: одна минута»*.

Рассмотрим важнейшие принципы структурирования дискурсивно-коннотативного пространства стихотворений в прозе И. С. Тургенева.

1. Для языка поэтической прозы И. С. Тургенева, прежде всего, характерна *апшерцептивная номинация*, под которой понимается обозначение объема вторично воспринимаемых субъективных понятий и представлений, чувственного впечатления, способствующего познанию.

Апшерцептивная номинация смерти, определяющая зависимость от прошлого опыта, от запаса знаний и общего содержания духовной жизни человека в момент восприятия, в заключительном предложении раскрывает *эготоп* (субъективно-индивидуальное восприятие действительности, соотношенность действительности с «Я-личностью», создание определенных эго-смыслов, эго-воспоминаний, эго-оценок) повествования: земная, материальная жизнь перешла в другой мир – мир вечности и покоя. *Снят громадные горы; стит зеленое светлое небо над навсегда замолкшей землей*». Ещё Платон говорил о том, что на протяжении земной жизни разум несёт на себе печать своего особого происхождения и, даже обитая в телесных оковах, не теряет изначальных свойств. Способность человека познавать высшее есть припоминание того, что душа вынесла из запредельных сфер. В частности, по Платону, и мысль о божественном Единстве является именно припоминанием того, что «некогда видела наша душа, когда она сопутствовала Богу, свысока глядела на то, что мы теперь называем бытием, и поднималась до подлинного бытия» [1].

Дискурсивно-апшерцептивная интерпретация поэтической прозы имеет когнитивную преамбулу, под которой мы понимаем восприятие действительности в зависимости от жизненного, духовного опыта писателя, а также от психического состояния автора в момент субъективного восприятия действительности.

Последние годы жизни И. С. Тургенев болел раком спинного мозга, и в стихотворениях в прозе эксплицированы интимные переживания больного человека. Следует отметить, что вначале автор называл их «Старческими раздумьями», «Senilia» – старческое: «Собственно говоря, это не что иное, как последние тяжкие вздохи... старика». Впоследствии, когда издатель М. Стасюлевич, познакомившись с некоторыми набросками, посоветовал опубликовать написанное, писатель отправил рукопись в «Вестник Европы» уже с подзаголовком «40 стихотворений в прозе».

2. Вторым принципом лингвистического моделирования когнитивно-коннотативного пространства стихотворений в прозе И. С. Тургенева является *дискурсивно-апшерцептивная интерпретация внутренней речи*. Тематическая

контрастность поэтической прозы эксплицирует наметившиеся во внутренней речи когнитивно-коннотативные установки автора: антитезу добра и зла, жизни и смерти, счастья и горя, старости и молодости. Для И. С. Тургенева истина заключается в противопоставлении. Поэтому, с одной стороны, истина – это любовь: «...любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь», с другой стороны, – смерть в образе старухи: «...и вот опять слышу я за собой те же легкие, мерные, словно крадущиеся шаги. Опять эта женщина! – подумалось мне. – Что она ко мне пристала?.. Но странное беспокойство понемногу овладело моими мыслями: мне начало казаться, что старушка не идет только за мною, но что она направляет меня, что она меня толкает то направо, то налево, и что я невольно повинуюсь ей...». Обращение к внутренней речи, как видим, позволит проникнуть в философско-психологическую сущность поэтической прозы.

3. Внутренняя речь поэтической прозы И. С. Тургенева подвергается также *интерпретации протодискурсивной среды*, где зарождается философско-психологический смысл произведения, который для автора становится основным предметом художественной вербализации, а для читателя – главным предметом декодирования.

Образы-символы расширяют когнитивное пространство номинативных единиц: И. С. Тургенев долгое время жил в Германии, в совершенстве владел немецким языком, знание которого и помогло в создании метафорических образов поэтической прозы. Обратимся к Большому немецко-русскому словарю, чтобы раскрыть составляющие дефиниции антропонимов: Jungfrau: дева, девственница die Allerheiligste [Heilige] Jungfrau – Пресвятая дева (Мария); Богородица. *Finsternis*: 1. темнота, мрак, тьма; 2. перен. мрак, безысходность. *Arg*: высок. зло, злонамеренность. *Horn*: вестник. Таким образом, интерпретация метафорической антитезы раскрывает и когнитивные, и коннотативные коды: девственное, чистое, непорочное противопоставлено вестнику мрака, тьмы и зла (ср.: рай и ад).

Интерпретация образа-символа Юнгфрау в поэтической прозе И. С. Тургенева имеет и второй смысловой план: в религиозном значении эта дефиниция олицетворяет Деву Марию, Сын которой, как известно, победил смерть, воскрес из мертвых, поэтому образ смерти в таком контексте может обозначать не разлуку, а соединение: (Кондак 9) *Всякое естество ангельское превозносит Тя, Богородице, человечество же роди вси Матерь Тя Божию славим, и почитаем пречестное Твое Успение, Царице: Тебе бо ради земнии небесным сово-*

купаются, согласно поюще Богу: Аллилуиа! Смерть становится радостной встречей, продолжением жизни души: «...по рождестве Дева, и по смерти – жива», «в рождестве Ты сохранила девство, а в успении мира не оставила».

Следует отметить, что образы-символы, отражающие психологический настрой автора, эксплицируются на апперцептивном уровне. Когнитивными смыслами наполнен и жанр стихотворений в прозе, который реализуется в системе культурных кодов (ассоциативные смыслы, воспроизводящие этнокультурные образы), а внутренний характер предопределён дискурсивной действительностью. Стихотворения в прозе И. С. Тургенева – это философско-культурные поэтически образные системы, кодирующие субъективный генотип автора. Но вместе с тем это «произведения словесного искусства, в которых читателем эксплицируется скрытый эмоциональный регистр русского менталитета, так как, только становясь «интерпретированным» [читателями], произведение преодолевает время и включается в движение общественного сознания, а внутри него оно становится значимым для индивидуального сознания. Интерпретация определяет направленность понимания текста и обозначает онтологическую связь языка и мира» [2].

Основу лингвокультурологической интерпретации этого речевого жанра составляют два доминирующих механизма – когнитивный и эмоциональный – в их дискурсивно-коннотативном взаимодействии. Единство умственных и чувственных регистров, отражающих жизненный опыт и личностную деятельность автора, проявляется во внутренней речи повествовательного нарратива, содержащей размышления о смысле жизни, быстротечности времени. Ср.: *Как пуст и вял и ничтожен почти всякий прожитой день! Как мало следов оставляет он за собой! Как бессмысленно глупо пробежали эти часы за часами! И между тем человеку хочется существовать; он дождёт жизнию, он надеется на нее, на себя, на будущее... О, каких благ он ждет от будущего! Но почему же он воображает, что другие, грядущие дни не будут похожи на этот только что прожитой день? Да он этого не воображает. Он вообще не любит размышлять – и хорошо делает. «Вот завтра, завтра!» – утешает он себя, пока это «завтра» не свалит его в могилу. Ну – а раз в могиле – поневоле размышлять перестанешь («Завтра, завтра!»).*

Создаваемый во внутренней речи обобщённый образ земного человека подчинён законам бытия, за которым неумолимо стоит призрак смерти. Стихотворением в прозе «Завтра, завтра!» И. С. Тургенев продолжает тему суетности земной жизни: «...пуст, вял и ничтожен почти всякий прожитой день!». Когнитивно-дискурсивный

анализ поэтической прозы И. С. Тургенева позволяет провести параллель с текстом одного из фрагментов Ветхого Завета, называемым Книгой Екклесиаста: *Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?* (Еккл. 1,3); *Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – все суета!* (Еккл. 1,2). Таким образом, всё земное – суета сует, только в Боге смысл и предел человеческого бытия: *возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его* (Еккл. 12:7).

Интерпретация образа смерти в поэтических миниатюрах эксплицируется когнитивной метафорой, которая «выступает средством создания нового смыслового содержания» [3]: *Я оглянулся – и увидел маленькую, сгорбленную старушку, всю закутанную в серые лохмотья. Лицо старушки одно виднелось из-под них: желтое, морщинистое, востроносое, беззубое лицо («Старуха»); Мне сдается: стоит возле моей кровати та неподвижная фигура... В одной руке песочные часы, другую она занесла над моим сердцем... («Песочные часы»); Мне почудилось, что между нами сидит высокая, тихая, белая женщина. Длинный покров облекает её с ног до головы... Никуда не смотрят её глубокие, бледные глаза; ничего не говорят её бледные строгие губы... Эта женщина соединила наши руки... Она навсегда примирила нас. Да... Смерть нас примирила... («Последнее свидание»).*

Образ смерти является междискурсивной константой. Как известно, он нередко встречается в русских народных сказках: *«...солдат пошел себе дальше. Вот шел и шел он так долгонько, и до дому уже недалеко осталось, всего три дня ходьбы! Вдруг повстречалась с ним старуха, такая худая да страшная, несет полную котомочку ножей, да пил, да разных топориков, а косою подпирается. Загородила она ему дорогу, а солдат не стерпел этого, выдернул тесак да и закрычал: – Что тебе надобно от меня, старая? Хочешь, тебе голову раскрою? Смерть (это была она) и говорит: – Я послана Господом взять у тебя душу! Вздрогнуло солдатское сердце, упал он на колени да и говорит: – Смилуйся, матушка-смерть, дай мне сроку только три года; прослужил я королю свою долгую солдатскую службу и теперь иду с родными повидаться. – Нет, – говорит смерть, – не видаться тебе с родными и не дам я тебе сроку три года. – Дай хоть на три месяца. – Не дам и на три недели. – Дай хоть на три дня. – Не дам тебе и на три минуты, – сказала смерть, махнула косою и умоорила солдата» («Солдат и смерть»).* Образ смерти близок народнопоэтическому творчеству и других народов. Достаточно ярко он используется в венгерских сказках: *Но хоть и старость пришла, а старуха эта никогда не думала о том,*

что может однажды наступить и ее черед – что к ней постучится смерть. День и ночь не разгибала она спины, по хозяйству хлопотала, убирала, стирала, шила, мыла. Такая она была неумная, на работу горячая и неугомонная. Но однажды смерть вывела на дверях мелко и старухино имя и постучалась к старухе, чтобы забрать ее с собой. А старухе невольно было расставаться с хозяйством, и стала она смерть просить-умолять, чтобы еще сколько-нибудь не трогала, дала бы ей хоть немного, если уж не с десяток лет, то хотя бы годик пожить. Смерть никак не соглашалась. А потом все-таки расщедрилась: – Ладно уж, дам тебе три часа. – Почему ж так мало? – взмолилась старуха. – Ты меня хоть нынче не трогай, завтра заведи с собой. – И не проси! – сказала смерть. – А все-таки! – Никак нельзя. – Да полно! – Ладно, – сказала смерть. – Коли так просишь, пусть будет по-твоему. Старуха обрадовалась, но виду не подает и говорит: напиши на дверях, что до завтра не придешь. Тогда, как увижу твою руку на двери, спокойнее буду. Надоели смерти старухины причуды, да и времени не хотелось зря терять. Вытащила она мелок из кармана да на дверях им написала: – “Завтра” («Старуха и смерть»).

Во внутренней речи дискурсивно-смысловые коннотации поэтической прозы И. С. Тургенева преобладают над узуальным значением образного слова. Эта закономерность подтверждается и исследованиями психологов. Во внутренней речи, по утверждению Л. С. Выготского, происходит обогащение слов смыслом и преобладание смысла над значением достигает предела. Объясняется это двумя факторами. Во-первых, согласно учению А. Р. Лурия, «мысленная речь навевается и моментами разного рода раздумий...». Сравним первоначальное название стихотворений в прозе И. С. Тургенева «Старческие раздумья». Во-вторых, внутренняя речь является, как видим, речью «для себя» и «про себя», в то время как внешняя (озвученная) – это речь для «других».

4. Четвертым принципом моделирования когнитивно-дискурсивного пространства произведений И. С. Тургенева является *интерпретация эгоцентрической речи*, под которой Жан Пиаже понимает «речь для себя», так как эта речь не обращена к другим людям, не имеет коммуникативной функции. Следует заметить, что данный термин Ж. Пиаже рассматривал, анализируя развитие онтогенеза речи. Ученый приходит к выводу о том, что человек меняет свое отношение к предметному миру, в результате чего происходит переход от эгоцентризма к объективности восприятия. В дискурсивной интерпретации поэтической прозы читателями, как показывают психолого-лингвистические наблюдения, происходит об-

ратный процесс: переход от объективного восприятия действительности к эгоцентризму, позволяющему пропустить воспринимаемое через собственный опыт. Такое сопоставление не является ни случайным, ни единичным: особенности одинаковости восприятия действительности стариками и детьми имеют лингвокультурологическую и когнитивную закреплённость в русских пословицах: *старый – что малый; старый как малый; старый что малый; что старый, что малый*.

Внутренняя речь стихотворений в прозе нередко базируется на идиоматичности словесных значений. Семантика номинативных единиц глубоко индивидуализирована, поскольку анализируемые художественные тексты, как признавался сам писатель, написаны им для самого себя, однако, с другой стороны, поэтическое сознание автора и читателя, представляя собой систему смыслов и значений, как бы накладывается на создаваемую в произведении действительность и в этом плане является частью художественного восприятия.

Таким образом, интерпретация поэтической прозы относится к рефлексивной деятельности субъекта: это не только восприятие внутренних смыслов, но и сопереживание тем мыслям, которые появляются и воссоздаются в процессе порождения художественного текста. С этой точки зрения интерпретация стихотворений в прозе И. С. Тургенева – это *поэтические рефлексемы* – раздумья автора о своём внутреннем состоянии, интроспективный анализ собственных переживаний. Поэтическая рефлексема – это своего рода дискурсивно обусловленное сканирование действительности, пропущенное через призму её экспрессивно-образного восприятия. Г. И. Богин отмечает, что «рефлексия потому и дает *новое отношение* к опыту, что интенциональность несет в себе появление новых направленностей рефлексии». Из разномодальной интенциональности создаются разные разновидности рефлексии – желание, другие собственно человеческие чувства, воображение, суждение, мнение. «Смысл характеризует одну ситуацию, не распространяясь на другие, поэтому считается, что смысл интенционален, тогда как значение экстенционально» [4]. Интенциональность тургеневской поэтической прозы – это *интроспективно осмысленное* представление земного бытия, эксплицируемого презентациями действительности.

Таким образом, основными принципами моделирования дискурсивно-коннотативного пространства поэтической прозы И. С. Тургенева являются принцип апперцептивной номинации; принцип дискурсивно-апперцептивной интерпретации внутренней речи; принцип протодискурсивной интерпретации внутренней речи и принцип эгоцентрической интерпретации.

*Список источников*

1. Тургенев, И. С. Полное собрание сочинений и писем [Текст] : в 30 т. / И. С. Тургенев. М., 1978.
2. Библия. Книги Священного Писания, Ветхого и Нового Завета [Текст] / Библия. М., 2007.

*Примечания*

1. Платон. Федон, Пир, Федр, Парменид [Текст] / Платон. М., 1999. С. 158.
2. Доманский, В. А. Литература и культура: Культурологический подход к изучению словесности в школе [Текст] / В. А. Доманский. М., 2002. С. 14.
3. Алефиренко, Н. Ф. Язык, познание и культура: Когнитивно-семиологическая синергетика слова [Текст] / Н. Ф. Алефиренко. Волгоград, 2006. С. 171.
4. Богин, Г. И. Обретение способности понимать: Введение в герменевтику [Текст] / Г. И. Богин. М., 2001. С. 186.

О. М. Шукова

**СПЕЦИФИКА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИЙ  
ЦЕЛОСТНОСТИ И ЗАВЕРШЕННОСТИ  
В «ИЗБОРНИКЕ 1076 г.»**

В статье рассматривается реализация текстовых категорий целостности и завершенности в «Изборнике 1076 г.»; характеризуются языковые и экстралингвистические средства их выражения на трех уровнях – микротекстовом, макротекстовом и мегатекстовом; дается авторская классификация древнерусских текстов по особенностям реализации категорий целостности и завершенности. Сделан вывод о специфике способов и форм экспликации данных категорий в тексте средневекового сборника, обусловленной ментальностью русского средневековья.

The article deals with realizing the textual categories of integrity and completeness in «Izbornik for 1076»; linguistic and extralinguistic means of their expression are considered on three levels – microtextual, macrotextual and metatextual; an original classification of early Russian texts is put forward based on particularities of realizing the categories of integrity and completeness. The conclusion of the article highlights the ways and forms of explication of the mentioned categories in the medieval text as well as their being determined by the Russian medieval mentality.

Древнерусский текст как объект изучения представляет собой значительный интерес для гуманитарных наук. Являясь культурным и языковым знаком, текст имеет как универсальные, так и специфические национальные черты структурной организации. История языка во многом может найти свое объяснение в истории текста.

Общеизвестно, тем не менее, что в историческом языкознании лингвистика текста как самостоятельное научное направление еще не сформировалась. Важнейшая задача диахронических исследований в рамках лингвистики текста состоит в изучении особенностей реализации тек-

стовых категорий. Особый интерес представляют для исследователей древнерусские сборники устойчивого/неустойчивого состава, например «Изборник Святослава 1073 г.», «Изборник 1076 г.», «Успенский сборник», «Пчела». В них наиболее ярко отражается такая характерная черта древнерусских памятников, как анфиладность (термин Д. С. Лихачева), или открытость.

Цель статьи – рассмотреть особенности реализации категорий целостности и завершенности в «Изборнике 1076 г.» как одном из наиболее ранних древнерусских сборников.

Категории завершенности (замкнутости) и целостности (цельности) текста признаются лингвистами одними из самых важных и основополагающих категорий текста. В диахроническом аспекте категории целостности и завершенности требуют внимания по двум причинам. Во-первых, мы предполагаем, что реализация данных категорий в древнерусских сборниках существенно отличается от их реализации в современных письменных текстах. Во-вторых, анализ категорий целостности и завершенности позволяет выявить специфику средневекового сознания и особенности процесса отражения и познания средневекового мира в форме текстов.

Под целостностью мы понимаем подчиненность содержательной и структурной организации текста авторскому замыслу. Завершенность текста – это исчерпанность имплицитно или эксплицитно выраженной идеи произведения. Отметим при этом нетождественность понятий «завершенность» и «формальная законченность» текста. Завершенность ставит предел разворачиванию информации текста, а формальная законченность – это концовка текста, своеобразная «точка текста». Маркированность начала и конца – обозначение формальной законченности произведения, при этом завершенность текста может остаться нереализованной.

Категории целостности и завершенности в «Изборнике 1076 г.» следует рассматривать на трех основных текстовых уровнях – микротекстовом, макротекстовом и мегатекстовом. Под микротекстом понимается текст каждой отдельной статьи сборников устойчивого или неустойчивого состава безотносительно к другим статьям произведения; макротекст – это текст всего памятника; мегатекст – это совокупность всех средневековых письменных текстов [1].

На микротекстовом уровне целостность реализуется имплицитно и эксплицитно. Имплицитная реализация заключается в разного рода ассоциативных связях, благодаря которым читатель объединяет воедино все части текста. Эксплицитные средства выражения целостности разнообразны: средства семантической связи (разного рода повторы: синонимический, антонимический, ассоциативный); совокупность ключевых слов текста;

единая структурная организация текста (например, выделение одинаковых по структуре структурно-смысловых блоков или комплексов блоков).

Большую роль в организации целостности текста играет заглавие. Под заглавием понимается коммуникативная единица, которая находится в позиции перед текстом, является его названием, синтаксически оформляется как предложение, прямо или косвенно (через образные средства языка) указывает на содержание или идею текста и отграничивает данное речевое произведение от другого [2]. Все заглавия в «Изборнике 1076 г.» относятся к конспективному типу. В одних случаях заглавие называет тему произведения («Слово нѣкоко калоу҃гера о чь (чтении. – О. Ш.) книгъ»; «Аданасиеви штвѣти противоу нанесенымъ кмоу отъвѣтомъ шт некихъ правовѣрныхъ о различныхъ главизнахъ»); в других – проблему, решение которой дается в тексте («Свѣтаго василія како подобакъ человеку быти»); в-третьих – определяет дискурсивную направленность текста («Наказаник богатымъ»; «Слово нѣкоко отца къ сыноу свокому», «Зенофонта кже глагола къ сынома своимъ»; «Наказаник ісѹхиа презвѣтера иерусалимьскаго»; «Івана златоустяго слово разоумни и пользни отъ прочихъ кго доушепользнихъ оучении:»); в-четвертых, название является тезисом текста («Іже оубо правовѣрноу вѣроу имѣти шснования добрыхъ дѣлъ ксть»); в-пятых, заглавие содержит лишь указание на источник статьи («Свѣтыа ѿеодоры», «Съборъ отъ мьногъ отецъ и апостолъ и пророкъ»; «Прѣмоудрость исоусова сына сирахова»). В любом случае название сопряжено с содержанием текста и через него – с основной темой произведения.

Завершенность текста как категория выражается в основном имплицитно и представляет собой исчерпанность темы. Формальные средства выражения категории завершенности – это маркированность конца текста (чаще всего такими элементами являются обращения к Богу и слово «аминь»). Однако маркированность окончания текста применительно к исследуемому нами тексту в большой мере относительна и условна, поскольку подобные формулы конца могли прикрепляться искусственно при переписке текста.

Анализ категорий целостности и завершенности на микротекстовом уровне «Изборника» позволяет провести классификацию статей памятника на основании особенностей реализации данных категорий: 1) тексты целостные завершенные («Слово нѣкоко калоу҃гера...», «Слово нѣкоко отца къ сыноу свокому», «Іже оубо правовѣрноу вѣроу имѣти шснования добрыхъ дѣлъ ксть», «Зенофонта кже глагола къ сынома своимъ»); 2) тексты целостные незавершенные («Свѣтыа ѿеодоры»); 3) тексты целостно-дисперсные завер-

шенные («Свѣтаго василія како подобакъ человеку быти»); 4) тексты целостно-дисперсные незавершенные («Наказаник богатымъ», «Івана златоустяго слово разоумни и пользни отъ прочихъ кго доушепользнихъ оучении:»); 5) тексты незавершенные и нецелостные («Наказаник ісѹхиа презвѣтера иерусалимьскаго»; «Прѣмоудрость исоусова сына сирахова»); 6) комплексные по структуре тексты («Съборъ отъ мьногъ отецъ и апостолъ и пророкъ...»).

Целостная структура текста предполагает подчиненность всех частей текста, всех его структурно-смысловых блоков одной микротеме текста и создается с помощью таких средств, как единый тип дискурса, общая цель написания статьи, единство концептуальной и фактуальной информации, адресата, автора.

Дисперсная структура предполагает, что основное содержание текста не является единым целым. По семантике все составляющие содержание структурно-смысловые блоки подчиняются теме нравственного наставления и относительно конкретизируются введением адресата текста, однако они автосемантически, их легко можно модифицировать, перемещать, дополнять, вводить новые блоки без ущерба смысла и без нарушения структуры текста.

В текстах с комплексной структурой нет других оснований для объединения частей текста в единое целое, кроме намерения автора-составителя, то есть экстралингвистического фактора. Данные тексты включают части, которые не связаны тематически, имеют в своей основе различные источники и принадлежат разным авторам. По сути дела, здесь эксплицируется явление «включения», вставки одного текста в другой (так называемый «текст в тексте»).

На макротекстовом уровне «Изборник» представляет собой произведение сборного характера, и данное обстоятельство существенно влияет на особенности реализации в нем категорий целостности и завершенности. Целостность содержания «Изборника 1076 г.» определяется лишь замыслом его составителя, объединенностью всех частей текста интенцией нравственного поучения, то есть создается скорее жанром и прагматической направленностью, чем тематическим единством частей. Идейная направленность нравственного поучения реализуется в каждой из 12 статей «Изборника» с помощью разнообразных, пересекающихся друг с другом тематических узлов. В различных статьях возможно многократное повторение одной и той же темы, реализуется одна и та же важная для составителя мысль – и тогда тексты наслаиваются друг на друга, происходит пересечение их содержательной информации. С другой стороны, в отдельно взятой статье параллельно раз-



рабатывается несколько различных информативных линий, в содержании формируется несколько тематических узлов, вокруг каждого из которых репрезентируются свои ключевые слова или комплексы концептов.

Для структуры «Изборника» целостность еще менее характерна, чем для его содержания, так как построение микротекстов различно и не укладывается в определенную модель. В одних текстах есть композиционное членение, легко выделяются введение, основная часть и заключение, в других данный вид членения не представлен.

Однако на макротекстовом уровне ярко выражаются другие категории древнерусского сборника – категория гипертекстуальности и дисперсности (фрагментарности). Статьи соотносятся друг с другом как фрагменты одного целого, но не закрепленные на одном единственном месте, в одном единственном положении. Это определенного рода мозаичное строение с той только разницей, что изменение ее структуры не влечет за собой изменения общей картины.

Отсутствие единой целостной структуры «Изборника» сказывается и на реализации категории завершенности. Формально «Изборник» завершен, присутствует маркер конца – своеобразное послесловие составителя сборника: **«Коньчаша са книги сил роукою грѣшьнааго ноана избърано из мъногъ книгъ княжихъ иде же криво братик исправивше чьтѣте благословите а не кланѣте: аминъ»**

**Кончахъ книжки сил въ лѣто 6584 лѣто при свѣтославѣ князи роуьскы землѣ: аминъ»** [3].

Тем не менее завершенность остается нереализованной, в чем проявляется особенности произведения анфиладного типа. Отметим, что завершенность любого анфиладного произведения носит противоречивый характер. С одной стороны, абсолютной законченности в древнерусском тексте, реализованном в сборнике, быть не может, так как данный текст является не статичным объектом, а изменчивой, релятивной, подверженной всевозможным наслоениям сущностью. Даже сам составитель сборника призывает следующих переписчиков исправить то, что им покажется неясным, «кривым», он осознает, что произведение будет жить и дальше, причем не

пассивно, как объект для чтения, а активно – дополняясь и модифицируясь. Отсюда принципиальная незаконченность текста, текст не просто не завершен, но никогда не будет завершен, его содержание и структура всегда останутся открытыми. С другой стороны, на уровне мегатекста вся содержащаяся в тексте информация не является абсолютно неизвестной, ничего принципиально нового, индивидуального авторы добавить не могут, дальнейшая судьба текста связана лишь с повторением всем известных истин. В этом определении вечных, неизменных истин «Изборник 1076 г.» представляет собой часть единого мегатекста, некий элемент мозаики, без которого общая картина была бы неполной. По отношению к общей мегатеме древнерусской литературы («отражение действительности») «Изборник 1076 г.» как часть мегатекста раскрывает один из тематических узлов данной мегатемы, реализующейся в формуле «показать вечное в суетном мире».

Итак, на уровне микротекста по особенностям реализации категорий целостности нами выделены тексты целостные, целостно-дисперсные и тексты с комплексной структурой; по специфике реализации категории завершенности мы выделяем завершенные и незавершенные тексты. На уровне макротекста целостность «Изборника 1076 г.» создается жанром и прагматической направленностью, а завершенность остается нереализованной. На мегатекстовом уровне «Изборник 1076 г.» является целостной и завершенной частью единого мегатекста, раскрывающей тему «незримого в зримом мире».

Таким образом, проведенный анализ категорий текста позволил выявить специфику средневекового мировоззрения, отраженного в образцовом тексте данной эпохи.

#### Примечания

1. Акимова, Э. Н. Реализация категории обусловленности в языке памятников письменности русского средневековья (XI–XVII вв.) [Текст] / Э. Н. Акимова. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006. С. 29.
2. Сыров, И. А. Синтаксические факторы текстообразования в современной художественной литературе [Текст] : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / И. А. Сыров. М., 1998. С. 12.
3. «Изборник 1076 г.» [Текст]. М.: Наука, 1965. С. 701.

## Зарубежная литература

Н. Ю. Бартош

### К ВОПРОСУ О МИФОЛОГИЗМЕ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ АНГЛИЙСКОГО МОДЕРНА (АРХЕТИП ВЕЛИКОЙ БОГИНИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ О. УАЙЛЬДА И О. БЕРДСЛЕЯ)

В статье дается анализ мифологического мироощущения литературы и живописи английского модерна. Свообразие модерна проявляется как в синтезе литературных и искусствоведческих тенденций, так и в антиномическом слиянии источников: философских и эстетических течений 2-й половины XIX в. На примере работ О. Уайльда, О. Бердслея рассматривается основной архетип модерна – Великая богиня.

The article contains an analysis of the mythological picture of the world of literature and art of English Art Nouveau. The distinction of Art Nouveau appears both in the synthesis of literature and art criticism and in the antinomical connecting of resources: the philosophical movement and aestheticism of the second half of the 19th century. The main mythological archetype of Art Nouveau – Great Goddess is shown up using the examples of the works of O. Wilde and O. Beardsley

Модерн – завершающее искусство эпохи классической культуры, стремящееся к пост-культуре [1] современного мира. В нем слились воедино подведение итогов прошлого и попытка осознания собственного места в искусстве будущего. Аналогичные процессы мы можем наблюдать в литературе и искусстве конца XX – начала XXI в. Вдумчивый анализ философии и поэтики модерна поможет нам глубже осознать те метаморфозы человеческой природы, которые происходят в современном искусстве и за его рамками. Изменения затрагивают прежде всего не поэтику, лексику или иконографию, а более глубокий уровень, на котором держится все произведение, – картину мира и систему мифологических архетипов.

Английский модерн (У. Пейтер, О. Уайльд, О. Бердслей, У. Б. Йейтс и др.) в своем отношении к мифу отличается от предшествующих стилей и эстетических направлений в литературе и искусстве. От Ницше модерн взял взгляд на миф как на фундамент любого творчества, где поэтические средства и художественные, философские, социальные и прочие смыслы лишь нарастающая на мифологический остов плоть.

Остро ощущая кризис зашедшей в тупик европейской культуры, философ и поэт Ф. Ницше «призывает человечество к переоценке всех духовных и эстетических ценностей и прежде все-

го к отказу от багажа христианской культуры» [2]. Философия Ницше открывала возможность создания нового образа женщины в искусстве, а потом и в жизни: страстной, разрушающей все преграды на пути своих плотских желаний: «...Совершенная женщина терзает, когда любит... Знаю я этих прелестных вакханок... О, что это за опасное, скользкое... хищное животное! И столь сладкое при этом!.. женщина, ищущая мщения, способна опрокинуть даже судьбу» [3].

Ницше возвращает в литературу и искусство важнейшую мифологему архаического сознания, оформившую мифологическое сознание модерна, – архетип Великой богини. Данный архетип не только формировал женские образы в произведениях литературы и искусства, но и отвечал за творческое, созидательное начало, поскольку еще в древнем мифологическом сознании акт рождения соединялся с актом творчества и сотворения мира.

Великая богиня [4] – Мать всего сущего – становится новой, всеобъемлющей мифологемой модерна. В архаической культуре Великая богиня считалась символом плодородия и процветания, ей поклонялись как богине чувственного наслаждения, и она же несла смерть обрученному с ней царю-танисту [5] или влюбленному в нее растительному юноше-богу. Великая богиня отвечала за созидание и вскармливание. Со временем к этим функциям присоединяется эротическая функция, а также функция уничтожения или смерти.

Наиболее полная реализация образа Великой богини происходит в самом декадентском произведении Оскара Уайльда – одноактной пьесе «Саломея», написанной им на французском языке в 1891–1892 гг. Евангельский текст (Мф. 14:8–11; Мк. 6:14–30) о танце безымянной иудейской царевны перед Иродом Антипой и последующей казни пророка Иоанна Крестителя писатель-эстет делает ярким, живым и трагическим, совмещая в нем законы греческой трагедии с ментальностью и стилистикой модерна. Уайльд, наделяя героев «Саломеи» глубокой индивидуальностью, создает их по законам мифа, в рамках которого развивается действие пьесы.

В образе юной Саломеи автор показал одну из ипостасей Великой богини – Лунную, или Белую [6], богиню, отвечающую за плодородие, рост и созревание. Писатель настойчиво подчеркивал: Саломея – антропоморфное воплощение ночного светила, а луна – двойник царевны. Путь луны по ночному небу предопределяет перемещения дочери Иродиады в пространстве пьесы. Луна предваряет и выявляет суть всех действий и помыслов царевны. Она походит на «руку мерт-

вой, которая хочет закрыться саваном» после самоубийства молодого сирийца, отвергнутого «любовника» царевны, она становится кровавого цвета перед танцем Саломеи, замыслившей погубить Иоканаана, и она «скрывается за большим черным облаком», предвещая гибель героини. Лунный луч, как перст, указывает тетрарху на дочь Иродиады, насытившуюся кровью пророка и жаждущую смерти.

В античной традиции Лунная богиня отождествлялась не только с Селеной, но и с Артемидой и Гекатой. С последними связана функция запрета на лицезрение богини [7], так как это может обнажить истинную сущность божества, вскрыть механизмы его существования. В тексте пьесы мифологическое табу находит отражение в двойном запрете: смотреть на луну и лицезреть царевну. Любое нарушение карается смертью. Подобно своему мифологическому архетипу, Саломея обладает магическим лунным эротизмом, несущим смерть и тем, кто в нее влюблен, и тем, в кого влюблена она. Иудейская царевна несет гибель героям, прочитываемым в контексте драмы как растительное божество и его танисты, – Иоканаану, отвергнувшему любовь царевны, молодому сирийцу и всем, попавшим под власть ее чар.

Саломея-луна становится своеобразным мерилом метафорической ритмики пьесы. Она создает параллели и устанавливает сходство между различными рядами образов: библейскими, античными, декадентскими. Символы и метафоры, к которым Саломея прибегает для изображения пророка, повторяют описание Жениха в Песне песней Соломона [Песн 5:11–16]. Этот прием позволяет автору указать на истинного возлюбленного Лунной богини – Иоканаана.

В античной и в кельтской мифологии с культом Лунной богини была связана мистическая инициация ее возлюбленного, его гибель и возрождение в новой ипостаси. Однако в пьесе Уайльда в соответствии с художественной традицией модерна за смертью наступает тьма: герои лишены возможности духовного спасения и возрождения. Автору удается передать острое ощущение пропасти, поглощающей героиню и ее возлюбленных, бездны, откуда нет возврата. Этому способствует и последняя короткая режущая реплика пьесы, принадлежащая Ироду: «Kill that woman!» [8].

Саломея-луна – новый образ женщины в литературе модерна: прекрасной, поглощенной собственным Эго, слепой для внешнего мира. Захлебнувшее ее чувственное начало опьяняет и лишает рассудка всех окружающих. Она подобна Горгоне – убивает всех, осмелившихся взглянуть на нее или пожелать ее. Танец Саломеи – ритуальный танец Великой богини, обнажающей тайны бытия. В нем все: сотворение мира и нараста-

ющая энтропия вселенной, безудержная сексуальность и неотвратимая смерть [9].

Более наглядно трагическую безысходность образа Саломеи-богини рисует один из самых блестящих художников английского модерна Обри Бердслей. Очарованный красотой и трагизмом пьесы Уайльда, Бердслей выполняет 16 графических черно-белых иллюстраций к английскому переводу «Саломеи» в 1894 г. Однако Уайльду не понравились рисунки молодого художника. В письме к знаменитой английской актрисе Эллен Терри он оговаривается, что работы Бердслея нельзя считать прямой иллюстрацией текста пьесы [10]. Причина тому не анахронизмы и несуществующие детали, наполняющие иллюстрации Бердслея. Уайльда пугала та беспощадная, обнажающая ирония, с которой художник изображал героев его «высокой трагедии». Их страсти и помыслы из высоких и завораживающих превращались в пародийные и низменные. Высота и трагическая обнаженность духа переходили в сладострастную чувственность тела, а мифологическая (космическая) глубина образов замещалась поверхностной маской, лицедейством. Одна из самых скандальных иллюстраций «Похороны Саломеи» должна была показать смерть Великой богини – закат Лунного божества. Художник представляет исполненный трагизма эпизод как пародийное погребение девы Сатиром и Пьеро в пудренице. Такая ирония не только снимала трагическое напряжение, но и обесмысливала образы героев, их поступки, лишала катарсиса все драматическое действие. Изысканный эротизм драмы замещался обнаженной сексуальностью, эпатирующей не только зрителей, но и самого автора пьесы.

Однако нам кажется, что Уайльд был не совсем прав в своем отношении к иллюстрациям Бердслея. Несмотря на то, что художник дерзко заменил эстетическую игру автора собственной – иронической, он не вырывал мифологические корни образов в «Саломее», а только обнажил их для зрителя, сохраняя сущность мифа о Великой богине. Ироническая игра Бердслея с мифологическими фигурами вела к их развоплощению, превращению из глубинных образов (как воспринимал миф и Уайльд) в маску, т. е. в застывшую поверхностную форму.

Маска как удобная форма, культурный код уже использовалась писателями и художниками эстетического движения 50–70-х гг. XIX в. – творцами еще одного источника мифологизма в английском модерне [11]. Эстеты использовали мифологические и легендарные образы как готовые формы для передачи нюансов психологических и социальных портретов героев, созданных ими по принципу реалистического мимезиса. Таким образом, для эстетизма миф – внешнее маскарад-

ное переодевание, а не глубинное основание жизни. Следуя традиции эстетизма, Бердслей обращается к мифу как к готовой форме, маске, за которой можно укрыться в энтропическом движении бытия. Но если за масками прерафаэлитов непременно стояла «серьезность» викторианской этики, не мыслящей себя вне социально-нравственных проблем, то что скрывается за масками героев Бердслея? – пустота, великое НИЧТО?..

Иллюстрации к «Саломее» стали для Бердслея поворотным моментом в творчестве. В трагический мир мифологических героев пьесы ворвался карнавальный образ визуального и духовного двойника художника – Пьеро, маска театра-буфф. Его бескровное лицо, свободные формы покрыты толстым слоем пудры или муки (в исходном простонародном варианте), массивный белый балахон, которые указывали на скрытую бесполость героя [12]. В отличие от персонажа театра-буфф, Пьеро Бердслея вовсе не пассивен и не беспомощен. Напротив, и в «Туалете Саломеи», и в «Похоронах» вся энергия «демонического карнавала» концентрируется в его облике, укрытом за черной маскарадной полумаской и преломленном в зеркале иронии. Черная полумаска становится не только знаком тайны, но и символом свободы этого загадочного персонажа от всех этических и эстетических канонов, свободы от своего «Я». При появлении Пьеро из иллюстраций уходит трагическое и роковое, остаются только маскарад и игра. В дальнейшем созданный Бердслеем космос зрители видят уже глазами его маскарадного двойника, т. е. вывернутым наизнанку, полным иронии, уничтожающей духовную идею произведения [13]. Интересно и то, что для Бердслея с его сексуальной «двуполостью» Пьеро также мнил себя двойником Великой богини. На полных гротескной иронии иллюстрациях он частично вбирал в себя внешние признаки Лунной богини (окрулость, белизна) [14] и ее функции.

После «Саломеи» все художественное общество единодушно признало ироничную графику Бердслея неким средоточием искусства *fin de siècle*, точкой акме, где соединилось созерцательное и остроумное, но исчезло глубинное внутреннее начало, свойственное мифу. Оставалась пустота маски. И Бердслей, тонко чувствуя эту пустоту, пытался прикрыть ее декоративными узорами линий и цветовых пятен и даже шокирующей публике непристойностью жестов и поз героев.

Однако трагический образ Саломеи – Великой богини – не давал ему покоя. Бердслей создает собственную богиню. Он обращается к фигуре, созвучной по глубине и трагизму с уайльдовской героиней, – к Астарте-Венере. Первый вариант образа «Венера между божествами Жизни и Смерти» был выполнен им в 1894–1895 гг.

(позднее он появился на фронтисписе одной из версий легенды о Тангейзере). В плоских декоративных пятнах и причудливо изогнутых линиях, образующих тело богини, чувствовалось влияние Саломеи, ее рокового фаталистического начала. Хотя образ Астарты – богини, за любовь которой возлюбленным приходилось расплачиваться жизнью, еще нес в себе элементы стилистики ранних произведений художника, растительного мифологизма «Вакханалий», но зрителя все же удивляет холодная «бесполость» героини. Она сродни бестелесности прозрачных героев «Саломеи», утративших ощущения плоти, с ее глубинной духовной просветленностью. Создается впечатление, словно Бердслей создавал тела душ героев, «совлекших плотную ткань» [15] в упоении иронической игрой модерна. Художник подчеркивал отчаянную обреченность созданных им персонажей. Возможность преодоления обреченности как трагического разделения Души и Тела, достигнутого в модерне своего апогея, Бердслей видел в том же, в чем и многие другие, – в ироническом маскараде.

Автор-Пьеро, обладая «божественной» свободой шута, высмеивал и разрушал судьбы героев, переносил действие в мир «инобытия» – театра, игры. Потому-то Бердслею необходима маска, которая позволяла ему менять личину (не раскрывая лица). Маска – знак Тайны богини. Буффонадный наряд вкупе с маской, а также энергия и власть фигуры Пьеро указывают на то, что в мифологическом карнавале модерна за образом шута может творить свое Таинство богиня, уничтожая законы и нормы эстетического существования.

В иронической игре с архетипом Великой богини Бердслей был не одинок. Писатели, художники, композиторы, театральные режиссеры модерна [16], следуя завету эстетической игры Ницше, создавали «идеал духа, который... играет со всем, что до сих пор называлось священным, добрым, неприкосновенным, божественным» [17]. Так же, как базельский философ стремился к парадоксальному разрушению всех штампов и канонов, они расшатывали античную, кельтскую или библейскую мифологию, выворачивали ее наизнанку, снимали или меняли местами этические оценки, чтобы заострившие сюжеты и образы обрели новые смыслы. Таким образом, игровая ирония модерна, уничтожающая каноны и границы, уничтожала и духовное основание образов Прекрасного у Уайльда и Бердслея, а духовная пустота неизбежно вела к метаморфозе Прекрасного в Безобразное.

#### Примечания

1. Термин Бычкова. см.: *Бычков, В. В.* Нонклассика. Эстетическое сознание в XX веке [Текст] / В. В. Бычков // Эстетика: Учебник. М.: Гардарики, 2002. С. 297–510.

2. Там же. С. 556.

3. Ницше, Ф. Эссе Homo [Текст] / Фридрих Ницше // Ницше Ф. Соч.: в 2 т. / пер. с нем.; сост., ред. и авт. примеч. К. А. Свасьян. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 726.

4. См. литературу о Великой богине: Грейвс, Р. Белая богиня. Историческая грамматика поэтической мифологии [Текст] / Р. Грейвс; пер. с англ. Л. Володарской. М.: Прогресс-Традиция, 1999. 592 с.; Элиаде, М.. Избр. соч.: Очерки сравнительного религиоведения [Текст] / Мирча Элиаде; пер. с англ.; [предисл. Ж. Дюмезиль]. М.: Ладомир, 1999. 488 с.; Neumann, E. The Great Mother. An analysis of the archetype [Text] / E. Neumann. 2 ed. N. Y., 1963. 432 p.

5. Танист (кельт.) – «заместитель», который становится жертвой в ритуальном жертвоприношении.

6. Так называли ее кельты. См.: Грейвс, Р. Указ. соч. С. 19.

7. Ср. мифы о Тиресии или Актеоне, подсмотревших наготу богини.

8. Wilde, O. The works of Oscar Wilde [Text] / Oscar Wilde. Leicester, Abbeydale Press, 2000. 840 p.

9. Из «вампиризма» Саломеи Уайльда вырастет целое поколение героинь модерна на полотнах Г. Климта, А. Бакста, К. Сомова, В. Серова, П. Боннара, Я. Торопа, Э. Шиле, Ф. Ходлера, А. Мухи и др.

10. См.: Уайльд, О. Письма [Текст] / Оскар Уайльд; пер. с англ. В. В. Воронина и др. М.: Изд. «Аграф», 1997. С. 107.

11. Это движение складывалось под влиянием оксфордских «Лекций об искусстве» публициста и искусствоведа Джона Рескина, поэзии и живописи художников-прерафаэлитов (Данте Габриэль Россетти, Джон Эверет Миллес, Уильям Холмен Хант и др.), искусствоведческих и литературных работ Уолтера Пейтера, историка и теоретика английского искусства, художника Джеймса Уистлера и театрального реформатора и режиссера Генри Ирвинга.

12. Бесполость не как отражение божественной андрогинности, а как отсутствие природной основы.

13. Ирония, освобождающая художника, при этом уничтожающая его идеи и его личность, не раз становилась предметом споров романтической философии.

14. См.: «Алая пастораль» или оформление серии «Библиотека Пьеро» // Бердслей О. Шедевры графики [Изоматериал, текст] / Обри Бердслей; сост. и примеч. И. Пименовой. М.: Эксмо, 2005. 216 с. (Шедевры графики).

15. Образ 30-го канона «Надгробных песнопений» Ефрема Сирина. См: *Сирин, Е.* Плач умирающего отца семейства [Электронный ресурс] / Преподобный Ефрем Сирин Творения. Т. 2. Режим доступа: <http://lib.eparhia-saratov.ru/books/06e/efrem/sirin2/contents.html>

16. Среди британских «реформаторов» мифологии модерна мы могли бы назвать Гордона Крэйга, знаменитого английского режиссера, Артура Саймонса, «коммивояжера бомонда» и редактора журнала «Савой», близкого Уайльду драматурга, язвительного и остроумного Джорджа Бернарда Шоу и еще одного ирландца, Уильяма Батлера Йейтса, весьма серьезного в своем желании иронического переворачивания основ.

17. Ницше, Ф. Веселая наука [Текст] / Фридрих Ницше // Ницше Ф. Соч.: в 2 т. Т. 1. С. 708.

Е. В. Душинина

## ОБ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ИСТОКАХ НАЗВАНИЯ РОМАНА Г. ДЖЕЙМСА «ПОСЛЫ»

Искусствоведческий контекст названия романа Г. Джеймса «Послы» может быть представлен двумя картинами: «Портрет Жана де Дентевиля и Жоржа де Сельва» Г. Гольбейна-младшего и «Концерт в кафе “Амбассадор”» Э. Дега.

The art context of the title of Henry James's novel "The Ambassadors" is provided by two paintings: "The Ambassadors" by H. Holbein and "Le Café a les Les Ambassadeurs" by E. Degas.

Париж для Генри Джеймса, как и для многих его соотечественников, был особым городом, окруженным ореолом эстетических ассоциаций, пропитанным атмосферой искусства, которой так не хватало его «провинциальной» родине. Видимо, не случайно, именно Париж стал местом действия романа «Послы» (*The Ambassadors*, 1903), который Г. Джеймс считал самым удачным воплощением своих литературно-теоретических воззрений и в котором он виртуозно соединил две магистральные темы своего творчества: тему диалога культур Старого и Нового Света и тему искусства.

Основывая художественный мир на точке зрения пятидесятилетнего американца, журналиста и редактора Ламберта Стрезера, писатель главным импульсом развития сюжета делает процесс переоценки героем своей жизни на фоне открывшихся перед ним в Европе новых горизонтов самопознания, связанного, во многом, с воздействием искусства. Внешне сюжет романа сводится к истории неудачной миссии Стрезера, который прибывает во Францию с поручением вернуть в лоно родного американского городка, провинциального Вуллета, Чада Ньюсома, предположительно попавшего в сети некоей европейской соблазнительницы. Как всегда у Джеймса, «драма сознания» персонажа ("the drama of consciousness") по значимости затмевает событийную канву романа, который отражает внутренние, психологические изменения, происходящие со Стрезером. Надышавшись воздухом весеннего Парижа, насыщенного историческими и культурными ассоциациями, Стрезер приходит к выводу, что весь ход его прежней жизни в Америке уводил его в сторону от подлинного существования, смысл которого открылся ему лишь в Европе. Таким образом, результатом миссии Стрезера в Европе становится не возвращение Чада, а новый взгляд на жизнь, который сформировался у Стрезера в Европе. Это можно определить как

© Душинина Е. В., 2008

осознание безнадежной потери жизни. Тема упущенной жизни, столь характерная для литературы рубежа XIX–XX вв., в романе «Послы» приобретает, по наблюдению О. Ю. Анцыферовой, «явный культурологический аспект, ибо полнота существования, открывшаяся герою в Париже, объясняется прежде всего тем, что жизнь в Европе, как это остро ощущает Стрезер, словно бы имеет некое дополнительное измерение, связанное с ее долгой историей и богатой и непрерывной культурной традицией» [1].

Поэтому текст Джеймса, богатый искусствоведческими аллюзиями и отсылками к визуальным искусствам, побуждает исследователя искать параллели между художественным строем романа и произведениями живописи. Живописными источниками для названия романа, на наш взгляд, могли послужить два живописных полотна: «Портрет Жана де Дентевилья и Жоржа де Сельва» («Послы», 1533) Г. Гольбейна-младшего и «Концерт в кафе “Амбассадор”» (1875) Эдгара Дега. Мы постараемся показать, что это совпадение названий отнюдь не случайно.

Из истории создания и публикации романа, сохраненной для нас благодаря переписке Джеймса с литературным агентом Дж. Пинкером и записным книжкам писателя, мы знаем, что роман «Послы» долгое время оставался без названия и фигурировал в заявке, посланной в издательство «Харперс», просто как «Заявка на роман Генри Джеймса» («Project of Novel by Henry James») [2]. Название «Послы» впервые появляется в письме Дж. Пинкеру в 1901 г., когда роман уже был закончен. Итак, Джеймс работал над романом, не зная, как он его назовет, что само по себе исключительный факт его творческого процесса. Однако, как верно замечает американская исследовательница творчества Джеймса А. Тинтнер, гораздо интереснее было бы определить те импульсы, которые повлияли на окончательный выбор заглавия романа.

По ее предположению, представляющемуся нам вполне обоснованным, таким импульсом могла стать новая атрибуция знаменитой картины Г. Гольбейна-младшего [3]. Эта картина была куплена Национальной Галереей в 1890 г. и долгое время считалась двойным портретом английского поэта сэра Томаса Уайетта и его друга антиквара Джона Лиланда. Спустя десять лет после покупки, как раз когда Джеймс размышлял над заглавием для своего нового романа в 1900 г., полотно Гольбейна получило новую трактовку благодаря усилиям искусствоведа Мэри Хервей [4]. Она доказала, что на полотне Гольбейна изображены не англичане, а французский посол при дворе Генриха XVIII сэр Жан де Дентевиль и его друг Жорж де Сельв, епископ Лавуа. Два молодых человека изображены в окру-

жении навигационных и астрономических приборов, которые в сочетании с вещами, лежащими на этажерке (музыкальные инструменты, глобус, книги), призваны были продемонстрировать иностранцам лучшее, что имелось во Франции начала XVI в. Благодаря открытию М. Хервей, картина Гольбейна стала называться «Двойной портрет Жана де Дентевилья и Жоржа де Сельва (или «Французские послы», 1533). Эта метаморфоза, полагает А. Тинтнер, могла привлечь внимание Г. Джеймса к данному искусствоведческому событию и к книге Хервей «“Послы” Гольбейна: картина и люди». Даже если Джеймс не был знаком с самой книгой, то слухи об «искусствоведческой сенсации» не могли не дойти до него, как до человека, живо интересовавшегося искусством [5]. Добавим: сам факт трансформации картины Гольбейна из артефакта английской культуры в запечатленное послание одной культуры другой созвучен размышлениям Джеймса о взаимодействии культур.

Косвенным подтверждением гипотезы А. Тинтнер является и то, что «Послы» не были первым произведением Джеймса, содержащим аллюзию на Гольбейна. Незадолго до начала работы над романом Джеймс закончил повесть «Бельдональд Гольбейн» (The Beldonald Holbein, 1901), образ героини которой навеян «Портретом леди Баттс» (1541) Гольбейна. Выбор гольбейновской дамы в качестве прототипа для героини повести был не случаен: Джеймс считал Гольбейна одним из лучших портретистов, ставя его в один ряд с Рубенсом [6].

Размышляя над тематическим сходством романа Джеймса «Послы» и «Французских послов» Гольбейна, А. Тинтнер выявляет в них два сквозных мотива, которые она обозначает латинскими фразами «memento mori» («помни о смерти») и «saepe diem» («живи настоящим»).

Наглядную реализацию этих тем на полотне Гольбейна можно выявить, изучив его иконографию. Эта картина интересна не только фигурами послов, но и натюрмортом в центральной части. С реалистически выписанными деталями контрастно сопоставлен странный предмет на переднем плане. «Он формирует символический ряд этого произведения, оказываясь – при детальном рассмотрении – искаженным в перспективе человеческим черепом» [7]. Действительно, Дентевиль окружен предметами, символизирующими смерть: это не только искаженный череп, но и распятие в верхнем левом углу картины и ряд других. В романе Джеймса тема смерти заявлена не так прямолинейно. Его больше интересует скрытый драматизм будничного существования или трагизм прозрения. Поэтому тема конечности существования у Джеймса чаще всего преобразуется в тему упущенного времени. Это стано-

вится главной темой романа, которая находит афористическое выражение в совете Стрезера Крошке Билхему: «Послушайте меня: не упускайте времени, пока оно ваше. [...] Делайте все, чего просит душа, не повторяйте моих ошибок. Потому что моя жизнь была ошибкой. Живите!» [8]

Итак, художественный мир Гольбейна демонстрирует достижения французской науки и искусства эпохи Ренессанса, представленные посланниками Франции при английском дворе, в сочетании с ренессансным напоминанием о скоротечности жизни, которое прочитывалось в то время как призыв радоваться ей здесь, в этом мире. Микрокосм же романа Джеймса, Париж *fin-de-siècle*, пронизан атмосферой, в которой восхищение Стрезера французской культурой омрачается напоминаниями о быстротечности времени и неизбежности конца.

Внутренняя эволюция Стрезера, его путь самопознания и переоценки прожитой жизни воспроизводится Джеймсом в тонко нюансированной манере. Это дает исследователям основания называть роман «Послы» импрессионистическим [9]. На наш взгляд, сведение эстетики Джеймса к литературному импрессионизму несколько редуцирует представление о богатстве его творческой манеры. Однако типологическое сближение его прозы с произведениями художников-импрессионистов может оказаться весьма плодотворным в плане прояснения ряда специфических особенностей поэтики Джеймса.

Типология названий приводит нас к сопоставлению романа «Послы» с творчеством французского импрессиониста Эдгара Дега (1834–1917). По наблюдению литературоведа Дж. Э. Смита III, кисти Дега принадлежат, по крайней мере, две картины под названием «Les Ambassadeurs» (полностью – «Le Café-Concert a Les Ambassadeurs», 1875–1877 и «A Les Ambassadeurs: Mademoiselle Becat», 1885) [10]. Обе они были написаны как раз в то время, когда Джеймс жил в Париже. Конечно, это не является свидетельством того, что Джеймс обязательно видел картины в это время. Однако знакомство с ними вполне могло произойти в течение последующих двадцати лет, во время одной из парижских поездок Джеймса или на одной из выставок французских художников в Лондоне. В любом случае, тематическое и типологическое сходство этих картин и романа Джеймса поразительно. Остановимся более подробно на картине «Концерт в кафе “Амбассадор”».

Когда Джеймс работал над романом «Послы», кафе «Амбассадор» было средоточием ночной жизни Парижа, любимым местом времяпрепровождения иностранцев. Об этом свидетельствует, в частности, путеводитель Бедеккера за

1901 г., на который ссылается Дж. Смит III. По мнению исследователя, ракурс, в котором Дега изобразил своих персонажей, предполагает точку зрения стороннего наблюдателя, не заведомая кафе. По наблюдению искусствоведа Р. Мак-Муллена, избранная Дега точка наблюдения пространственно принадлежит человеку на галерке, откуда сторонний посетитель словно бы обозревает сцену и публику в кафе [11]. Подобно героям Джеймса, наблюдатель Дега явно впервые в Париже. Его взгляд на парижскую жанровую сценку – это взгляд отстраненный, сочетающий некую настороженность и возбуждение в ожидании приключения. Благодаря этому приему парижская сценка приобретает для зрителя свежие очертания.

Певица, выступающая на сцене, привлекает внимание наблюдателя, однако не она является композиционным центром картины. В поле зрения попадают публика и оркестр, которые воспринимают певицу вполне индифферентно. Дега запечатлел их в момент, когда их позы и выражения лиц выражают наибольшую степень отрешенности. Женщины разговаривают с соседями и поминутно оглядываются в поисках знакомых; оркестранты играют с равнодушными лицами. Их космополитическая сущность характеризует не только эту сцену, но и всю французскую столицу.

Очевидно, что Стрезер имеет много общего с наблюдателем Дега. Поток новых впечатлений обрушивается на неискушенного американца. С одной стороны, он не способен отбросить предубеждения о развращающем влиянии Парижа, с другой – герой очарован всем, что видит во французской столице. Стрезер остается скован рамками своего субъективного видения, не в силах приобщиться к окружающему. Точно так же и Дега держит нас на расстоянии от мира кафе «Амбассадор», недоступного нашему пониманию именно в силу предлагаемой нам точки наблюдения «извне». Одиночество, испытываемое в Париже иностранцами, стало тем общим настроением, которое объединяет картину Дега и роман Джеймса, переключая в названиях которых представляется нам не случайным совпадением.

Таким образом, тематическое и типологическое сходство дает основание считать картины Г. Гольбейна и Э. Дега возможным искусствоведческим контекстом заголовка романа Г. Джеймса. Это позволяет видеть в прозе Г. Джеймса элементы интермедальности, а в художественных экспериментах Джеймса находить тенденции к синтезу искусств, характерные для *fin-de-siècle*.

#### Примечания

1. Анциферова, О. Ю. Литературная саморефлексия и творчество Генри Джеймса [Текст] / О. Ю. Анциферова. Иваново, 2004. С. 269.

2. См.: Henry James Letters [Text] / ed. by L. Edel: in 4 v. Cambridge, Mass. 1974–1984. V. 4. P. 194; The Complete Notebooks of Henry James [Text] / Ed. L. Edel, L. H. Powers. N.Y., 1987. P. 541.

3. *Tintner, A. R.* Henry James and the Lust of the Eyes [Text] / A. R. Tintner. Louisiana UP, 1993. P. 89.

4. *Hervey, M. F. S.* Holbein's *Ambassadors*: The Picture and the Men [Text] / M. F. S. Hervey. L., 1900.

5. *Tintner, A. R.* Op. cit. P. 88.

6. *James, H.* The Painter's Eye [Text] / H. James. Madison, 1989. P. 119.

7. Ганс Гольбейн. Послы, 1533. Национальная Галерея, Лондон [Electronic resource] // Энциклопедия искусства. Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/Gallery/Holbein/Ho101.html>

8. *Джеймс, Г.* Послы [Текст] / Г. Джеймс; пер. М. А. Шерешевской. М., 2000. С. 115.

9. *Winner, V. H.* Henry James and the Visual Arts [Text] / V. H. Winner. Charlottesville, 1970. P. 77; *Anderson, Ch. R.* Person, Place and Thing in Henry James's Novels [Text] / Ch. R. Anderson. Durham, 1977. P. 239, et al.

10. *Smith, G. E., III.* James, Degas, and the Modern View [Electronic resource] / G. E. Smith III // NOVEL: A Forum on Fiction. V. 21. № 1 (Autumn, 1987). P. 56–72. Режим доступа: <http://www.jstor.org>

11. *McMullen, R.* Degas. His Life and Work [Text] / R. McMullen. Boston, 1984. P. 317.

В. Н. Забалуев

## ОТ МАСКИ К МАСКЕ

В данной работе идет речь об истоках и развитии жанра пьесы-маски в Англии XVI–XVII вв.

This article deals with the origins of the court masque in 16<sup>th</sup> and 17<sup>th</sup> centuries in England.

Английская пьеса-маска XVI–XVII вв. – одно из интереснейших явлений в истории мировой драматургии. Музыка, танец, пение сочетаются в нем с литературным текстом. Однако такую форму маска приобрела не сразу.

Первой маской, написанной в Англии, была «Леди мая» (*The Lady of May*, 1578) Ф. Сидни (*Sir Philip Sidney*, 1554–1586). А маской, подводящей итоги этому жанру и вместе с тем целому периоду английской истории – от Елизаветы I до Карла I, стал «Комос» (*Comus*, 1634) Дж. Милтона (*John Milton*, 1608–1674).

Маска – это жанр, имеющий свой канон. Однако он сложился только в правление Иакова I (1603–1625). Его становление связано с именем поэта и драматурга Б. Джонсона (*Jonson*, 1572–1637). В окончательном варианте маска была пьесой на аллегорический сюжет. Она состояла из двух частей: антимаски и следовавшей за ней маски. Во время представления актеры пели и

танцевали, роскошные декорации сверкали всем своим великолепием. А в финале они обращались к зрителям с просьбой присоединиться к ним. На царствование Иакова пришелся золотой век маски. Традиция представлений в этом жанре оборвалась в 1642 г., когда пуритане закрыли все театры в Лондоне.

Маски принимали самые разнообразные формы. Прежде всего они были придворными развлечениями и только потом – литературными произведениями. В маске всё подчеркнуто нереально, нет никаких примет реального мира. Все здесь служит тому, чтобы как можно полнее выразить идеалы придворной аудитории. На маску, в частности, повлияла традиция рыцарских турниров.

С течением времени турниры перестали быть сражениями, они приняли аллегорический характер. Дамам давали такие имена, как, например, Истина, а рыцарям – Сила. Рыцарь, одержавший победу в состязании, получал в награду право танцевать с той дамой, которую он сам себе выбирает. Им возносили почести. В свою очередь, они обращались с речью к вельможе, в честь которого давался турнир. Все участники турнира надевали по этому случаю свою лучшую одежду. Затем все они участвовали в коротком дидактическом представлении. После того, как рыцари выбирали себе дам, они танцевали с ними. Танец, естественно, сопровождался музыкой. Все представление вращалось вокруг самого значительного его участника, и именно к нему обращались с высшей похвалой. Наконец, танцоры предлагали зрителям принять участие в танцах. Заключительный танец подчеркивал важность и уникальность всего происходящего. Не было никого, кто не принимал бы в нем участия, так как все участники и зрители турнира относились к числу придворных. Каждый из придворных, в свою очередь, был связан узами верности с тем, кто был влиятельнее всех. В центре такого представления находилось какое-то событие из жизни вельможи или монарха, например его торжественная встреча, день рождения принца или свадьба принцессы [1].

На маски повлияла также и традиция религиозных представлений – мистерий. Они устраивались по случаю больших религиозных праздников – дней прославления святых. Из-за запрета на театральные представления в храмах мистерии разыгрывались на улице. Несмотря на то, что мистерии давались под открытым небом, они сопровождалась впечатляющими спецэффектами: фейерверки, спускающиеся с небес ангелы и т. д. В мистериях воссоздавалась вся история человечества, Библия представала в них в виде цикла из 40–50 пьес. В мистериях были заняты сотни актеров. Они играли на подвижной сцене, назы-



вавшейся «вагоном» (waggon), которую перевозили из города в город. Каждый «вагон» был собственностью гильдии, члены которой были авторами, постановщиками и актерами [2]. Мистерии во многом повлияли на маски. Из них в маски пришло представление об истории как о круговороте. Пора расцвета мистерии в Англии миновала с началом Реформации. Кроме того, к XVI в. возрастает интерес публики к драматическим представлениям, появляются первые актеры-профессионалы. Новое развитие получают такие средневековые жанры, как интерлюдия и моралите.

Помимо мистерий и моралите существовали еще и представления мимов. Мимы были участниками не только народных, но и придворных празднеств. Они сохранялись в течение довольно долгого времени, но уже ко времени Шекспира выглядели устаревшими. Однако мимы могли появляться в маске во время интерлюдии.

Другой фольклорной традицией были представления, в которых актеры в масках могли неожиданно посетить какого-либо вельможу в его замке. Они танцевали перед ними, а иногда, по случаю праздников, например Рождества, приносили ему дары, приглашали зрителей танцевать. В конце представления актеры по традиции снимали маски.

Источником придворных масок эпохи Тюдоров были и так называемые «переодевания» (guisings). Это были представления, в которых актер, носивший маску, под музыкальный аккомпанемент обращался к аудитории, отмечавшей какое-либо событие.

Маска испытала и иностранное влияние. И здесь в первую очередь следует упомянуть имя С. Серлио (Serlio, 1475–1554). В книге «Архитектура» (Architettura, 1551) Серлио впервые предпринял попытку сформулировать, как должна выглядеть театральная сцена. Театр представляет собой прямоугольный зал. Однако передние места для зрителей расположены в виде полуокружностей, а задние – в виде сегментов круга. Перед зрительным залом помещается длинная узкая сцена. В ее глубине при помощи жестких кулис и расписных панелей, размеры которых уменьшаются по мере приближения к точке схода, создается иллюзия перспективы. Именно на эти идеи и будет впоследствии опираться И. Джонс, соавтор Б. Джонсона по работе над масками.

Музыку для масок писали профессиональные композиторы, играли ее приглашенные музыканты, для исполнения вокальных партий нанимали хороших певцов. Участниками масок были люди, принадлежавшие к высшему обществу. Поскольку в обычной жизни они и так носили роскошную одежду, им приходилось проявлять чудеса

изобретательности, чтобы одеться для участия в маске.

Наконец, в масках применялась изощренная сценическая машинерия. Художник и архитектор Иниго Джонс (Inigo Jones, 1573–1652) привез из своих путешествий по Италии проект создания подобия живописной перспективы на сцене, иллюзии трех измерений. С декорациями в маске обращались весьма свободно – так, горы могли внезапно превратиться в пещеры. Эти эффекты были результатом использования вращающейся сцены, которая впервые была применена именно при постановке масок. Следовательно, при постановке масок наиболее значимым лицом был режиссер. Его задачей было свести воедино все элементы спектакля. И. Джонс описывал маску как представление, в котором не было «ничего, кроме картин со Светом и Движением» (“nothing else but pictures with Light and Motion”) [3].

При чтении масок следует помнить, что для их зрителей ключевыми были нелитературные элементы. Литературный текст служил лишь для того, чтобы связать их воедино. Танцы и другие невербальные элементы представления занимали больше времени, чем можно было бы предположить на основании имеющихся текстов [4]. Как правило, маски начинались в девять часов вечера и продолжались до полуночи. За это время зрители видели представление на аллегорический сюжет. В конце представления актеры приглашали зрителей танцевать. Здесь надо подчеркнуть одну важную особенность маски: в маске нет разделения на актеров и зрителей. Вчерашний зритель может стать актером, и наоборот. Строго говоря, маска не драматический жанр. Она представляет собой разновидность ритуала, центром которого является монарх или крупный вельможа и прославляющего его. Цель маски – в том, чтобы найти подходящие средства для прославления двора.

Поскольку маска была возвышенным и аристократическим жанром, рано или поздно должна была возникнуть необходимость в использовании контраста. Так возникла антимаска. В ней участвовали антигерои, гротескные или комические персонажи. Это могли быть алхимики, пигмеи, ведьмы, сатиры. На сцене они были до тех пор, пока не появлялись Добродетели. Стоило добру только заявить о себе, как они тут же исчезали.

Несмотря на то, что прототипы маски существовали еще в Средние века, традиция придворных маскарадов в Англии начинается с Генриха VIII. Однако эдикты 1418 г. запрещали «пантомиму», равно как и любые другие театральные представления. Более того, именно Генрих VIII обновил Акт против наряженных персон и ношения масок. Но именно с его име-

нем связан первый маскарад, состоявшийся без малого сто лет спустя после принятия вышеупомянутых эдиктов. Согласно хронике Холла в 1512 г. этот маскарад шокировал королевский двор. Придворные были настолько удивлены, увидев короля «наряженным по итальянской манере, под названием маска», что, «когда участники маскарада приглашали дам танцевать, некоторые из них, которые знали происхождение всего этого, отказывались». В отличие от своего прижимистого отца, Генриха VII, Генрих VIII любил повеселиться. По блеску и великолепию его двор мог поспорить с любым континентальным. Он собрал у себя лучших английских поэтов, музыкантов, художников. Генрих подчеркнуто ориентировался на континентальную культуру, прежде всего итальянскую.

Однако маски были не только светскими. Иногда они принимали характер религиозных процессий. Такая маска описана Э. Спенсером в поэме «Королева Фей» (I, 4) – это процессия Семи Смертных Грехов, сменяющих друг друга. Позднее, во времена Иакова I, в маске стали усиливаться сюжетные элементы. Большинство сюжетов были заимствованы из греко-римской мифологии. На протяжении долгого времени английская драматургия была целиком и полностью религиозной. Лишь в конце XV в. начинают появляться первые светские произведения. Они вошли в историю под названием интерлюдий. Это были преимущественно короткие пьесы, ставившиеся в основном в домах знати. Здесь мы сталкиваемся с очень интересным фактом: английский театр создавался усилиями английского высшего общества. Знать, будучи зависимой от короля, болезненно переживала свое положение. Придворные ощущали себя актерами, играющими отведенную им роль. В любой момент они могли лишиться своих привилегий. Театр был нужен им как средство укрепления своих позиций при дворе. Патронами театральных трупп в разное время выступали фаворит Елизаветы граф Лейстер, лорд-адмирал, лорд-камергер и другие влиятельные вельможи.

Отличительной чертой маски был непрофессионализм [5]. Участие в масках принимали преимущественно придворные. Сопровождаемые факельщиками, они прибывали во дворец, чтобы танцевать и развлекать гостей. Поэтому маски были или торжественной процессией их участников, каждого из которых надо было представлять в отдельности, либо изысканным представлением. В последнем случае участники маски исполняли роли в короткой пьесе, а потом развлекались со зрителями до тех пор, пока не наступало время проститься. Здесь они говорили прощальные речи и пели последнюю песню, а потом расходились. Маски обычно давались вечером и игрались до

раннего утра. Как правило, они были однократными и больше никогда не возобновлялись.

Маски прославляли деяния монарха, торжественные события в королевской семье, торжественный въезд короля в город. Все они заканчивались триумфом добродетели и согласия.

Маска в то время воспринималась как продолжение королевской власти. Власть была театральна, маска – величественна.

Будучи тесно связанной с конкретными историческими событиями, маска тем не менее стремится от них дистанцироваться. Прямых упоминаний о реальных событиях в маске нет, они вписываются в более широкий контекст мифологии и литературы. Так, характерен интерес к эпохе легендарного короля Артура – последнего правителя, под властью которого якобы были объединены Британские острова. С ним соотносили короля Иакова I Стюарта, бывшего одновременно и королем Шотландии. В это время из незначительного островного государства Англия начинает превращаться в мировую империю. Отсутствие четкой границы между реальным миром и идеальным позволяло создавать иллюзию того, что мифопространство и пространство реальное – одно и то же. Пусть маска и забава, но именно забавам придавалось большое значение в эпоху раннего Нового времени. Английские монархи тратили очень большие деньги на постановку масок. Роскошные костюмы и декорации должны были порождать в зрителях ощущение незыблемости и величественности королевской власти. Поэтому власть, в отличие от своих подданных, относилась к маскам крайне серьезно. То, что маски – гораздо более серьезная вещь, чем можно думать, хорошо понимала не только власть, но и сами авторы масок. Доказательством тому служат слова Б. Джонсона о том, что маски «имеют власть над глубинными тайнами». Если это так, то тогда получается, что маска обладает подтекстом, или философским, или политическим. Пьеса-маска была очень тесно связана с политическими событиями начала XVII в. И здесь нельзя не согласиться с утверждением американских «новых историков» (New Historicists) о том, что литература эпохи Возрождения «не просто отражала историю, но в некотором роде... помогла творить ее» ('did not simply reflect history but in a sense... helped to make it') [6]. Это верно как для литературы в целом, так и для пьесы-маски.

#### Примечания

1. Adams, Robert M. The Staging of Jonson's Plays and Masques [Text] / Robert M. Adams // Ben Jonson's Plays and Masques. N.Y. (N.Y.): W. W. Norton and Co, 2000.

2. Такое положение дел просуществовало довольно долго. Первый постоянный репертуарный театр в

Европе со времен Римской империи был основан только в 1576 г. в Лондоне Дж. Бербедем. Само его название подчеркивало его исключительность: «Театр» (The Theatre).

3. Цит. по: Aurelian Townshend's Poems and Masks [Text] / ed. by E. K. Chambers. Oxford, 1912. P. 83.

4. Orgel, S. Introduction [Text] / S. Orgel // Jonson B. The Complete Masques. New Haven: Yale University Press, 1969. P. 2.

5. Профессиональных актеров приглашали крайне редко. Как правило, они участвовали в антимасках.

6. Butler, M. "Early Stuart court culture: compliment or criticism?" [Text] / M. Butler // The Historical Journal. 1989. № 32. P. 435.

В. Н. Забалуев

### НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЭТИКИ «ЛЕДИ МАЯ» Ф. СИДНИ

В данной статье идет речь об одном из малоизвестных произведений английской литературы XVI в. – «Леди мая» Ф. Сидни. Опираясь на идеи Г.-Г. Гадамера и Ф. Шеллинга, автор дает свое видение этой пьесы.

This article deals with a little-known work by Sir Philip Sidney called "The Lady of May". The author bases his interpretation of this play on H. G. Gadamer and F. Schelling's ideas

Уже не первое поколение исследователей бьется над загадками пьесы-маски сэра Ф. Сидни (Sir Philip Sidney, 1554–1586) «Леди мая» (The Lady of May, 1578). В настоящее время большинство из них сходятся на том, что эта пьеса аллегорична. Мы постараемся дать свое видение этой пьесы.

Ключевыми аспектами нашей работы будут тема выбора, размышления Сидни о назначении поэзии и его отношение к религии.

Сидни написал эту маску в 1578 г. по случаю визита королевы Елизаветы в Уонстед – имение его дяди графа Лейстера, ее фаворита.

Логично предположить, что Сидни написал эту пьесу, чтобы развлечь королеву. Но так ли это? Ученые чаще всего стремились связать эту пьесу с политической ситуацией конца XVI в. И это отчасти верно.

Однако вспомним о том, что «Леди мая» – драматическая пастораль. Возникнув в древности, жанр пасторали со временем стал элитарным, предназначенным для узкого круга ценителей. По сравнению с античной буколичкой, ренессансная пастораль в большей степени тяготеет к стилизации и к жесткому распределению амплуа: чувствительный пастух, жестокосердная пастушка, мудрый старец. Позднее пастораль становится галантным жанром, персонажи которого ведут

изысканные разговоры на фоне стилизованной природы.

Основной конфликт пьесы сводится к конфликту между *vita activa* (охотник Терион) и *vita contemplativa* (пастух Эспилус).

Однако ключевыми в пьесе являются образы Эспилуса и Териона. Как заметил А. Ч. Гамильтон, достоинства каждого из них уравновешиваются их недостатками [1]. Эспилус – богатый пастух, у него 2000 овец, и он хочет сделать Леди частью своего богатства. У Териона же нет ничего, кроме любви к Леди [2]. Самой Леди нравятся оба претендента, но никого из них она не любит. Поэтому она передает право выбора королеве. Но королева должна сделать выбор не только за нее, но и за читателей и зрителей пьесы. И всё же королева его сделает, предпочтя Эспилуса. Трудно согласиться с ее выбором, ведь всё указывало на то, что в поэтическом состязании победу одержит Терион. Почему же она выбрала Эспилуса? Сидни этого не объясняет: "This being said, it pleased her Majesty to judge, that Espilus did the better deserve her; but what words, what reasons, she used for it, this paper, which carrieth so base names, is not worthy to contain" [3]. По мнению Д. Кэлстоуна, новая трактовка пасторальной традиции прошла мимо королевы, и именно поэтому она выбрала Эспилуса [4].

Мы считаем это объяснение неудовлетворительным. Разрыв с традицией в этой пьесе был очевиден для ее первых зрителей, ведь Сидни возвеличивает Териона, а не Эспилуса.

Итак, перед нами выбор либо в пользу действия, либо в пользу созерцания. Но и тот и другой иллюзорен, потому что односторонен. Это выбор не между истиной и заблуждением, а между двумя заблуждениями. Да, симпатии Сидни отданы Териону. И это неудивительно: жизнь самого Сидни была наполненной событиями. Он был поэтом, придворным, путешествовал по Европе как в качестве частного лица, так и в качестве дипломата. Наконец, он погиб на войне в Испанских Нидерландах. Однако Сидни пытается посмотреть на эту альтернативу со стороны. Поэтому можно сказать, что его основным методом в «Леди мая» является *ирония* как по отношению к классической традиции, так и к самому себе. Именно поэтому достоинства персонажей уравновешены их недостатками.

Следовательно, выбор между ними может сделать только тот, кто стоит «над схваткой». Поэтому Сидни отдает роль третейского судьи Елизавете. И она выбирает Эспилуса. Но почему?

Надо полагать, от нее не укрылись ни разрыв с традицией, ни ирония Сидни. Причем эта ирония задевала и ее. Сидни ограничивал ее власть жестким выбором. Елизавета знала, что он, на-

ряду с Лейстером и Ф. Уолсингемом, принадлежал к той придворной партии, которая была против ее возможного брака с герцогом Анжуйским, которого в Англии зачастую называли просто «Месье». Так что она вполне могла увидеть в пьесе политическую аллегория, отождествив Териона и Эспилуса соответственно с Лейстером и Месье. Сделав выбор в пользу Эспилуса, Елизавета дала понять, что не будет прислушиваться ни к чьим советам. Но в том, что королева приняла правила игры, предложенные ей, проявилась ее мудрость. Она лишней раз доказала, что может быть независимым арбитром.

Другой особенностью пьесы являются образы Эспилуса и Териона. Сидни вложил в них нечто большее, нежели простой антагонизм между *vita activa* и *vita contemplativa*. Столкнув их в поэтическом состязании, Сидни указал на то, что они – поэты. Следовательно, речь идет о двух типах поэзии. Теперь послушаем самих Эспилуса и Териона.

Эспилус:

*Tune up, my voice, a higher note I yield,  
To high conceits, the song must needs be high:  
More high than stars; more firm than flinty field,  
Are all my thoughts, in which I live or die:  
Sweet soul, to whom I vowed am a slave,  
Let not wild woods so great a treasure have.*

Терион:

*The highest note comes oft from basest mind,  
As shallow brooks do yield the greatest sound;  
Seek other thoughts thy life or death to find,  
Thy stars be fall'n, plow'd is thy flinty ground:  
Sweet soul, let not a wretch that serveth sheep,  
Among his flock so sweet a treasure keep [5].*

Терион переносит свою любовь к Леди в высокие сферы идеальной любви. Напротив, Эспилус испытывает к ней земные чувства. Это противопоставление верно для всех поэтов: поэты одного типа трансцендируют чувства, которые испытывают к своей возлюбленной, а другие знают только земную любовь. Парадоксально, но если в реальной жизни Эспилус – созерцатель, а Терион – деятель, то в поэзии – наоборот. И в этом опять проявляется ирония Сидни.

Читая «Леди мая», нельзя не вспомнить о «Защите поэзии», созданной несколькими годами позже. Однако мы полагаем, что ко времени написания «Леди мая» у Сидни была более или менее сложившаяся концепция поэтического творчества. В «Защите поэзии» он развил свои идеи. В начале трактата он заявляет: «Нет искусств, известных человеку, предметом которых

не были творения Природы, без них они не могут существовать, и от них они зависят, подобно актерам, исполняющим пьесы, написанные Природой. Астроном смотрит на звезды и заключает, какой порядок им сообщает природа» [6]. Это относится и ко всем остальным ученым. Поэт же принадлежит иной реальности: «Лишь поэт, презирающий пути любого рабства, воспаряет на своем вымысле, создает, в сущности, иную природу. Он создает то, что или лучше порожденного Природой, или никогда не существовало в Природе <...>» [7]. В отличие от ученого, рабски копирующего реальность, поэт воссоздает ее заново. Сидни утверждает: «Поэзия – это искусство подражания, оттого Аристотель называет ее *mimesis*, т. е. воспроизведение, подражание, или метафорически – говорящая картина, цель которой учить и доставлять удовольствие» [8].

Однако существуют три вида поэтов: одни воздают хвалу Богу, как царь Давид, другие пишут только на исторические или философские темы, как Лукреций, третьи побуждают к добродетели. «Эти третьи и есть те, которые должным образом подражают, чтобы научить и доставлять удовольствие, и, подражая, они не заимствуют ничего из того, что было есть и будет, но, подвластные лишь своему знанию и суждению, они обретаются в божественном размышлении о том, что может быть или должно быть. Именно их как первых и благороднейших по справедливости можно назвать *vates*» [9].

Нетрудно заметить, что конфликт между Терионом и Эспилусом в «Леди мая» воспроизводит конфликт между поэтами, замкнутыми в рамках одной темы, и поэтами-«пророками». Однако для Сидни поэзия неразрывно связана с действием. «А теперь позвольте мне вспомнить, как ее (поэзию. – В. З.) называли греки. Они нарекли ее создателя «поэт», и это имя как самое прекрасное перешло в другие языки. Оно происходит от слова *poiein*, что значит создавать, и мне не ведомо, по счастливой ли случайности или по здравому смыслу встретились мы, англичане, с греками, подобно им называя его создателем» [10]. Творить – значит действовать. Следовательно, Эспилус – такой же деятель, как и Терион. Тем самым выбор между ними оказывается иллюзорным. И в этом опять проявляется ирония Сидни.

Размышления Сидни о поэзии связаны с его размышлениями о религии. И здесь опять появляется ирония, причем она распространяется на ту конфессию, к которой принадлежал Сидни – кальвинизм. Елизавета в пьесе занимает место кальвинистского Бога, предопределившего одних к спасению, а других – к вечной гибели: “This being said, it pleased her Majesty to judge, that Espilus did the better deserve her; but what words,

what reasons, she used for it, this paper, which carrieth so base names, is not worthy to contain". Подобно тому, как кальвинист должен смириться с волей Божией, так и аудитория «Леди мая» должна принять выбор королевы, даже если не согласна с ним. Этого требуют и приличие, и понимание того, что монарх – заместитель Бога на земле. Раз королевская власть сакральна, то сакрален и выбор монарха. Таким образом, Елизавета принадлежала и реальному, и идеальному мирам. В этом смысле она была идеалом для Сидни, стремившегося найти синтез *vita activa* и *vita contemplativa*.

Сакральна не только королевская власть, но и театр. Как утверждал Гадамер, «подобно культу, театр является местом подлинного творения, – местом, где из нас делают и предъявляют нам в виде образа нечто такое, в чем мы ощущаем и узнаем реальность нашего «Я». Здесь мы слышим голос истины, стоящей как бы над жизнью, освобожденной из забвения, неподвластной забвению» [11]. Эти слова как нельзя лучше подходят к «Леди мая». Именно к тому, чтобы встать «как бы над жизнью», и стремится Сидни. Он пытается найти истину, понимая, что она заключается в сочетании противоположностей. Первая ступень к ней – ирония, в которой, в свою очередь, заложено желание преодолеть абсурд, то есть невозможность полностью раскрыть потенцию бытия. Ирония в таком случае есть попытка возвыситься над непосредственно данной реальностью и приобщиться к Божественной Любви. Любовь соединяет противоположности: мужчину и женщину, созерцание и действие. Сидни понимает любовь как героическую доблесть. Прочитав Шеллинга: «Тайна любви <...> – в том, что она связывает вещи, каждая из которых могла бы существовать и, все же, не существует и не может существовать без другой» [12]. Человек, движимый любовью, действует абсолютно свободно, во всем полагаясь на Бога. Силой веры и любви человек побеждает разобщение и смерть. Именно так надо понимать кальвинизм Сидни. Тем самым ирония оказывается положительным началом, ведущим к познанию высшей истины

Через несколько лет Сидни создаст цикл сонетов «Астрофил и Стелла» (*Astrophel and Stella*, 1582). В нем в образе Астрофила он воплотит «образ гармонически цельного человека, которому чужды раздвоенность, всеразьедающий скепсис и разочарование в идеалах» [13]. Из влюбленного мальчика Астрофил становится зрелым мужем, для которого доблесть сосуществует с любовью, а любовь торжествует над низменными чувствами. В этом преодолении себя, как и в преодолении ложных альтернатив, заключается урок Сидни как поэта и человека.

#### Примечания

1. *Hamilton, A. C.* Sir Philip Sidney: A Study of his Life and Works [Text] / A. C. Hamilton. N.Y. (N.Y.): Columbia University Press, 1977. P. 24.
2. Ibid.
3. *The Miscellaneous Works of Sir Philip Sidney*, Knt. [Text]. Boston, 1860. P. 278.
4. *Kalstone, D.* Sidney's Poetry. Contexts and Interpretations [Text] / D. Kalstone. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1965. P. 46.
5. *Сидни, Ф.* Астрофил и Стелла. Защита поэзии [Текст] / Ф. Сидни. М.: Наука, 1982.
6. Там же. С. 275.
7. Там же.
8. Там же.
9. Там же.
10. Там же.
11. *Гадамер, Г.-Г.* О праздничности театра [Текст] / Г.-Г. Гадамер // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 158.
12. *Шеллинг, Ф.* Философские исследования о сущности человеческой свободы. Бруно, или О божественном и естественном начале вещей [Текст] / Ф. Шеллинг. СПб., 1908. С. 67.
13. *Горбунов, А. Н.* «Степенный размер» (Об английском сонете) [Текст] / А. Н. Горбунов // Английский сонет XVI–XIX веков. М., 1990. С. 45.

И. Н. Касинов

#### МИФОЛОГИЧЕСКИЕ АРХЕТИПЫ В РОМАНЕ Г. УЭЛЛСА «ПИЩА БОГОВ»

Статья посвящена мифологическим архетипам и их влиянию на современную научно-фантастическую литературу. Данное влияние рассматривается на примере одного из романов Г. Дж. Уэллса «Пища богов». Автор статьи приводит примеры трактовки основных мифологических мотивов в эпоху второй научно-технической революции.

The article is dedicated to mythological archetypes and their influence on the modern science-fiction. The fact of such influence is shown on the example of "The Food of the Gods" by H. G. Wells. The author shows the examples of the understanding of the mythological motives in the age of the second scientific and technological revolution.

В европейской культуре образ гиганта прочно связан с титаномахией греческих мифов. В древние времена сама война представлялась не чем иным, как переделом сфер влияния между двумя группировками, причем не смертных, а тех, кто ими руководил на высшем уровне – Богов. Тогда Боги не видели другого способа обновления Вселенной. Это был сакральный механизм, запускаемый через жертвоприношение (Один сам принес себя в жертву себе же, Тиамат была принесена в жертву Мардуком и т. д.). Это был акт творения нового мира, смены поколений – ведь

гиганты были первобогам. Богами мироустроителями, и в то же время они символизировали хаос. Гигант – символ сверхчеловека, коллективной изначальной силы, коллективного бессознательного. Именно божественное прошлое великанов и уберегло их от обезличивания. Древнейшими образами гигантов принято считать образ аккадского Энкиду и греческого Полифема. В древней поэме «Беовульф» гигант (или дракон) Грендель и его мать являются вполне законченными образами, причем они наделены отрицательными чертами, в чем видится «заслуга» позднейших летописцев. С древнейших времен, от которых не осталось ничего, кроме легенд и археологических памятников, европейская культура и мифология постоянно эксплуатируют образ гиганта. На гротескном соотношении размеров построены многие произведения древности: поединок Давида и Голиафа, рыцарская легенда о Джеке Победителе Великанов. Пожалуй, одним из первых, кто использовал возвращенный к истокам образ гигантов в литературе, был Ф. Рабле [1], он был первым, кто в эпоху Возрождения использовал образ Гиганта – Созидателя, тем самым сломав архаическую традицию, связывающую их с силами разрушения. Правда, эта традиция была сломана еще древними греками, создавшими миф о Прометее. А в рыцарской мифологии гигант обычно был чем-то демоническим, наравне с драконами.

Если же мы примем трактовку образа гиганта как сверхчеловека (супермена), то тогда мы сможем сделать вывод о том, что в основе многих жанров будет лежать именно этот мотив неравного поединка. Давид сражается с Голиафом, Одиссей – с Циклопом и т. д. Но ведь гигант воспринимает себя повелителем именно из-за своих размеров. В этом мы можем наблюдать ярко выраженные «ницшеанские» мотивы, предвещающие Ницше и связанные с образом сверхчеловека, с его правом на власть. Но древние христианские легенды говорят нам, что Адам сам был великаном, пока не был изгнан из рая [2].

Научная фантастика, будучи очередной ступенью развития европейской культуры, восприняла и переосмыслила архетип гиганта, превратив его в образ сверхчеловека – супермена. Корни преклонения человека перед гигантами следует искать в глубинах человеческого «Я» и в механизмах естественного отбора. Но согласно учению Т. Гексли о двух параллельных процессах (этическом и космическом) мы столкнемся и с проблемой: кто будет воспринимать себя господином – Гигант или Обычный человек и вообще правомерна ли такая постановка вопроса.

С этой точки зрения показателен роман Уэллса «Пища богов». Честертон прав, утверждая, что «Пища богов» – это роман о Джеке Победителе

ле великанов, рассказанный с точки зрения Гиганта» [3]. Заслужено следует признать сам факт такой трактовки романа. Ведь в лучших традициях мифологии гиганты поднимают восстание, и с их точки зрения они правы, ведь они выше большинства людей в том или ином смысле.

Опять же впервые со времен древней Греции гиганты исполняют роль творцов. Они создают новый мир, буквально выковывая его в горниле войны. В романе Уэллса происходит зеркальное преломление классического сюжета о титаномахии. Теперь именно гиганты выступают в роли созидательной силы.

В образах героев романа мы можем увидеть такие мифологические прототипы:

Мифологический прототип	Герои «Пищи богов»	Их античные двойники
Первое поколение – «демиурги»	Бенсингтон, Редвуд	Уран, Гея
Второе поколение – устроители и силы хаоса	Коссар и Уинклс	Кронос, Рея, первые титаны
Третье поколение – титаны	Гаргантюа, Редвуд и другие Гиганты (Коссары и прочие)	Олимпийцы (Зевс и прочие)

Миф творения, по Уэллсу, выглядит как смелый эксперимент, причем изображенный с сатирическим подтекстом. В рамках сюжета трикстеры Скиллеты (нанятые Редвудом для наблюдения за опытной фермой), например, могут трактоваться и как стража Эдема, и как Змей, благодаря проделкам которого и происходят все события. Но не только стражники описаны Уэллсом иронически. Уэллс посмеивается и над главными героями. Ведь в самом начале автор высмеивает и ученое общество, устроившее конференцию в трактире.

*and there was a sizzling from the lantern and another sound that kept me there, still out of curiosity, until the lights were unexpectedly turned up. And then I perceived that this sound was the sound of the munching of buns and sandwiches and things that the assembled British Associates had come there to eat under cover of the magic-lantern darkness [4]*

*...в темноте слышалось жужжание волшебного фонаря и еще какие-то странные звуки – я никак не мог понять, что это такое, и любопытство не давало мне уйти. А потом неожиданно вспыхнул свет, и тут я понял, что непо-*

нятные звуки исходили от жующих ртов, ибо члены научного общества собрались здесь, у волшебного фонаря, чтобы под покровом тьмы жевать сдобные булочки, сэндвичи и прочую снедь... (перевод наш. – И. К.)

В этой гротескной сценке мы на первый взгляд видим не что иное, как картину вырождения старой цивилизации. Причем если это так, то Уэллс использовал довольно распространенный в современной научной фантастике мотив «постапокалипсиса». Тут человек уже не господин мира. Миром правят крысы, осы и прочая мелкая живность. Города людей превратились в неприступные крепости. Так же автор посмеивается и над своими героями.

*Mr. Bensington won his spurs (if one may use such an expression of a gentleman in boots of slashed cloth) by his splendid researches upon the More Toxic Alkaloids, and Professor Redwood rose to eminence – I do not clearly remember how he rose to eminence! [5]*

*Мистер Бенсингтон получил свои шпоры (если можно так сказать о человеке в холстяных ботинках с разрезами) за исследования в области особо опасных алкалоидов. А профессор Редвуд прославился – я точно не помню, чем именно он прославился, но это было очень важно.*

По нашему мнению, Уэллс не зря создает у нас двойственное впечатление от представителей ученого сообщества: откровенно унижая их, он их в то же время и возвеличивает. Данная тенденция в творчестве Уэллса была замечена еще Бересфордом [6]. Согласно этому критику, награды больше достоин тот, кто проявил больше смирения, что мы можем видеть на примере героев романа. Если мы применим к образам героев Уэллса схему прохождения возрастных этапов, то увидим необычную картину: в отличие от стандартного юнговского порядка (Юноша, Воин, Король, Мудрец) здесь наблюдается диаметрально противоположная картина – сначала герои выступают в роли мудрецов. Но в отличие от классической трактовки архетипа мудреца как демонического образа, как его рассматривает, например, К.-Г. Юнг [7], Уэллс наделяет своих героев ярко выраженными созидательными чертами. Если мы станем сравнивать произведение Уэллса с античной мифологией, то это Боги первого поколения (Уран и Гея). Они создали вселенную, но, создав ее, как и положено богам Миротворцам, ушли в сторону (Бенсингтон, например, был вынужден уехать на курорт [8], причем здесь проявилась еще одна функция персонажа – трикстерство, поскольку природа трикстера изменчива [9]), уступив свое место второму поколе-

нию – в романе оно представлено Коссаром и Уинклсом. Причем в этом случае мы наблюдаем проявление сразу двух архетипов – Короля (Коссар) и Мудреца, в его основной юнгианской трактовке (Уинклс). На наш взгляд, наиболее полно истоки этого образа проявляются в образе скандинавского Бога Локки. Также в этом образе просматриваются и черты архетипа Предателя и даже Тени (хотя Тень обычно трактуется как вариант Демона), ведь Уинклс пытается сам создавать пищу, но из-за его расхлябанности повторяется история с гигантскими животными. Правда, повторяется она в виде фарса [10]. Сам факт передачи «власти» от одного поколения другому указывает на смену эпохи. Ведь именно ударный отряд Коссара вынужден заняться наведением порядка на ферме. И здесь мы видим одну из основных аватар Коссара – Короля. Он бросается в бой с гигантскими животными, практически не думая о себе. В главах, повествующих о сражениях с матировавшей фауной, мы можем наблюдать пародию на всевозможные теории расового превосходства. Здесь гиганты не что иное, как обычные животные. Уэллс снова смеется над своими героями, ведь вместо свержасы исследователи получают скотный двор. Причем сцена, когда Коссар лезет в нору, на наш взгляд, является пародийным парафразом путешествия Одиссея в загробный мир и в глобальном масштабе переосмысленным мотивом такого путешествия вообще, ведь согласно мифологической традиции смерть рассматривается как обновление. Но Коссар и Редвуд понимают, что будущее принадлежит уже не им, а гигантам. Но перед Уэллсом стояла весьма трудная задача: ему было нужно показать новый мир таким во всей его красе. И тут Уэллс сделал весьма удачный ход, использовав остранение в первой главе третьей книги. Для того чтобы показать новый мир, он и вводит в роман еще одного рассказчика. Причем сказать, что новый герой в шоке, значит не сказать ничего. Выйдя из тюрьмы, он попадает на собрание политической группировки, противостоящей распространению пищи. Уэллс снова переводит конфликт старого и нового (науки и традиций) в гротескную плоскость. В романе это конфликт великанов и карликов. Здесь мы наблюдаем своеобразную реминисценцию греческих мифов о титаномахии.

На наш взгляд, образы молодых гигантов являются образами – символами прогресса. Ведь они перекраивают мир, строя дороги, дома. Хотя и относятся к людям как к чему-то весьма любопытному и только. В мифологии есть только один пример создания мира, напоминающий роман Уэллса, – это Калевала. Ведь именно в Калевале процесс создания мира напоминает процесс современной стройки. Окончание романа остается

открытым, автор оставляет своих героев перед решающим штурмом, давая нам самим возможность решить, чем закончится штурм – победой прогресса или возрождением старого мира.

#### Примечания

1. Рабле, Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль [Электронный ресурс] / Ф. Рабле. Режим доступа: <http://www.lib.ru>
2. Левкиевская, Е. Е. Мифы русского народа [Текст] / Е. Е. Левкиевская. М., 2005. С. 95.
3. Berethford, Mr. Wells and the Giants [Electronic resource] / Mr. Berethford. Режим доступа: <http://www.gutenberg.org>
4. Wells, H. G. The food of the gods, ch. 1. [Electronic resource] / H. G. Wells. Режим доступа: <http://www.gutenberg.org>
5. Ibid.
6. Berethford, Mr. Op. cit.
7. Юнг, К.-Г. Об архетипах коллективного бессознательного [Электронный ресурс] / К.-Г. Юнг. Режим доступа: <http://www.lib.ru>
8. Уэллс, Г. Дж. Пища богов [Текст] / Г. Дж. Уэллс // Уэллс Г. Дж. Собр. соч.: в 15 т. Т. 3. М., 1964.
9. Гаврилов, Д. О функциональной роли Трикстера. Локи и Один как эддические трикстеры [Текст] / Д. Гаврилов // Вестник Традиционной Культуры: статьи и документы. Вып. 3 / под ред. А. Е. Наговицына. М., 2005. С. 33–59.
10. Уэллс, Г. Дж. Указ. соч.

Е. Р. Кирдянова

### ПРИЗНАКИ СКАЗОЧНОГО И МИФОЛОГИЧЕСКОГО СЮЖЕТОСТРОЕНИЯ В НОВЕЛЛАХ Т. ШТОРМА

В статье рассматриваются фольклорные мотивы и образы новелл Т. Шторма. Степень их включённости в повествование различна: от незначительных аллюзий и ассоциаций до ведущего структурообразующего элемента сюжетостроения.

Анализ новелл Т. Шторма показывает, что связь с фольклорной традицией усиливает в повествовании фрагментарность, элементы недостаточной психологической мотивировки образов героев, их привязанность к определённому типу локуса и схематичность.

The article considers folklore motifs and images, which take diverse interpretation in the works by Storm. The degree of their insertion in the narration varies from slight allusions and associations up to the leading structure forming element of plot building.

The analysis of the short stories by T. Storm shows that the connection with the folklore tradition intensifies fragmentariness in the narration, elements of insufficient psychological motivation of the images of the heroes, their attachment to the definite locus type and sketchiness.

Фольклор составляет одну из важнейших частей художественной картины мира Теодора Шторма, немецкого писателя второй половины

XIX в. Его интерес к народной традиции был связан с деятельностью по собиранию Шлезвиг-Гольштинского фольклора, которой он занимался в начале своего творческого пути. К тому моменту, когда Теодор Шторм входит в литературу, ещё писали Фуке и Уланд, Мёрике и Эйхендорф, хотя как целостное движение романтизм уже сошёл на нет. Тем не менее Шторма привлекало то, как эти авторы использовали художественные каноны, образы и сюжеты народных песен, сказок, героического эпоса. Более того, во время учёбы в Кильском университете Шторм знакомится с Теодором и Тихо Момзенами. Первый впоследствии станет знаменитым историком, второй – филологом. С ними Шторм собирал фольклор в Шлезвиг-Гольштинии.

Фольклорные мотивы и образы находят разнообразное преломление в творчестве Шторма. Степень их включённости в повествование различна: от незначительных аллюзий и ассоциаций (новеллы «Иммензее», «Зелёный лист», «Лесной уголок», «Университетские годы») до ведущего структурообразующего элемента сюжетостроения (новелла «Всадник на белом коне») [1].

Анализ новелл Т. Шторма показывает, что большинство из них обладают сходным сюжетным строением, восходящим к фольклорной традиции. Возможно и обобщение этих сюжетных ходов, которые представляют собой *нарративную (повествовательную) схему* (Narrative scheme – англ.). Возникшая в результате последовательных обобщений, начало которым положили работы В. Я. Проппа, нарративная схема предстаёт как некоторая идеологическая модель, которую можно приложить не только к фольклорным текстам. Американские (А. Дандис [2]) этнологи пытались интерпретировать схему Проппа [3] с тем, чтобы приложить её к устным повествованиям других этнических групп (американо-индейских и африканских), французская семиотика с самого начала видела в ней модель, которая в усовершенствованном виде может служить основой для понимания принципов организации любого вида нарративного дискурса. Мысль Проппа о существовании универсальных форм нарративной организации стала основополагающей для этих исследований.

Из тридцати одной функции, называемой В. Я. Проппом, наиболее лейтмотивно устойчивыми (повторяющимися), по наблюдениям Грей-маса [4], оказались три «испытания»: «подготавливающее», «решающее», «прославляющее». Перенос этих функций на синтаксическую ось дал каноническую нарративную схему, т. е. «испытания» рассматриваются как *повторяющаяся нарративная синтагма, которая распознаётся формально*. Одни синтагмы отличаются семантически от других *по «следствию» (результату)*



испытания). В настоящий момент, однако, исследования нарративной грамматики уменьшили важность роли «испытаний», признавая их, как поверхностную фигуру дискурса, «украшающими» фигурами. Однако «испытания» вписываются в три нарративные перспективы, которые образуют основу нарративной схемы в целом: 1) *подготовка* субъекта, вводящая его в жизнь; 2) его (субъекта) «*реализация*» посредством того, что он «делает»; 3) «*санкционирование*» (т. е. одновременно и воздаяние, и признание субъекта – единственное, что придаёт смысл его поступкам и создаёт его как субъекта в соответствии с принципами его бытия). Нарративная схема – это неформальные рамки, куда вписывается «смысл жизни» с его тремя важнейшими перечисленными испытаниями.

На иерархически более высоком уровне мотивы испытания субъекта обрамлены договорной структурой: вследствие договора, заключённого между Отправителем (Адресантом) и Получателем-субъектом (Адресатом-субъектом), последний, выполняя взятые на себя обязательства, проходит ряд испытаний и оказывается в конце вознаграждённым отправителем, который приносит ему (согласно договору) награду. Однако заключение договора происходит вследствие разрыва установленного порядка: повествовательная схема предстаёт тогда как ряд установлений, разрывов, восстановлений и т. п. договорных обязательств.

Для большинства новелл Т. Шторма свойственна следующая нарративная сюжетная схема:

1. Подготовка субъекта (субъектов) – в основном это период детства или ранней юности (новеллы «Иммензее», «Университетские годы», «Из заморских стран», «К летописи рода Гризхус»).

2. Предварительное испытание. Мотивируется «недостачей» – в преобладающем числе новелл оформлено *отъездом на учебу (отлучкой)*: новеллы «Иммензее», «Университетские годы», «К летописи рода Гризхус», «Карстен попечитель», «Aguis submersus» – или *вынужденной разлучкой*: «Из заморских стран», «В лесу», «Ганс и Гейнц Кирх» и др.

3. «Вредительство», которое происходит во время отлучки: новеллы «Иммензее», «Университетские годы», «К летописи рода Гризхус», «Aguis submersus» и др.

4. Главное испытание: новеллы «Иммензее», «Лесной уголок», «В замке», «Карстен попечитель», «Всадник на белом коне» и др.

5. Санкционирование (воздаяние) (часто опускается или связано со смертью героя).

Главный импульс развёртывания нарративной структуры в синтагматическую последовательность – это перемещение персонажей через границы семантических полей. В новеллах Т. Штор-

ма нами были выделены следующие устойчивые повторяющиеся образы, организующие сюжетно-образующие семантические поля: усадьба, сад, дом, лес, степь.

В рассматриваемой нарративной схеме образы усадьбы, сада и дома организуют статичные локусы, через которые проходят подвижные персонажи. Несмотря на статичность, указанные локусы задают вектор движения сюжета, так как с ними связаны важнейшие целевые установки персонажей, которые должны в результате своей реализации обрести дом, сад, усадьбу.

Проведённый анализ позволил объединить образы усадьбы сада и дома в одну триаду, поскольку было установлено, что они способны взаимозаменять друг друга и составляют как бы единый комплекс.

Сюжетный потенциал образа усадьбы (пространство освоенное, окультуренное, относительно замкнутое) обусловлен тем, что герои должны определить своё отношение к этому локусу: приятие – неприятие.

Каждый локус связан с определённым типом героя и имеет свои нормы и правила поведения. Нормативное поведение в локусе усадьбы – покой, статика, неизменность. Пространство такого типа можно назвать «мёртвой точкой», и её, как испытание, проходит герой типа одинокий человек. Обладатели усадьбы – добропорядочные хозяева, муж и жена. В том случае, когда одинокий человек после соприкосновения с жизнью в усадьбе отказывается от такой жизни, образ наделяется отрицательными значениями и предстаёт как метафора узости обывательского существования («Иммензее»).

Более сложную структуру образ усадьбы имеет в тех случаях, когда речь идёт об установлении принадлежности этого локуса конкретному человеку. Если происходит разрыв между субъектом и его локусом, то в сюжете это явление становится причиной обострения и укрупнения событий, так как повышается вероятность нарушения семантической границы и даже переосмысления семантики мотива («К летописи рода Гризхус»).

В образе сада ассоциативный уровень оживляет архетипическую модель сада. Корни этого образа уходят в древнейшую мифологию, откуда он приходит в литературу с комплексом определённых знаков и значений, которые, впрочем, дополняются затем и христианской мифологией и литературой.

Модель сада обладает следующими устойчивыми признаками: 1) сад и его плоды связаны с сакральным местом – Раем; 2) это пространство отовсюду огорожено; 3) как пространство умиротворённое, упорядоченное, обжитое – сад противостоит хаосу, находящемуся за границей сада;

4) христианская традиция связывает образ сада с Богородицей; 5) райский сад в художественной идиллии имеет все составляющие, воздействующие на чувства человека; 6) составной частью модели сада является лабиринт, символизирующий путь Христа и человека вообще.

В новеллах Т. Шторма сюжетный лейтмотив сада выражает основную семантическую оппозицию архетипической модели: возделанное – невозделанное, культурное – некультурное, космос – хаос.

В описании пространства сада писатель особо концентрируется на процессе его обживания, приспособления его эстетики к себе и наоборот. Владельцы сада, как и усадьбы, добропорядочные хозяева.

Образ сада у Шторма также имеет устойчивый мотив лабиринта, связанный с эпизодами поиска возлюбленной. В лабиринте происходит испытание чувства и, одновременно, разоблачаются прежде загадочные обстоятельства взаимоотношений. Образ сада и мотив лабиринта вводятся писателем в моменты, предшествующие какому-либо важному решению, событию. По своей сути образ сада представляет устойчивую форму создания внутреннего действия.

С рассматриваемым пространством также связан момент принятия решения героями.

В некоторых вариациях образ сада предстаёт как разрушенная модель бытия, обращённая в хаос («В замке»). В таком варианте развитие образа происходит от противного и конечный результат – это восстановление окультуренного, возделанного пространства сада. Однако на уровне персонажа происходит переход героя, связанного с локусом, из одного типа в другой.

Например, в новелле «В замке» разрушенный сад образно воплощает разрушенную жизнь героини – Анны, которая представляет тип одинокого человека. Возрождая сад, усадьбу и дом, она в конечном итоге обретает новую семью и перевоплощается в тип добропорядочной хозяйки.

В творчестве Т. Шторма образ сада обретает черты особого знака, символа, очень ёмкого по своему внутреннему содержанию. В новелле «Сыновья сенатора» этот образ получает наибольшую сюжетную и концептуальную разработку. Сад здесь – причина ссоры братьев.

Следующими разновидностями выделенных нами в произведениях Т. Шторма образов являются лес и степь.

В некоторых новеллах эти лейтмотивы выступают в паре, хотя могут быть представлены и самостоятельно.

Образ леса, в котором, как и в лейтмотиве сада, прослеживается связь с архетипической моделью, организует поле драматического напряжения. Выполняя функцию преграды, лес связан

с опасностью, он является границей между «своими» и «чужими». В то же время герой, для которого лес опасен, может получить здесь волшебного помощника.

По своей семантике образ леса в новеллах Шторма противопоставлен усадьбе и саду, и одновременно, сад – это освоенный лес.

Если герой сознательно отказывается от связи с локусом леса в пользу усадьбы и сада, то это характеризует его как обывателя.

В отличие от образов усадьбы, сада и дома, лес содержит ярко выраженную идею движения. Это же справедливо и для образа степи. Лес и степь – это части пути, которые связывают усадьбу, дом, сад.

Степь по степени своей обжитости находится посередине между лесом и садом.

Локус степи сюжетно организует встречу героев, локус леса – их взаимодействие.

С рассматриваемыми образами в новеллах Шторма связаны многие фольклорные ассоциации, что создаёт особую атмосферу сказочности, таинственности, необычности. Так, локус леса осмысливается как образ Родины, Германии.

Вариация образа леса – мотив лесного уединения, восходящий к романтической традиции. В интерпретации Шторма лесное уединение – это уединение вдвоём, при этом в пространстве леса сильны идиллические мотивы, больше свойственные усадьбе и саду.

В новелле «Лесной уголок» локусы леса и степи противопоставлены психологически: каждый из них содержит свой комплекс психических ощущений, настроение и новеллистический сюжет развивается на различных способах взаимодействия событий того и другого. Лес воплощает индивидуализированное, интеллектуальное начало мечтателя, степь – свободу, приспособляемость к жизни.

В процессе своего развития мотив лесного уединения в новелле «Лесной уголок» обретает отрицательные коннотации, переосмысливаясь как лесное заточение. В борьбе семантических пространств различных лейтмотивов победа остаётся за пространством степи. Свобода побеждает лесное уединение, молодость – старость. Удел героя, обманутого мечтой, – возвращение в общество людей, где он обречён на публичное одиночество.

Проведённое исследование позволяет, с нашей точки зрения, ответить на чрезвычайно важный для творчества Шторма вопрос о природе специфики повествования в его новеллах. Это повествование в своей сюжетной основе корнями уходит в сказочно-мифологическую традицию, что усиливает в них фрагментарность, элементы недостаточной психологической мотивировки образов героев, их привязанность к определённому типу локуса и схематичность.

Примечания

1. Storm, Th. Sämtliche Werke in 4 Bänden [Text] / Th. Storm. Berlin und Weimar, 1967.
2. Dandes, A. The Morphology of North American Indian Folktales. F. F. Communication [Text] / A. Dandes. Helsinki, 1964.
3. Пропп, В. Я. Морфология сказки [Текст] / В. Я. Пропп. М., 1969.
4. Греймас, А. Ж. Семиотика. Объяснительный словарь [Текст] / А. Ж. Греймас, Ж. Курте // Семиотика. М., 1983. С. 483–550.

И. А. Орешина

«ГОТИЧЕСКИЕ» ЭЛЕМЕНТЫ В РОМАНЕ  
Т. Л. ПИКОКА «АББАТСТВО КОШМАРОВ»

В статье показана точка зрения Т. Л. Пикока на английскую литературу рубежа XVIII–XIX вв., которая нашла отражение в его романе «Аббатство кошмаров». В работе говорится о том, что Т. Л. Пикок не принимал «готический стиль» и пародировал традиционные для него маркеры (анализируются эпитафии, название романа, описание места действия, картины состояния природы, световое оформление событий и др.).

This article shows T. L. Peacock's the point of view on literary process of England of XVIII–XIX centuries, which was declared in the novel «Nightmare Abbey». The work reveals his paradoxical usage of the markers traditional for popular «gothic style» (epigraphs, the title of the novel, the description of a scene of the action, the description of a condition of the nature and etc.).

В английской литературе второй половины XVIII – первой половины XIX в. необычайно популярным был «готический» роман. Его характерные черты – воплощение философии «мирового зла», изображение сверхъестественного, загадочного, мрачного. Сюжет строится вокруг тайны – исчезновения, нераскрытого преступления, неизвестного происхождения героя. Обычно в «готическом» романе одновременно синтезируется несколько подобных тем. Раскрытие тайны происходит лишь в самом финале произведения. Всё повествование пронизано атмосферой страха и ужаса [1]. Большинство «готических» романов имеет местом действия полуразрушенный замок или монастырь, с тёмными комнатами, лабиринтами коридоров. Мрачное и злое «замковое» пространство усиливает атмосферу таинственности и страха.

Сам по себе страшный сюжет требует присутствия в романе героя-злодея, но центральным персонажем «готических» романов обычно является молодая девушка. Обычно в финале произведения героиня вознаграждается семейным счастьем, положением в обществе, богатством.

Однако следует отметить, что по мере развития жанра «готического» романа герой-злодей вытеснил юную добродетельную героиню из центра читательского внимания. В поздних образцах жанра он обретает полноту власти и обычно является двигателем сюжета [2].

«Замок Отранто» («Castle of Otranto», 1764) Г. Уолпола, «Итальянец, или Исповедальня кающихся, Облачённых в Чёрное» («The Italian, or The Confessional of the Black Penitents», 1797) Анны Рэдклиф, «Монастырь» («The Monastery», 1820) В. Скотта и другие «готические» произведения вызывали у читателей интерес, однако их популярность породила недовольство некоторых писателей, считавших эти произведения «легковесными» и «недолговечными» [3], и началось пародирование «готики». Так, Дж. Остин (Austen, Jane, 1775–1817) в своём романе «Нортенгерское аббатство» (Northanger abbey, 1818) обращается к стилизации под «готический» роман. В творчестве Т. Л. Пикока (Peacock, Thomas Love, 1785–1866) находят отражение его взгляды на английское общество, реформирование политической системы, на «модные» явления литературы, прежде всего на «готические» романы. Наиболее ярко критика «готической» эстетики представлена в «Аббатстве кошмаров» (Nightmare Abbey), изданном в том же, что и роман Дж. Остин, 1818 г., где Т. Л. Пикок иронизирует над романтической и «готической» литературой.

В одном из писем писатель говорит о своём произведении и указывает на мотив, побудивший его к написанию романа: «<...> сейчас я работаю над комическим романом «Аббатство кошмаров» и забавляюсь, высмеивая мрак и мизантропию современной литературы. Надеюсь, что благодаря моим стараниям, даже на её измождённом лице появится улыбка» [4].

Произведение открывается двумя эпитафиями. Первый эпитаф, взятый из произведений С. Батлера (поэма «Гудибрас» и сатира «О слабости и ничтожестве человека»), содержит в себе элементы мистики, что соотносит роман с произведениями «готической» литературы:

*There's a dark lantern of the spirit,  
Which none see by but those who bear it,  
That makes them in the dark see visions  
And hag themselves with apparitions,  
Find racks for their own minds, and vaunt  
Of their own misery and want.*

*(Волшебный, злой фонарь души  
Неведомый допрежь. В тиши  
Он мигом развернет виденья –  
И пляски ведьм и привиденья.  
Не похваляйтесь дыбой этой,  
Страданьями пред целым светом) [5].*

Строки из комедии Б. Джонсона «Всяк по-своему», использованные в качестве второго эпиграфа, содержат в себе насмешку над преклонением перед меланхолическими настроенными в литературе.

Название романа Т. А. Пикока нацеливает на восприятие произведения в русле «готической» эстетики. Как и авторы романов «страха и ужаса», писатель указывает на место, в котором будут разворачиваться события, и таковым оказывается полуразрушенное аббатство. Причём, если для «готических» романов характерно построение сюжета на основе путешествия героя к замку, то в романе Т. А. Пикока строго выдержан принцип единства места – действие романа сразу начинается в стенах аббатства и все события происходят в имении.

В описании Аббатства кошмаров Т. А. Пикок нагнетает атмосферу страха и ужаса «готики» – действия разворачиваются не просто в аббатстве, а в аббатстве кошмаров. Первая же характеристика имения намеренно переполнена зловещими деталями и ещё более усиливает эффект сконцентрированности всего ужасного, что только может быть, в одном месте: «Nightmare Abbey, a venerable family mansion, in a highly picturesque state of semi-dilapidation, pleasantly situated on a strip of dry land between the sea and the fens, at the verge of the county of Lincoln <...> house was no better than a spacious kennel <...> The tower which Scythrop inhabited stood at the south-eastern angle of the Abbey; <...> the foot of the tower opened on a terrace, which was called the garden, though nothing grew on it but ivy, and a few amphibious weeds. The south-western tower, which was ruinous and full of owls, might, with equal propriety, have been called the aviary» («Аббатство кошмаров – почтенный родовой особняк, находящийся в довольно живописном полуразрушенном состоянии, располагающийся на полосе сухой земли между морем и болотами у границы графства Линкольн <...> дом не лучше, чем просторная конура <...> Башня, в которой обитал Скютроп, стояла на юго-восточном углу аббатства; <...> терраса, которая называлась садом, хотя там ничего не росло, кроме плюща и сорняков. Разрушенная юго-западная башня могла бы называться птичником, поскольку там обитали совы») [6].

Дж. Остин в своём романе, как и Т. А. Пикок, с самого начала произведения показывает, что «Нортенгерское аббатство» нужно воспринимать на фоне «готических» романов и в противопоставлении с ними. Название произведения, как и у большинства «готических» романов, указывает на таинственное место действия. Но, в отличие от «готических» романов и от «Аббатства кошмаров» Т. А. Пикока, в произведении

Дж. Остин нет описания аббатства как такового, скорее даётся обрисовка внутренних ожиданий Кэтрин. Героиню ждёт разочарование – рассмотреть аббатство ей не удастся, но писательница тут же вновь обращается к приёму «готики», и в момент прибытия в аббатство начинается гроза. Кэтрин Морланд Дж. Остин, как и героини «готических» романов, оказывается в ситуации, когда перед ней предстаёт необъяснимая загадка. Всё происходящее сопровождается традиционным для «готики» описанием картин непогоды. Однако затем автор снова возвращает Кэтрин в обыденный «неготический» мир.

Т. А. Пикок также обращается к описанию состояния природы, но он использует природные зарисовки иначе, чем это делали создатели «готических» романов – в их произведениях картины пейзажа усиливают атмосферу «ужасного», а в романе «Аббатство кошмаров» лишь один раз представлено описание непогоды, которое писатель использует, пародируя «готические» романы. У Пикока картины природной непогоды чередуются с яркими солнечными днями: «The day after Mr Glowry's departure was one of incessant rain <...>. The next day was one of bright sunshine <...>. On the third evening, the wind blew, and the rain beat, and the owl flapped against his windows <...>. On the fourth day, the sun shone again <...>» («Весь следующий день после отъезда мистера Сплина непрерывно лил дождь <...>. На другой день ярко светило солнце <...>. На третий дул сильный ветер, и хлестал дождь, и сова билась возле его окон <...>. На четвертый день вновь сияло солнце <...>») [7]. Причём все эти чередующиеся явления представлены в произведении в пределах одного абзаца и используются для характеристики состояния Скютропа, ожидающего возвращения отца. Непогода вызывает у него уныние, и он твёрдо уверен покончить с собой в случае неудачного разрешения любовной истории. Когда же наступает солнечный день, он забывает о своём намерении и в итоге вовсе отказывается от принятого ранее решения.

Помимо описания непогоды как Дж. Остин, так и Т. А. Пикок обращаются к световому оформлению описываемых событий. Так, в «Нортенгерском аббатстве» К. Морланд оказывается в темноте, когда ищет таинственную рукопись в своей комнате. Использование «готических» маркеров (непроницаемый мрак в комнате, повторяющееся слово «horror» и другие слова, описывающие ужас и страх, которые произзывают сердце героини – «a very tremulous hand», «how strangely mysterious», «breathless wonder», «was motionless with horror», «heart fluttered», «knees trembled», «her cheeks grew pale», «A cold sweat stood on her forehead»/ «сильно дрожащая рука», «как странно таинственно», «затаив дыхание от

удивления», «от ужаса была неподвижна», «сердце трепетало», «колени дрожали», «её щеки побледнели», «холодный пот выступил у неё на лбу») [8] приводит к тому, что данная сцена превращается у Дж. Остин в блестящую стилизацию «готического» романа, и только в следующей главе произведения становится ясно, что роман является пародией на «готику».

Т. А. Пикок, в отличие от Дж. Остин, пародирует световые картины «готики» иначе. Он показывает, что солнечный свет, который у каждого человека ассоциируется с радостью жизни, вызывает недовольство у его героя, стремящегося к полумрачной таинственной атмосфере: «It was noon, and the sun was shining in full splendour, much to the annoyance of Mr Flosky, who had obviated the inconvenience by closing the shutters, and drawing the window-curtains. He was sitting at his table by the light of a solitary candle, with a pen in one hand, and a muffineer in the other, with which he occasionally sprinkled salt on the wick, to make it burn blue». («Это было в полдень, и солнце сияло в полную силу, к великому раздражению мистера Флоски, который устранил это неудобство, закрыв ставни и задернув окна занавесями. Он сидел за столом при свете одинокой свечи, с пером в одной руке и солонкой в другой, из которой он время от времени посыпал соль на фитиль, чтобы свеча горела синим пламенем») [9]. Здесь можно ощутить ироническое отношение писателя к описываемому, Т. А. Пикок показывает, как его герой специально создаёт вокруг себя колорит «ужасного».

Подчеркивая, что его герои постоянно стремятся окружить себя всем, что навеивает ужас, Т. А. Пикок изображает процесс выбора слуг мистером Сплином и показывает, какие качества для него при этом являются самыми важными: «Mr Glowry always chose by one of two criterions, – a long face, or a dismal name. His butler was Raven; his steward was Crow; his valet was Skellet. <...> His grooms were Mattock and Graves» («Мистер Сплин всегда выбирал в соответствии с одним из двух критериев – вытянутое лицо или мрачное имя. Его дворецкого звали Ворон; его управляющим был Филин; его камердинер – Скеллет. <...> Его конюхами были Мотыга и Могила») [10]. Автор иронизирует над стремлением к «ужасному» и говорит, что в жизни не всегда на самом деле бывает страшным то, что кажется таковым, и тут же иллюстрирует это: «<...> but on Diggory's arrival, Mr Glowry was horror-struck by the sight of a round ruddy face, and a pair of laughing eyes. Deathshad was always grinning, – not a ghastly smile, but the grin of a comic mask; and disturbed the echoes of the hall with so much unhallowed laughter, that Mr Glowry gave him his discharge» («<...> но,

когда Череп прибыл, мистер Сплин был ужасно поражён, увидев его круглое румяное лицо и смеющиеся глаза. Череп всегда улыбался, не мрачной ухмылкой, а весёлой усмешкой комической маски; и постоянно нарушал покой эха своим недостойным смехом, за что мистеру Сплину пришлось его уволить») [11].

Т. А. Пикок при описании героев использует говорящие «по-готически» имена. «Готический» колорит некоторых из них виден сразу – Сплин, мистер Гибель, мистер Траур и др. Но писатель использует и имена, «готичность» которых становится понятной лишь после обращения к их языковой первооснове – Скютроп (от греч. грустный, мрачной наружности), мистер Флоски (от греч. любитель теней) и т. п. [12]

Кроме того, Т. А. Пикок иронизирует, описывая своих героев, подчёркнуто выставляя на первый план меланхолическую сторону натуры своих персонажей: «This gentleman was naturally of an atrabilarious temperament, and much troubled with those phantoms of indigestion which are commonly called “blue devils”» («Этот джентльмен [эсквайр Кристофер Сплин] обладал от природы меланхолическим характером, к тому же его часто беспокоили расстройства желудка, которые обычно называют чёрной ипохондрией») [13] – или пародируя колорит «готических» романов: «<...> Mr. Flosky, a very lachrymose and morbid gentleman, of some note in the literary world, but in his own estimation of much more merit than name. The part of his character which recommended him to Mr. Glowry, was his very fine sense of the grim and the tearful. No one could relate a dismal story with so many minutia of supererogatory wretchedness. No one could call up a raw-head and bloody-bones with so many adjuncts and circumstances of ghastliness. Mystery was his mental element («<...> мистер Флоски, очень унылый и болезненный джентльмен. Мистера Сплина расположила к нему такая черта его характера, как мрачность. Никто не умел рассказать страшную историю, с такой скрупулезностью обрисовывая каждую зловещую подробность. Никто не мог так вызывать чувство страха кровавыми ужасами. Тайна была его первоосновой») [14].

Главными действующими лицами «готических» романов обычно выступали наивные девушки. В центре «Аббатства кошмаров» и «Нортенгерского аббатства» также находятся героини. Однако если у Дж. Остин на первый план выведена фигура Кэтрин Морланд, то у Т. А. Пикок в романтической истории участвуют две девушки – мисс Марионетта Селестина О'Кэррол и Стелла (Селлинда Гибель).

У Дж. Остин ирония над «готикой» сочетается с психологическим изображением героини. Писательница постоянно сравнивает действия

своих героев с тем, что делали бы в такой же обстановке персонажи «готического» романа. К финалу произведения Кэтрин, которая была увлечена чтением «готических» романов, полностью разочаровывается в «готике», когда «страшные тайны» аббатства Нортенгер оказываются обыкновенными и легко объяснимыми происшествиями. Героиня уже больше не стремится найти в романе правдоподобного описания человеческой природы: «The visions of romance were over. Catherine was completely awakened» («Видения романа были закончены. Кэтрин окончательно пробудилась») [15].

Героини Т. А. Пикока по-другому представлены на страницах произведения. При первом же её появлении Марионетта О'Кэрролл изображена как фигура контрастная по отношению к мрачной атмосфере аббатства кошмаров: «Miss Marionetta Celestina O'Carroll was a very blooming and accomplished young lady. <...> Her conversation was sprightly» («Мисс Марионетта Селестина О'Кэрролл была очень цветущая молодая леди. <...> Разговор её был бодр») [16]. Однако обстановка аббатства постепенно накладывает на неё свой отпечаток «the spirit of black melancholy, began to set his seal on her pallescent countenance» («дух чёрной меланхолии начал устанавливать свою печать на её лице») [17]. Вторая героиня – Стелла – сразу предстаёт как фигура, которая в полной мере вписывается в обстановку имения: «She was finishing her education in a German convent <...> and being altogether as gloomy and antithalian a young lady as Mr Glowry himself could desire for the future mistress of Nightmare Abbey» («Она получала образование в немецком женском монастыре <...> и в целом была столь мрачная и антиталийная молодая леди, какую сам мистер Сплин желал бы видеть в роли будущей хозяйки Аббатства кошмаров») [18].

«Готический» роман предполагал, что героиня, пройдя через страдание, обретает счастье. Роман Дж. Остин, в этом отношении, следует за традицией «готики», тогда как у Т. А. Пикока ни одна из двух девушек не обретает счастья в отношениях со Скютропом, обе они покидают аббатство.

Таким образом, через ироническое использование традиционных для «готического» романа сюжетных элементов и приёмов создания атмосферы «ужасного» Т. А. Пикок, так же как и Дж. Остин, развенчивает романтический идеал и, хотя признаёт его занимательность, отказывает ему в правдоподобии жизни. Он показывает, что страшные тайны и демонические страсти не встречаются нигде, кроме как на страницах «готических» романов; ими можно наслаждаться в часы досуга, но нет смысла пытаться искать их в реальной жизни.

### Примечания

1. *Жирмунский, В. М.* У истоков европейского романтизма [Электронный ресурс] / В. М. Жирмунский, Н. А. Сигал // Уолпол. Казот. Бекфорд. Фантастические повести. (Лит. памятники). Л.: Наука, 1967. Режим доступа: [http://lib.ru/INOOLD/UOPOL/wallpoll0\\_2.txt](http://lib.ru/INOOLD/UOPOL/wallpoll0_2.txt)
2. Там же.
3. *Пикок, Т. А.* Аббатство кошмаров; Усадьба Грилла [Текст] / Т. А. Пикок; пер. Е. Суриц, примеч. Е. Ю. Гениевой; АН СССР. (Лит. памятники). М.: Наука, 1988. С. 222.
4. Там же. С. 384.
5. *Peacock, T. L.* Nightmare Abbey [Electronic resource] / Т. А. Пикок. Режим доступа: <http://www.thomaslopepeacock/N.Abbey.html#01.05#01.05>; *Пикок, Т. А.* Указ. соч. С. 5.
6. *Peacock, T. L.* Op. cit. Здесь и далее текст приводится в переводе автора статьи.
7. Там же.
8. *Austen, J.* Northanger abbey [Electronic resource] / J. Austen // Режим доступа: [http://www.gutenberg.org/catalog/world/readfile?fk\\_files](http://www.gutenberg.org/catalog/world/readfile?fk_files)
9. *Peacock, T. L.* Op. cit.
10. Ibid.
11. Ibid.
12. *Пикок, Т. А.* Указ. соч. С. 385.
13. *Peacock, T. L.* Op. cit.
14. Ibid.
15. *Austen, J.* Op. cit.
16. *Peacock, T. L.* Op. cit.
17. Ibid.
18. Ibid.

*Е. Е. Пастухова*

### «ЖЕНСКАЯ ПРОЗА» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ

В статье представлен анализ отечественных и зарубежных работ о «женской прозе» за период с 1988 по 2000 г. Автором рассматривается мотивно-тематическое ядро «женской прозы» и ее статус в общем литературном процессе.

The article deals with Russian, English and American works concerning women's writing in 1988–2000. The author analyses motives and themes of Russian women's writing and its place in literature.

На протяжении двадцати лет литературно-критические статьи о «женской прозе» не сходят с страниц российских и зарубежных изданий. Возможно, женская тема не является главенствующей в исследованиях, но вопросов и споров она вызывает немало. Если в 1980-х – начале 90-х гг. критики рассматривали «женскую прозу» в основном с литературно-эстетических позиций, то уже к концу века популярными стали работы по

гендерным исследованиям с применением социологических методов.

Данная статья представляет собой анализ отечественных и зарубежных работ о «женской прозе» за период с 1988 по 2000 г. Разновекторные публикации, посвященные «женской прозе», можно рассмотреть в трех основных аспектах. Прежде всего, речь должна идти о самом понятии «женской прозы». Каков ее статус в литературе, как связана она с понятиями «массовая литература» и «беллетристика», каково временное и содержательное направление этого понятия.

Второе направление, которое нас будет занимать, затрагивает мотивно-тематическое ядро «женской прозы». Существует ли особая «женская тематика», как пересекаются литературные поля «женской прозы» и «прозы» вообще, каковы тематические традиции «женской прозы» – все это становилось предметом изучения в исследуемый период.

И наконец, третья группа вопросов связана с авторами «женской прозы». И здесь характерными оказываются те же подходы, которые просматриваются в анализе литературной ситуации в целом. Это и попытка выявить и выстроить литературные ряды, определить место и роль писателя в литературном процессе, дать представление о литературной репутации того или иного автора, соотнести художественный вымысел с биографией писателя, найти границы между правдой жизни и художественной правдой.

Итак, рассмотрим корпус публикаций о «женской прозе» в обусловленный период. Многие из этих работ начинаются с одного и того же вопроса: существует ли «женская проза»? Исследователи приводят различные доводы в подтверждение своей точки зрения. И здесь возникает парадокс. Казалось бы, те исследователи, которые умаляют достоинства «женской прозы», упорно настаивая на ограниченном наборе ее тем, невольно подтверждают ее существование. В то же время авторы критических статей, которые не желают выделять «женские» вопросы из круга общелитературных тем и пытаются возвысить «женскую прозу» до «настоящей» литературы, тем самым отрицают ее существование как самостоятельного явления.

В исследованиях указанного двадцатилетнего периода можно отметить два противоположных взгляда на поставленный вопрос. Сторонники первого убеждены в том, что «женская проза» существует и предрекают ей дальнейшее развитие. Представители второй точки зрения, если и допускают существование «женской прозы», то как временного явления. Чтобы в полной мере проиллюстрировать оптимистические литературно-критические взгляды исследователей на «женскую прозу», приведем цитату Н. Старцевой.

В статье «Женский вопрос. Какие ответы?», опубликованной в 1988 г., она пишет о том, что «несмотря на временное оттеснение женских вопросов в текущей литературе, можно быть уверенными, что они еще зазвучат в полную силу, потому что стадии и проблемы общественного и духовного развития отражаются в положении женщины так точно, как ни в каком другом социальном срезе» [1]. Очевидно, под «женскими вопросами» автор подразумевает такие традиционные в литературе темы, как семья, материнство, взаимоотношения полов.

Несмотря на уверенность в будущем «женской прозы», исследовательница далеко не лестно отзывается о состоянии литературы. Характерной чертой произведений того периода является, по мнению Н. Старцевой, «поразительная внебытность женских персонажей». Эти «не такие, как все» женщины лишены духовности, так как отказываются от материнства: «Освобождаясь от материнства, женщина постепенно освобождает общество от психического равновесия и физического здоровья, от ощущения стабильности и гармонии, которое возникает только в нормальном семейном воспитании. Теплота, любовь, добросердечие, бескорыстие уходят вместе с материнством, как кислород в озоновую дыру. И с ними – истинная женственность, достойная преклонения, абсолютизации и обожествления» [2].

К материнству как характерной черте героини нового типа Н. Старцева вновь обращается в своей следующей статье «Сто лет женского одиночества», вышедшей годом позже: «Почти одновременно, почувствовав, что старый тип героини поднадоел, писательницы разных поколений, разных творческих манер пытаются развернуть его в противоположную сторону, к тому, что раньше женщинами этого типа не воспринималось как основное содержание женской жизни, то есть к материнству» [3]. Вероятно, тема материнства могла вновь заинтересовать писательниц как альтернатива женским персонажам, намеренно отказавшимся от роли матерей ради карьеры. Но, на наш взгляд, «женская тематика» не может ограничиваться лишь этими двумя противоположными характеристиками.

Тем не менее, по убеждению многих исследователей указанного периода, материнство было или должно было быть главной темой «женской прозы», спасением от агрессивности и натурализма, часто ей приписываемых. Как утверждает Е. Щеглова, «в самом факте существования “женской” литературы едва ли не главенствующим оказывается истинно женское – материнское – отношение к миру» [4]. Однако исследователь замечает, что такое отношение не следует трактовать упрощенно, с «нажимом в сторону домохозяйской этики».

Возвеличивание женского начала прослеживается и в работе И. Савкиной. Как пишет исследовательница, «традиционным упреком женской прозе было обвинение в мелкотемье: в центре ее внимания чаще всего темы «женщина и мужчина», «женщина и ребенок», «любовь», «одиночество» – словом, как казалось (и кажется) многим критикам, – иллюстрация к рубрике «для дома, для семьи» <...> Подобные рассуждения – еще одно свидетельство утраты нами общечеловеческих, вечных ценностей, замены их на выморочные, приспособленные к «текущему моменту». Для русской классической литературы, как и для народного сознания, отраженного в фольклоре, семья, Дом – это модель мира» [5]. Нельзя не согласиться с приведенным утверждением, благодаря которому «женские» темы возвышаются до уровня всеобщих, жизненных. Но одновременно возникает вопрос: зачем выделять «женскую прозу» как самостоятельное явление, если ее главная тема является классической в литературе? Похоже, исследователи зашли в тупик, выйти из которого можно, либо выделив новые темы в «женской прозе», либо акцентировав внимание на своеобразном стиле писательниц.

Некоторые исследователи называют и другие темы, характерные для «женской прозы». Но все они так или иначе связаны с женским восприятием мира. Среди них Б. Сатклифф выделяет две внутренне связанные темы, которые, по его мнению, были особенно интересны критикам: изображение тела и женской судьбы [6].

Возвращаясь к вопросу о правомерности существования «женской прозы», необходимо привести высказывание И. Савкиной о том, что «понятие “женская проза” сохранило оттенок игривой неестественности, может быть, потому, что у него нет “антагониста” – “мужская проза”, так как предполагается, что вся проза мужская, как говорят в геометрии, “по условию”» [7]. Как видно из приведенного высказывания, исследователь настаивает на выделении «женской прозы» как самостоятельного явления литературы. При этом, по ее убеждению, необходимо ввести такое понятие, как «мужская проза», которое помогло бы выделить отличительные черты этих антагонистических явлений.

Для Е. Щегловой сама постановка такого вопроса кажется абсурдной: «Как не существует “мужской” и “женской” науки – так не существует и подобных видов литературы» [8]. Казалось бы, обе исследовательницы выступают с противоположными взглядами. Но далее Е. Щеглова подчеркивает, что «существует немало произведений, написанных женщинами, которые ничуть не хуже тех, что написаны мужским пером. Но дело-то в том, что женское видение мира, несмотря на значительное число писательниц,

все-таки пока не утвердилось в литературе как полноправное, равноценное наряду с “маскулистическим” <...> Женский голос в литературе – вовсе не обязательно вершинное творение. Но обязательно – свой, непохожий, не подражательный, лишенный ущемленности, с одной стороны, и бравады, эпатажа – с другой» [9]. И здесь исследовательница вступает в противоречие с самой собой, указывая на «непохожий, не подражательный» стиль «женской прозы». Такие не окончательно сформировавшиеся убеждения, безусловно, влекут за собой трудности при анализе литературно-критических работ. Но одновременно они отражают процесс восприятия «женской прозы» исследователями в указанный период времени.

Как уже отмечалось, сторонники второй точки зрения на развитие «женской прозы» довольно резко отзываются о ее дальнейшей судьбе. Так, в частности, Е. Булин в своей статье «Откройте книги молодых» говорит о несовременности «женской прозы»: «Вы посмотрите, о чем они, наши писательницы, пишут даже сейчас: о неразделенной любви, о детских грезах, о любимых бабушке и дедушке, о домике с синими наличниками, о “розовом, золотом, золотом, розовом”» [10]. По словам автора статьи, писательницам не следует браться за «настоящее дело», за «проклятые вопросы», а нужно обращаться к темам «материнства, нежности, жертвенности, сострадания», к тому, как «сегодняшняя женщина относится к детям, к мужу, к родителям, что ее раздражает, отчего она улыбается» [11]. Придерживаясь такого определения «женской» тематики, Е. Булин в своих взглядах близок всем тем исследователям, которые отстаивают материнство как основную тему «женской прозы». Конечно, женщину-писательницу такие темы должны интересовать в первую очередь потому, что они связаны с женским началом. Но и «настоящие дела» не могут оставаться без их внимания хотя бы для того, чтобы высказать свою, женскую точку зрения, показать свое восприятие «мужских» тем.

Среди критиков и литературоведов девяностых годов в основном наблюдаются неутешительные прогнозы о будущем «женской прозы». Многие исследователи в один голос заявляют о том, что «женская проза» стала скучной. А. Марченко в статье «Где искать женщину?» полагает, что «хотим мы этого или не хотим, нравится нам это или не нравится, женский элемент в постсоветском искусстве, и прежде всего в прозе, – несмотря на некоторые успехи политически ориентированного феминизма, – стремительно усыхает» [12]. Как отмечает исследователь, нашумевшие в первые годы своей жизни «женские вещи» остались единственными достойными экземпля-



рами, а все, что создавалось после, в большей степени стало скучным.

О скуке как основной движущей силе женского творчества пишет и А. Козлова: «Разрешив «женский вопрос», мужчины лишили женщину права на самоопределение в борьбе, в особенности литературной. Заскучав, женщина-писатель принялась штамповать любовно-эротические рассказы, описывающие какую-то мифическую жизнь мифических людей, или углубилась в деятельное разрушение всех рациональных канонов художественности, увеча синтаксис, создавая странные мутирующие слова и понятия» [13]. Все это, как полагает автор статьи, «повергает читателя в пучину нереальных и далеко не самых интересных событий, в которых тот не находит ничего, кроме скуки» [14].

На наш взгляд, довольно сложно указать истинные причины, почему исследователи называют «женскую прозу» скучной. Возможно, это вызвано тем, что в 1990-х гг. в огромном количестве издаются произведения, написанные женщинами. В большей степени – это «дамские романы». Многие из этих, как справедливо отмечает А. Козлова, «наштампованных» книг разрабатывают одни и те же темы, что и позволило исследователям сделать такие выводы.

Однако среди суровых отзывов встречаются и совершенно противоположные мнения, доказывающие развитие и расцвет «женской прозы». Н. Мильман обращает внимание на то, что «современная женская проза – другая литература, как ни банально это звучит, отражающая неравноправное положение женщины в России <...> Трезвый взгляд на реальность, присущий женщинам, <...> делает эту “другую” прозу безжалостно правдивой. Социальная зоркость, чуткость к изменениям в жизни общества, к двойственному положению женщины – вот что характеризует прозу Людмилы Петрушевской и Нины Садур, Полины Слуцкиной и Марины Палей, Светланы Василенко и Дины Рубинной, Людмилы Улицкой и Марии Арбатовой» [15]. Автор статьи также добавляет, что «когда мы говорим о принадлежности того или иного произведения к женской прозе, то отнюдь не имеем в виду его художественные достоинства или недостатки. И это вполне объяснимо. Ведь термин «женская проза» относится скорее к социологии, нежели к литературе. Писательниц прежде всего интересуют причины дискриминации женщины в обществе, ее существование на правах человека второго сорта. То есть они оперируют категориями не эстетическими, а социологическими. Современная женская проза набрала такую силу потому, что главные ее функции, те, которые совпадают с потребностями общества, – исцеление и катарсис. Когда необходимость в них отпадет,

отпадет, быть может, и сам вопрос о женской прозе» [16]. На наш взгляд, характеристика «женской прозы», данная исследователем, интересна еще и тем, что в ней упоминаются имена не только Л. Петрушевской и Н. Садур как достойных представительниц «женской прозы», но и других авторов. Одной из отличительных черт литературно-критических работ указанного периода является то, что чаще всего исследователи выделяют из числа женщин-писательниц лишь несколько фамилий. Среди них Л. Петрушевская, В. Нарбикова или Т. Толстая. Остальные авторы не удостоиваются пристального внимания со стороны литературной критики.

Так, О. Павлов в статье «Сентиментальная проза» и В. Киляков в статье «О женском в современной литературе» называют Л. Петрушевскую как самую значимую фигуру в женской прозе: «Как бульварный роман у Достоевского превращается в высоком роде в роман философско-психологический, так и типовая повесть у Петрушевской, высотой и правдой переживания, превращается в повесть драматическую, в прозу» [17]. Как полагают оба автора статей, все написанное после Л. Петрушевской является лишь ее повторением. В. Киляков подводит неутешительный итог развития всей женской прозы: «Публицистическая яркость, новизна померкли, женское так и остается женским, то есть личностное отношение к жизни из-за инерции отрицания, малого жизненного опыта так и не было преодолено, обобщения художественного жизни так и не явилось, а вместо литературы остается личность, документ о личности» [18]. Как следует из высказывания исследователя, «женская проза» перестала интересовать читателя из-за того, что ей не удалось преодолеть женское видение мира и достигнуть уровня художественного обобщения. И снова всплывает вопрос о необходимости выделения «женской прозы». К чему разделять литературу на «мужскую» и «женскую», если в конечном итоге требуется общее восприятие действительности?

Многие исследователи признают, что «женская проза» не имеет четко ограниченных рамок. Ее волнуют не только «женские» темы. Довольно сильны различия и в стилях писательниц. Как справедливо замечает Ю. Тарантул, «координаты “нашей новой женской прозы” обычно определяются путем компоновки – тем или иным образом – совершенно разнородных имен; но она оттого – лишь неуловимей <...> Отдельные представительницы прозаического цеха в стройную общую картину не укладываются: кто-нибудь да выпадает» [19]. Среди таких «выпадающих» отечественные исследователи, как уже отмечалось, называют Л. Петрушевскую, Т. Толстую и В. Нарбикову, лишь изред-

ка дополняя этот список двумя или тремя новыми именами.

Если сделать вывод из всего сказанного, то можно заметить, что в отечественной литературной критике «женская проза» по-прежнему остается второстепенным, периферийным явлением и не является одним из основных предметов изучения. Несмотря на большое количество публикаций о «женской прозе», ее статус в литературе не изменился. Хотя многие исследователи обращают внимание на особый «женский» стиль письма и специфическую «женскую тематику», никто из них не пытается выделить «мужскую прозу» как альтернативу «женской». Более того, критики часто требуют от писательниц «не женского» видения мира. Такие тенденции можно проследить и в зарубежной литературной критике. В первую очередь, это вызвано тем, что англоязычные исследователи «женской прозы» очень часто обращаются к российским литературным критикам, на которых они ссылаются в своих работах. Тем не менее существует и ряд отличий. Обратимся к зарубежным исследованиям.

В англоязычном литературоведении «женская проза» является одним из основных объектов изучения. Это одно из его главных отличий от русских исследований. В зарубежной литературной традиции женщины-писательницы занимают равное положение в ряду со своими коллегами-мужчинами. Как видно, поэтому, по словам Н. Перовой, иностранцы никогда не спрашивают, «есть ли у нас женская литература, а спрашивают – какая она, предполагая, что, разумеется, она есть, как и в любой другой западной или восточной стране» [20]. Объясняя необходимость разделения литературы по половому признаку, Дж. Гейт выражает следующую точку зрения: «В российском контексте жизненно необходимо использовать биологические/культурные категории по одной простой причине: раньше, когда не существовало разграничения между мужчинами и женщинами, сочинения писательниц не исследовались, и, таким образом, большое количество важных произведений было почти потеряно для русской литературной истории» [21]. Безусловно, такое объяснение имеет право на существование. Но, к сожалению, оно носит прикладной характер и не раскрывает историческую причину необходимости вычленения «женской прозы».

Зарубежных критиков, так же как и российских, интересует проблема принадлежности писательниц к «женской прозе». И здесь у исследователей мы не можем наблюдать единого мнения. Они утверждают, что в творчестве некоторых писательниц групповые признаки слабо выражены и не могут гарантировать тесное родство с «женской прозой». Как отмечает Д. Браун

в шестой главе своей книги «Последние годы советской литературы. Проза 1975–1991», несмотря на то что Т. Толстая и В. Токарева часто показывают особое женское понимание вещей и пишут о проблемах, свойственных женщинам, их не следует считать представительницами «женской прозы» [22]. Кроме того, они «сохраняют традиционный русский интерес к психологическому анализу и духовному исследованию», что роднит их с М. Кураевым, Г. Головиным, А. Бородиным, Н. Шмелевым и А. Латыниным [23]. А. Петрушевскую исследователь включает в один ряд с представителями «другой прозы», такими, как В. Ерофеев и С. Каледин.

Палитра имен, исследуемых зарубежными литературоведами, достаточно разнообразна. В их работах можно встретить многих представительниц «женской прозы». Но, как и у отечественных исследователей, наиболее часто упоминаются А. Петрушевская и Т. Толстая. Среди новых имен, появившихся в конце 1980-х гг., Д. Браун особо выделяет М. Палей и В. Нарбинову как «самый удивительный и приводящий в замешательство талант. <...> В своих рассказах Нарбинова соединила практически полную бессюжетность, сексуальную фантазию, свободную ассоциацию и на вид несдерживаемую игру слов» [24]. М. Палей, по убеждению исследователя, также «одарена выразительными словесными средствами; у нее богатый образам, полный юмора и часто очень занятный язык, хотя временами слишком умный и граничащий с многословием» [25]. Но, несмотря на эти важные индивидуальные отличия, писательница имеет много общего с А. Петрушевской. Здесь важно отметить достаточно яркий и метафорический язык как характерную черту англоязычных литературно-критических работ.

В отличие от Д. Брауна, который пытается не делать окончательных выводов о принадлежности В. Нарбиновой и М. Палей к «женской прозе», Дж. Хитон с твердой уверенностью заявляет о том, что произведения М. Палей «являются хорошим примером современной русской «женской прозы». И даже при наличии некоторых трудных для определения признаков, ее рассказы с легкостью могут быть прочитаны с феминистской позиции. При этом наличие феминистских взглядов у самого автора не обязательно [26]. Довольно часто в своих исследованиях западные авторы обращаются к идеям феминизма. Что, конечно же, не удивительно, ведь это движение зародилось на западе. Правда, не всегда такие идеи могут быть применены в исследованиях русской «женской прозы», так как многие писательницы категорически отвергают свою принадлежность к феминизму.

В работах некоторых зарубежных литературных критиков можно проследить идеи, общие с

отечественными исследованиями. К. Келли считает, что большинство современных значимых молодых писательниц-прозаиков, за исключением Т. Толстой и В. Нарбиковой, вышло «из-под верхней юбки Л. Петрушевской (по аналогии с гоголевской шинелью), которая без всяких сомнений является самой влиятельной русской писательницей последних двадцати лет» [27]. В своих взглядах исследовательница, таким образом, сходится с О. Павловым и В. Киляковым, о которых речь шла выше.

Зарубежные литературоведы, в отличие от многих своих российских коллег, считают, что «женская проза» продолжает жить своей активной жизнью. Спустя семь-восемь лет после того, как молодые авторы получили известность, более талантливые из них стали развивать свои собственные отличительные черты и ушли в новые направления. Самыми успешными в их числе К. Келли называет С. Василенко, Л. Ванееву и Н. Садур. Тем не менее Н. Садур – единственная, кто разделяет с Л. Петрушевской общие отличительные признаки и, в частности, «гиперреалистичный стиль Петрушевской» [28]. По убеждению исследовательницы, в творчестве Н. Садур есть много тем, общих с современной «женской прозой»: «модный интерес к сверхъестественным и странным случаям, особое внимание к насилию над мужчинами» [29]. Однако в противоположность многим другим авторам Н. Садур «развивает эти темы не из-за их шокирующих достоинств; она влетает их в сложные формальные и лингвистические рамки. Важно не то, а как: самые странные из этих рассказов не те, которые имеют дело со сверхъестественным, а те, в которых заурядность, изменившись, кажется необъяснимее, чем сверхъестественное» [30]. Из англоязычных работ указанного периода это, пожалуй, одна из самых ярких характеристик стиля писательницы.

Зарубежные исследования «женской прозы» идут параллельно с российскими работами. Иногда их точки зрения совпадают. Порой вступают в противоречия. Безусловно, это огромный и до конца не изученный материал, который может представлять огромный интерес для отечественного литературоведения.

Подводя итог всему изложенному, можно сделать вывод о том, что, несмотря на все пессимистические прогнозы, «женская проза» продолжает существовать вот уже более двадцати лет. Она не «усохла» и не «наскучила». И подтверждением этому может служить тот факт, что в прошлом году литературную премию «Большая книга 2007» получили две женщины-писательницы – Л. Улицкая и Д. Рубина.

Вопрос принадлежности писательниц к «женской прозе» пока остается открытым как в оте-

чественном, так и в зарубежном литературоведении. Это связано, прежде всего, с тем, что многие авторы совмещают в своем творчестве признаки и темы, характерные для разных групп и направлений. Современная «женская проза» является частью русской литературы и наследует многие ее традиции. Кроме того, ученые применяют различные подходы и методы в своих исследованиях, используя порой для одних и тех же явлений разные номинации и термины.

В заключение хотелось бы отметить, что сегодня, пожалуй, нет смысла рассуждать о том, есть ли «женская проза» или нет. Один тот факт, что ее изучают, подтверждает ее существование. На наш взгляд, важнее выяснить, почему «женскую прозу» стали отделять от единого литературного процесса. Безусловно, объяснение этого не может ограничиваться лишь тем, что в середине 1980-х гг. появилось большое количество произведений, написанных женщинами-писательницами. Необходимо найти другие причины и попытаться их объяснить. А следовательно, статьи о «женской прозе» еще, возможно, долго не будут сходиться со страниц российских и зарубежных изданий.

#### Примечания

1. Старцева, Н. Женский вопрос. Какие ответы? [Текст] / Н. Старцева // Дон. 1988. № 8. С. 145.
2. Там же. С. 151.
3. Старцева, Н. Сто лет женского одиночества [Текст] / Н. Старцева // Дон. 1989. № 3. С. 160.
4. Щеглова, Е. В своем кругу [Текст] / Е. Щеглова // Литературное обозрение. 1990. № 3. С. 19.
5. Савкина, И. «Разве так суждено меж людьми?» [Текст] / И. Савкина // Север. 1990. № 2. С. 150.
6. Подробнее см.: Сатклифф, Б. Критика о современной женской прозе [Текст] / Б. Сатклифф // Филологические науки. 2000. № 3. С. 127–130.
7. Савкина, И. Указ. соч. С. 149.
8. Щеглова, Е. Указ. соч. С. 19.
9. Там же. С. 26.
10. Булин, Е. Откройте книги молодых! [Текст] / Е. Булин // Молодая гвардия. 1989. № 3. С. 237.
11. Там же. С. 238.
12. Марченко, А. Где искать женщину? [Текст] / А. Марченко // Новый мир. 1994. № 9. С. 206.
13. Козлова, А. Современный Франкенштейн [Текст] / А. Козлова // Литературная Россия. 1997. 31 окт. (№ 44). С. 10.
14. Там же. № 36. С. 4.
15. Мильман, Н. Чего хочет женщина [Текст] / Н. Мильман // Литературная газета. 1994. 7 сент. (№ 36). С. 4.
16. Там же.
17. Павлов, О. Сентиментальная проза [Текст] / О. Павлов // Литературная учеба. 1996. № 4. С. 107.
18. Киляков, В. О женском в современной литературе [Текст] / В. Киляков // Литературная учеба. 1996. № 4. С. 110.
19. Тарантул, Ю. Адам заврался. Не дать ли слово Еве? [Текст] / Ю. Тарантул // Новое время. 1997. № 15. С. 40.

20. *Перова, Н.* Есть ли в России женская литература? [Текст] / Н. Перова // Литературная газета. 1994. 2 марта (№ 9). С. 4.

21. *Gheith, J.* The Superfluous Man and the Necessary Woman: A "Revision" [Text] / J. Gheith // The Russian Review, vol. 55. 1996. April. P. 226.

22. *Brown, D.* The Last Years of Soviet Russian Literature. Prose Fiction 1975–1991 [Text] / D. Brown. Cambridge University Press, 1993. P. 145.

23. Ibid.

24. Ibid. P. 176.

25. Ibid. P. 183.

26. *Heaton, J.* Russian Women's Writing – Problems of a Feminist Approach, with Particular Reference to the Writing of Marina Palei [Text] / J. Heaton // The Slavic and east European Review, vol. 75. 1997. № 1. January. P. 68.

27. *Kelly, C.* A History of Russian Women's Writing, 1820–1992 [Text] / C. Kelly. Oxford: Clarendon press, 1994. P. 433.

28. Ibid. P. 435.

29. Ibid. P. 439.

30. Ibid. P. 440.

А. Н. Шохина

#### ОБРАЗ КОРОЛЯ РИЧАРДА I КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ О «НАРОДНОМ КОРОЛЕ» (НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА В. СКОТТА «АЙВЕНГО»)

Король Ричард Львиное Сердце рассмотрен в статье как типичный представитель эпохи Средневековья. Автор статьи указывает, что в романе «Айвенго» образ монарха сознательно идеализирован. Следуя английской фольклорной традиции о «народном короле», защитнике своих подданных, Уолтер Скотт снимает англосаксонские противоречия в романе и провозглашает идею единого централизованного государства.

The article introduces King Richard the Lion-Heart as a typical representative of the medieval world. The author of the article states that the figure of the glorious King is intentionally idealized in the novel. A follower of the English folk idea of a "national king" and a protector of his people, Walter Scott softens the Anglo-Saxon antagonisms and proclaims the idea of centralized state and indivisible nation.

Введение в историческое повествование исторических лиц стало одним из главных достижений Уолтера Скотта (Walter Scott, 1771–1832).

«Взятые крупным планом лица исторические позволяют изменить характер живописи: от бытовых и батальных сцен, характеризующих смысл событий эпохи, перейти к ее изображению через портрет, углубляясь в психологию», – отмечает И. О. Шайтанов [1]. К образу «воинственного Ричарда I» Скотт обращается в исторических романах «Айвенго» (1820) и «Талисман» (1825),

давая обоснование этому в авторских предисловиях. Ричард I Плантагенет (1189–1199), третий сын короля Генриха II, являлся типичным средневековым рыцарем-завоевателем и авантюристом, инициатором многочисленных захватнических войн, чуждых интересам Англии и ее народа, предводителем третьего Крестового похода (1189–1192), который стал легендой ещё при жизни.

В «Айвенго» Скотт выводит на сцену короля Ричарда Львиное Сердце потому, что его царствование «не только богато героями, имена которых способны привлечь общее внимание, но отмечено еще глубокой враждой между саксами, обрабатывавшими ту землю, которой норманны владели по праву победителей» [2]. В «Талисмане» автор стремился представить читателям «необузданного и благородного» монарха, «образец рыцарства, со всеми его нелепыми добродетелями и столь же несуразными заблуждениями» [3]. Если в «Айвенго» Ричард скорее частное лицо, переодетый рыцарем, то в «Талисмане» он предстает «в своей истинной роли короля-завоевателя». В этом качестве король выступает как типичный представитель своей эпохи – эпохи Средневековья, бесспорно, способной рождать подобные характеры.

Типичен для эпохи Средневековья и основной конфликт романа «Айвенго», сводящийся к борьбе мятежной феодальной знати, заинтересованной в сохранении политической раздробленности страны, против королевской власти, которая воплощает в себе идею единого централизованного государства. Носителем этой идеи является король Ричард Львиное Сердце, черпающий свою поддержку в народе.

В противоположность Джону с его децентралистской тенденцией, Ричард I Львиное сердце – собиратель и организатор английского государства. Деятельность его объективно прогрессивна, она преследует интересы нации и государства; она оправдана вдвойне и потому, что, как представляется Скотту, Ричард I не только «законный король» по праву престолонаследия, но и «народный» король в том смысле, в каком представляет себе институт королевской власти шотландский автор. Идеализация образа монарха, имевшая место в английском фольклоре, усилена автором романа.

Ричард Львиное Сердце – опора государства, защитник подданных. Вся его деятельность направлена на благо Англии и благо народа. «Едва ли найдется человек, которому страна и жизнь каждого подданного была бы дороже, чем мне», – говорит в романе король (с. 418).

Он – заступник обиженных и гонимых, защитник справедливого дела; он бескорыстен и честен, смел и решителен, силен и мудр, отважен

и весел, отзывчив к беде любого и великодушен к врагам и побежденным. Он добывает победу честным путем – с помощью меча и копья. Песенка о рыцаре крестоносце, которую он исполняет в келье отшельника, – это песня о нем самом.

*“Joy to the fair! – thy knight behold,  
Return’d from yonder land of gold;  
No wealth he brings, nor wealth can need,  
Save his good arms and battle-steed;  
His spurs, to dash against a foe,  
His lance and sword to lay him low;  
Such all the trophies of his toil,  
Such – and the hope of Telka’s smile [4].*

*Возлюбленная! Рыцарь твой  
Вернулся из страны чужой;  
Добыча не досталась мне:  
Богатство все мое – в коне,  
В моем коне, в мече моем,  
Которым я сражусь с врагом.  
Пусть война вознаградят  
Твоя улыбка и твой взгляд.  
Перевод с англ. Е. Бекетовой (с. 154).*

Сам о себе он говорит так: «Ричард Плантагенет не ищет иной славы: ему дороже всего то, что достается с помощью меча и копья. Да, Ричард Плантагенет больше гордится победой, одержанной с помощью добытого меча, чем завоеванной во главе стотысячного войска» (с. 501). Справедливый и гордый, он человечен и прост в обращении с подданными. Он не гнушается дружбы с монахом, запросто беседует с йоменом, играет на арфе, без предрассудков вступает в общение с разбойниками, ведет на приступ замка крестьян и лесных стрелков.

Ричард I в романе является антагонистом принца Джона, «проклятого норманна», жестоко притесняющего коренное население. Хотя англосаксы объективно не в силах противостоять мощи норманнов, и эта мысль находит художественное воплощение в сопоставлении образов потомка и наследника англосаксонских королей Ательстана Кониингсбургского и норманнского короля Ричарда, именно благодаря образу короля в романе снимаются норманно-англосаксонские противоречия, и из двух враждующих позиций возникает единое национальное государство. Символичным в этом плане является совместный штурм замка Фрон де Бефа королем и стрелками Робина Гуда. Народ вместе с королем против мятежной клики феодалов – таков идейный смысл этого эпизода.

Фигура Ричарда поднимается над межнациональной рознью: к нему тянутся сердцами саксы. Ричард, единственный из норманнов, вызывает

уважение простолюдинов и тех своих подданных, которые еще недавно видели в нем только врага. Даже самые последовательные противники норманнов, которые предпочли скрыться в лесах, чем склониться перед новыми хозяевами английской земли, отдают дань уважения королю Ричарду. Его избирает своим повелителем и сын Седрика – Айвенго. Поступок молодого рыцаря вызывает бешеный гнев отца: Седрик не только изгоняет единственного сына из дома, но и лишает его наследства. Между тем в этом споре поколений, окрашенном в национально-патриотические тона, истина оказывается на стороне Айвенго: он видит, что благополучие страны может быть достигнуто за счет компромиссов, участники которых, однако, не переступают границ, очерченных моральными нормами.

Когда в финале романа король называет себя, раскрывая инкогнито, разбойники, «как один человек, преклонив колени, почтительно выразили свои верноподданнические чувства и просили прощения в своих провинностях. «Встаньте, друзья мои», – сказал Ричард. – «Ваши бесчинства как в лесах, так и в чистом поле искупаются верною службой, которую вы сослужили, а также и тем, что сегодня вы выручили из беды вашего короля» (с. 495).

Великодушие его, как и милость, беспредельны. Он дарит жизнь убийце Фиц-Урсу, покушавшемуся на его жизнь, благодетельствует честному Вамбе, шальному монаху и спутнику Гуда – брату Туку, дерзнувшему «коснуться уха помазанника Божия», даруя забуддыге-монаху право беспрепятственной охоты в королевских лесах в дополнение к «бочке испанского вина, бочонку мальвазии и трем бочкам элю первейшего сорта» (с. 498).

«Здесь, – по мнению А. Бельского, – сказана мечта народа о добром и справедливом короле, который не чурается общения с простым людом. Исторический Ричард был жестокий тиран, облагавший народ непомерными налогами. Но в данном случае Скотт стремился к созданию не столько образа реального исторического лица, сколько образа короля, близкого фольклорным традициям» [5].

Авторское предисловие 1830 г. раскрывает читателю источник возникновения романа: он коренится в народной традиции, в анналах богатого английского фольклора, где Ричард I – идеализированный король народной фантазии, король, каким хотел бы видеть властителя угнетенный народ. Вальтер Скотт подчеркивает, что эпизод встречи короля с монахом Туком в келье веселого отшельника, заимствован из сокровищницы старинных баллад: «Общая канва этой истории встречается во все времена и у всех народов, соревнующихся друг с другом в описании

странствий переодетого монарха, который, спускаясь из любопытства или ради развлечений в низшие слои общества, встречается с приключениями, занятыми для читателя или слушателя благодаря противоположности между подлинным положением короля и его наружностью» (с. 12). Кроме того, романист указывает на произведения английского фольклора, посвященные этой теме: «Староста Джон», «Король и Бамвортский дубильщик», «Король и Мэнсфилдский мельник», «Король и отшельник», «Король Эдуард и пастух».

Ричард Вальтера Скотта – это герой легенды или рыцарского романа. Идеализацию образа признавал и сам автор, не терявший чувства трезвого политического чутья в оценке деятельности «короля – героя»: «...его царствование было подобно быстротечному сиянию метеора, который, проносясь по небу, распространяет ненужный и ослепительный свет, а затем окончательно исчезает, погружаясь во тьму. Его рыцарские подвиги послужили темой для бесчисленных песен бардов и менестрелей, но как король он не совершил плодотворных деяний из числа тех, о которых любят повествовать историки, ставя их в пример потомству» (с. 503).

Подчеркивая, что автор не всегда точно придерживается исторической правды, а образ Ричарда, в частности, во многом приукрашен, Э. П. Зиннер объясняет это «исторически обусловленной ограниченностью мировоззрения и художественного метода писателя, его склонностью к идеализации средневековья» [6]. Но романист и не ставил себе целью следовать «исторической правде». Напротив, В. Скотт подчеркивает, что на первый план нарочито выдвигает правду художественную: «Вполне возможно, что я спутал обычай двух или трех столетий и применил в царствование Ричарда I обстоятельства, присущие значительно более позднему перио-

ду, чем тот, в котором разворачиваются события» (с. 29).

Мечта народа о добром и справедливом короле сложилась под влиянием христианской традиции: король – помазанник Божий. Священная природа власти императора и короля объяснялась религиозными представлениями того времени сообразно с тем, что самого Христа нередко изображали как государя. Акты коронации земного правителя неизменно сопровождались религиозными ритуалами, конкретно и зримо выражавшими божественный характер его власти.

В «Церковной истории англов» Беда Достопочтенного представление о монархе сложилось под влиянием христианской традиции (король-монах), народного творчества и существовавшей эпической традиции: король не только должен следовать христианскому учению, но и защищать своих подданных, в первую очередь бедных.

Вальтер Скотт в «Айвенго» следует этому заведомо недостижимому идеалу, нашедшему свое отражение в средневековом английском фольклоре.

#### Примечания

1. Шайтанов, И. О. Вальтер Скотт [Текст] / И. О. Шайтанов // История зарубежной литературы XIX века. М., 1991. С. 101.
2. Скотт, В. Айвенго [Текст] / В. Скотт // Скотт В. Собр. соч.: в 20 т. / пер. Е. Г. Бекетовой. М.; Л.: 1962. Т. 8. С. 10. Далее ссылки на это издание даны в тексте с указанием страниц.
3. Скотт, В. Талисман [Текст] / В. Скотт // Скотт В. Собр. соч.: в 20 т. / пер. Е. Г. Бекетовой. М.; Л.: 1962. Т. 19. С. 9.
4. Sir Walter Scott. Ivanhoe [Text]. Wordsworth classic. 2000. P. 143.
5. Бельский, А. «Айвенго»: комментарии [Текст] / А. Бельский // Скотт В. Собр. соч.: в 20 т. / пер. Е. Г. Бекетовой. М.; Л., 1965. Т. 8. С. 557–568.
6. Зиннер, Э. П. Предисловие [Текст] / Э. П. Зиннер // Скотт В. Ричард Львиное Сердце. Иркутск, 1958. С. 5.

## ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Т. И. Ерохина

### ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО И ОБЫДЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ СИМВОЛИСТА В ЭПИСТОЛЯРНОМ ЖАНРЕ

Обыденное поведение художников-символистов представляет особый интерес для исследователя. Когда речь идёт о символизме с его стремлением к единству художественного творчества и быта, эпистолярные документы становятся воплощением синтеза, который объединяет повседневность и искусство. Эпистолярное наследие приобретает символический смысл и функции. Таким символическим памятником русской культуры является переписка В. Брюсова и Н. Петровской, которая вносит вклад в формирование социокультурного мифа русского символизма.

Everyday behaviour of artists-symbolists is of a peculiar interest for researchers. When we speak of symbolism with its striving for the unity of creative work and everyday activities, epistolary genre becomes the embodiment of the synthesis which unites the former and the latter. Epistolary literature acquires a new symbolic sense and functions. An example of such a memorial of Russian symbolism is the correspondence between V. Brusov and N. Petrovskaya which contributes to the social and cultural myth of Russian symbolism.

Обыденное поведение художников-символистов представляет особый интерес для исследователя. Соотношение художественного творчества и бытового поведения, семиотизация повседневности, стремление и способности творцов создавать и накладывать на мир фактов и процессов своей смысловой и ценностно-нормативный порядок – всё это придаёт жизнотворческий, «небытовой» характер любым акциям символистов.

Собственное поведение художника-символиста характеризовалось как минимум двойным восприятием. Каждая акция имела несколько смыслов, и этими смыслами наполнялось общение, повседневность, сиюминутность.

В этом аспекте эпистолярные документы становятся не только источником получения информации, позволяющей глубоко и всесторонне оценить художественное творчество и/или специфику творческой личности. Когда речь идёт о символизме с его стремлением к «жизнотворчеству», единству художественного творчества и быта, искусства и повседневности, эпистолярные документы буквально становятся воплощением того

искомого символистами синтеза, который объединяет повседневное существование, бытование творческой личности и литературное творчество, искусство.

В русской художественной культуре конца XIX – начала XX в. происходит «перенос деятельности художника в области и сферы, пролегающие вне искусства» [1]. *Жизнотворчество* становится неотъемлемой частью символистского самосознания. Претендуя на жизнотворчество, русские символисты пытаются воплотить как в творчестве, так и в повседневной культуре, в быту свою модель символистского миропонимания: «Совокупность сюжетов, кодирующих поведение человека в ту или иную эпоху, может быть определена как мифология бытового и общественного поведения» [2]. В символизме этот шаг семиотизации повседневности выражен, в первую очередь, в автобиографичности произведений и, конечно, в проживании, переживании повседневности как литературного произведения, «романности» жизни.

Эпистолярное наследие также приобретает символический смысл и новые функции. И таким символическим памятником русской культуры рубежа XIX–XX вв. является переписка В. Я. Брюсова и Н. И. Петровской. Отметим, что в задачи статьи не входит всесторонний анализ специфики переписки В. Брюсова и Н. Петровской. Нам важно отметить те существенные черты, которые позволяют рассмотреть эпистолярные документы знаковых фигур русского символизма как факторов формирования и бытования социокультурного мифа рубежа XIX–XX вв.

Прежде всего, такой отличительной чертой становится уникальное соединение интимности и предполагаемой публичности писем. Мы сознательно оставляем без внимания те письма В. Брюсова, которые были адресованы, например, Н. Н. Перцову или К. Д. Бальмонту, Вяч. Иванову или З. Гиппиус, поскольку эти письма адресованы коллегам, соратникам, друзьям и отчасти ориентированы на отражение историко-культурных значимых явлений: литературных споров, дискуссий, художественных принципов и мнений. В случае же переписки писателя с Н. Петровской, у которой тоже были литературные и критические опыты, мы имеем дело с общением людей, связанных семилетними близкими отношениями.

Тем не менее именно эти письма («письма о любви») В. Брюсов уже в 1911 г. (а отношения с

Н. Петровской будут окончательно разорваны в 1913 г.) предполагает опубликовать, хотя и с рядом оговорок. В связи с этим А. В. Лавров справедливо замечает, что В. Брюсов «личную жизнь осознавал как весьма важную составляющую часть своего единого *литературного облика* и поэтому заботился о том, чтобы она была надлежащим образом документирована, чтобы не возникло ненароком “белых пятен”» [3].

Можно по-разному оценивать и содержание писем. Так, сохранилось практически три варианта послания, написанного В. Брюсовым в июле 1905 г.: черновой незаконченный набросок, а также два варианта письма, один из которых был не отправлен. Сопоставление текста двух писем выявляет своего рода редакторскую (отчасти стилистическую, но не содержательную!) правку, сделанную самим поэтом. Например, сравним текст неотправленного варианта: «Разве не чудо, что в моих воспоминаниях теперь есть Ты “настоящая”, Ты с расчёсанными гладко волосами, с “умным” лбом и большими, властвующими надо всем лицом глазами!» [4] с текстом отправленного письма: «Разве не чудо, что я увидел Тебя, Тебя настоящую, с тихо расчёсанными волосами, с «умным» лбом и большими, большими глазами, которые вдруг оказываются всевластными на Твоём лице» [5].

Впрочем, в тексте писем В. Брюсова встречаются и другие, более явные указания на существующую «литературность» эпистолярного жанра: так, письмо 13.01.1909 г. заканчивается словами: «...не *перечитываю* написанного письма и прошу простить бессвязности и повторения. Этот как бы разговор, и *нисколько не литература*» [6].

«Литературность» писем Н. Петровской, как публичность и открытость, изначально отсутствует. Н. Петровская требовала от В. Брюсова возврата своих писем, поскольку не хотела предавать их огласке, более того, в последнем письме 1913 г. она иронично замечает, что письма самого Брюсова «хранятся <...> как литературное сокровище, завещанное будущему?» [7], и высказывает пожелание «уничтожить *и их*». Письма Н. Петровской – форма общения с любимым, с интимными прозвищами («мой зверок»), воспоминаниями, мелочами и подробностями, обвинениями и мольбой.

Но, несмотря на разное понимание роли собственных писем, парадоксальным является то, что именно письма Н. Петровской, а не В. Брюсова в большей степени соотносятся с символистским пониманием жизнетворчества.

Для В. Брюсова письма во многом продолжение творчества. Это своего рода автобиографический роман в эпистолярном жанре. Воплощение «литературности» в реальность, повседневно-

ность, а точнее – перенос жизни, быта в литературу. И поскольку взаимоотношения с Н. Петровской были отражены в любовных стихотворениях, рассказах и наиболее ярко – в романе «Огненный Ангел», возможно, произошла «перекодировка» «мифа» в «реальность»: «Превратившись в литературу, Петровская тем самым стала предметом искренней и нерушимой любви Брюсова» [8].

В. Брюсов сознательно моделирует жизнь и быт по литературному образцу. Его опыты зачастую удачны, не случайно за ним закрепляется титул «мэтра» символизма, а созданный образ, своеобразная «маска», становится поведенческой парадигмой. В целом в самосознании В. Брюсова ярко выражен элемент игры – игры с чувствами, ассоциациями, реалиями внешнего и внутреннего миров. Игровой характер был присущ его эпатажным стихотворениям, выступлениям, поведению. (Хотя страстные и искренние письма В. Брюсова к Н. Петровской скорее вступают в противоречие с созданным самим поэтом холодным и отчуждённым образом «застывшего мага» [9].)

Сам В. Брюсов, по-видимому, тоже осознавал двойственность своей природы. В письме к Н. Петровской он пишет: «Странно. Чем менее “безумства” у меня в жизни, тем более его в стихах. И, например, когда в прошлом году вся жизнь моя была безумие – стихи мои в общем были очень спокойны и во всяком случае облечены в классически-строгую форму... Должно быть мне дано от Бога определённое количество безумия и две чаши весов: искусство и жизнь никогда не могут прийти в равновесие» [10].

А вот эпистолярное наследие Н. Петровской, напротив, демонстрирует «сплав жизни и творчества» (Ходасевич). Исследователи отмечают, что ни беллетристика, ни критика не характеризуют Н. Петровскую так, как письма. При этом, анализируя роль Н. Петровской в русском символизме, мы видим ситуацию парадоксальную. Образ Н. Петровской был практически создан, задан символистами. Вероятно, значение имели романы Н. Петровской с такими поэтами серебряного века, как К. Бальмонт, А. Белый, но об особом восприятии этой женщины свидетельствовали и произведения, посвящённые ей: цикл стихотворений А. Рославлева «Иммортели», стихотворение Н. Пояркова, стихотворения Лионеля (К. Бальмонта), Ходасевича и др. Поэты мифологизировали образ Н. Петровской, а воспоминания современников о «женщине в чёрном» способствовали продолжению этого мифотворчества.

Н. Петровская оказалась «включённой» в символистскую игру, в которой ей предстояло сыграть сложную роль – роль литературного персонажа. Характерно, что уже после опубликова-



ния романа «Огненный Ангел» Н. Петровская пытается воспринимать свою жизнь «в соответствии с литературным образцом и даже полностью слиться с ним» [11]. Так, в письме от 26 ноября 1908 г. читаем: «О нашей встрече последней, о невозможной встрече Рупрехта и Ренаты я думаю как о реальной...» [12]; а в декабрьском письме 1908 г. появляется подпись: «Я твоя, твоя мёртвая Рената» [13]. (Известно также, что в 1910 г. Н. Петровская перешла в католичество, приняв имя Ренаты.)

И если в случае с В. Брюсовым можно говорить о попытке отражения в литературном и эпистолярном творчестве жизненных реалий, которые переживаются как искусство, то в случае с Н. Петровской возникает иная ситуация: «После появления “Огненного Ангела” в печати наблюдается обратное явление: культивирование в жизни запечатленных в романе отношений, воздействие художественной реальности на судьбы и духовный облик людей, ставших прототипами вымышленных героев» [14].

По мнению исследователей, именно Н. Петровская, отдающая предпочтение жизни по отношению к литературным опытам, и стала «проявлением чаемого единства литературы и жизни, того самого жизнетворчества, которое, по признанию многих и многих, становилось одним из коренных пунктов символизма» [15]. Более того, судьба Н. Петровской, пережившей В. Брюсова и закончившей жизнь самоубийством, говорит о «цене, которую порой приходилось платить за эйфорию восприятия жизни как своего рода эстетического феномена» [16].

Но в целом перед нами два пути достижения единого искомого синтеза: синтеза жизни и творчества, осмысленного и воплощённого в равной степени В. Брюсовым через жизнь – к творчеству и Н. Петровской через творчество – к жизни.

Именно синтез документального (жизни) и художественного (творчества) и является важнейшей составляющей русского символизма как социокультурного мифа конца XIX – начала XX в.

#### Примечания

1. Кондаков, И. В. Культурология: История культуры России [Текст] / И. В. Кондаков. М., 2003. С. 301.
2. Лотман, Ю. История и типология русской культуры [Текст] / Ю. Лотман. СПб., 2002. С. 246–247.
3. Лавров, А. В. Валерий Брюсов и Нина Петровская: биографическая канва к переписке [Текст] / А. В. Лавров // Брюсов В., Петровская Н. Переписка: 1904–1913. М., 2004. С. 6–7.
4. Брюсов, В. Переписка: 1904–1913 [Текст] / В. Брюсов, Н. Петровская. М., 2004. С. 66.
5. Там же. С. 68.
6. Там же. С. 397.
7. Там же. С. 754.

8. Богомолов, Н. А. Заметки к тексту переписки [Текст] / Н. А. Богомолов // Брюсов В., Петровская Н. Переписка: 1904–1913. М., 2004. С. 45.

9. Чулков, Г. Годы странствий [Текст] / Г. Чулков. М., 1930. С. 93

10. Брюсов, В. Указ. соч. С. 147.

11. Богомолов, Н. А. Указ. соч. С. 52.

12. Брюсов, В. Указ. соч. С. 339.

13. Там же. С. 372.

14. Богомолов, Н. А. Указ. соч. С. 51.

15. Там же. С. 47.

16. Гречишкин, С. С. Символисты вблизи. Очерки и публикации [Текст] / С. С. Гречишкин, А. В. Лавров. СПб., 2004. С. 61.

С. М. Дождевых

### КУПЕЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК В ИСТОРИИ ВЯТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНА П. П. КЛОБУКОВА)

В связи с характеристикой стилеобразующих процессов в архитектуре России конца XIX – начала XX в. в сфере распространения и развития стиля модерн была признана ведущая общественная роль купечества. С самых первых своих шагов новый стиль проявился в отделке именно купеческих особняков и торговых домов. Художественно-образная система модерна воплотила стремление заказчиков к индивидуальности и удобству собственных зданий и соответствовала функциям рекламы торгового дела. Всеобщность подобного процесса по всей России подтверждается памятниками архитектурного модерна провинции, одним из которых является магазин вятского купца П. П. Клубукова.

Characterizing the architectural situation in the end of the XIX – beginning of the XX cent, a significant social role of the merchants was recognized in the development and spreading of the “Modern” style. From the very beginning the “New style” revealed in the decoration of merchant’s mansions and trade houses. Art content of the “Modern” style embodied the striving of the merchant customer for individuality and comfort of their own buildings and corresponded advertising functions of business. The general spreading of this process all over Russia is confirmed by architectural monuments of the “Modern” style in province, such as vyatka Klobukov’s shop.

Проблема заказчика вошла в последнее время в число приоритетных в искусствоведении [1]. При этом более частный вопрос этой общей проблемы, а именно «русское купечество и русская архитектура начала XX века», концентрируясь на пересечении искусствоведческих, исторических, культурологических дисциплин, в контексте новых российских реалий, занял в наши дни ведущее место и в ряду общенаучных проблем.

Благодаря исследованиям последних трех десятилетий была изжита социологически упрощенная точка зрения отечественного искусствозна-

ния, объясняющая явление многостильности русской архитектуры конца XIX – начала XX в. повторством зодчих низким вкусом буржуазных заказчиков. В связи с характеристикой стилиобразующих процессов того времени была признана и ведущая общественная роль купечества в распространении и развитии стиля модерн в архитектуре России рубежа веков.

Появление нового стиля в русском искусстве, помимо прямых формообразующих причин (развитие технических средств, влияние Европы и пр.), было обусловлено и духовным стремлением личности начала XX в. к красоте, мечте и лучшей жизни. Эстетическая программа модерна, выступив антитезой меркантильности, буржуазности и серости окружающей действительности, таким образом, наиболее полно ответила романтическим устремлениям начала XX в. Однако парадоксальность искусства рубежа веков, которую отмечает, в частности, Е. И. Кириченко, и заключается в том, что «возможность воплотить прекрасную мечту модерна в жизнь имели лишь не многие избранные. Буржуазия воспользовалась открытиями художников, поддерживая и заигрывая с новаторами – символистами и “декадентами”» [2]. Действительно, подавляющим большинством заказчиков зданий в стиле модерн оказались представители богатого российского купечества, то есть те, против которых, по сути, и была направлена преобразовательная миссия модерна.

В среде состоятельного купеческого сословия, ориентированного на достижения новейшей западной культуры [3], модерн оказался популярен в силу своей «европейскости», оригинальности и новизны. Здания в новом стиле выглядели роскошно, изысканно, ассоциировались с прогрессом и привлекали внимание обывателей. Поэтому с самых первых своих шагов модерн проявился в отделке строящихся купеческих особняков и торговых домов: особняк С. П. Рябушинского, магазин Мюр и Мерилиз (доходный дом А. С. Хомякова) и др.

И если в первом случае художественно-образная система нового стиля воплотила стремление заказчиков к индивидуальности и удобству собственных зданий, то во втором – соответствовала функциям рекламы торгового дела. При этом финансовая свобода, предоставляемая купцом при заказе проекта архитектору, позволила стать этим постройкам еще и «эталоном» русского модерна.

Всеобщность подобного процесса по всей России подтверждается памятниками архитектурного модерна провинции. Как и в столицах, в провинциальных городах наиболее яркие сооружения в новом стиле связаны с крупными купеческими фамилиями (банк С. Рукавишников в Нижнем

Новгороде). Однако если в Москве и Петербурге интерес к модерну ослабел уже к середине 1900-х гг., то лучшие образцы провинциального модерна относятся к 1910–1915 гг.

Так, в Вятке в 1909–1911 гг. [4] по проекту местного архитектора И. А. Чарушина в стиле модерн был выстроен крупнейший магазин купца Петра Павловича Клобукова. Появление данного сооружения явилось уникальным событием для архитектурной и городской среды провинциальной Вятки не только потому, что это был самый большой и, по сути, первый универсальный магазин в городе, но и потому, что он явился единственным целостным памятником модерна в вятской архитектуре.

Петр Павлович Клобуков [5] был представителем крупнейшего вятского рода предпринимателей. Громкая слава их фамилии началась еще с его отца – Павла Петровича, которому в 1903 г. было присвоено звание Потомственного Почетного Гражданина г. Вятки за активную благотворительную деятельность. Так вспоминает о нем его современник адвокат А. А. Прозоров: «Павел Петрович Клобуков считался среди купцов самым аккуратным и степенным... поддерживал все начинания, кланяющиеся к благоустройству города» [6].

Активную торговую и общественную деятельность продолжил Петр Павлович Клобуков. Он довольно быстро был избран на те же общественные должности, что и его отец, активно занимался благотворительностью, являлся членом правления крупнейших банков города. К 1910-м гг. П. П. Клобуков становится одним из самых богатых и уважаемых купцов Вятки. Так описывает вятского купца его жена Зинаида Дмитриевна: «Это был богатый человек. У него было несколько домов и мануфактурный магазин... Человек этот был типа Третьякова, Мамонтова, который мог все отдать и разориться для искусства» [7]. Финансовой поддержкой П. П. Клобукова пользовался Вятский художественный кружок и музей, а также местные художники, которым он оплачивал обучение и покупал их произведения. Благодаря связям и капиталам мужа Зинаида Дмитриевна могла посещать Париж и обучаться у известного скульптора А. С. Голубкиной. Вместе с женой П. П. Клобуков много времени проводил в Москве, посещая выставки, был знаком с братьями Васнецовыми.

Таким образом, принимая во внимание масштабность личности и художественную образованность вятского купца П. П. Клобукова, трудно представить, что облик собственного магазина, который должен был принести славу фамилии и его торговому делу, он отдал полностью на волю зодчего. Вращаясь в художественных кругах

Москвы, П. П. Клобуков, несомненно, был в курсе последних, модных в среде состоятельного купечества, архитектурных веяний. Поэтому, когда в связи с бурным развитием торговли в Вятке возникла необходимость появления торговых домов нового типа, представляющих собой универсальные магазины, этот «европеящийся, если так можно выразиться, молодой купец, всегда одетый по последней моде, надушенный, расфуфыренный...» [8] первым решился осуществить проект подобного здания.

Само назначение магазина, неразрывно связанного с рекламой, с богато убранными витринами и яркими вывесками, требовало повышенного внимания к его архитектурному решению. Желание привлечь интерес обывателей к своему заведению, осведомленность в столичных художественных тенденциях, а также осознание того, что этот магазин должен будет стать символом величия его купеческого рода, побуждает П. П. Клобукова остановить свой выбор на стиле модерн и заказать проект главному архитектору города И. А. Чарушину.

Следует отметить, что для известнейшего зодчего г. Вятки данный период оказался порой творческого взлета. Чуть раньше заказа П. П. Клобукова [9] он начинает работать над проектом личного особняка самого богатого вятского купца Т. Ф. Булычева, который позднее он называет своим лучшим творением. Подобные купеческие заказы давали И. А. Чарушину возможность воплотить весь свой талант, поэкспериментировать с новыми архитектурными веяниями [10], не беспокоясь о финансовой стороне дела, что и сделало эти здания лучшими памятниками вятской архитектуры начала XX в.

Здание магазина П. П. Клобукова должно было расположиться в Гостином дворе, на перекрестке Спасской и Казанской улиц, в старой части города, традиционно застраиваемой общественными сооружениями: Спасский собор, присутственные места, торговые дома. Таким образом, градостроительное положение было очень ответственным: Чарушину необходимо было вписать новое сооружение в сложившуюся архитектурную ситуацию.

Положение на перекрестке улиц подсказало дугообразную конфигурацию плана. Мягко закругленная угловая часть – излюбленный прием, который архитектор повторит и в последующих постройках. Фасад изгибается так, что вместе с остальными зданиями, выходящими на этот перекресток, образует небольшую площадь сложной конфигурации.

Скругленная часть фасада, отмеченная большим трехчастным окном плавного очертания, получила волнообразное возвышение, свойственное пластике модерна. Характер кованых реше-

ток, орнаментация фасада подчеркивает стилистику модерна и более всего это касается центрального окна, имеющего форму, близкую к полуовалу. Важным элементом центральной части фасада стал выполненный из опоки фамильный вензель, представляющий собой переплетение букв «ППК».

Здание построено из красного кирпича, лопатки и другие детали выполнены из камня-опоки. Свободно прорисованный стилистический декор, контрасты в облицовке яркого по тону кирпича и вертикальных членений из камня-опоки придавали фасаду характер своеобразной рекламы. Назначение здания привело к оригинальному решению архитектора: расположить вырезанные из камня названия товаров под окнами третьего этажа, органично вписав их в общую стилистику орнамента так, что они также стали элементом декора. Возможно, что И. А. Чарушин таким решением желал избежать появления в последующем на фасаде здания многочисленных вывесок, которые бы разрушали его гармоничность.

Однако нельзя не отметить и общий рациональный облик сооружения, определяемый большими окнами, занимающими все пространство между пилонами. Архитектор, подхватывая стилистику соседнего торгового дома братьев Сунцовых, создает общую гармонизированную застройку.

Особого внимания заслуживает и графика чертежа главного фасада, позволяющая отметить характерные особенности модерна. Чертеж фасада выполнен в технике рисунка пером. Избрав за основу текучую форму, он в исполнении проекта придерживается единой стилистики, связывая текучие линии здания с вязью стилизованных облаков. Художественность выполнения чертежа доказывает особое отношение мастера к данному заказу (образ магазина П. П. Клобукова угадывается и в поздних проектах И. А. Чарушина, особенно, в здании Центральной гостиницы, 1935–1937 гг.).

После окончания строительства магазин П. П. Клобукова законно стал достопримечательностью города. Его фотография красовалась в «Уральском торгово-промышленном адрес календаре» [11], на него ссылались владельцы соседних магазинов в печатной рекламе: «Игольные и галантерейные товары Ивана Федоровича Ухова в Вятке. Казанская улица, наискось Спасского собора, рядом с магазином П. П. Клобукова» [12], а впечатления от «богатств» магазина описывали в своих мемуарах современники [13]. В это же время с изображением магазина была выпущена открытка, которая в начале XXI в. оказалась на обложке для сборника «Вятское предпринимательство: история и современ-

ность» [14], символизируя величие всего купечества Вятки.

Слава торгового дома П. П. Клобукова в городе, однако, не привела к регулярному использованию стиля модерн в местной архитектуре, хотя определенное воздействие на заказчиков все-таки оказала. Так, в 1914 г. в Гостином дворе перестраивает свои лавки А. А. Хлебников [15]. При общей строгости и рациональности композиции фасада в них чувствуется воздействие стилистики модерна. Волнообразное завершение фасада, плавные очертания трехчастного центрального окна, большие прямоугольные окна, занимающее все пространство между пилонами – во всем угадывается, в частности, влияние архитектуры соседствующего магазина П. П. Клобукова.

В 1913 г. купец Н. И. Клобуков [16], который был едва ли не самым богатым домовладельцем в Вятке, задумывает строительство «грандиозного» здания на углу Московской и Николаевской, нижний этаж которого «будет приспособлен под магазины, а в верхних этажах будут устроены номера, кафе, рестораны, концертные залы и т. п.» [17] Столичный размах сооружения, монументальность (здание обладает явными признаками позднего модерна и приближающегося конструктивизма), расположение в панораме центральных улиц города свидетельствуют о том, что купец, по всей вероятности, желал затмить славу магазина П. П. Клобукова.

Подводя итог, следует отметить, что тема заказчика-купца для изучения архитектурной среды Вятки необычайно важна. В начале XX в. именно купечество выходит в число ведущих заказчиков города. Обладая огромным финансовым состоянием, достаточной художественной образованностью, при возможности заказывать проекты ведущим архитекторам, им удалось воплотить проекты, которые стали городской достопримечательностью и изменили архитектурный образ Вятки.

### Приложение

#### *Из воспоминаний Б. Г. Сергиева о магазине П. П. Клобукова*

«По улице Спасской на угле ее с Казанской (Большевиков) был богатый магазин купца Клобукова. Здесь товары располагались в двух этажах: на первом этаже продавались всевозможные часы: стенные, настольные, каминные и карманные. Последние были из золота и серебра: мужские и женские, для ношения на цепочке поперек жилета или с подвеской из одного кармана с брелками. Часы были и с двумя крышками и открытые. Дамские небольшие закрытые часы

носимые на цепочке через шею или прикрепляемые к платью застёжкой.

На полках магазина красовались разные безделушки для подарков, для установки на шифоньеры и туалетные столики, могущие удовлетворить самых требовательных покупателей и покупательниц. Под стеклами на прилавках лежали в специальных деревянных коробках для подарков и отдельно поштучно: вилки, ножи, ложки столовые и чайные, серебряные и позолоченные, а также разной формы солонки: братинами, котелками, ящичками с крышкой и других видов.

За прилавками, на полках витрин стояли сахарницы, сухарницы с ручками и без них, сахарные щипчики, разливные ложки. Красовались вазы разных форм, бокалы, кувшинчики, графины, сливочки и подстаканники. Ассортимент товаров был очень большой.

Во второй комнате того же магазина продавались ювелирные изделия: ожерелье, кольца, перстни с драгоценными камнями, обручальные кольца, браслеты. Здесь можно было найти ценные подарки для женщин и для мужчин: драгоценные камни были: бриллианты, сапфиры, изумруды, аметисты, а полудрагоценные: хризолиты, опалы и яшма разной расцветки. Тут же были ножи и вилки с малахитовыми ручками, брошки, бусы и разного вида кулоны. Бусы были из жемчуга, кораллов красного цвета и горного хрусталя. Были и другие драгоценности.

В конце магазина были в продаже всевозможные мужские шляпы: цилиндры, котелки, меховые шапки, а также летние шляпы из рисовой соломы и из других материалов, так называемые «панамы». Здесь можно было выбрать и дамскую шляпку из фетра, сукна и соломы разных цветов и фасонов, с цветами и без них, со страусовыми перьями и без них, отдельно продавались «эспри» и целые фантастического вида птички.

Тут же продавались и отделки для шляп и разноцветные ленты, а также заколки для шляп, для прикрепления их к волосам модницы.

Однако эти заколки скоро вышли из моды, так как оказались опасными для окружающих. Были случаи, что ими наносились уколы в лицо окружающим, когда те, наклонялись к женщине при разговоре, а она оборачивалась и концом иголки наносила укол в лицо собеседника.

В этом же этаже магазина продавались всевозможные зонты: мужские из темной материи, непроницающей дождь, и женские из шелковых тканей разных расцветок для защиты от солнечных лучей.

Во втором этаже магазина шла торговля тканями и меховыми товарами. Здесь можно было найти черное тонкое сукно для фраков и сюртуков, в полоску – для визиток и брюк; драп и

кастор для шуб и пальто; трико для мужских и женских костюмов. Все эти материалы лежали на прилавках в больших свертках с этикетками, на которых была обозначена цена. Покупателям всегда можно не только по виду, но “на ощупь” ознакомиться с их качеством. После чего приказчик развертывал тот или иной кусок-сверток, и аршином с медным наконечником, на котором стояло клеймо “палаты мер и весов”, отмеривал нужное покупателю количество товара, с точностью до вершка.

В этом, единственном в Вятке в то время магазине можно было купить настоящую китайскую шелковую че-су-чу, для мужских и дамских летних костюмов, и белую “рогожку” для офицерских и студенческих кителей.

В конце магазина продавались самых разнообразных рисунков и расцветок шелковые ткани. Они хранились намотанными на тонкие фанерные пластинки-дощечки. Приказчик, показывая этого сорта товар, обычно разматывал его на большую длину и клал один кусок на другой. Это делалось, чтобы предупредить похищение целого куска товара, так как модницы-клептоманки и просто воровки ухитрялись иногда украсть с прилавка неразмотанные куски шелковой материи и укрыть их в складках и оборках своих юбок. Размотанный же кусок, конечно, не спрячешь.

Если покупательницы были солидные или известные хозяйину магазина, для них у прилавка ставили стул, а купленный товар выносился продавцом или старшим приказчиком из магазина к пролетке покупательницы, приехавшей на собственном “рысаке” или посылался ей на квартиру, если она выражала желание побывать и в других магазинах.

Купленный товар, обычно, упаковывался в белую бумагу, перевязывался бичевкой либо лентой. К ним прикреплялась деревянная ручка с проволокой внутри с загнутыми концами с двух сторон и с поклоном вручалось покупательнице. Деньги за товар получал либо хозяин магазина, либо старший приказчик-управляющий того или иного отделения магазина. В этом магазине также висело объявление, что цены на товар, назначенные на этикетках, “без запроса”.

Магазин торговал с 9 часов утра до 19 часов вечера без перерыва на обед.

Более дешевые мануфактурные товары продавались в магазине купца Чувакина...» [18].

### Примечания

1. См.: Архив архитектуры. Вып. 5. Заказчик в истории русской архитектуры [Текст]. М., 1994; *Нащокина, М. В.* Архитектурные вкусы С. Т. Морозова [Текст] / М. В. Нащокина // Морозовы и Москва. М., 1998. С. 121–134; *Кириченко, Е. И.* Русское купечество и «русский» стиль [Текст] / Е. И. Кириченко // Вопросы искусствознания. 1994. № 2–3. С. 296–311 и др.

2. *Кириченко, Е. И.* Русская архитектура 1830–1910-х годов [Текст] / Е. И. Кириченко. М., 1982. С. 303.

3. Следует заметить, что купечество с конца XIX в. выступает также и в качестве основных заказчиков сооружений в «русском» стиле. Купцы, воспринимая достижения европейской культуры, пытались, в то же время, выразить свою связь с национальной почвой, его взрастившей. Таким образом, самобытное русское и европейское соединились в деятельности отечественного купечества (См. *Кириченко, Е. И.* Русское купечество и «русский» стиль...).

4. На проекте магазина указана дата – 1909 г., а 1911-й считается годом вероятного окончания строительства. В некоторых источниках встречается дата открытия магазина – 1909 г., что представляется невозможным, так как в Памятной книжке и календаре Вятской губернии на 1911 г. (см. С. 110) магазин П. П. Клобукова указан как «строящийся».

5. Все мужчины рода Клобуковых носили имена Петра и Павла.

6. ГАКО. Ф. 170 Д. 420. Л. 50–51.

7. Вятская речь. № 1. 1995. С. 1.

8. Кир. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена. Ф. 453. Л. 88.

9. Проект магазина П. П. Клобукова подписан 1909-м г., а проект особняка Т. Ф. Булычева – 1908-м г.

10. Особняк Т. Ф. Булычева был осуществлен в неоготическом стиле.

11. Уральский торгово-промышленный адрес календарь [Текст]. Пермь, 1915. С. 29.

12. Памятная книжка и календарь Вятской губернии на 1911 г. [Текст]. С. 228.

13. См. напр.: Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена. Фонд краевед. отд. Д. 641. Сергиев Б. Г. Вятские воспоминания (1890–1906). Ч. 2. О быте. С. 194–197.

14. Вятское предпринимательство: история и современность [Текст]. Киров, 2003.

15. О точных датах строительства неизвестно, однако на самом здании было указано – 1914 г. В советское время в здании располагалась фабрика «Заря», сейчас – кафе «Зодиак» (ул. Большевиков/Казанская, 75).

16. Клобуковы – несколько фамилий вятских предпринимателей. Купец Н. И. Клобуков не являлся родственником П. П. Клобукову.

17. Северное слово. 1913. № 20. 24/1.

18. Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена. Фонд краевед. отд. Д. 641. Сергиев Б. Г. Вятские воспоминания (1890–1906). Ч. 2. О быте. С. 194–197.

---

**ПРАВИЛА ПОДАЧИ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ  
В РЕЦЕНЗИРУЕМОМ НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ  
«ВЕСТНИК ВЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА»**

Срок публикации – по мере поступления материалов.

Для публикации статьи в реферируемом журнале необходимо

- 1) представить в редакцию
  - а) отзыв-рекомендацию научного руководителя;
  - б) заключение кафедры, на которой проходило выполнение научной работы;
  - в) текст статьи в печатном варианте и в электронном виде с приложением сведений об авторе (см. ниже);
- 2) возместить стоимость издательских услуг, исходя из действующего тарифа (включая тариф НДС). В сумму платежа входит получение автором 1 экз. журнала.

Статьи, в которых отражаются результаты исследования, должны полностью отвечать требованиям, предъявляемым к научным журнальным статьям. К публикации принимаются научные статьи объемом от 0,5 до 1 печатного листа, выполненные в строгом соответствии с техническими требованиями.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ,  
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В РЕДКОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА**

**Общие требования**

Распечатка на бумаге А4 в 2 экземплярах, дискета с текстом статьи в формате Word или RTF (файл обозначается фамилией автора)

**Параметры страницы**

Поля: левое – 25 мм, правое, нижнее и верхнее – по 20 мм.

Интервал: 1,5.

Гарнитура: Times New Roman.

Размер кегля: основной текст – 14 пт; сноски и примечания, формулы – 12 пт.

Запрет висячих строк.

**Оформление статьи**

Текст начинается с указания инициалов и фамилии автора статьи (на русском и английском языках). Далее следует название статьи (на русском и английском языках). После названия (для аспирантских работ) указывается: работа представлена кафедрой (название кафедры и вуза). Научный руководитель – (ученая степень, звание (без сокращений) и ФИО).

**Аннотация статьи.** Аннотация пишется на русском и английском языках – не более 400 знаков каждая, включая пробелы (помещается непосредственно перед текстом).

**Ссылки на литературу** в тексте статьи даются в квадратных скобках.

Ср.: напр.: Этот вопрос уже рассматривался лингвистами [1].

**Литература** указывается в конце статьи под заголовком ПРИМЕЧАНИЯ. Далее под номерами указывается литература *в порядке цитирования ее в тексте статьи*. Автор, источник, место и год издания, страница оформляются в соответствии с ГОСТ-2003.7.1. – Библиографическая запись, библиографическое описание. Общие требования и правила соответствия. Ср., напр.:

**Примечания**

1. Леонтьев, А. А. Психофизиологические механизмы речи [Текст] / А. А. Леонтьев // Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970. С. 314–370.

2. Лурия, А. Р. Язык и сознание [Текст] / А. Р. Лурия. Ростов н/Д, 1998.

---

**Рисунки**

Формат bmp, tif

**Диаграммы**

Формат Excel

**Таблицы**

Формат Word

**Математические и физические формулы**

Редактор MS Equation

**Сведения об авторе (на отдельном листе)**

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
  2. Специальность
  3. Кафедра, вуз
  4. Научный руководитель (ФИО, научная степень, ученое звание, должность)
  5. Адрес с почтовым индексом, контактный телефон, e-mail
- 

Все документы необходимо отправлять в **одном** письме по адресу  
610002, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 26,  
Редколлегия журнала «Вестник ВятГГУ»,  
направление «Филологические науки».

Редколлегия рецензируемого научного журнала  
оставляет за собой право отклонять представленные материалы,  
если они не соответствуют установленным требованиям.  
Авторам присланные материалы и корректуры не возвращаются.

**Вестник**  
**Вятского государственного гуманитарного университета**

**Научный журнал № 2 (2)**

Подписано в печать 15.05.2008 г.  
Формат 60x84  $\frac{1}{8}$ . Бумага офсетная. Гарнитура Мусл.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,0. Тираж 1000. Заказ № 966.

Издательский центр ВятГУ  
610002, г. Киров, ул. Ленина, 111  
(8332) 673-674